

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2020

№ 58

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Шербинин А.И.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор полит. наук, профессор. E-mail: shai52@mail.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сухушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Скочилова В.Г.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглеzneв В.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Шербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия), кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сизтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Вяткина Н.Б.** (Институт философии НАНУ, Киев, Украина); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Диев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопап Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief; **Rykun A.U.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology); **Shcherbinin A.I.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science); **Agafonova E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor; **Sukhushina E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology); **Skochilova V.G.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Political Science); **Borisov E.V.** (Tomsk, Russia); **Ogleznev V.V.** (Tomsk, Russia); **Syrov V.N.** (Tomsk, Russia); **Chernikova I.V.** (Tomsk, Russia); **Ladov V.A.** (Tomsk, Russia); **Uzhaninov K.M.** (Tomsk, Russia); **Shcherbinina N.G.** (Tomsk, Russia); **Kashpur V.V.** (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K.E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Viatkina N.B.** (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M.S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviov A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor R.** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Антух Г.Г., Ладов В.А. Биоллингвистический подход к проблеме соотношения языка и мышления в эпистемологической перспективе.....	5
Борисов Е.В. Парадокс Фитча и фактивность познаваемости.....	16
Спрукуль П.С. Гипотеза компьютерной симуляции и проблема скептицизма.....	24
Mikhailov I.F. Inference and Representation: Philosophical and Cognitive Issues.....	34

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Артемченко А.П., Артемченко Я.И. От постмодерна к метамодерну: формирование современных визуальных практик.....	47
Круглова И.Н., Шакир Р.А. Циническая стратегия поведения как социальная технология.....	59
Семенюк А.П., Семенюк К.А., Долбня А.Д. Принцип целостности как основа культурной и личностной идентичности (биоэтическая постановка проблемы).....	67
Ястреб Н.А. Оружие и современный искусственный интеллект: два варианта отрицания ценностной нейтральности технологии.....	75

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Пигалев А.И. Репрезентация после модерна: от «другого начала» Хайдеггера к «посланию» Деррида.....	85
Родин К.А. Треугольник желания Рене Жирара и сознание подпольного человека в «Записках из подполья» Ф.М. Достоевского.....	97
Суровцев В.А., Габрусенко К.А. О соотношении категорий <i>to lekton</i> в философии стоиков и <i>Sinn</i> в семантической теории Г. Фреге: логический аспект.....	105
Яковлев В.В. Осмысление религиозно-философских идей Юма: практики советской историографии.....	121
Asakavičiūtė V., Valatka V. Interpretations of Communication as Dialogue Existence in Søren Kierkegaard's Philosophy.....	135

СОЦИОЛОГИЯ

Кудзиева Ф.С. Элементы бытовой магии в современной культуре осетин: социологический анализ.....	143
Орлова Н.А. Рассматривая концепцию отчуждения К. Маркса через призму аджайл-подхода.....	152
Рахманов А.Б. Четыре колеса апокалипсиса: причины автомобильных пробок в крупных городах мира.....	170
Солодова Г.С., Краснопольская И.И. Механизм производства этнических границ.....	189
Chiarvesio F. The stagnation of anti-corruption studies on Russia: what should be done to reverse the situation?.....	198

ПОЛИТОЛОГИЯ

Алейников А.В., Сунами А.Н. Политические стратегии антинаркотического управления: кейс ФСКН России.....	206
Плотичкина Н.В. Цифровая инклюзия: теоретическая рефлексия и публичная политика.....	216
Селезнева А.В., Антонов Д.Е. Ценностные основания гражданского самосознания российской молодежи.....	227
Хахалкина Е.В. Брекзит и студенческая иммиграция в Соединенное Королевство: точки роста и разлома.....	242

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Фишман Л.Г. Социалистические буржуазные добродетели.....	255
--	-----

КРУГЛЫЙ СТОЛ: КРЕАТИВНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ

Боровинская Д.Н. Измерение социального запроса на креативное образование.....	264
Брызгалина Е.В. Социальный запрос на креативность в процессах и (или) в результатах образования: что именно можно измерять?.....	272
Горбулёва М.С., Первушина Н.А. Биоэтическое измерение социального запроса на креативное образование.....	278
Люрья Н.А. Семиотическое измерение социального запроса на креативное образование.....	283
Мелик-Гайказян И.В. Аксиологическое измерение социального запроса на креативное образование.....	288
Шульман Е.М., Кутузова А.А. Изменение запроса на образование как отражение трансформации социальной нормы.....	293

АРХИВ

Оглезнев В.В. О применимости идей позднего Витгенштейна в современной теории права.....	297
Бикс Б. Применение (и неправильное применение) идеи Витгенштейна о следовании правилу в теории права.....	303

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ.....	320
--------------------------	-----

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Antukh G.G., Ladov V.A. A Biolinguistic Approach to the Problem of the Relation of Language and Thinking in an Epistemological Perspective.....	5
Borisov E.V. The Fitch Paradox and the Factivity of Knowability.....	16
Sprukul' P.S. The Computer Simulation Hypothesis and the Problem of Skepticism	24
Mikhailov I.F. Inference and Representation: Philosophical and Cognitive Issues.....	34

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Artemenko A.P., Artemenko Ya.I. From Postmodernism to Metamodernism: The Formation of Modern Visual Practices.....	47
Shakir R.A., Kruglova I.N. The Cynical Strategy of Behavior as a Social Technology	59
Semenyuk A.P., Semenyuk X.A., Dolbnya A.D. The Principle of Integrity as the Basis of Cultural and Personal Identity (A Bioethical Statement of the Problem).....	67
Yastrebn N.A. Weapons and Artificial Intelligence: Two Options for Denying the Value-Neutrality Thesis	75

HISTORY OF PHILOSOPHY

Pigalev A.I. Representation After Modernity: From Heidegger's "Other Beginning" to Derrida's "Sending".....	85
Aleksandrovich R.K. René Girard's Triangle of Desire and the Consciousness of the Underground Man in Fyodor Dostoevsky's <i>Notes from Underground</i>	97
Surovtsev V.A., Gabrusenko K.A. <i>To Lekton</i> in Stoic Philosophy and <i>Sinn</i> in Gottlob Frege's Semantic Theory: The Logical Aspect	105
Yakovlev V.V. Comprehending Hume's Religious-Philosophical Ideas: Practices of Soviet Historiography.....	121
Asakavičūtė V., Valatka V. Interpretations of Communication as Dialogue Existence in Søren Kierkegaard's Philosophy.....	135

SOCIOLOGY

Kudzieva F.S. Elements of Magic in Contemporary Ossetian Culture: a Sociological Analysis.....	143
Orlova N.A. Revising Karl Marx's Concept of Alienation Through the Agile Approach	152
Rakhmanov A.B. Four Wheels of the Apocalypse: The Causes of Traffic Congestion in Big Cities of the World	170
Solodova G.S., Krasnopolskaya I.I. The Mechanism of Production of Ethnic Borders.....	189
Chiavesio F. The Stagnation of Anti-Corruption Studies on Russia: What Should Be Done to Reverse the Situation?	198

POLITICAL SCIENCE

Alenikov A.V., Sunami A.N. Political Strategies of Anti-Drug Management: The Case of the Federal Drug Control Service of Russia	206
Plotichkina N.V. Digital Inclusion: Theoretical Reflection and Public Policy.....	216
Selezneva A.V., Antonov D.E. The Value Bases of the Civic Consciousness of the Russian Youth.....	227
Khakhalkina E.V. Brexit and Student Immigration to the United Kingdom: Points of Growth and Fissure.....	242

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

Fishman L.G. Socialist Bourgeois Virtues.....	255
--	-----

ROUNDTABLE DISCUSSION: CREATIVITY AND EDUCATION

Borovinskaya D.N. Measuring Social Demand for Creative Education.....	264
Bryzgalina E.V. Social Demand for Creativity in the Processes and (or) in the Results of Educational Planning: What Can Be Measured?.....	272
Gorbuleva M.S., Pervushina N.A. Bioethical Measurement of Social Demand for Creative Education.....	278
Lyurya N.A. Semiotic Measurement of Social Demand for Creative Education.....	283
Melik-Gaykazyan I.V. Axiological Measurement of Social Demand for Creative Education.....	288
Schulman E.M., Kutuzova A.A. Changing Demand for Education as a Reflection of the Transformation of the Social Norm	293

ARCHIVE

Ogleznev V.V. On the Application of Wittgenstein's Later Ideas in Modern Legal Theory.....	297
Bix B. The Application (and Mis-Application) of Wittgenstein's Rule-Following Considerations to Legal Theory.....	303

INFORMATIONS ABOUT THE AUTHORS	320
---	-----

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

УДК 1.16

DOI: 10.17223/1998863X/58/1

Г.Г. Антух, В.А. Ладов

БИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ В ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Обсуждаются философские основания биолингвистического подхода к проблеме соотношения языка и когнитивных способностей. Демонстрируется, что данное воззрение эпистемологически непоследовательно и влечет неразрешимые логико-семантические противоречия, которые, по мнению авторов, оказываются критическими для концепции базовых свойств языка. Рассматриваются альтернативные решения проблемы соотношения языка и мышления в рамках генеративистской эпистемологии.

Ключевые слова: язык, мышление, универсальная грамматика, генеративизм, парадоксы, Хомский.

Нельзя сказать, что концепция социального научения, зародившаяся под влиянием «павловского» тренда в середине прошлого века в США, была принципиально нежизнеспособна. Утрированная схематизация мотивов человеческого поведения – слабое место чуть ли не всех теорий, возникших в то время на фундаменте биологии и физиологии. Сегодня можно с уверенностью сказать, что, пережив полувековую гуманитарную осаду, бихевиоризм возродился в набирающей систематической ясности когнитивной науке. Но есть один нюанс, остающийся камнем преткновения для решительного прорыва когнитивистики в изучении человеческих способностей – вопрос о природе языка и мышления. Примечательно, что сейчас в решение этого вопроса активно вовлечены биология, нейро- и поведенческие науки. Между тем концепция, подорвавшая одним аргументом авторитет бихевиоризма, все еще сохраняет влияние.

Считается, что аргумент Н. Хомского, получивший название «бедность стимула», обнаружил наиболее уязвимое место концепции социального научения [1]. Доводы ученого указывали на то обстоятельство, что в процессе усваивания своего первого языка человек знакомится в основном с грамматически корректными предложениями. Тем не менее, отталкиваясь от ограниченного количества примеров «правильного» употребления языка, ребенку в короткий срок удастся научиться выстраивать неограниченное количество грамматически правильных предложений. Данное обстоятельство, по мнению ученого, связано с врожденной способностью к языку, позволяющей человеку на основании конечного набора универсальных лингвистических правил выстраивать потенциально бесконечное количество новых предложений. До сих пор сохраняется мнение, что концепция социального научения

была неспособна предложить прямое объяснение данному феномену. Хомский с учениками неоднократно ссылались на один занимательный факт: каждое новое предложение «разумной длины» используется впервые [2]. Так ли это на самом деле, и способна ли генеративистская эпистемология нативистского типа выдержать последовательность именно в эпистемологической, а не лингвистической перспективе?

В недавней работе Н. Хомского и Р. Бервика «Why only us: Language and Evolution» подводятся предварительный итог исследований по эволюции языка, из которого следует однозначный вывод об исключительной роли языка в эволюции когнитивных способностей человека [3]. Примечательно, что данное убеждение выносится в защиту развиваемой Хомским и его последователями с середины прошлого века концепции генеративной грамматики, пережившей с того момента неоднократные видоизменения. Трансформация универсальной грамматики в теорию принципов и параметров становится важнейшей предпосылкой новой волны интереса к эволюции языка и мышления, возникшей в начале 90-х гг. в прошлого века. С тех пор концепция базовых свойств языка практически не пересматривалась, а философские основания генеративистского подхода не подвергались масштабной критике. Предрассудки, заложенные генеративистами в общую теорию языка, успели распространиться на смежные отрасли познания и оставить заметный след в когнитивных науках.

В основу концепции Хомского и последователей, получившей обновленное название «биолингвистической программы», полагается убеждение о врожденном характере и фундаментальном эпистемологическом статусе лингвистической компетенции, реализующейся посредством универсальных генеративных процедур, физическая имплементация которых недоступна внечеловеческим формам организации психики. Дискуссии последних десятилетий показали, что биолингвистический подход не предлагает исчерпывающего объяснения проблемы соотношения языка и когнитивных способностей. Ситуация осложняется тем, что имеющиеся критические аргументы в адрес философских оснований биоуниверсализма были локальны, из-за чего оказались не способны охватить принятые генеративистами в рамках единого подхода разнородные с точки зрения логики и методологии принципы. Доводы оппонентов касались отдельных эмпирических и теоретических аспектов универсализма и генеративизма. Часть из них указывала на вариативные данные дескриптивной лингвистики, которые никак не вписывались в концепцию универсальной грамматики, часть концентрировалась вокруг роли таких компонентов лингвистической теории, которым генеративисты уделяли незначительное внимание, как, например, семантика, коммуникация и деятельность.

Важно отметить, что теоретический характер настоящего исследования не предполагает обзора экспериментальных данных, наработанных лингвистами за последнее время, в какой бы степени они не подтверждали или не опровергали убеждения Хомского и его последователей. Цель работы – продемонстрировать невыполнимость тезисов биолингвистической программы в контексте критики генеративистской эпистемологии. Используя полученные результаты, будут намечены общие рекомендации для теорий универсалист-

ского типа, исключаяющих эпистемологические недостатки генеративной грамматики Хомского.

Согласно концепции Хомского и последователей человеческий язык детерминирован набором врожденных лингвистических алгоритмов, реализуемых лингвистическим модулем в головном мозге человека. Каждый человек в пределах условной нормы обладает врожденной способностью к языку, развитие которой в большей степени связано с генетическим, чем с социальным фоном. В противном случае тот факт, что обучение первому языку обычно проходит в условиях, в которых ребенок имеет дело преимущественно с корректно построенными предложениями, становится труднообъяснимым. Тем не менее специфика развития речи у ребенка состоит именно в том, что многих ошибок, примеров которых в его опыте не встречалось, он как раз и не допускает. Из этого, согласно биолингвистическому подходу следует, что знание о функционировании языка на уровне базовых алгоритмов заложено в человеке с рождения и лишь частично связано с социальным фактором. По каким-то причинам бихевиористский по своей сути тезис лингвиста Хомского был обращен против самого бихевиоризма. Разве врожденная способность испытывать боль исчерпывает все возможные варианты, при которых она возникает? Вопрос, за которым вряд ли стоит искать глубокую подоплеку.

В то же время грандиозный замысел Хомского и последователей состоял не столько в том, чтобы обосновать опосредованность речи генетически заданным нейрофизиологическим фактором, сколько в том, чтобы подвести способность к языку под действие единого принципа универсальной грамматики. Для самого автора концепции «универсальная грамматика – своего рода „теория наследственного компонента языковой способности“» [3. С. 136]. В соответствии с развиваемыми Хомским и единомышленниками взглядами одно из базовых свойств человеческого языка заключается в «способности создавать бесконечное множество иерархически структурированных конструкций, каждая из которых определенным образом интерпретируется в результате обработки в других внутренних системах» [3. С. 164]. Подобно компьютеру, имеющему устройства ввода, вывода и выполняющему арифметико-логические операции процессора, комбинаторно-вычислительная функция языка возлагается на ментальный компонент *i-language*¹, посредством которого реализуется принцип порождающей модели языка. Общая теория для всех типов «внутренних языков» носит название универсальной грамматики, задающей класс порождающих процедур, подлежащих базовому свойству языка, и класс атомарных элементов, поступающих на вход вычислительных операций.

Компьютерная метафора – подходящий инструмент, когда объяснение когнитивных способностей человека и без того усложняется специальной терминологией. Одно дело, когда метафора действительно способствует прояснению вещей, совсем другое, когда она подменяет собой их реальное положение. Хомский с единомышленниками утверждают, что базовые свойства

¹ Internal Language («внутренний язык») – термин, закрепившийся в общей теории языка для обозначения связи ментальных состояний с вербальным содержанием. В концепции Хомского понятие внутреннего языка обозначает своего рода «язык мышления», набор генеративных процедур, задействованных в лингвистическом творчестве человека.

языка делятся на внутреннюю вычислительную систему, участвующую в построении иерархически структурированных предложений, интерпретируемых на интерфейсах с двумя другими системами – сенсомоторной, служащей для экстернализации языковых выражений, и концептуальной, роль которой состоит в формировании умозаключений, планировании и организации действий. С точки зрения биолингвистического подхода способность к языку подразумевает наличие врожденных механизмов лингвистического творчества, обеспечивающих возможность проецирования конечного набора правил на потенциально бесконечное множество языков и способов употребления языковых выражений. Каждое предложение, включая и это, является продуктом порождающего механизма языка. Примечательней всего для автора такой концепции в какой-то момент осознать, что его теория ему не принадлежит, ведь он сам настаивает на том, что многообразие выразительных средств языка есть не более чем результат действия нейробиологических процессов.

Эпистемологические границы генеративной модели языка и мышления

Суть претензий к философским основаниям генеративистской эпистемологии может быть сведена к двум центральным положениям:

1. Если универсальная грамматика представляет собой конечный набор правил, позволяющий на его основе выстраивать потенциально неограниченное количество новых предложений, то частным случаем такого проецирования становится сама универсальная грамматика. Как если бы класс феноменов был частью самого себя, концепция универсальной грамматики, выраженная в языке и оформленная грамматически, принадлежит самой себе и описывает себя как часть себя же самой. Смысл древнейшего парадокса – «лжеца» нисколько не теряет своего блеска на фоне недостроенного фасада концепции порождающей грамматики [4]. Нарушение запрета, накладываемого теорией типов на образование множеств, в случае с порождающей моделью языка приводит к неявному противоречию, а сам запрет становится невозможен из-за специфики изучаемых Хомским феноменов – естественных языков, относящихся к классу «семантически замкнутых» [5]. Согласно предположению, выдвинутому А. Тарским в начале прошлого века, причиной парадокса негативного автореферентного тождества выступает то обстоятельство, что язык, используемый для описания мира, вместе с тем используется для описания самого себя. Именно это обстоятельство мешает концепции универсальной грамматики Хомского дать полное непротиворечивое объяснение многообразию выразительных средств языка. Никак не укладывается, чтобы великий ученый не видел различия между абстракцией и реальностью. Именно за этим различием скрывается простая истина о том, что научная теория и описываемые ею объекты не могут быть частью одного и того же множества объектов, даже если объекты такой теории – слова. Невнимательное отношение к этому весьма тонкому, но принципиально значимому различию имеет серьезные следствия для общей теории языка и мышления. Лингвист Хомский оказывается в ловушке слов именно в тот момент, когда начинает работать над механизмами порождающей модели языка. Примечательней всего в этой истории, что в последней редакции минималистских тезисов остается всего один из ранее описанных механизмов линг-

вистического творчества – операция соединения (*merge*), обеспечивающая трансформацию синтаксических единиц, в том числе и по типу рекурсии. Упрощенно, из слов «собака», «ест» и «кекс» при помощи операции соединения получается новое предложение «Собака[merge]ест[merge]кекс». Имея при этом готовую форму «Дональд Трамп[merge]сказал_что», можно получить рекурсивную структуру «Дональд Трамп[merge]сказал_что[merge]собака[merge]ест[merge]кекс». Рекурсивность обыденного языка, по мнению Хомского, сыграла ключевую роль в эволюции человеческого мышления в качестве необходимой основы для развития лингвистической компетенции. Самое интересное, что рекурсивного механизма, и только его одного, вполне достаточно, чтобы закоротить концепцию универсального языка на самое себя, лишив ее тем самым прочного эпистемологического фундамента, без которого не построить внятной теории мышления. Как целое не может быть мыслимо частью себя самого, так никакая вещь немыслима в отношении с собой [6]. Галилеевский стиль наукотворчества, которому подражает Хомский, оказывается непригодным для решения задачи, не решаемой методологией галилеевской науки. Внимание ученого вопреки его феноменальной компетентности в различных областях ускользало от непоправимой ошибки.

Возможно, явление автореферентности в приложении к общей теории языка интересовало Хомского в меньшей степени, чем гипостазированная схематизация речевого поведения, принципы которого с незначительными вариациями уже излагались в книгах по сравнительной этологии и зоопсихологии середины XX в. Представляется сомнительным, чтобы рациональная грамматика Пор-Рояля [7] с лозунгом «Говорить, значит, мыслить!» после открытия «Синтаксических структур» по-прежнему влияла на дальнейшее творчество ученого. Недооценив роль семантического и деятельностного компонента речи, Хомский с учениками разделили мышление и речь. Разделение прошло именно в том месте, где по заветам греческой философии они и соединялись – в слове. Грамматизм Хомского аналогично формализму Д. Гилберта сыграл двоякую роль: подарил новый подход к решению «нерешаемых» задач, но так и не справился с проблемами, инициированными самим подходом. Не лишним будет заметить, что никакие задачи формализма не могут быть выше тех целей, ради которых раз за разом изобретаются формальные системы [6]. В том виде, в котором Хомский в соавторстве с Бервиком представляет биолингвистический подход к проблеме соотношения языка и мышления, – чистой воды лингвистический формализм, который, как было показано, не справляется даже с тем, чтобы быть внутренне непротиворечивым, опуская при этом важную деталь, с которой, по мнению некоторых ученых, все же приходится считаться, когда речь заходит о природе языка и мышления. Эта незначительная для «грамматического чуда» Хомского вещь – семантика, важнейшую роль которой продемонстрировала дискуссия об индивидуальном языке.

2. Без сомнения, потенциал лингвистического творчества, заложенный в универсальной грамматике, позволяет выстраивать неограниченное количество новых предложений, среди которых сама концепция универсальной грамматики является лишь частным случаем самой себя. Стало быть, универсальная грамматика, подпадающая под действие собственных положений, становится механизмом генерации различных версий самой себя, а количе-

ство таких версий, исходя из положений самой универсальной грамматики, потенциально неограниченно. Уязвимое место в основаниях биолингвистического подхода может быть передано словами Л. Витгенштейна: «...ни один образ действий не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с этим правилом... если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом...» [8. С. 163]. На выходе мы получаем, что комбинаторно-рекурсивная модель генеративистской эпистемологии логически изоморфна парадоксу расселовского типа и семантически гомологична скептическому аргументу «позднего» Витгенштейна. Если, в конце концов, всякий набор лингвистических и паралингвистических правил может претендовать на статус универсального и для каждого языка или для всякого отдельно взятого предложения справедливым оказывается любое из потенциально бесконечных правил, согласно которым данный язык или отдельно взятое предложение функционируют. Таким образом, конечный набор универсальных правил, проецирующихся на бесконечное множество собственных вариаций, становится набором ничем не ограниченных функций. Следуя этой спекулятивной гипотезе, возможно предположить, что отношения, связывающие нормы словоупотребления и отдельные случаи словоупотребления, по природе своей инверсивны. Злая ирония в том, что если Хомский прав, то нет никаких предустановленных механизмов лингвистического творчества, кроме того, что порождает неограниченную вариативность алгоритмизации синтаксических структур. Будь у нас не один, а тысяча Хомских, мы имели бы тысячу теорий наследственного порождающего компонента языка, а не одну.

В пользу инверсивной теории порождающей грамматики

Конечно, философская оценка частнонаучной теории неизбежно связана с идеализацией как ее самой, так и ее компонентов. На протяжении длительного времени сама теория Хомского была не только образцом научной идеализации, но еще и рабочим инструментом, зарекомендовавшим себя во многих областях научного знания. Со ссылкой на новостной раздел сайта Массачусетского технологического университета от 15 апреля 1992 г. приводится интересная статистика. Фактически индекс цитирования работ Хомского в период с 1980 по 1992 г. делает его автора самым цитируемым живым человеком по величине источников цитируемости сразу после З. Фрейда и Г. Гегеля. Там же отмечается, что Хомского цитируют практически во всех областях науки без исключения. Библиотекарь по гуманитарным наукам А. Тобин, которая проверила цифры, добавила: «Вероятно, у вас не получится написать статью без цитирования Хомского» [9]. Пусть это и небольшое преувеличение, но вклад Хомского в современную научную и общественно-политическую жизнь трудно переоценить.

Как и всякий ученый, преданный своему делу на протяжении всей жизни, Хомский не мог не быть идеалистом. В большей степени идеализм Хомского выразился в отношении к предмету его лингвистических изысканий. Комментируя работу выдающегося ученого «Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use», А. Джордж отмечает, что «задача лингвистики состоит в том, чтобы предложить какой-то более приемлемый ответ на то, что в этой

книге Хомский называет „Проблемой Платона“: как возможно, что мы знаем так много в столь малом опыте» [10. С. 274]? И несмотря на то, что решение этой проблемы, предложенное Хомским, квалифицируется в некоторых источниках как натуралистическое¹, с точки зрения эпистемологических оснований оно является платонистским, с чем и связаны противоречия, описанные ранее. Однако о недостатках философских оснований генеративистской эпистемологии уже говорилось, настала очередь наметить перспективы на будущее.

Пожалуй, наиболее экономичным с точки зрения трудозатрат способом работы с противоречиями являются гипотезы *ad-hoc*. По специфике применения самой экстравагантной версией гипотезы *ad-hoc* является инверсия. Для примера, если теория *S* гласит, что *b* следует из *a*, и при этом возникают противоречия, метод инверсии подсказывает заменить *S* на *S*-инверсированную, из которой будет следовать одно из двух: либо *b* не следует из *a*, либо *a* следует из *b*. Универсальная грамматика учит тому, что существует конечный набор правил, проецирующихся на потенциально бесконечное множество новых предложений. Ранее было показано, что признание данного утверждения приводит не только к противоречию, но и к самоотрицанию концепции универсальной грамматики. В этом прочтении универсальная грамматика учит прямо противоположному, а именно тому, что набор правил, проецирующихся на потенциально новые предложения, бесконечен, что по определению невозможно. Наше предложение состоит в следующем: если базовый принцип универсальной грамматики *S* порождает противоречие, почему бы не применить к проблеме *ad-hoc* инверсивное решение. Таким образом, теория *S* – универсальная грамматика, устанавливающая связь конечного набора лингвистических принципов с потенциально неограниченным количеством новых выражений, заменяется на *S* – инверсированную, которая в одном случае отрицает всякую связь универсальных истин с бесчисленным количеством существующих предложений – S_{in1} , а в другом – учит, что количество предложений, используемых в языке, ограничено, но способы их упорядочивания бесконечно вариативны – S_{in2} .

Вышеприведенные рассуждения открывают широкий простор для философского осмысления оснований общей теории языка. В заключение настоящей работы мы остановимся лишь на двух замечаниях, базирующихся на концепции S_{in2} .

Первая гипотеза состоит в том, что количество новых выражений, способных покрыть объем долговременной памяти, кратно превышает способность человека оперировать все новыми и новыми выразительными средствами, опираясь при этом на ограниченный ресурс памяти оперативной. Мир изменчив, но не настолько, чтобы запоминать в день по 1 000 новых слов. Пусть этим занимаются ученые. Как показывает практика самонаблюдения, в повседневности активный словарь малопримечателен своим разнообразием. Скажем, пример сообществ, чья деятельность связана с высокой мобилизацией и риском, также демонстрирует, что ее представители в профессии почти всегда используют ограниченный словарь. Что справедливо для

¹ Аналогичное мнение разделяет соавтор настоящей статьи В.А. Ладов в работе «Иллюзия значения: проблема следования правилу в аналитической философии» (2008), посвященной систематическому разбору скептического аргумента «позднего» Л. Витгенштейна.

солдата в боевой готовности, то справедливо для одного единственного вида в эволюции. Черепная коробка *homo sapiens* имеет достаточный объем для ущемления нейрофизиологического субстрата, способного обеспечить выразительность обыденной речи. Все, что выходит за пределы бытовых нужд языка, заметно нагружает нервную систему, требуя высокой концентрации на этапе экстернализации. Про эту неприятную особенность вам расскажет любой человек, чья профессия связана с лингвистическим творчеством. Маловероятно, чтобы порождающий механизм языка был нацелен на производство потенциально бесконечного словаря в условиях ограниченного биологического ресурса, совсем наоборот, в таком случае его главной задачей стала бы минимизация затрат на производство новых выражений. А если старые выражения могли бы быть полезны для новых целей, то, без всяких сомнений, «ленивый» мозг воспользовался бы такой возможностью. Но как же в данном случае объясняется рекурсивность языка?

Обратимся к трем предложениям: «На столе лежит книга», «Джон сказал, что на столе лежит книга» и «Дональд Трамп услышал, что Джон сказал, что на столе лежит книга». В каком-то смысле перед нами три разных предложения, описывающих три различных события. Но если наш «ленивый» мозг заинтересован в том, чтобы заполучить книгу, которая лежит на столе и, в общем-то, по ряду признаков книга эта никому особо не нужна, мозгу нет никакого дела до того, кто это сказал или услышал. Стало быть, принципиального различия между данными предложениями с точки зрения практической значимости здесь нет. Есть только целеориентированное поведение, в рамках которого мозг выполняет функцию навигации, нивелируя тонкости описания и смещая акцент с синтаксических структур на смысловые. Что же касается семантики нейролингвистических процессов, то роль их состоит в том, чтобы «дремучий», помещенный в трехмерное евклидово многообразие организм не запутался в плоскости, по которой ему нужно проследовать, чтобы добраться до известной книги.

И в самом деле, основное назначение мозга, а если мы ищем основополагающую связь между нейробиологией и лингвистикой, то и назначение языка – это пространственная и временная ориентация. Других наиболее общих фундаментальных и вместе с тем значимых для каждого из живущих *homo* универсалий нет и быть не может. Сегодня генетики скептически относятся к предположению, что язык якобы эволюционировал спонтанно при участии гена *FOXP2*. Эволюция не изобретает заново сложные конструкции, но с готовностью принимает надстройки над уже имеющимися структурами. Для такой сложной функциональной единицы, как язык, мало иметь пару-другую активных зон в лобной и височной долях, здесь требуется нечто более масштабное. Примером этого базового задела для лингвистической компетенции становится способность ориентироваться и перемещаться в пространстве. Неоднократно отмечалось, что язык изобилует предлогами, первичная функция которых состоит в пространственном моделировании. Тут даже не надо приводить примеров, язык буквально пронизан пространственными указателями. Попробуйте хоть раз изъясниться без предлогов, и вы ощутите фундаментальную роль пространственного компонента мышления, инкорпорированного в лексику современного человека через многократные повторения длиною в тысячи лет. Еще Г. Бейтсон с подачи А. Кожбинского сравнивал

язык с картой, приуроченной к начертанию реальности в которой удосуужилось оказаться человеку [11]. А для каких еще более важных задач эволюции потребовалось создавать такой сложный саморазвивающийся инструмент, как язык? И если язык опосредует мышление, то кроме как пространственного, никакого мышления быть не может. Функция языка в таком случае состоит в моделировании вариаций трехмерного многообразия. Главное – не забывать, что абстракция и реальность – две разные вещи. Если атрибутировать абстракциям реальное существование, то вскоре можно позабыть, что именно является предметом естественнонаучного изучения. До сих пор методы, которыми изучалась психика, и методы, которыми изучался язык, принадлежали к различным уровням абстракции. Одно из них реально, другое – идеализация. Вероятно, уже в ближайшем будущем пропасть, разделяющая язык и реальность, сократится до проблемы, обозримой человеческой мыслью, решение которой лишь дело времени.

Пусть это прозвучит несколько вульгарно, но трагедия головного мозга в том, что он заперт в черепной коробке и по воле обстоятельств вынужден балансировать в тесном пространстве, заполненном небольшим количеством жидкости. И для того чтобы хоть как-то совладать с неприспособленными движениями других органов человеческого тела, эволюции потребовался язык, который стал для человека компасом в мир, о котором нам предстоит узнать еще много всего важного и интересного. Что же касается регрессивной модели генеративистской эпистемологии Хомского, стоит обратиться к еще одному небезынтересному факту: даже одного символа достаточно, чтобы сгенерировать бесконечную последовательность символических связей. Стоит ли вообще проецировать на язык механизм комбинаторно-рекурсивного синтеза, если в основе комбинации знаков языка лежат совсем другие принципы? Название этим принципам – семантика, коммуникация и деятельность – именно те компоненты теории языка, которым Хомский с единомышленниками уделяли незначительное внимание. Легкомысленное отношение к важнейшим элементам теории становится определяющей предпосылкой к аргументированной критике концепции выдающегося ученого, пережившей серию трансформаций, но так и не добравшейся до сути предмета, изучению которого была посвящена обширная часть ее легендарной истории.

Литература

1. Chomsky N. Reviews: Verbal behavior by B.F. Skinner // *Language*. 1959. Vol. 35, № 1. P. 26–58.
2. Katz J., Fodor J.A. The structure of a semantic theory // *Language*. 1963. Vol. 39, № 2. P. 170–210.
3. Хомский Н., Бервик Р. Человек говорящий. Эволюция и язык. СПб. : Питер, 2019. 304 с.
4. Ладов В.А. Критический анализ иерархического подхода Рассела–Тарского к решению проблемы парадоксов // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2018. № 44. С. 11–24.
5. Антух Г.Г. Психопатология повседневной коммуникации с точки зрения иерархического подхода к решению проблемы парадоксов // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2020. № 56. С. 13–22.
6. Антух Г.Г. Очевидность, мышление, следование правилу // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2019. № 49. С. 5–16.
7. Арно А., Лансло К. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля / пер. с фр., коммент. и послесл. Н.Ю. Бокадоровой; общ. ред. и вступ. ст. Ю.М. Степанова. М. : Прогресс, 1990. 272 с.

8. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. М. : Гнозис, 1994. Ч. 1. 612 с.
9. Chomsky Is Citation Champ // Massachusetts Institute of Technology. URL: <https://news.mit.edu/1992/citation-0415> (accessed: 15.10.2020).
10. Ладов В.А. Иллюзия значения. Проблема следования правилу в аналитической философии. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008. 326 с.
11. Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М. : Смысл, 2000. 476 с.

Gennady G. Antukh, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: g.antukh@yandex.ru

Vsevolod A. Ladov, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: ladov@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 5–15.

DOI: 10.17223/1998863X/58/1

A BIOLINGUISTIC APPROACH TO THE PROBLEM OF THE RELATION OF LANGUAGE AND THINKING IN AN EPISTEMOLOGICAL PERSPECTIVE

Keywords: language; thinking; universal grammar; generativism; paradoxes; Chomsky.

The intensive development of science and technology challenges integrative and interdisciplinary research approaches. The hypothesis of NBIC convergence, which is gaining popularity, in the light of modern advances in the field of nano-, bio-, information and cognitive technologies seems more and more realistic. A special place among the interdisciplinary fields that have been actively developing in recent decades is occupied by neuro- and cognitive sciences. The biological uniqueness of the human mind imposes significant difficulties on the study of humans and society in the framework of the natural science paradigm. The most certainty in matters related to the interpretation of human cognitive abilities was achieved by the biolinguistic program, which states: linguistic competence is a species-specific dominant that determines the cognitive architecture of human identity. The approach to the study of language and thought that originated in the middle of the past century successfully fit into the neo-Darwinist trend, whose popularity grew along with the influence of evolutionary biology. Even then, the first attempts were made to create a theory of language as a theory of the evolution of a biological object, subject to the laws of heredity and variability. The history of this approach originates in the writings of Noam Chomsky and Eric Lenneberg, whose efforts contributed to the creation of an alternative to the functionalist views in cognitive sciences. The concept of Chomsky and his followers was based on the belief in the fundamental epistemological status of language competence inherent exclusively in the human species and realized through universal generative procedures. The principles of generative grammar were adopted not only by linguists and cognitive scientists, but also by neuroscientists, biologists, sociologists, IT specialists and philosophers. Once in the mainstream of around philosophical vanguard, the concept of a “universal language” quickly gained confidence and became the foundation of both cognitive research and research in the adjacent fields. However, the assumption underlying this concept, the sense of which in general reduces to the postulating of the mental neuro-linguistic factor mediating the combinatorial-symbolic and sensorimotor speech systems, cannot be accepted for a number of fundamental theoretical objections. The aim of this article is to demonstrate the impracticability of the theses of the biolinguistic program in the context of criticism of the generativistic model of cognition and to show that this view of the nature of language and thinking is epistemologically inconsistent and entails unsolvable logical and semantic contradictions, which, according to the authors, are critical for the concept of basic properties of language. The article also discusses alternative solutions to the problem of the relationship between language and thinking in the framework of generativistic epistemology.

References

1. Chomsky, N. (1959) Reviews: Verbal behavior by B.F. Skinner. *Language*. 35(1). pp. 26–58.
2. Katz, J. & Fodor, J.A. (1963) The structure of a semantic theory. *Language*. 39(2). pp. 170–210.
3. Chomsky, N. & Berwick, R. (2019) *Chelovek govoryashchiy. Evolyutsiya i yazyk* [Why Only Us: Language and Evolution]. Translated from English by S.V. Chernikov. St. Petersburg: Piter.

4. Ladov, V.A. (2018) Critical analysis of the hierarchical approach to the solution of the paradox problem. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 44. pp. 11–24. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/44/2
5. Antukh, G.G. (2020) The Psychopathology of Ordinary Communication in Terms of a Hierarchical Approach to Solving the Paradoxes Problem. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 56. pp. 13–22. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/56/2
6. Antukh, G.G. (2019) Evidence, thinking, rule-following, sledovanie pravilu. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 49. pp. 5–16. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/49/1
7. Arnauld, A. & Lancelot, K. (1990) *Grammatika obshchaya i ratsional'naya Por-Royalya* [The General and rational grammar: The Port-Royal Grammar]. Translated from French by N.Yu. Bokadorova. Moscow: Progress.
8. Wittgenstein, L. (1994) *Filosofskie raboty* [Philosophical Studies]. Translated from German. Moscow: Gnozis.
9. Anon. (1992) *Chomsky Is Citation Champ*. Massachusetts Institute of Technology. [Online] Available from: <https://news.mit.edu/1992/citation-0415> (Accessed: 15th October 2020).
10. Ladov, V.A. (2008) *Illyuziya znacheniya. Problema sledovaniya pravilu v analiticheskoy filosofii* [The illusion of meaning. The problem of following the rule in analytical philosophy]. Tomsk: Tomsk State University.
11. Bateson, G. (2000) *Ekologiya razuma. Izbrannye stat'i po antropologii, psikhiiatrii i epistemologii* [Ecology of Mind. Selected Articles on Anthropology, Psychiatry and Epistemology]. Translated from English. Moscow: Smysl.

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00057).

получил название «парадокс Фитча»¹. Аргумент, приводящий к указанному следствию, базируется, помимо ПП, на следующих двух принципах:

1) упомянутый в начале статьи принцип фактивности знания: все известное имеет место; формально $Kp \rightarrow p$;

2) принцип дистрибутивности знания относительно конъюнкции: если мы знаем, что p и q , то мы знаем, что p , и знаем, что q . Формально $K(p \& q) \rightarrow Kp \& Kq$.

Аргумент состоит в следующем. Допустим, имеет место нечто неизвестное, т.е. $p \& \sim Kp$. Применяя к этому допущению принцип познаваемости в формализации (1), мы получаем $\Diamond(K(p \& \sim Kp))$. Отсюда, согласно принципу дистрибутивности, следует $\Diamond(Kp \& K \sim Kp)$. Применяя принцип фактивности ко второму конъюнкту в последней формуле, мы получаем $\Diamond(Kp \& \sim Kp)$. Этот результат противоречит стандартной теореме модальной логики: для любого ϕ $\sim \Diamond(\phi \& \sim \phi)$. Это опровергает исходное допущение, т.е. мы получаем $\sim(p \& \sim Kp)$, что в классической логике эквивалентно формуле $p \rightarrow Kp$, которая гласит, что если p имеет место, то оно известно. Поскольку рассуждение валидно для произвольного p , результат допускает обобщение: все известно; нет ни одной неизвестной истины. Конечно, это неприемлемый вывод.

Стоит отметить, что принципы фактивности и дистрибутивности, использованные в рассуждении, представляются несомненными. Принцип фактивности, как уже отмечалось, следует уже из дефиниции знания². Принцип дистрибутивности знания относительно конъюнкции может быть поставлен под сомнение на том основании, что он предполагает, что мы не только способны сделать умозаключение формы «если $p \& q$, то p » и «если $p \& q$, то q », но и всегда делаем такие умозаключения, когда имеем конъюнктивное знание. Однако понятно, что это предположение эмпирически неверно. Это возражение против принципа дистрибутивности не снимает проблему: мы можем расширить понятие знания, включив в него логически имплицитное знание, т.е. знание, логически следующее из знания, которым мы обладаем, и обладание которым осознаем. Относительно этого расширенного понятия знания принцип дистрибутивности, очевидно, верен, что приводит к воспроизведению проблемы.

Отмечу также, что один из шагов аргумента Фитча, а именно переход от $\sim(p \& \sim Kp)$ к $p \rightarrow Kp$, основан на эквивалентности $\sim(a \& \sim b)$ и $a \rightarrow b$, которая является теоремой в классической логике, но не в интуиционистской. Используя интуиционистскую логику, из $\sim(p \& \sim Kp)$ нельзя вывести $p \rightarrow Kp$ ³. Поэтому, например, М. Даммит считает, что для интуиционизма парадокс Фитча не существует [4, 5]. С этим нельзя не согласиться, если под парадоксом Фитча понимать вывод $p \rightarrow Kp$ с последующим обобщением до тезиса об

¹ Сам Фитч атрибутирует этот аргумент одному из анонимных рецензентов его статьи. Как сообщает Салерно [2], этим рецензентом был А. Черч, поэтому некоторые авторы предпочитают называть данный парадокс парадоксом Черча – Фитча.

² Попытки поставить под сомнение стандартное определение знания, такие как попытка Гетье [3], не привели к серьезной ревизии данного определения.

³ В интуиционистской логике из $\sim(p \& \sim Kp)$ следует $p \rightarrow \sim \sim Kp$, что в переводе на естественный язык означает, что если p истинно, то неверно, что p неизвестно. В интуиционизме из последнего утверждения не следует, что p известно, поэтому формула $p \rightarrow \sim \sim Kp$ имеет интуитивно приемлемый смысл.

известности всех истин: действительно, интуиционизм блокирует вывод $p \rightarrow Kp$. Однако это не значит, что интуиционизм не сталкивается с проблемой, связанной с аргументом Фитча. Дело в том, что в рамках интуиционистской логики вполне легален фрагмент аргумента Фитча до формулы $\sim(p \& \sim Kp)$ включительно, т.е. если интуиционист принимает (1) вместе с принципами фактивности и дистрибутивности знания, он должен принять и $\sim(p \& \sim Kp)$. Но эта формула гласит, что пропозиция p не является одновременно истинной и неизвестной. Обобщение этой формулы (вполне легальное в интуиционизме) гласит, что ни одна пропозиция не может быть одновременно истинной и неизвестной, и это утверждение является не менее контринтуитивным, чем утверждение, что все истины известны¹.

Таким образом, ни отказ от принципа дистрибутивности знания относительно конъюнкции, ни отказ от классической логики в пользу интуиционистской не решают проблему Фитча. Представленные в литературе решения данной проблемы можно разделить на пессимистические и ревизионистские. Пессимистические решения состоят в отказе от ПП (и, соответственно, от выражаемого им эпистемологического оптимизма); ревизионистские решения состоят в пересмотре формализации ПП, т.е. в поиске альтернативной формализации, которая не имеет нежелательных следствий, но соответствует интуитивному смыслу понятия познаваемости. Ниже я рассматриваю две альтернативные формализации ПП, предложенные Дороти Эджингтон и Майклом Фарой, и отмечаю их критические недостатки, связанные с трактовкой познаваемости как фактивной.

2. *Решение Эджингтон*. Ревизионистское решение проблемы, предложенное Эджингтон [8. Р. 366], стало предметом интенсивного обсуждения в литературе. Эджингтон ограничивает применимость ПП актуальными истинами, т.е. истинами действительного мира, и предлагает формализацию ПП на языке, содержащем оператор актуальности «А». Ее формализация такова:

$$Ap \rightarrow \Diamond KAp. \quad (2)$$

В переводе на естественный язык данная формула гласит: *если пропозиция p истинна в действительном мире, это может быть известно*. В семантике возможных миров фраза «это может быть известно» означала бы, что существует возможный мир, в котором известно, что p истинна в действительном мире. Это предполагало бы, что в некотором *возможном мире* w существуют агенты, знающие, что p имеет место в *действительном мире*, который может не совпадать с w . Это, в свою очередь, означало бы, что субъекты знания, существующие в w , способны идентифицировать действительный мир как объект знания. Конечно, это явно контринтуитивное предположение, поскольку для того чтобы идентифицировать возможный мир, т.е. отличить его от всех остальных миров, необходимо его полное описание, и очевидно, что существа с ограниченными познавательными возможностями (такие, как мы – люди) обладать таким описанием не могут. Поэтому Эджингтон предлагает использовать для интерпретации (2) не семантику возможных миров, а семантику ситуаций в стиле Хамберстона [9]. В семантике Хамберстона ситуация – это сколь угодно ограниченный фрагмент возможного мира, поэто-

¹ Детальное обсуждение интуиционистского подхода к парадоксу Фитча выходит за рамки данной статьи. См. обзор существующих решений парадокса Фитча в работах Броград и Салерно [6, 7].

му идентификация ситуации эмпирическими агентами знания вполне возможна.

Несомненно, эта формализация ПП блокирует аргумент Фитча, поскольку подстановка $p \& \sim Kp$ вместо p в (2) не приводит к противоречию. Однако, как отмечает Уильямсон [10], эта формализация имеет два существенных недостатка. Во-первых, актуальные истины, т.е. истины формы Ap , являются необходимыми: в модальной логике с оператором актуальности A эквивалентно $\Box Ap$. Таким образом, ПП в версии Эджингтон применим только к определенной разновидности необходимых истин, что ставит под вопрос его философскую значимость.

Во-вторых, консеквент (2) означает, что агенты контрфактического знания идентифицируют некоторую актуальную ситуацию, т.е. имеют идентифицирующее описание этой ситуации. Проблема здесь состоит в следующем. Если некоторый агент в некоторой контрфактической ситуации (к которой отсылает \Diamond) знает, что в действительной ситуации (к которой отсылает A) имеет место p , он идентифицирует действительную ситуацию, т.е. обладает ее идентифицирующим описанием D . Так вот, если p следует из D , то знание, которое (2) атрибутирует контрфактическим агентам, сводится к чисто логическому знанию (знанию о логическом следовании), что не соответствует интуитивному смыслу ПП. Если же p не следует из D , то D совместимо с $\sim p$, а значит, D описывает не только некоторую действительную ситуацию, но и некоторые контрфактические ситуации – фрагменты миров, в которых p ложно. В этом случае у нас нет оснований приписывать контрфактическим агентам знание Ap , т.е. использование оператора актуальности в консеквенте (2) оказывается необоснованным¹.

Для меня важна особенность теории Эджингтон, которая получает дальнейшее развитие в подходе Фары. Эта особенность состоит в том, что в (2) предполагается трактовка познаваемости как фактивной. В самом деле, в теории Эджингтон пропозиция p познаваема, если в некоторой актуальной ситуации a истинно $\Diamond KAp$, т.е. в некоторой возможной ситуации s истинно KAp . В силу фактивности знания истинность KAp в s влечет истинность Ap в s ; последнее же влечет истинность p в a , а значит, и в действительном мире. Таким образом, познаваемость влечет истинность. Фара считает этот момент достоинством подхода Эджингтон и пытается сохранить его в своей версии ПП.

3. *Решение Фары.* Фара [13. Р. 71] предлагает следующую формализацию ПП:

$$Ap \rightarrow A\exists x(C_x K_x Ap). \quad (3)$$

В данном языке « K_x » означает « x знает, что...»; « C_x » означает « x способен». Конечно, в контексте (3) было бы неестественно использовать указанный перевод « K_x »; в случаях, когда « K_x » следует за « C_x », сочетание « $C_x K_x$ » следует переводить как « x способен знать, что...». Таким образом, (3) переводится на естественный язык следующим образом: *если p истинно в действительном мире, то в действительном мире существует агент, способ-*

¹ В литературе имела место полемика вокруг теории Эджингтон: см., например, апологетическую статью Рюкерт [11] и (на мой взгляд, убедительные) возражения Дженкинса [12]. Детальный анализ этой полемики не входит в задачи статьи.

ный знать, что p истинно в действительном мире. Фара подчеркивает два следствия данного решения:

1. Оно устраняет парадокс Фитча, поскольку (3) не позволяет вывести противоречие из $Ar \& A \sim \exists x(K_x Ar)$, т.е. из утверждения, что в актуальном мире нечто истинно и неизвестно.

2. Использование оператора актуальности в антецеденте и консеквенте (3) обеспечивает фактивность познаваемости: все актуально познаваемое является актуально истинным.

Мне указанные следствия (3) не кажутся очевидными по следующей причине: 1) Фара не определяет синтаксические свойства оператора C_x ; 2) Он не дает семантику, которая позволяла бы давать истинностную оценку формулам, содержащим C_x , поэтому в значительной мере (3) остается в рассматриваемой статье неинтерпретированной формулой. Об этом стоит сказать подробнее.

1. О синтаксических свойствах оператора C_x . Внешне он похож на эпистемический оператор K_x , оператор аскрипции мнения V_x и т.д., что позволяет предположить, что это унарный сентенциональный оператор. Однако если интуитивный смысл формул $K_x p$ и $V_x p$ вполне ясен (x знает / думает, что p), то интуитивный смысл $C_x p$ в общем случае совсем не очевиден. В самом деле, если p означает пропозицию, что снег бел, то как понимать $C_x p$? С учетом предложенного Фарой перевода C_x , данную формулу можно перевести как « x способен к тому, что снег бел», что выглядит нелепо. Значит ли это, что выражение $C_x p$ не является (правильно построенной) формулой? Тот же вопрос возникает относительно формул вида $C_x K_y p$, где $x \neq y$: поскольку предложения вроде «Джон способен к тому, что Пол знает, что...» интуитивно нелепы, возникает предположение, что $C_x K_y p$ тоже не является формулой. Если $C_x p$ и $C_x K_y p$ – не формулы, то возникает вопрос: как следует использовать оператор C_x при записи формул. Например, можно предположить, что C_x можно использовать только перед K_x , т.е. понимать выражение $C_x K_x$ как неделимое. Можно также допустить содержательно нелепые формулы типа $C_x p$ и $C_x K_y p$ как артефакт синтаксиса, который не следует принимать в расчет при обсуждении содержательных вопросов (подобно тому, как артефактом синтаксиса классической первопорядковой логики является пустая квантификация, т.е. формулы типа $\forall x \exists x R x$ или $\forall x R y$). Фара оставляет вопрос о синтаксических свойствах C_x открытым.

2. О семантике для C_x . Использование данного оператора в (3) порождает вопрос о специфике моделей для формального языка, который использует Фара, и об условиях истинности формул, содержащих данный оператор. В частности, при каких условиях формула $C_x K_x p$ истинна в мире w (в некоторой модели при некоторой валуации индивидуальных переменных)? Внешняя аналогия между операторами C_x и K_x наводит на мысль, что модели для используемого Фарой языка содержат отношение достижимости, соответствующее C_x (для каждого x), и что пункт дефиниции истины для данного оператора может выглядеть так:

$$M, w \models_v C_x p \text{ ттк для некоторого } w', wRw' \text{ и } M, w' \models_v p,$$

где M – модель; w и w' – возможные миры данной модели; v – валуация индивидуальных переменных. Но если это так, то истинность $C_x K_x Ar$ в действительном мире означает, что в некотором возможном мире w истинно $K_x Ar$,

т.е. в мире w агент x знает, что в действительном мире имеет место p . Здесь воспроизводится проблема, с которой сталкивается теория Эджингтон: агентам, существующим в мире w , приписывается способность идентифицировать действительный мир (который для них является контрфактическим). Фара солидаризируется с критикой Уильямсона в адрес теории Эджингтон, поэтому понятно, что данная семантика для него неприемлема. Однако он не предлагает никакой альтернативной семантики, что оставляет открытым вопрос о семантической интерпретации (3), а значит, и вопрос о неформальном смысле данной формулы.

Таким образом, (3) не может считаться решением проблемы: пока остается неопределенным синтаксический аспект формального языка, на котором сформулирована данная формула, и пока для этого языка не задана семантика, содержательный смысл (3) остается неясным, а значит, не ясны и философские импликации соответствующей интерпретации ПП.

4. *Выводы.* Анализ формализаций ПП, предложенных Эджингтон и Фарой, показывает, что в обоих случаях фактивность познаваемости обеспечивается 1) ограничением сферы применимости ПП действительными истинами, 2) определением познаваемости через истинность в действительном мире. Однако эти же особенности их формализаций ПП оборачиваются критическими недостатками. Формализация Эджингтон ограничивает сферу познаваемости необходимыми актуальными истинами, что не соответствует интуитивному смыслу ПП и использует неясную идею идентификации агентом знания контрфактических ситуаций. Формализация Фары синтаксически недоопределена и не имеет семантической основы, которая обеспечивала бы ей содержательное наполнение; при этом стандартные средства семантического анализа оператора S_x , существенно используемого в (3), делают (3) очевидно контринтуитивным.

На мой взгляд, «привязка» понятия познаваемости к действительному миру, т.е. определение познаваемости через понятие истинности в действительном мире, приводит к смешению объектного языка и семантического метаязыка, поскольку возможные миры (и в частности действительный мир) – это семантическое понятие, так как о возможных мирах можно говорить только на метаязыке. Если так, то неудача решений Эджингтон и Фары может рассматриваться как косвенное свидетельство невозможности семантически замкнутого языка¹, т.е. языка, который является своим собственным метаязыком.

Как было отмечено выше, данная статья имеет сугубо критическую задачу – я не ставил своей целью разработку нового понятия познаваемости и, соответственно, нового решения проблемы Фитча. Но думаю, что представленная критика позволяет выдвинуть следующую гипотезу: для решения проблемы Фитча необходимы понятие *познаваемости без фактивности* и соответствующая формализация ПП.

Литература

1. Fitch F. A logical analysis of some value concepts // Journal of Symbolic Logic. 1963. № 28. С. 135–142.
2. Salerno J. Knowability Noir: 1945–1963 // New Essays on the Knowability Paradox / ed. J. Salerno. Oxford : Oxford University Press, 2009. P. 29–48.

¹ Проблемный характер понятия семантически замкнутого языка и его значимость для анализа логических парадоксов детально обсуждаются в работах В.А. Ладова [14, 15].

3. Gettier E. Is Justified True Belief Knowledge? // *Analysis*. 1963. № 23. P. 121–123.
4. Dummett M. Victor's Error // *Analysis*. 2001. № 61. P. 1–2.
5. Dummett M. Fitch's Paradox of Knowability // *New Essays on the Knowability Paradox* / ed. J. Salerno. Oxford : Oxford University Press, 2009. P. 51–52.
6. Brogaard B., Salerno J. Fitch's Paradox of Knowability // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. 2019. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/fitch-paradox>
7. Brogaard B., Salerno J. Knowability and a Modal Closure Principle // *American Philosophical Quarterly*. 2006. № 43. P. 261–270.
8. Edgington D. The Paradox of Knowability // *Mind*. 1985. № 94. P. 557–568.
9. Humberstone L. From Worlds to Possibilities // *Journal of Philosophical Logic*. 1981. № 10. P. 313–339.
10. Williamson T. *Knowledge and its Limits*. Oxford : Oxford University Press, 2000.
11. Rückert H. A Solution to Fitch's Paradox of Knowability // Rahman S., Symons J., Gabbay D.M., van Bendegem J.P. (eds.). *Logic, Epistemology and the Unity of Science*. Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V., 2004. P. 351–380.
12. Jenkins C.S. Anti-realism and Epistemic Accessibility // *Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition*. 2007. № 132. P. 525–551.
13. Fara M. Knowability and the Capacity to Know // *Synthese*. 2010. № 173. C. 53–73.
14. Ладов В.А. Критический анализ иерархического подхода Рассела-Тарского к решению проблемы парадоксов // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2018. № 44. С. 11–24.
15. Ладов В.А. Парадоксы в теории познания. Логические основания эпистемологической критики релятивизма. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2020.

Evgeny V. Borisov, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: borisov.evgeny@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 16–23.

DOI: 10.17223/1998863X/58/2

THE FITCH PARADOX AND THE FACTIVITY OF KNOWABILITY

Keywords: knowledge; knowability; factivity; epistemic logic; Fitch paradox.

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 18-18-00057.

The article examines the question of whether knowability is factive. Most researchers admit that knowledge is factive, which is due to the standard definition of knowledge as true justified belief. But the question of the factivity of knowability is much more complex. This is especially evident in the context of debates on the Fitch paradox. The paradox shows that the straightforward formalization of 'p is knowable' as 'it is possible that p is known' is incorrect because it readily leads to a contradiction (granted some intuitively appealing principles). Those who want to preserve the principle of knowability (according to which every truth is knowable) attempt to elaborate alternative formalizations of knowability, free from paradoxical implications. Among them are Dorothy Edgington and Michael Fara. Edgington defines p's knowability as the possibility to know that p is true in the actual world, which renders knowability factive. Timothy Williamson's criticism on her proposal shows that it has some substantial flaws. Fara wants to amend Edgington's proposal preserving the factivity of knowability. He defines knowability of a proposition p as there actually being an agent who is capable to know that p is actually true. This definition also implies that knowability is factive. I examine Fara's proposal and show that it is essentially incomplete because of two reasons. First, Fara does not provide syntactic rules for the operator 'C_x' that he introduces to symbolize the agents' capacity to have knowledge. Secondly, I show that the standard modal semantics cannot be used in interpreting his definition of knowability, whereas he does not propose any non-standard semantics for it. I argue that the flaws of both theories are due to the fact that they treat knowability as factive. This motivates my hypothesis that a concept of knowability free from factivity is needed to solve Fitch's paradox.

References

1. Fitch, F. (1963) A logical analysis of some value concepts. *Journal of Symbolic Logic*. 28. pp. 135–142. DOI: 10.2307/2271594

2. Salerno, J. (2009) Knowability Noir: 1945–1963. In: Salerno, J. (ed.) (2009) *New Essays on the Knowability Paradox*. Oxford: Oxford University Press. pp. 29–48.
3. Gettier, E. (1963) Is Justified True Belief Knowledge? *Analysis*. 23. pp. 121–123. DOI: 10.1093/analys/23.6.121
4. Dummett, M. (2001) Victor's Error. *Analysis*. 61. pp. 1–2. DOI: 10.1093/analys/61.1.1
5. Dummett, M. (2009) Fitch's Paradox of Knowability. In: Salerno, J. (ed.) *New Essays on the Knowability Paradox*. Oxford: Oxford University Press. pp. 51–52.
6. Brogaard, B. & Salerno, J. (2019) Fitch's Paradox of Knowability. In: Zalta, E.N. (ed.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. [Online] Available from: <https://plato.stanford.edu/entries/fitch-paradox>
7. Brogaard, B. & Salerno, J. (2006) Knowability and a Modal Closure Principle. *American Philosophical Quarterly*. 43. pp. 261–270.
8. Edgington, D. (1985) The Paradox of Knowability. *Mind*. 94. pp. 557–568.
9. Humberstone, L. (1981) From Worlds to Possibilities. *Journal of Philosophical Logic*. 10. pp. 313–339. DOI: 10.1007/BF00293423
10. Williamson, T. (2000) *Knowledge and its Limits*. Oxford: Oxford University Press.
11. Rückert, H. (2004) A Solution to Fitch's Paradox of Knowability. In: Rahman, S., Symons, J., Gabbay, D.M. & van Bendegem, J.P. (eds) (2004) *Logic, Epistemology and the Unity of Science*. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V. pp. 351–380.
12. Jenkins, C.S. (2007) Anti-realism and Epistemic Accessibility. *Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition*. 132. pp. 525–551.
13. Fara, M. (2010) Knowability and the Capacity to Know. *Synthese*. 173. pp. 53–73. DOI: 10.1007/s11229-009-9676-8
14. Ladov, V. (2018) Critical analysis of the hierarchical approach to the solution of the paradox problem. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 44. pp. 11–24. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/44/2
15. Ladov, V. (2020) *Paradoksy v teorii poznaniya. Logicheskie osnovaniya epistemologicheskoy kritiki relyativizma* [Paradoxes in theory of knowledge. Logical grounds of epistemological criticism on relativism]. Tomsk: Tomsk State University.

УДК 165.4

DOI: 10.17223/1998863X/58/3

П.С. Спрукуль

ГИПОТЕЗА КОМПЬЮТЕРНОЙ СИМУЛЯЦИИ И ПРОБЛЕМА СКЕПТИЦИЗМА¹

Сформулирована новая гипотеза компьютерной симуляции на основе метафизической/матричной гипотезы Д. Чалмерса. В рамках новой гипотезы рассмотрена проблема скептицизма. Эксплицированы и критически проанализированы позиции виртуального реализма и информационного скептицизма.

Ключевые слова: скептицизм, виртуальная реальность, онтология, эпистемология.

С бурным развитием цифровых технологий, появлением искусственного интеллекта, роботов и виртуальной реальности философия не осталась в стороне и тоже обратила внимание на новые феномены. С новой силой актуализировался интерес к гипотезе симуляции, которая в первом своем виде была сформулирована еще Рене Декартом [1] и оставила след в философии XX в., в частности, в работах Хилари Патнэма [2. С. 19] и Томаса Нагеля [3], а в XXI в. прошла череду трансформаций и появилась в новом виде в работе того же Ника Бострома [4]. Как правило, все работы в той или иной степени касаются проблемы скептицизма и ее эпистемологических вопросов.

Более четко обозначить цель данной статьи можно следующим образом: сформулировать новую гипотезу компьютерной симуляции и рассмотреть в ее рамках проблему скептицизма. Под проблемой скептицизма я понимаю следующие вопросы: может ли субъект убедиться в реальности окружающего мира? Являются ли его убеждения о мире истинными? Что доступно познанию субъекта? В рамках гипотезы компьютерной симуляции проблема скептицизма интересует меня в том смысле, что если гипотеза симуляции является скептической, то почти все (или все) убеждения субъекта, находящегося в симуляции, о внешнем мире будут ложными.

Цель формулирования авторской гипотезы в том, чтобы описать мир компьютерной симуляции наиболее полно, включая создателя симуляции и законы, по которым функционирует симулированный мир. Такое подробное описание симулированного мира может в дальнейшем рассматриваться как модель нашего мира и позволяет размышлять о фундаментальных законах с позиции внешнего наблюдателя, а не включенного субъекта.

За основу своей гипотезы компьютерной симуляции я взяла метафизическую (она же матричная) гипотезу Дэвида Чалмерса. Данная гипотеза включает в себя три составляющие: специфику фундаментальной природы реальности, лежащей в основе физических процессов; утверждение о природе человеческого сознания и утверждение о создании мира. Саму гипотезу Чалмерса можно сформулировать в следующих утверждениях:

- Физическое пространство-время и его содержимое были созданы существами вне этого физического пространства-времени.

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00057).

- Микрофизические процессы основаны на вычислительных процессах, разработанных создателями как компьютерная симуляция мира.
- Разум субъектов мира находится за пределами физического пространства-времени, но взаимодействует с ним.

Схематично Д. Чалмерс изобразил метафизическую гипотезу следующим образом (рис. 1).

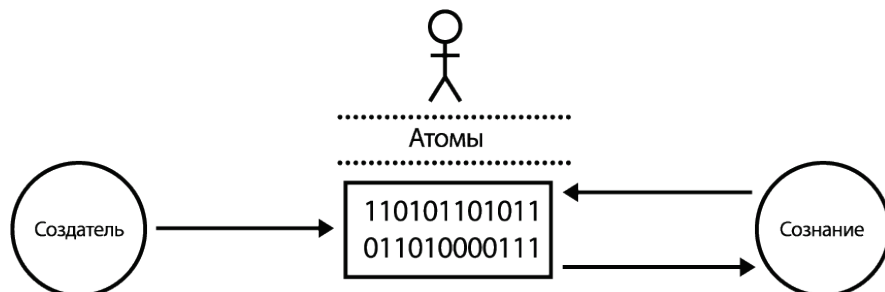


Рис. 1. Схема метафизической гипотезы

Матричная версия данной гипотезы Чалмерса формулируется так: у субъекта есть (и всегда была) когнитивная система, которая получает входные данные и отправляет выходные данные в искусственно созданную компьютерную симуляцию мира. Схематично это представлено на рис. 2.

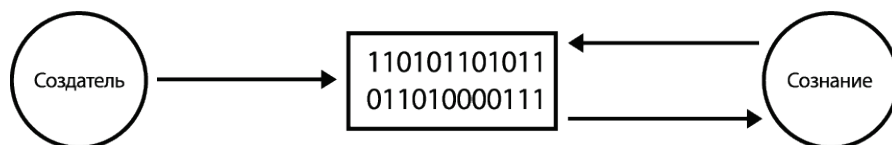


Рис. 2. Схема матричной гипотезы

Чалмерс утверждает, что метафизическая и матричная гипотезы эквивалентны в том смысле, что подразумевают друг друга, и если мы принимаем одну, то с необходимостью должны принять и другую [5]. Это означает, что утверждения относительно метафизической гипотезы, приведенные выше, будут верными и для матричной гипотезы.

Что касается проблемы скептицизма в рамках данной гипотезы, Чалмерс утверждает, что матричная гипотеза является не скептической, а метафизической, т.е. это гипотеза о фундаментальной природе реальности. Таким образом, если под скептической гипотезой мы подразумеваем такую, что если она является верной, то почти все наши убеждения относительно внешнего мира оказались бы ложными, то в этом смысле матричная гипотеза Чалмерса не является скептической, так как даже если она верна, мы все еще имеем верные убеждения о мире.

Позиция Дэвида Чалмерса относительно проблемы скептицизма напоминает позицию Джорджа Эдварда Мура и его доказательство внешнего мира, которое очень хорошо было описано авторами статьи «Пролегомены ко всякому будущему доказательству бытия внешнего мира» в философском журнале «Финиковый компот»: «Я знаю, что у меня есть руки, что они находятся вне моего сознания и расположены в пространстве. Если я знаю X, то X су-

существует. Следовательно, у меня есть руки. Следовательно, внешний мир существует. Это совершенно верное рассуждение, так как посылки в нем отличаются от заключения, при этом и то и другое истинно. Значит, имеет место следование» [6. С. 6]. Особенность позиций Чалмерса и Мура в том, что они основываются на обыденном знании и здравом смысле. Вопрос в том, насколько тривиальными являются их позиции и готовы ли мы принять их за истину.

Итак, за основу новой гипотезы я возьму матричную / метафизическую гипотезу Чалмерса, однако мне бы хотелось дополнить ее, уточнив некоторые составляющие.

Метафизика: как и кем мир был создан? Сам Чалмерс четко не описывает фигуру создателя и процесс создания мира, но, если мы говорим о гипотезе *компьютерной* симуляции, то вполне можем предположить, что есть некоторая реальность уровнем выше, в которой и была запущена симуляция. Что касается цели создания симуляции, вероятнее всего, она была создана для научных целей, например, для решения парадокса Ферми, изучения истории цивилизации или проверки некоторых сценариев событий (риски окончания существования цивилизации). Компьютерная симуляция, соответственно, была запущена при помощи некоего суперкомпьютера.

Неизвестна фигура создателя симуляции, но если мы говорим о компьютерной симуляции, то я склоняюсь к точке зрения, что это будет сильный искусственный интеллект или сверхразум (*superintelligence*): «любой интеллект, значительно превосходящий когнитивные возможности человека фактически в любых областях» [7. С. 48]. Сам Чалмерс высказывал [8] предположение о том, что создателем симуляции может быть программист-подросток, который параллельно запускает несколько симуляций, но в своих работах он не аргументирует данную точку зрения.

Таким образом, дополняя гипотезу Чалмерса, мы предполагаем, что мир симуляции был создан сверхразумом при помощи суперкомпьютера с научной целью. Сам создатель находится вне симулированного физического пространства-времени, т.е. во вселенной уровнем выше.

Онтология: какова структура окружающего мира? Как можно удостовериться в его реальности? В рамках гипотезы Чалмерса в основе симулированной реальности лежат физические процессы, основанные на вычислениях. Если мы рассматриваем симуляцию как детально проработанную, т.е. симулируются даже микрофизические сущности, такие как атомы, протоны, электроны и кварки, то субъекты внутри симуляции могут достаточно подробно изучить физические законы своего мира.

Эта идея Чалмерса кажется мне вполне корректной, так как многие ученые (не только философы) не раз высказывали свои мнения по поводу того, что вселенная – это компьютер и все вокруг состоит из информации. Если мы немного конкретизируем, что информация – это биты, то данная идея все равно не покажется нам новой. Например, в своем знаменитом эссе «*Information, physics, quantum: The search for links. Complexity, Entropy, and the Physics of Information*» [9] Д. Уиллер утверждает, что сущность физической вселенной возникает из информации (битов – закодированных ответов «да» или «нет»). С одной стороны, бит – это единица данных, и все, что субъект ощущает вокруг себя, может быть представлено нейронными переключате-

лями «вкл. / выкл.» в его мозге и вызвано паттернами сигналов «вкл. / выкл.», полученных от внешних событий. С другой стороны, биты – это состояния, представляющие информацию о системе, отображаемую в виде символов, но закодированную в состоянии на физическом устройстве, которые затем можно отобразить на другом устройстве, используя определенный вид физического сигнала. Если рассмотреть вселенную как систему следования правилам, которая работает в соответствии с набором физических законов, то она вполне может быть смоделирована компьютером и в ее основе будут лежать вычислительные процессы.

Что касается вопроса о том, как субъект может удостовериться в реальности мира, можно ответить так. Если его реальность образована компьютерной программой, то независимо от того, насколько сложными становятся эксперименты по изучению реальности и ее микрофизических процессов, они никогда не позволят субъекту сделать вывод, что он не живет в симуляции, поскольку если он все-таки живет в симуляции, то все его наблюдения тоже являются частью компьютерной программы. Сам Чалмерс высказывал похожую мысль в одном из своих выступлений: мы никогда не сможем доказать, что мы не в симуляции, потому что любые доказательства, которые мы можем получить, вероятно, будут симулированы в симуляции [8].

Теперь рассмотрим часть гипотезы Д. Чалмерса, которая говорит о сознании субъектов внутри симуляции: когнитивная система субъекта в симуляции отделена от физических процессов в симулированном пространстве-времени, но взаимодействует с ними. То есть разум / сознание субъекта каким-то образом получает входные перцептивные данные из физического мира симуляции и посылает свои выходные данные в ответ. Но Чалмерс не конкретизирует, каким образом это происходит и где вообще находится когнитивная система субъекта. Здесь, как мне думается, можно рассмотреть два варианта.

Первый – если сознание субъекта в симуляции никак не зависит от симуляции и ее создателей, то теоретически оно может быть некоторой вариацией мозга Больцмана – мозг, который произвольно самособрался где-то во вселенной из мелких частиц и оказался способен осознать свое существование, т.е. приобрел субъективный опыт. Но здесь возникает очень важный вопрос о том, каким образом такое сознание может быть подключено к симуляции? Здесь я вижу два пути: либо создатели все-таки контролируют это сознание при помощи подключения к симуляции; либо сознание само является создателем симуляции и сознания субъектов внутри являются как-бы его частью. Но во втором случае такая симуляция не является компьютерной.

Второй вариант – прямая аналогия с гипотезой Хилари Патнэма о мозге в колбе [2. С. 19]. Можно предположить, что создатели в рамках своей вселенной эмулировали человеческий мозг (либо взяли уже бестелесный) и подключили его к компьютерной симуляции при помощи электродов. Здесь мы понимаем, что мозг отправляет свои выходные данные и получает входные при помощи подключенных к нему электродов. Данный вариант кажется мне более корректным, если мы говорим о компьютерной симуляции. Однако здесь стоит сделать некоторое уточнение о природе сознания.

Вопрос о природе сознания и проблема сознание–тело являются одними из самых сложных в философии сознания. Существует несколько течений,

каждое из которых предлагает свое видение сознания и его взаимодействия с мозгом. В рамках гипотезы компьютерной симуляции, включающей мозг в колбе, я думаю, следует придерживаться позиции нередуктивного функционализма. Сам Чалмерс так описывает данную позицию в своей книге «Сознающий ум», согласно которой «функциональная организация с естественной необходимостью оказывается достаточной для сознательного опыта. В соответствии с этим воззрением, сознательный опыт детерминирован функциональной организацией, но не обязан сводиться к ней» [10. С. 343]. В рамках данной позиции мы также должны принять идеи субстанциального дуализма о том, что существует две субстанции: физическая (тело субъекта и весь материальный мир) и духовная (сознание субъекта в смысле квалиа – субъективного опыта). Кроме того, нередуктивный функционализм утверждает, что для появления сознательного опыта достаточно только определенной функциональной организации (мозга). Здесь сознание является супервентным на физическом, т.е. предполагается первичность физических свойств над ментальными. Сам Чалмерс описывает это следующим образом: «В определенном смысле мы можем сказать, что сознание супервентно не только на физическом, но и на организационном <...> Для всякой физической системы, порождающей сознательный опыт, существует такая функциональная организация F, реализованная этой системой, что естественно необходимым является то, что любая система, реализующая F, будет иметь идентичные сознательные переживания» [10. С. 343]. Нередуктивный функционализм позволяет нам утверждать наличие сознания, даже если мозг в колбе является не биологическим, а, например, кремниевым. Поэтому в рамках матричной гипотезы компьютерной симуляции Чалмерса мы можем сделать дополнение, что сознание субъекта в симуляции является супервентным на мозге, находящемся во вселенной создателя симуляции и подключенном к симуляции при помощи электродов.

Эпистемология: что доступно познанию субъекта в симуляции? Как он может удостовериться в истинности своих знаний? Если мы рассматриваем симуляцию как полную и детальную компьютерную копию нашего мира, то познание субъекта ограничивается его симулированным миром. То есть познанию субъекта недоступен только мир создателя симуляции, а свою реальность он может познавать, открывать физические законы, действующие в рамках его физического мира, искать фундаментальные основания и формулировать свою теорию всего. Что касается внешней реальности уровнем выше, она сдерживает познание субъекта компьютерной программой, запускающей симуляцию. Говоря об истинности знаний, пока субъект действует в рамках своей реальности, его знания могут быть истинными или ложными. Мне кажется, что в реальность гипотезы компьютерной симуляции хорошо вписывается когерентная концепция истины, согласно которой истинным является знание, согласованное внутри себя. То есть знания субъекта будут истинными тогда, когда они будут соответствовать системе внутри симуляции. У данной концепции есть свои внутренние проблемы и противоречия, но для примера она может быть рассмотрена в качестве рабочей.

Схематично получившаяся гипотеза представлена на рис. 3.

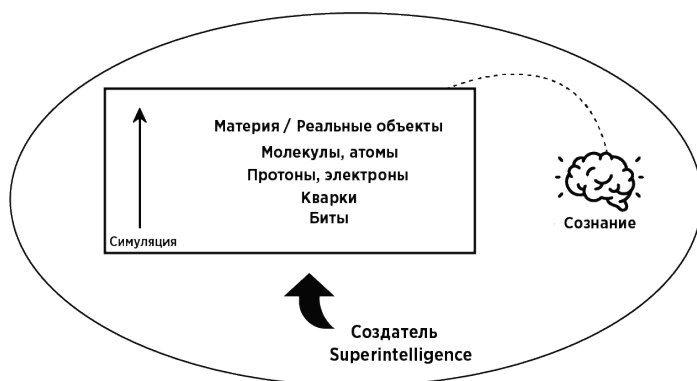


Рис. 3. Схема новой гипотезы компьютерной симуляции

Далее я хочу конкретизировать, каким образом уровень кварков и уровень битов могут конституировать физическую реальность симуляции. Для этого мы последовательно пойдем от макроуровня к микроуровню.

Верхний уровень реальных объектов или, если обобщить, материи, функционирует согласно физическим законам. И если симуляция является детальной копией нашего мира, то в ней будут работать те же физические законы. Если мы спустимся ниже до уровня молекул и атомов, то здесь будут работать законы химии – молекулы образуются путем соединения атомов определенных химических элементов. Атомы состоят из протонов и электронов, что находится на уровень ниже. Законами функционирования протонов и электронов занимается ядерная физика. Не так давно мы узнали, что есть уровень еще ниже – уровень кварков. Кварки изучает физика элементарных частиц, и на данный момент с точки зрения физики это самый базовый уровень. Остановимся на нем подробнее.

В данном случае интерес представляет позиция квантового реализма, предложенная Б. Витвортом. Согласно квантовому реализму именно квантовая обработка (или процессинг) конституирует физические события и сам физический мир. Здесь в основе реальности лежит квантовый мир, который продуцирует физический мир в качестве интерфейса, с помощью которого могут взаимодействовать объекты внутри реальности. Таким образом, физический мир представляет собой набор объектов и событий, сконструированных при помощи квантовой обработки. По словам Витворта, «квантовая теория управляет микроскопическим миром, из которого возникает реальность, а относительность управляет космическим миром вокруг него» [11]. Если квантовый реализм верен, то он описывает поведение элементарных частиц (протоны, электроны, кварки), которое продуцирует физическую реальность. Но возникает следующий вопрос: по каким законам должна выполняться квантовая обработка?

Здесь мы опускаемся на уровень ниже – уровень битов. Теперь конкретизируем, что это за биты и по каким законам они функционируют. Обратимся к теории М. Тегмарка о том, что реальность в своей основе является математической. Согласно данной теории всю реальность можно формализовать при помощи уравнений, мы как-бы можем собрать «книгу» уравнений всех законов реальности. Тегмарк говорит: «Наша реальность не просто описывается математикой, но и является математикой в очень специфическом смысле. Не

какие-то ее аспекты, а вся целиком, включая нас самих» [12. С. 196]. Но если реальность является математикой и ее возможно описать при помощи уравнений, то теоретически эти уравнения можно загрузить в компьютерную программу-симулятор и воссоздать реальность в виртуальном пространстве. Таким образом, мы получим компьютерную симуляцию реальности. Можно предположить, что компьютерная программа кодирует уравнения в биты информации, которые хранят в себе все законы реальности и являются базовым уровнем в реальности симуляции. Применительно к нашей гипотезе компьютерной симуляции именно биты задают законы функционирования реальности, а значит, и законы квантовой обработки, которые конституируют физическую реальность. Мы можем предположить, что квантовая обработка конституирует сначала атомы и молекулы и законы их взаимодействия, далее – каким образом молекулы конституируют материю (реальные объекты). Приняв некоторые положения теории М. Тегмарка, мы получаем симулированную реальность, функционирующую согласно законам (следованию правилам), лежащим в ее основе. Таким образом, в системе наук уровень битов будет функционировать согласно математическим законам.

Сложным моментом остается сознание – можно ли его описать в виде уравнения? Согласно матричной гипотезе сознание субъектов лежит за пределами симуляции. В этом случае ответ – нет, сознание не подгружается при помощи уравнения в симулированную реальность, оно подключается к ней при помощи определенного аппаратного обеспечения (электродов, например). Однако в самой программе все же должно быть уравнение, описывающее принцип взаимодействия «мозга» вне симуляции и продуцируемого им сознания с объектами в симуляции.

Теперь, когда мы сформулировали гипотезу компьютерной симуляции, стоит понять, является она скептической или нет. Здесь я бы хотела рассмотреть позицию виртуального реализма, основанную на трактовке Чалмерса [13. Р. 309–310].

1. Виртуальные объекты действительно существуют.
2. События в виртуальной (симулированной) реальности действительно происходят.
3. Опыт в виртуальной (симулированной) реальности не иллюзорен.
4. Виртуальный опыт так же ценен, как и не виртуальный.

Таким образом, когда познающий субъект находится внутри симулированного мира, то данный мир является для него единственной объективной реальностью, которую он может познавать. Виртуальный реализм можно описать следующим образом: субъект, находящийся внутри компьютерной симуляции, воспринимает окружающий мир как реальный и может познавать его в рамках собственного опыта, который также будет реальным для данного субъекта. Симулированные объекты – это физические цифровые объекты, на базовом уровне состоящие из вычислительных процессов. Все объекты в симуляции являются реальными для субъекта, все, что происходит в симулированной реальности, действительно происходит для субъекта.

Если мы спустимся на позицию субъекта внутри симуляции, то логично, что он может задать себе вопрос: как узнать наверняка, нахожусь я в симуляции или нет? Здесь возникает скептическая гипотеза – если мир вокруг меня нереален, то все мои убеждения относительно этого мира ложны. Но если

подумать глубже и разобраться в устройстве реальности, то можно увидеть, что скептическая гипотеза здесь не работает, т.е. даже если познающий субъект находится внутри симулированного мира, то он все еще может познавать этот мир, взаимодействовать с его объектами и влиять на события, происходящие в нем.

Данную позицию отстаивает сам Д. Чалмерс по отношению к своей матричной гипотезе, а также Б. Дейнтон в работе «Innocence lost: simulation scenarios: prospects and consequences» [14], в частности, он утверждает тезис о том, что жизнь в симулированной реальности не менее ценна, чем жизнь в объективной реальности.

Таким образом, если виртуальный реализм верен и мы принимаем его, то некоторые утверждения относительно метафизики симулированного мира могут заставить субъекта в симуляции изменить его убеждения и представление о реальности, но в целом большинство его убеждений останутся неизменными: он все еще будет жить в своем мире, взаимодействовать с его объектами при помощи своего тела и познавать все, что происходит вокруг. Таким образом, проблема скептицизма здесь как-бы нивелируется за счет перехода на метафизический уровень. Меняется онтология, но эпистемология в целом остается неизменной.

В этом смысле позиция виртуального реализма очень близка концепции информационного скептицизма Л. Флориди. Он утверждает, что в современных реалиях информационного общества вся информация является экзистенциально ненагруженной, т.е. нет никакой разницы между информацией о реальном объекте и о симулированном, виртуальном. Поэтому проблема скептицизма оказывается безобидной: «Нет никакого эпистемологического беспокойства в том, чтобы называть реальное виртуальным или виртуальное реальным, если они идентичны. Это лишь вопрос поэтического вкуса» [15. С. 85]. Об этом же говорит виртуальный реализм, утверждая, что виртуальные объекты действительно существуют (как и реальные) и т.п. Таким образом, мы видим, что взгляды Чалмерса и Флориди на проблему скептицизма совпадают.

Данные позиции прекрасно работают в том случае, когда мы рассматриваем симуляцию изнутри, как замкнутую систему. Для субъекта внутри замкнутой системы суждения об объектах этой системы будут истинными с точки зрения когерентной теории истины, но с точки зрения корреспондентной теории эти суждения будут ложными. В рамках разговора о виртуальном реализме встает сложный вопрос о понятии симуляции или виртуальности, ведь виртуальный объект, по определению, это как раз иллюзия, симуляция реального, это иллюзия объекта там, где реально объекта нет. Если мы признаем пункт 1 в рамках виртуального реализма и считаем виртуальный объект действительно существующим, тогда теряется сам смысл понятия «виртуальное». Виртуальный объект обладает той же самой характеристикой, что и реальный объект, – они оба действительно существуют. Но тогда сам концепт виртуальности разрушается. Виртуальность не может согласовываться с реализмом, а реализм не может отсылать к виртуальному. Поэтому позиции Чалмерса и Флориди требуют более подробного рассмотрения, а гипотеза симуляции – изучения с точки зрения внешнего наблюдателя в рамках корреспондентной теории истины.

Литература

1. Декарт Р. Размышления о первой философии // Соч. 1994. Т. 2. URL: <http://psylib.org.ua/books/dekar02/index.htm> (дата обращения: 27.09.20).
2. Патнэм Х. Разум, истина и история. М. : Праксис, 2002.
3. Нагель Т. Каково быть летучей мышью? URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/nag_kak.php (дата обращения: 07.09.20).
4. Bostrom N. Are You Living In a Computer Simulation? // *Philosophical Quarterly*. 2003. Vol. 53, № 211. P. 243–255. URL: <https://www.simulation-argument.com/simulation.pdf> (accessed: 07.09.20).
5. Chalmers D.J. The Matrix as metaphysics. 2005. URL: <http://consc.net/papers/matrix.pdf> (accessed: 07.09.20).
6. Прологомены ко всякому будущему доказательству бытия внешнего мира // Финиковый Компот. 2016. № 10. С. 3 – 8.
7. Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии / пер. с англ. С. Филина. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. 496 с.
8. Lewin S. Is the Universe a Simulation? *Scientists Debate* // *Future US*. 2016. URL: <https://www.space.com/32543-universe-a-simulation-asimov-debate.html> (accessed: 07.09.20).
9. Zurek W. Wheeler John Archibald. Information, physics, quantum: The search for links. Complexity, Entropy, and the Physics of Information. 1990.
10. Чалмерс Д. Сознательный ум: В поисках фундаментальной теории : пер. с англ. 2-е изд. М. : УРСС : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. 512 с.
11. Whitworth B. Quantum Realism. URL: <https://brianwhitworth.com/quantum-realism/> (accessed: 07.09.20).
12. Тезмарк М. Наша математическая Вселенная. В поисках фундаментальной природы реальности. М. : АСТ, 2017. 592 с.
13. Chalmers D.J. The virtual and the real // *Disputatio*. 2017. Vol. 9, № 46. P. 309–352.
14. Dainton B.F. Innocence lost: simulation scenarios: prospects and consequences // *The Phil-Papers Foundation*. 2002. URL: <https://philarchive.org/archive/DAIILS> (accessed: 07.09.20).
15. Floridi L. Information, possible worlds and the cooptation of scepticism // *Synthese*. 2010. Vol. 175, № 1. P. 63–88.

Polina S. Sprukul', Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: polina.sprukul@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 24–33.

DOI: 10.17223/1998863X/58/3

THE COMPUTER SIMULATION HYPOTHESIS AND THE PROBLEM OF SKEPTICISM

Keywords: skepticism; virtual reality; ontology; epistemology.

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 18-18-00057.

In the new reality of the society of information, one of the topical themes in philosophy is the philosophy of artificial intelligence and virtual reality. The classic problems of ontology and epistemology do not lose their relevance, but transform in the framework of a new digital reality and require answers to their questions: what exists? what can the subject know? The problem of skepticism is one of these classic problems, affecting both the existence of the external objective world and the issues of cognition, knowledge and truth. In the philosophy of virtual reality and artificial intelligence, interest arose with renewed vigor in the simulation hypothesis, which was formulated by Rene Descartes, went through a series of transformations and appeared in a new form in the works of modern philosophers. This research is an attempt to formulate a new hypothesis of computer simulation and to consider in its context the classic problem of skepticism in terms of the three components of the simulated world: metaphysics, ontology and epistemology. The question of whether the subject's beliefs about the world are true in the simulation in in the focus of attention. The goal of formulating a new hypothesis is to describe the world of computer simulation in the most detail, including the creator of the simulation and the laws by which the simulated world operates. Such a detailed description of the simulated world can be viewed as a model of our world and allows thinking about fundamental laws from the perspec-

tive of an external observer, and not an included subject. But, in this research, the problem of skepticism is considered from the point of view of the subject in the simulation, in the framework of the coherence theory of truth. The positions of virtual realism, based on the interpretation of David Chalmers, and informational skepticism of Luciano Floridi are described too.

References

1. Descartes, R. (1994) *Sochineniya* [Works]. Vol. 2. [Online] Available from: <http://psylib.org.ua/books/dekar02/index.htm> (Accessed: 27th September 20).
2. Putnam, H. (2002) *Razum, istina i istoriya* [Reason, Truth, and History]. Translated from English by T.A. Dmitrieva, M.V. Lebedeva. Moscow: Praksis.
3. Nagel, T. (n.d.) *Kakovo byt' letuchey mysh'yu?* [What is it like to be a bat?]. Translated from English. [Online] Available from: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/nag_kak.php (Accessed: 7th September 2020).
4. Bostrom, N. (2003) Are You Living In a Computer Simulation? *Philosophical Quarterly*. 53(211). pp. 243–255. [Online] Available from: <https://www.simulation-argument.com/simulation.pdf> (Accessed: 7th September 2020).
5. Chalmers, D.J. (2005) *The Matrix as metaphysics*. [Online] Available from: <http://consc.net/papers/matrix.pdf> (Accessed: 7th September 2020).
6. Chugaynova, Yu.I., Loginov, E.V., Basov, A.S., Yunusov, A.T. & Mertsalov, A.V. (2016) Prolegomeny ko vsyakomu budushchemu dokazatel'stvu bytiya vneshnego mira [Prolegomena to any future proof of the existence of the external world]. *Finikovyy Kompot*. 10. pp. 3–8.
7. Bostrom, N. (2016) *Iskusstvennyy intellekt. Etapy. Ugrozy. Strategii* [Artificial intelligence. Stages. Threats. Strategies]. Translated from English by S. Filin. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber.
8. Lewin, S. (2016) *Is the Universe a Simulation? Scientists Debate*. [Online] Available from: <https://www.space.com/32543-universe-a-simulation-asimov-debate.html> (Accessed: 7th September 2020).
9. Wheeler, J.A. (1990) Information, physics, quantum: The search for links. In: Zurek, W. (ed.) *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*. Addison-Wesley, Redwood City. pp. 354–368.
10. Chalmers, D. (2015) *Soznayushchiy um: V poiskakh fundamental'noy teorii* [The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory]. Translated from English, 2nd ed. Moscow: URSS: Knizhnyy dom “LIBROKOM”.
11. Whitworth, B. (n.d.) *Quantum Realism*. [Online] Available from: <https://brianwhitworth.com/quantum-realism/> (Accessed: 7th September 2020).
12. Tegmark, M. (2017) *Nasha matematicheskaya Vselennaya. V poiskakh fundamental'noy prirody real'nosti* [Our Mathematical Universe]. Translated from English by A. Sergeev. Moscow: AST.
13. Chalmers, D.J. (2017) The virtual and the real. *Disputatio*. 9(46). pp. 309–352.
14. Dainton, B.F. (2002) Innocence lost: simulation scenarios: prospects and consequences. *The PhilPapers Foundation*. [Online] Available from: <https://philarchive.org/archive/DAIILS> (Accessed: 7th September 2020).
15. Floridi, L. (2010) Information, possible worlds and the cooptation of skepticism. *Synthese*. 175(1). pp. 63–88. DOI: 10.1007/s11229-010-9736-0

УДК: 165.62

DOI: 10.17223/1998863X/58/4

I.F. Mikhailov

INFERENCE AND REPRESENTATION: PHILOSOPHICAL AND COGNITIVE ISSUES

The paper is dedicated to particular cases of interaction and mutual impact of philosophy and cognitive science. Thus, philosophical preconditions in the middle of the 20th century shaped the newly born cognitive science as mainly based on conceptual and propositional representations and syntactical inference. Further developments towards neural networks and statistical representations did not change the prejudice much: many still believe that network models must be complemented with some extra tools that would account for proper human cognitive traits. I address some real implemented connectionist models that show how 'new associationism' of the neural network approach may not only surpass Humean limitations, but, as well, realistically explain abstraction, inference and prediction. Then I stay on Predictive Processing theories in a little more detail to demonstrate that sophisticated statistical tools applied to a biologically realist ontology may not only provide solutions to scientific problems or integrate different cognitive paradigms but propose some philosophical insights either. To conclude, I touch on a certain parallelism of Predictive Processing and philosophical inferentialism as presented by Robert Brandom.

Keywords: inference, representation, cognitive science, predictive processing, active inference, inferentialism, Brandom.

1. The problems with distributed representations

There is at least one important link between cognitive science and philosophy. The earlier attempts on science of mind, as it seems, were made in the times when philosophers mainly shared the 'propositional attitudes' jargon, and one of the primary cares of theirs was the question of whether contents of perceptions are conceptional and even propositional¹. An answer thereto, which could be positive to any extent, would impose a view that linguistic structures are in some sense prerequisite to mind in general. This supposition shaped computational systems at the dawn of cognitive science, e.g., the widely known ACT family of software models designed by John Anderson. He himself described his initial conception like this:

In our evolution we may have developed or enhanced certain features to facilitate language, but once developed, these features were not confined to language and are now used in nonlinguistic activities. Thus the mind is a general pool of basic structures and processes, which has been added to under evolutionary pressure to facilitate language [1. P. 3].

However, further advancement of cognitive computational modeling brought about network architectures [2–4] that, in a couple of decades, developed into the impressive industry of artificial neural networks [5, 6], whose recognition competence and creative talents make for a kind of new epos nowadays. This development led to localization of the processing itself at some sub-linguistic and

¹ For the discussion see [36–38].

even sub-symbol levels of cognitive structures. The established conception of semantic ascending from elementary to complex signs was found endangered as networks did not identify particular cells to store and retrieve particular meanings. Lively discussions followed that will be considered below. Today it is more or less commonly agreed among cognitive scientists that the things familiarly addressed to as ‘representations’ are, in fact, a kind of statistical densities or distributions stored as vectors of values of multiple variables. This view is supported by the fact of parallel development of non-network statistical machines industry that is conventionally labeled ‘*Machine Learning*’ and is unambiguously preferred to that of neural networks by some central figures of computational cognitive science [7].

As far as I can tell, this new research landscape has not affected philosophical conventions yet, to any noticeable extent. Philosophers on both sides of (anti-)representationalist dividing line keep up with ‘conceptual’ and ‘propositional’ idioms spreading this bias over some part of cognitive students, too. Thus, some of practicing researchers take the baton from philosophers in believing that, to think like humans, artificial neural networks must be technically enhanced for them to be able to:

(1) build causal models of the world that support explanation and understanding, rather than merely solving pattern recognition problems; (2) ground learning in intuitive theories of physics and psychology to support and enrich the knowledge that is learned; and (3) harness compositionality and learning-to-learn to rapidly acquire and generalize knowledge to new tasks and situations [5. P. 1].

Such statements can be nothing but presupposed by the belief that, besides neuronal computations over statistical representations, there is still a specifically human way of information processing characterized by explaining, understanding, theorizing, producing new knowledge and generalizations, which requires, therefore, respective complementation of the plain network architecture to make for a ‘strong’, human-like AI. By analogy with the famous ‘folk psychology’, this discourse could be named ‘folk epistemology’, whose redundancy may be demonstrated by success of better and more consistent theories.

2. How can associations produce rational inferences?¹

The advancements of connectionism in the 1980s–1990s and, subsequently, those of modern artificial neural networks in biologically realistic explanations of cognitive capabilities posed new questions to both philosophers and empirical researchers. The need to reconsider some cornerstone concepts – namely, those of computations and representations – became apparent. As a reaction thereto, there was an attack, well-known in the history of science, by Jerry Fodor and Zenon Pylyshyn onto the semantic capabilities of connectionist networks [8]. The main objective of their onslaught was a supposed failure of connectionism to account for systematicity, compositionality and productivity of human cognitive resources including, but not restrained to, language. The authors put forward arguments based on the alleged combinatorial nature of mental representations, in the light of which productivity, systematicity and compositionality presumably inherent in the human language were extrapolated to the entire cognitive sphere. In their opinion,

¹ I owe the idea of this section to Anna Khromchenko (Tomsk State University) who involved me in a fruitful discussion on those matters in the cold rainy summer of 2019.

this argument shows that the architecture of consciousness is not connectionist at the cognitive level, since connectionist representations do not demonstrate these properties. But, for my present purpose, their overall dismissal of connectionism as a new associationism is a point of lasting philosophical importance despite their paper being aged.

Fodor and Pylyshyn contrapose classical, Turing / von Neumann-based computational models and those of connectionists as, respectively, structure-sensitive and frequency-sensitive ones, so that connectionist networks may master logical inferences only because of a certain frequency of joint occurrence of ideas and not their formal (structural) properties. This, in their view, is a step back to good old Associationism with some newer technical amendments, which are of no help in increasing its poor explanatory power. Here is how they put it:

Associative strength was not, however, presumed to be sensitive to features of the content or the structure of representations per se. Similarly, in Connectionist models, the selection of an output corresponding to a given input is a function of properties of the paths that connect them (including the weights, the states of intermediate units, etc). And the weights, in turn, are a function of the statistical properties of events in the environment (or of relations between patterns of events in the environment and implicit ‘predictions’ made by the network, etc.) But the syntactic / semantic structure of the representation of an input is not presumed to be a factor in determining the selection of a corresponding output since, as we have seen, syntactic / semantic structure is not defined for the sorts of representations that Connectionist models acknowledge [8. P. 20–21].

In a nutshell, here is how the situation looked then and still does. You have got some exclusive human cognitive powers to explain, specifically, the fact that they are structured, rule-based, combinatorial and productive. You try some old-fashioned associationism, and it fails. You look at some theory that pretends to be state-of-the art, and it reminds you the same old-fashioned associationism, so you expect it to fail either. Then you stay with your preferred theory that simply postulates structuredness, rule-compliance, systematicity, compositionality and productivity of the things you try to scientifically explain. And you consider it to be the real solution.

A lot of cognitive scientists and philosophers have replied to Fodor and Pylyshyn’s challenge since it was published¹. But we had better look at some actually implemented connectionist models that overtly addressed the well-known limitations of Hume’s associationism. For reasons that remain unclear to me, these publications have gone mainly unnoticed so far, except for a couple of citations and quick mentions in encyclopedias.

Mark Collier [9] highlights two Hume’s hypotheses aimed to explain the paradox of ‘continued existence’, that is our inferred belief in the consistent identity of an object that produces inconsistent series of impressions: the one he refers to as ‘conflation account’ that relies on qualitative resemblances of interrupted series, and the other labeled ‘assimilation account’ that puts forward the

¹ Paul Smolensky [39] argued that the critics did not take into account the distributed nature of connectionist representations and that connectionist studies should offer new formalizations of fundamental computational concepts. His argument was subsequently countered by [40]. William Ramsey [41] showed that unidirectional networks with backward propagation of error do not need the concept of representation as such. See also [42–45] and many others.

constructive role of imagination. The first one he dismisses as mainly unsustainable, while the other gets proper consideration. Collier believes that “not only does connectionist theory allow us to complete the assimilation hypothesis by supplying the missing principles of the imagination, but connectionist methodology provides the experimental conditions under which the hypothesis can be implemented and tested” [9. P. 162]. He proves it by an experiment with a real simple recurrent network (SRN) that by design is able to extrapolate previously experienced patterns on current unsteady phenomena and, therefore, to represent an assumed underlying object as consistently existing. And, as he points out, experimentation with computer models is advantageous in the sense that, contrary to that with living subjects, we are able to look inside the ‘brain’ and find out that the anticipating representation of the reoccurring object, as it were, thickens and matures with newer learning cycles. As he concludes, ‘experimental results demonstrate that the belief in continued existence can arise solely from the interaction of sensory information with the principles of an information-processing mechanism’ [9. P. 164].

Dan Ryder and Oleg V. Favorov [10] go even deeper in searching for neural computational grounds for associationist explication of rational capabilities. First of all, they briefly engage in a philosophical dispute of whether a brain performs some unified task, or it is a ‘hodgepodge’ of different modules whose multidirectional activities give rise to emergent cognitive features. As for me, I would rather stay with the latter option, but the authors choose the former one, and the single mission of the brain (or, at least, of its cortex) is supposed to be prediction¹. Their working hypothesis states that the dendritic trees of individual pyramidal cells in the cerebral cortex are structured in such a way that they are in a position to learn ever deeper regularities in the environment represented in multiple variables, not being restrained to associated pairs of ideas considered in Hume’s analysis. As for the latter, the authors believe that his pairwise associationism inherited or mirrored Newtonian mechanicism in that it aspired to find basics of the rational in some simple irrational devices. The problem is that, to derive reason from impressions, Hume had to postulate the ability for abstraction, for which, unlike his model of associations, he had no mechanistic explanation. That is why, long since, it was “not Hume’s mechanistic theory, but Turing’s, that has had some success in modeling reason. But the brain rarely plays more than a small part (if any) in such theories, and they do not sit well with empiricism” [10. P. 163].

As Ryder and Favorov see it, connectionist modeling may compensate this shortage. Their ambitions go as far as to show that

In fact, the mechanism of association and the mechanism that replaces abstraction turn out to be identical, which results in a unified explanation of two fundamental mental processes: rational transitions in thought (reasoning) and representation acquisition. This yields the beginnings of a neural theory, not only of the brain, but also of the mind [10. P. 164].

Ryder and Favorov’s SINBAD model² involves substitution of dendrites with what is seen as their functional approximations, namely, two backpropagation neural networks interrelated via a third one substituting a cell’s soma. Each of the

¹ Please note that they stated this a decade before the now acclaimed Predictive Processing became the order of the day.

² ‘SINBAD’ stands for ‘a Set of INteracting BAcKpropagating Dendrites’.

dendrites has two input channels that are tuned to ‘perceive’ the presence of some object mutually exclusively (by a *XOR*-function). Their outputs are put together by a certain set of functions to produce the cell’s output. The latter is looped back to alter each of the dendrite’s input. The error backpropagating signal represents the difference of the dendrite’s output and that of the cell.

The process of adjusting the weights of connections inside the two networks will continue until each dendrite learns to predict, basing on its own input data, the responses of the other dendrite to its input data. By teaching each other, dendrites of the cell can tune to different, but correlated functions, capable of revealing the order of the environment. The cell as a whole can learn to recognize the source of these correlated functions as an ordered property of its sensory environment. The first ability implements an association of functions according to conditions, in contrast to a simple Hume association. The second ability (which is actually just the flip side of the first) implements the process of obtaining representation, which replaces Hume’s abstraction.

Activities that begin on the periphery as sensory data are spread across the network in a way that implements not only simple induction, but also deductive reasoning and an inference to the best explanation. This shows how a simple biologically realistic mechanism can reveal the complexity of order in nature and use this knowledge for the vital task of prediction [10. P. 191].

Looking ahead at ideas considered below, it must be noted that the SINBAD theory may offer a mechanistic explanation of a possible neurodynamic implementation of Karl Friston’s ‘generative models’.

3. Predictive processing: generative models and sensory updates

3.1. Core idea and predecessors

‘Predictive Processing’ (PP) is, as many believe, one of the most influential and explanatory-powerful cognitive approach nowadays [11–13].

Eventually shaped in the mid-2010s, the new paradigm claims to overcome the limitations of previous approaches. One of its founders, the British neuroscientist Karl Friston provides a biologically plausible explanation based on a conception of updating internal representations using sensory samples. The theory postulates the existence of generative models that produce downward predictions, which are met and compared with upward representations at a lower level in order to calculate the prediction error [14. P. 392]. The natural urge to minimize the difference of the predictive representation and the incoming data makes up the gist of the so called ‘free energy principle’ (FEP), more on which below.

The PP proponents derive the main principles of their approach from long-term philosophical and psychological doctrines, such as those of Alhazen, Kant and Helmholtz [15. P. 210]. As for the latter, it goes back to his idea of ‘unconscious inferences’. Those are formed in the early life experience and constitute the basis of many perceptual phenomena. According to Helmholtz, we tune our senses to distinguish things that affect them with maximum accuracy. Perception, thus, is a result of a meeting of external input with what the individual has already learnt [16]. The physicist accounts also for the very notion of ‘free energy’ [17]. In the late 20th century, his name was given to the so-called Helmholtz Machine – a hierarchical unsupervised learning algorithm that is capable of identifying structures underlying various data patterns [18].

3.2. The main concepts: thermodynamics, Bayesian statistics and information theory

PP comprises a sophisticated web of interrelated notions and concepts, which is not an easy way to break through. As far as I can tell, it builds upon a very basic idea of ‘predictive coding’, to which it adds concepts borrowed from thermodynamics, statistics and information theory. ‘Predictive coding’ amounts to positing generated a priori models that get successively updated by weighing prediction errors, the latter being difference of prediction and newly acquired data. Usually, when someone nominates various past theories as predecessors of PP, such as, e.g., Piotr Anokhin’s ‘functional systems’ [19], they address this very basic approach, but not mathematical and other subtleties comprised in the full-fledged PP, which are very important for determining the explanatory and predictive scope of the theory.

What PP adds thereto is, on the one hand, the conception of *precision optimization* that modulates prediction errors computation at different levels of the system. Precision of samples is optimized by previously learnt experience, thus demanding the statistical framework called ‘empirical Bayes’ for calculations. This implies that the processing is multi-level and context-dependent and, thereby, the processing system, be it a cell, a human or a robot, is capable of approximating hierarchical empirical Bayes inference, owing to which it functions better in adapting to fuzzy and everchanging environment than a system executing only exact Bayes inference [15. P. 213].

On the other hand, PP is extensively based on the concept of *active inference*. To minimize prediction errors, a system may, for one, update predictive models to comply with sensory input. But, alternatively, it may be active in sampling the environment in search for data that fit the prediction better. This means just action, hence the term. According to Friston, a living organism may be easier explained as an acting system, if we suppose that the triggers for active inference are proprioceptive data, because those may be directly functionally linked to reflex arcs [20–22]. Thus, PP is claimed to be a unified theoretical framework capable of explaining both perception and action.

The above-mentioned conceptions are process theories that appeal to real or modeled mechanisms and may be, therefore, directly falsified. But at the heart of PP lies a general principle that functions like the most known principles of natural science: it shapes explanations of process theories but is not directly falsifiable itself. It is the so-called *free energy principle*, often referred to as FEP. It postulates ‘minimizing the free energy’ as the principal urge of any self-sustaining or autopoietic systems, living systems being the main exemplification thereof. Borrowed from thermodynamics, the concept of free energy is adopted and explained by Karl Friston as the ‘surprise’ to be reduced [23]. Large amount of surprise, i.e., mismatch of a generated predictive model and sensory data, is too costly for a cognitive, or broadly – a living – system and needs to be reduced to the minimum available. This need triggers both perceptual and active inference.

Equipped with its full toolbox, PP leads not only to interesting empirical explanations, like those of mood change or schizophrenia, but also to some philosophical implications. Thus, the idea of perception as constant inference from sensory data to their probable causes delivers an interesting re-formulation of such philosophers’ favorite subjects as body image, sense of ownership, and bodily self-

awareness. The said phenomena are naturally explained as the inferred causes of interoceptive and proprioceptive sensations. According to Jacob Hohwy, the very Self in this context may be presented “as a subset of the inferred causes of sensory input that relates to own actions, and, consequently, a possibility for discussing whether such a set of causes is deserving of the label ‘self’ ” [15. P. 217]. So much extended PP obviously subsumes familiar subjects of Merleau-Ponty-style phenomenology that was famously the methodological ground for enactive and embodied cognitive science [24]. Interestingly, such a prominent proponent of introducing phenomenology into cognitive science as Thomas Metzinger has become one of PP-enthusiasts and is now one of the editors of the comprehensive thematic web resource [25] dedicated to PP and containing a kind of online encyclopedia on the topic.

3.3. Generative models and communication

Another conceptual pillar of PP is positing a set of *generative models (GM)* in the brain that are responsible for producing what may be taken as possible representations of the environment. The notion of such models involves multi-level organization, such that

the hierarchical structure allows priors at one level to be supplied by posteriors at a higher level. Sensory data are assumed to reside only at the lowest level in the hierarchy, and the highest level is assumed to generate only spontaneous random fluctuations [17. P. 75].

The same authors heavily relying on complex mathematical calculi provide an informal definition of GM as ‘a description of causal dependencies in the environment and their relation to sensory signals’ [17. P. 61]. In a more detailed manner, GMs are explicated in terms of recognition density (*R-density*) and generative density (*G-density*), meaning probability densities (distributions) in both cases. An organism is supposed to model likelihood of environmental variables, which is expressed as R-density. But, to do so, it must be capable of evaluating general dependencies of incoming sensory data from environmental states. A statistical model of those dependencies is expressed as G-density. Then interdependency of both kinds of densities makes for a generative model. As for a mechanistic implementation of these computational models, they are “instantiated, and parameterised, by physical variables in the organism’s brain such as neuronal activity and synaptic strengths, respectively” [17. P. 57]. As one may conclude thereby, PP actually builds on, amends and enriches the initial connectionist doctrine, utilizing, in particular, other formal tools while basing on the same ontology.

Friston demonstrates an interesting application of this theoretical framework to modelling language communication, which previously was the realm of classical symbolist cognitive science. According to him, the criteria for evaluating and fine-tuning the interpretation of another’s behavior are the same that underlie actions and perceptions in general, namely, minimization of prediction errors. The concept of communication in PP is based on a generative model, or narrative, which is shared by agents exchanging sensory signals.

As Friston puts it, models based on hierarchical attractors that generate various categories of sequences allow closing the hermeneutic circle by simply updating generative models and their predictions in order to minimize prediction

errors. It is important to note that these errors can be calculated without even knowing the true state of another, which thereby solves the problem of hermeneutics [26. P. 129–130].

Friston and colleagues built a computer emulation of two songbirds using software agents whose tweets were generated by some attractor-based models and recursively refined in the process of mutual listening. The model showed that birds follow the narrative produced by dynamic attractors in their generative models, which were synchronized through sensory exchange. This means that both birds can sing ‘from one music sheet’ while maintaining a consistent and hierarchical structure in their overall narration. It is this phenomenon that Friston associates with communication [14. P. 400]. Generative models used to determine one’s own behavior can be used to derive the beliefs and intentions of the other, provided that both sides have fairly similar generative models. This perspective creates representations of a set of intentional acts and narratives, suggesting a collective narrative shared by communicating agents [14. P. 401].

One may suggest that the explanatory capabilities of PP span not only over issues of psychology and conventional philosophy of mind, but over the newer subject-matters of ‘social mind’ and social cognition as well. Certainly, such a universality may raise concerns of falsifiability of the theory. For a brief take on that matter see [15. P. 221]. But, generally, such a worry may relate to the question, if each and every behavior may be presented as guided by the subject’s statistical predictions. It really seems that a straightforward refutation is hard to imagine in this case, but there is always a place for a better theory to demonstrate its greater explanatory potential. Furthermore, PP is still too young as a theory: while performing to a greater or lesser success in actual experiments it will inevitably be met with an urge to give detailed mechanistic accounts of all the statistic models implemented. Those accounts will certainly be essentially falsifiable.

4. Philosophical Inferentialism: top-down semantics and anti-empiricist pragmatism

As we already know, in order to advance the free energy minimization, a cognitive agent actively engages in the intercourse with its environment. This part of the system’s functioning is labeled ‘active inference’ [21, 22, 27]. But not only this terminal part is inferential – the whole system functions by gradual inferring consequential options (‘priors’) for every next lower level of the cognitive machine. That is why it would be interesting to compare this cognitive inferential view with *inferentialism* as an influential philosophical school of recent to see their points of intersection, if any.

One of the most known proponents on the philosophical inferentialism is Robert Brandom [28, 29]. Inspired by Frege, Sellars and, partly, by later Wittgenstein, Brandom strongly opposes any representationalist accounts of mind and language.

Representationalism, in his view, inherits to the classical empiricism of the New Age European philosophy. It imposes a kind of bottom-up semantics by stating that the meaning of a sentence is a function of its sub-sentential constituents. Brandom counters representationalism with a view, according to which the meaning of a sentence boils down to its inferential roles in various parts of the discourse it is engaged in. And, correspondingly, meanings of its constituent

terms are derived from the meaning of the whole. This top-down semantic approach is in line with classical European rationalism and even German idealism exemplified by Hegel, whom Brandom admires a lot.

Interestingly, in 2009 Brandom gave a talk entitled '*How Analytic Philosophy Has Failed Cognitive Science*' [30]. There he claimed that analytic philosophy could have but did not explain to cognitive scientists the importance of *the conceptual* in the proper sense. According to him, Aristotelian logic was based on classification as the only – and very poor – model of rational inference. Founders of cognitive science, being unfamiliar with the current achievements of analytic philosophy, missed the gist of Fregean revolution and based the newly born science on classification as the principal cognitive mechanism. Modern philosophers could have helped them in tying analytically found grades of conceptual advancement with actual developmental stages of human and animal psyche. But they did not, at least to the date of his talk.

Like it or not, Brandom himself could have indicated a way out of this failure. The important part of his rich doctrine is constituted of what he refers to as *pragmatism* [31, 32]. Though stemming from different premises than rationalism¹, classical American pragmatism opposed the straightforward picture-like conception of experience. According to Pierce, James and Dewey, an organism is not a purified receiver of impressions but a defining part thereof². What and which way we may experience is determined by what we are.

Could anti-representationalism be the meeting point for PP and inferentialism? PP is broadly considered an ultra-representationalist cognitive theory [33]. But there are some grounded claims that there are at least two versions of the doctrine: the representational one and the one preliminarily denoted 'enactive', stressing 'active inference' narrative [34]. Brandom could have inferred that his inferentialist-pragmatist philosophy may be a saving bridge between the two most influential cognitive paradigms of today: Predictive Processing and what many refer to as *4E-Cognition*, meaning 'embodied, embedded, enactive, and extended'. To this end, one could dismiss the purely representationalist account of the PP-doctrine and turn to its versions compatible with enactive and embodied cognition [34] by exploiting the outlined conceptual chain: *active inference* – *inferentialism* – *pragmatism* – *enactivism*. But this is a vast underexplored field so far, quite out of the scope of the present paper. And it is too early to take positions here, in my opinion.

But there is, nevertheless, at least one interesting study that may properly dispose representational idioms inside PP discourse. In [35] the author uses PP to take on the so called Sellarsian dilemma that unveils justification issues with regarding sensory states as epistemically basic. He shows how sensory signals may conditionally justify perceptual predictions and, at the same time, play an unconditionally justificational role within perceptual learning. That is, sensory signals may play a crucial role in justifying representational states while being non-representational themselves.

¹ I would propose that, unlike modern-day inferentialism, classical European rationalism differs from empiricism not in an anti-representationalist stance, but only in a different understanding of the source of representations. Therefore, Brandom's heirloom of Hegel may be regarded as only partial.

² More on this in [34].

All in all, there are conceptual relations linking together philosophical inferentialism and PP as soon as the latter reaches issues of language and the properly logical inference. The knowledge of cognitive implementations of the said conceptual schemas may not be a crucial proof thereof, but undoubtedly a noticeable support: it is hard to uphold any philosophical alternatives knowing actual mechanisms.

5. Conclusion

I have attempted to review a couple of intertwined discussions going on in philosophy of cognitive science these days. As I said, it may be too early to bring about any final judgements, but some tendencies seem quite obvious.

First of all, the former gap between explanatory models of psychology and neuroscience is being bridged. The latest theoretical trends do care about biological realism and mechanicism of their explanations. Second, interdisciplinary integration is manifest in the latest research: cognitive scientists borrow conceptions and approaches from the likes of biology and thermodynamics, while applying all the more complicated formal tools, such as statistics, probabilistic logic and information theory.

And, at last, what refers directly to the problem under question here is the change in methodological or metatheoretical thinking that makes former disputes, such as classicism vs. connectionism or inferentialism vs. representationalism, outdated and ungrounded. When logomachy is replaced with concrete mechanistic and mathematically backed models, one may find proper places for both inference and representation, as soon as they are operationally defined.

Cognitive studies of the kind that is not predefined by philosophically imposed presuppositions and prejudices but proceeds from the urge to look for all possible implementations of a function under question, may, in their turn, teach an important lesson to philosophers. Problems that seem black-and-white or generally unsolvable for a traditional rationalist *A-or-~A* view may occur to be on the way to solution under some quantitative or probabilistic approaches. If we do not know how to deduce, say, inferential capabilities from associative principles, that doesn't mean that the nature shares our ignorance. Unlike us, it had billions of years of trials and errors, of mutability and heredity, of all that we call evolution, which is nothing but one enormous algorithmic machine of statistic inference, incidentally invented and multiplied being embedded in myriads of cells, brains and societies.

References

1. Anderson, R. (1983) *The Architecture of Cognition*. Hillsdale, NJ, US: Harvard University Press.
2. Pinker, S. & Prince, A. (1988) On language and connectionism: analysis of a parallel distributed processing model of language acquisition. *Cognition*. 28(1–2). pp. 73–193. DOI: 10.1016/0010-0277(88)90032-7
3. Rumelhart, D.E. & McClelland, J.L. (1986a) *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition*. Vol. 1. Cambridge, MA, USA: MIT Press.
4. McClelland, J.L. & Rumelhart, D.E. (1986b) *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure*. Vol. 2. Cambridge, MA, USA: MIT Press.
5. Lake, B.M., Ullman, T.D., Tenenbaum, J.B. & Gershman, S.J. (2017) Building machines that learn and think like people. *Behavioral and Brain Sciences*. 40. p. e253. DOI: 10.1017/S0140525X16001837
6. Mayor, J., Gomez, P., Chang, F. & Lupyan, G. (2014) Connectionism coming of age: legacy and future challenges. *Frontiers in Psychology*. 5. pp187. DOI: 10.3389/fpsyg.2014.00187

7. Poggio, T. (2012) The Levels of Understanding Framework, Revised. *Perception*. 41(9). pp. 1017–1023. DOI: 10.1068/p7299
8. Fodor, J.A. & Pylyshyn, Z.W. (1988) Connectionism and cognitive architecture: a critical analysis. *Cognition*. 28(1–2). pp. 3–71. DOI: 10.1016/0010-0277(88)90031-5
9. Collier, M. (1998) Filling the gaps: Hume and connectionism on the continued existence of unperceived objects. *Hume Studies*. 25(1–2). pp. 155–170.
10. Ryder, D. & Favorov, O.V. (2001) The New Associationism: A Neural Explanation for the Predictive Powers of Cerebral Cortex. *Brain Mind*. 2(2). pp. 161–194. DOI: 10.1023/A:1012296506279
11. Clark, A. (2015) Radical predictive processing. *The Southern Journal of Philosophy*. 53(S1). pp. 3–27. DOI: 10.1111/sjp.12120
12. Friston, K. (2012) Prediction, perception and agency. *International Journal of Psychophysiology*. 83(2). pp. 248–252. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2011.11.014
13. Hohwy, J. (2014) *The Predictive Mind*. Oxford University Press.
14. Friston, K. & Frith, C. (2015) A Duet for one. *Consciousness and Cognition*. 36. pp. 390–405. DOI: 10.1016/j.concog.2014.12.003
15. Hohwy, J. (2020) New directions in predictive processing. *Mind Language*. 35(2). pp. 209–223. DOI: 10.1111/mila.12281
16. Helmholtz, H. von (2013) *Treatise on Physiological Optics*. Dover Publications.
17. Buckley, C.L., Kim, C.S., McGregor, S. & Seth, A.K. (2017) The free energy principle for action and perception: A mathematical review. *Journal of Mathematical Psychology*. 81. pp. 55–79. DOI: 10.1016/j.jmp.2017.09.004
18. Dayan, P., Hinton, G.E., Neal, R.M. & Zemel, R.S. (1995) The Helmholtz Machine. *Neural Computation*. 7(5). pp. 889–904. DOI: 10.1162/neco.1995.7.5.889
19. Egiazaryan, G.G. & Sudakov, K.V. (2007) Theory of functional systems in the scientific school of P.K. Anokhin. *Journal of the History of the Neurosciences*. 16(1–2). pp. 194–205.
20. Friston, K.J., Daunizeau, J., Kilner, J. & Kiebel, S.J. (2010) Action and behavior: A free-energy formulation. *Biological Cybernetics*. 102(3). pp. 227–260. DOI: 10.1007/s00422-010-0364-z
21. Friston, K., Mattout, J. & Kilner, J. (2011) Action understanding and active inference. *Biological Cybernetics*. 104(1–2). pp. 137–160. DOI: 10.1007/s00422-011-0424-z
22. Friston, K., FitzGerald, T., Rigoli, F., Schwartenbeck, P., O’Doherty, J. & Pezzulo, G. (2016) Active inference and learning. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*. 68. pp. 862–879. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2016.06.022
23. Friston, K. (2009) The free-energy principle: a rough guide to the brain? *Trends in Cognitive Sciences*. 13(7). pp. 293–301. DOI: 10.1016/j.tics.2009.04.005
24. Varela, F.J., Rosch, E. & Thompson, E. (1992) *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. MIT Press.
25. Metzinger, T. & Wiese, W. (n.d.) *Philosophy & Predictive Processing*. [Online] Available from: <https://predictive-mind.net> (Accessed: 30th May 2020).
26. Friston, K.J. & Frith, C.D. (2015) Active inference, communication and hermeneutics. *Cortex*. 68. pp. 129–143. DOI: 10.1016/j.cortex.2015.03.025
27. Friston, K., Schwartenbeck, P., FitzGerald, T., Moutoussis, M., Behrens, T. & Dolan, R.J. (2013) The anatomy of choice: Active inference and agency. *Frontiers in Human Neuroscience*. 7(SEP). p. 598. DOI: 10.3389/fnhum.2013.00598
28. Brandom, R.B. (2001a) *Making It Explicit: Reasoning, Representing, and Discursive Commitment*. Harvard University Press.
29. Brandom, R.B. (2001b) *Articulating Reasons: an Introduction to Inferentialism*. Harvard University Press.
30. Brandom, R.B. (2009) How analytic philosophy has failed cognitive science. *CEUR Workshop Proceedings*. 444.
31. Brandom, R.B. (2008) *Between Saying and Doing: Towards an Analytic Pragmatism*. Oxford University Press.
32. Brandom, R.B. (2011) *Perspectives on Pragmatism: Classical, Recent, and Contemporary*. Harvard University Press.
33. Clowes, R.W., Gärtner, K. & Clowes, R.W. (2017) Enactivism, Radical Enactivism and Predictive Processing: What is Radical in Cognitive Science? *Kairos Journal of Philosophy and Science*. 18(1). pp. 54–83. DOI: <https://doi.org/10.1515/kjps-2017-0003>
34. Williams, D. (2018) Pragmatism and the predictive mind. *Phenomenology and the Cognitive Science*. 17(5). pp. 835–859. DOI: 10.1007/s11097-017-9556-5

35. Gładziejewski, P. (2017) The Evidence of the Senses – A predictive processing-based take on the Sellarsian dilemma. In: Metzinger, T. & Wiese, W. (eds) *Philosophy and Predictive Processing*. Vol. 15. Frankfurt am Main: MIND Group. DOI: 10.15502/9783958573161
36. Crane, T. (2009) Is Perception a Propositional Attitude? *The Philosophical Quarterly*. 59(236). pp. 452–469. DOI: 10.1111/j.1467-9213.2008.608.x
37. Runzo, J. (1993) The Propositional Structure of Perception. In: Runzo, J. (ed.) *World Views and Perceiving God*. London: Palgrave Macmillan. pp. 3–22.
38. Byrne, A. (2009) Experience and Content. *The Philosophical Quarterly*. 59(236). pp. 429–451. DOI: 10.1111/j.1467-9213.2009.614.x
39. Smolensky, P. (1988) On the proper treatment of connectionism. *Behavioural and Brain Sciences*. 11(1). pp. 1–23. DOI: 10.1017/S0140525X00052432
40. Fodor, J. & McLaughlin, B.P. (1990) Connectionism and the problem of systematicity: why Smolensky's solution doesn't work. *Cognition*. 35(2). pp. 183–204. DOI: 10.1016/0010-0277(90)90014-B
41. Ramsey, W. (1997) Do Connectionist Representations Earn Their Explanatory Keep? *Mind & Language*. 12(1). pp. 34–66. DOI: 10.1111/j.1468-0017.1997.tb00061.x
42. Matthews, R.J. (1997) Can Connectionists Explain Systematicity? *Mind & Language*. 12(2). pp. 154–177. DOI: 10.1111/j.1468-0017.1997.tb00067.x
43. Gomila, A., Travieso, D. & Lobo, L. (2012) Wherein is Human Cognition Systematic? *Minds and Machines*. 22(2). pp. 101–115. DOI: 10.1007/s11023-012-9277-z
44. Phillips, S. & Wilson, W.H. (2010) Categorical compositionality: a category theory explanation for the systematicity of human cognition. *PLoS Comput Biol*. 6(7). p. e1000858. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000858
45. Aizawa, K. (1997) Explaining Systematicity. *Mind & Language*. 12(2). pp. 115–136. DOI: 10.1111/j.1468-0017.1997.tb00065.x

Igor F. Mikhailov, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).

E-mail: ifmikhailov@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 34–46.

DOI: 10.17223/1998863X/58/4

INFERENCE AND REPRESENTATION: PHILOSOPHICAL AND COGNITIVE ISSUES

Keywords: inference; representation; cognitive science; predictive processing; active inference; inferentialism; Brandom.

The article attempts to identify some significant and parallel trends happening in both philosophy and cognitive science during recent decades. The author's conjecture is that, in spite of crucial turns occurred in cognitive science with the advance of neural networks and statistical explanations, some outdated philosophical commitments and presuppositions prevail over the facts and technologies making some researchers stay with their strong belief that this 'new associationism' and frequency-based drift is not sufficient to explain human higher cognitive capacities. According to some of them, network or statistical AI models must be amended with conceptual or inferential tools in order to match the human intelligence. In a series of reviews, the author presents evidences borrowed from empirical and conceptual studies revealing principal continuity of perception and conceptual inference, as well as the underlying mechanisms of their gapless connection. The reason for the opposite views and presuppositions lingering in the cognitive and philosophical literature is, according to the author, sticking to the inherited logically determined methods, while the reality under investigation is principally stochastic. That is, good old conceptual analysis is getting less and less useful in coping with cognitive matters. Jerry Fodor and Zenon Pylyshyn were the first in the onslaught on the newly born connectionism in the 1980s trying to show that, as its explanations were frequency-based but not sensitive to formal properties, it is no more than a rebirth of long-forgotten Humean associationism. The latter, in their view, is incapable of deriving conceptual and inferential capacities from repetition-based associations of ideas. The author counterposes two connectionist studies published in the early 2000s exemplifying neural network models capable of abstraction and prediction without resorting to symbolic or conceptual or any other linguistically induced tools. Then the author proceeds to the more recent achievement known as 'predictive processing'. This paradigm abandons the perception/inference dualism by positing that the main principle governing cognitive and, broader, biological processes is 'free energy'

minimization. ‘Free energy’ here is a metaphor standing for the difference of anticipated and actual data that an organism happens to acquire and process. Anticipation, or prediction, is facilitated by its internal attractor-based generative models that are capable of updating once ‘free energy’ exceeds a certain threshold. Therefore, having an excessive amount of ‘free energy’, an organism can either update its generative models, or resort to the so-called ‘active inference’, which stands for just action, in order to match prediction with input. Lastly, the author compares this predictive inferential approach to philosophical inferentialism advocated by Robert Brandom. Anti-representationalist stance of the latter resonates with some PP-proponents who state that sensory signals may conditionally justify perceptual predictions and, at the same time, play an unconditionally justificational role within perceptual learning. That is, sensory signals may play a crucial role in justifying representational states while being non-representational themselves. In this way, the classical European rational/empirical distinction loses its gist, at least at the level of an individual.

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

УДК 101.808 (0758)

DOI: 10.17223/1998863X/58/5

А.П. Артеменко, Я.И. Артеменко

ОТ ПОСТМОДЕРНА К МЕТАМОДЕРНУ: ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Рассматривается переход к метамодерну как доминантной культурной логике, на примере изменения эстетических предпочтений и форм их высказывания в современных визуальных практиках. Предлагается авторский принцип работы с феноменом визуализации: визуальный образ представлен как результат формирования сложной семиотической системы, отражающей переживание многоуровневости пространственного окружения.

Ключевые слова: визуализация, метамодерн, производство пространства, лофт-дизайн, инсталляция, коллаж.

Следуя методологии исследования социального пространства, предложенной А. Лефевром и М. де Серто, мы постараемся проследить, как доминантная культурная логика отражается в конструировании (производстве) пространства художественного объекта и городского пространства. При этом мы собираемся продемонстрировать сходство семиотики лофт-дизайна и техники коллажа на рубеже начала XXI в. По своей сути они стали выражением процесса переосмысления роли человека в активном материальном окружении. Довольно сложная связь вещи и человека, отмеченная в феноменологической традиции Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, нашла свое развитие в акторно-сетевой теории, в концептах объектности и актантности. В этой связи эстетические предпочтения предстают как выражение хайдеггеровской «заботы», являющей вещь, и одновременно как фреймирование повседневных практик.

Актуальность данного исследования связана с формированием в концепции метамодерна нового отношения к визуальности. Перед нами встает проблема описания новой культурной логики и соответствующей ей структуры чувств. Предлагаемый подход дает иной, как по уровню детализации, так и обобщения, принцип работы с феноменом визуализации. Метамодернизм предлагает понимать визуальный образ как феномен сознания, вписанный в горизонт сложной системы взаимодействий, где телесность, социальность, психология и прочие антропологические проекции – условия, а не средства выражения смыслов.

От дискуссии о названии к осознанию глубины трансформации

Появление хрестоматийных работ о постмодерне относится к концу 1970-х гг. и, как утверждает Перри Андерсон, все они были следствием тесного общения их авторов: 1976 г. – Ж. Делёз и Ф. Гваттари «Ризома», 1977 г. – Чарльз Дженкс «Язык архитектуры постмодерна», 1979 г. – Франсуа Лиотар «Состояние постмодерна», 1980 г. – Юрген Хабермас лекция во Франкфурте «Модерн – незавершенный проект». Фактически в этих работах представлена рефлексия всеобъемлющих изменений жизни общества послевоенного периода, которые и сформировали постмодерн как эпохальное явление. Мы видим разные оценки этой парадигмы, но все авторы уверены, что речь идет о новом способе мыслить мир. Так, Ф. Лиотар выразил это в метафоре смерти больших нарративов, как отступление от линейных схем и порядков, а Ю. Хабермас увидел в этом способе «регрессивную дедифференциацию» раздельных институциональных порядков рынка, администрирования, закона и т.д. [1. С. 27]. Но самое главное, постмодерн открыл принцип множественности реальности – то, что будет выражено многочисленными пространственными метафорами ландшафта, складки, ризомы, коллажа, поля или сети. И эта метафоричность призвана визуализировать принцип не всеобщей связи объектов и явлений, а принцип их взаимополагания. Так, материальные объекты и люди превращаются одновременно в акторов и актантов процессов, а любая ситуация их взаимодействия принимает черты гетерогенности.

Одномоментная множественность реальности становится главным принципом описания форм, структур и функций человеческого окружения. На уровне социальной практики в этот период разрабатывается идеология мультикультурализма как попытка институционализировать процессы в обществе, включающем носителей разных цивилизационных практик. Это приводит к пониманию не просто «культуры сорванного якоря», а идеи «незначущего разрыва», ризоматического или сетевого образования структур и отношений в обществе.

Мысль о смерти или конце неких институциональных порядков, организующих как социальные практики, так и понимание мира, стала наиболее ярким маркером постмодернистского текста. Однако со временем возник вопрос о том, что будет после этой смерти. В свою очередь, появление в 1998 г. работы Перри Андерсона «Источники постмодерна» дало основание говорить о подведении итогов некой эпохи в истории ментальности. При этом автор создал четкую картину развития парадигмы постмодерна (т.е. можно утверждать, что речь идет о завершенном процессе). И как подтверждение финала эпохи постмодерна в начале 2000-х гг. после массовых протестов мигрантов ряд западных стран официально заявляют об отказе от политики мультикультурализма, а в 2006 г. появляется статья Алана Кирби «Смерть постмодернизма и то, что после него». В итоге напрашивается вывод, что культура, экономика и политика демонстрируют качественные изменения общества начала нового тысячелетия, где современные технологии и социальные силы порождают некую новую ментальную парадигму.

Оценивая события современности в их исторической перспективе, мы приходим к проблеме обобщения, создания схемы описания, понятийного

определения переживаемого. Так, в 2000-х гг. актуализировалась дискуссия по поводу термина «метамодернизм», который должен был обозначить новые эпохальные сдвиги в культуре. Это стало не столько узкой проблемой исторической периодизации, сколько актом саморефлексии культуры, связанным с осознанием изменений качества жизни общества, ее экономической, эпистемологической, социальной и эстетической составляющих. Напомним, что Робин ван ден Аккер и Тимотеус Вермюлен происхождения самого понятия связывают с американской литературной критикой, когда Масуд Заварзаде в 1975 г. в статье «The Apocalyptic Fact and the Eclipse of Fiction in Recent American Prose Narratives» впервые употребил это термин [2]. Однако в качестве философского и культурологического понятия метамодернизм начинает формироваться как результат дискуссий 2000-х гг., когда метафора умирания была перенесена на сам постмодерн и встал вопрос о названии эпохи после постмодерна.

Первоначально дискуссия о метамодернизме выглядела как «дискуссия о названии», в которой отражена фиксация новых тенденций в культуре, экономике и политике. Эссе Робина ван дер Аккера и Тимотеуса Вермюлена 2008 (2010) г. «Записки о метамодернизме» заявляет о «ревизии мира и его восприятия». В коллективной монографии 2017 г. «Метамодернизм: историчность, аффект и глубина после постмодернизма» (русскаяязычная версия 2019 г.), перед нами предстала своеобразная эволюция взглядов на состояние современного общества и культуры в рамках концепции метамодерна. В этом исследовании авторы уже не констатируют переход к новой парадигме культуры, а определяют качество и глубину обнаруженных трансформаций.

Сторонниками концепции метамодернизма была отмечена генетическая связь между парадигмой постмодерна и изменениями в обществе в начале века. Метамодернизм предстает как результат развития постмодернистских тенденций. По характеру эпистемологической модели текст Робина ван дер Аккера и Тимотеуса Вермюлена «Вехи 2000-х, или Появление метамодернизма», напоминает исследования Ихаба Хассана, Перри Андерсона и Фредрика Джеймисона о происхождении постмодерна. В интервью 2017 г. накануне выхода книги Робин ван ден Аккер подчеркивал свою преемственность методологии неомарксизма, заявляя, что «Джеймисон для нас – плацдарм методологии» [3]. И в подтверждение этому в исследовании выстраивается традиционная система анализа цепочки экономика–политика–культура. Таким образом, историчность феномена метамодерна предстает в контексте его связей с постмодерном и модерном. Однако в этой традиционности заложено одно из важнейших противоречий, вскрытых Ж. Делёзом в работе «Различие и повторение»: «Я вытесняю, потому что, прежде всего, я могу проживать некоторые вещи или опыт лишь в плане повторения. Я вынужден вытеснять то, что помешало бы мне переживать их таким образом – а именно воспроизведение, опосредующее пережитое, соотнося его с формой тождественного или сходного объекта» [4. С. 33]. И отталкиваясь от этого, сторонники концепции метамодерна переходят к рассмотрению мировоззренческих трансформаций как последствия изменения структуры чувств.

Наиболее четко отрыв от постмодерна происходит на стадии понимания современных искусства, культуры, эстетики и политики. Новая предметная и технологическая среда создала свои социальные и коммуникационные прак-

тики, сформировала условия, где, как отмечают Робин ван ден Аккер и Тимо-теус Вермюлен, «постмодернистские дискурсы теряют свою критическую ценность» [5]. Проблема не в ущербности постмодернистского дискурса, а в его несоответствии логике современной повседневной жизни. И поэтому сторонники концепции метамодерна возвращаются к задаче, которую в свое время решал Ф. Джеймисон – выделить доминантную культурную логику, но уже для современных условий. Таким образом, метамодернизм обращается к проблеме культурной логики и языка современной культуры. Они ставят перед собой достаточно амбициозные цели: выйти за рамки «вышедшего из употребления восприятия» и устаревших, выхолощенных приемов постмодернизма, чтобы открыть метамодерн как структуру чувств, «где восприятие, эмоция столь распространена, что ее можно назвать структурной» [5]. От иронии к ностальгии, от переживания к проживанию, допуская многослойность и одновременность множества реальностей, «структура чувства метамодерна позиционируется *наряду* или *среди* более старых и более новых структур чувства» [5].

Если метамодернизм представляет собой структуру чувств, возникшую в 2000-х гг. и ставшую доминантной культурной логикой западных капиталистических обществ, то как происходило ее становление? Возможно ли увидеть изменения эстетических предпочтений и форм их высказывания в визуальных практиках этого времени? Безусловно, это тема не одной статьи, но мы попытаемся ответить на данные вопросы в рамках эволюции лофт-стиля и коллажа.

От постмодерна к метамодерну: конструирование пространства в инсталляции и лофте

Идея лофта может быть осмыслена в контексте общих тенденций визуальных практик периода перехода от постмодерна к метамодерну. Следуя нашей гипотезе, лофт появляется как стилистическое проявление постмодерна. В этом не будет преувеличения, поскольку характеристика стиля лофт полностью соответствует критериям постмодернизма, которые предложены Р. Вентури и Ч. Дженксом. Его основание относится к 1960–1970-м гг., когда Джени Джекобс констатировала смерть и жизнь больших американских городов, Роберт Вентури, Дениз Скотт Браун и Стивен Айзенаур опубликовали архитектурный манифест «Учась у Лас-Вегаса», а Чарльс Дженкс описал сложности восприятия современной архитектуры. Лофт рождается не просто как дизайнерский стиль, а способ жизни в новой урбанистической среде. Это производство пространства, основанное на особом типе восприятия и интерпретации мира или «структуры чувств». Его становление связано с глубокими социально-экономическими изменениями «эпохи позднего капитализма», новой рациональностью городского пространства и новой эстетикой города. Работы Ш. Зукин описывают условия рождения этой урбанистической эстетики, которая со временем превращается в системообразующий фактор представлений о городе. Более того, нам открывается сфера искусства как ресурс новой экономики и инструмент администрирования города.

Анализ эстетики лофта, его техники дает нам возможность увидеть развитие постмодерна как общей мировоззренческой парадигмы конца XX в. В свою очередь изменения в технике лофта становятся маркерами перехода к

метамодерну [6]. Для этого мы обратимся к изучению связи коллажности и историчности в визуальных практиках 1990–2000-х гг. Трансформация этой связи приводит не только к стилистическим изменениям, но и отражает интересующий нас переход к новой мировоззренческой парадигме и ее проявления в современной урбанистической культуре.

Лофт-дизайн создает прочтение пространства, для которого художественный замысел строится на использовании технологических фреймов. Кирпичные стены, металлические балки, фрагменты промышленных агрегатов и т.п. – все это вводится в жилое или публичное пространство с целью обозначения стиля, открытой провокации, которая подчеркивает вторичное использование пространства. Приемы лофт-дизайна создают маркеры понимания визуальной системы организации пространства. Это не незавершенность отделочных работ, а технологический фрейм, позволяющий распознать лофт как многослойное образование, отражающее коммуникации эпох, функциональных ролей, социальных и культурных значений. Мы исходим из того, что урбанистическое пространство подчинено визуальной риторике, где дизайн пространства воспринимается как коммуникативное средство, среда «быстрой коммуникации». Лофт – один из визуальных приемов, который позволяет убедиться в правоте П. Акройда, утверждающего, что «в городе существует много различных форм времени» [7. С. 21]. Лофт-объект становится демонстрацией ламинированных смыслов и значений, временных наслоений и эстетических предпочтений. Идея лофта, наверное, ярче всего демонстрирует влияние эстетических, технических, коммуникативных предпочтений на формирование специфической *men-environment paradigm*, описанной Б. Хиллером и Дж. Хансон [8].

Городские пространства заполняются новыми символическими образами, стимулируя горожан к потреблению. Гигантский масштаб и «сырое», незавершенное качество лофта эстетизируется новой урбанистической культурой, а стиль жизни в лофте романтизируется, отождествляется с приключениями, атмосферой божественной жизни [9. Р. 60]. Лофт из места производства превратился в предмет культурного потребления. Ш. Зукин представляет эволюцию этого процесса как переход от жизни маргиналов в заброшенной фабрике до превращения лофта в элемент буржуазной роскоши. Лофтизация запускает процессы формирования городского неравенства, становится основой джентрификации современного урбанистического пространства.

Практически лофт может быть принят как воплощение языка постмодернистской архитектуры, который, по мнению Ч. Дженкса, проявлялся как коллажность, эклектичность, противоположность [10. С. 123]. Коллажность постмодерна видится как желание контраста. Постмодернизм инклюзивен, и поэтому он принимает цитату и отсылку к региональной традиции. Внесение в одно пространство предметов или деталей разного происхождения, материалов, фактуры – все это заставляет говорить о сходстве техники коллажа художественных инсталляций и лофта. Кроме того, семиотика этих явлений предельно близка также, как и близка структура чувств, позволяющая воспринимать их.

В качестве одного из примеров техники коллажа предстают работы серии «Soggu» бельгийского художника Гийома Бейла (Guillaume Bijl). Для нас важно, что хронологически создание этой серии совпадает с появлением ра-

бот Ш. Зукин о лофте и развитии городского пространства рубежа веков. Это может продемонстрировать развитие общих представлений о практиках создания пространства. С 1987 по 2010 г. в серию работ «Sorry» [11] вошли 17 инсталляций и один скульптурный объект. Условно их можно разделить на три группы: предметы, предметы и манекены, символические предметы. Первая группа – это ассамбляжи, о которых сам автор писал, что здесь «„найденные объекты“ превращались в абстракции, теряя свою историю». Найденные объекты (по факту – ready made) скорее не теряют историю, но меняют контекст, а вместе с тем и функцию. То есть происходит то, что У. Эко называл изменением кода, когда «с течением времени некоторые первичные функции утрачивают свою реальную значимость в глазах адресата, не владеющего адекватным кодом, перестают что-либо значить» [12. С. 222]. Одна из первых инсталляций серии представляет бильiardные шары в птичьем гнезде «Sorry, 1987» [11]. Необходимо было введение нового кода для прочтения композиции, поскольку вне этого кода предметы лишены смысла. Тем более что для рассматриваемого периода произошло важное изменение: «постмодернизм поместил искусство в положение, где форма уже не была определяющим фактором» [13. С. 7], и мы сталкиваемся с явлением инсталляции как конструирования пространства предметов, объединенных единой концепцией.

Здесь возникает аналогия с идеей лофт-объекта, когда изменяется первичная функция помещения. Здание, созданное как склад или фабрика, становится, например, жилищем. Ш. Зукин, отмечала этот момент в трансформации лофта, что никто из работавших на фабрике не согласился бы там жить. Утрата этого опыта проживания пространства делает возможным перекодирование данного объекта. Как предметы в ассамбляжах Гийома Бейла должны потерять свою историю и стать чистой абстракцией, так и помещение лофта должно стать просто пространством, которое определено готовыми предметами и архитектурными деталями, что составляет некий заданный ландшафт. В лофте привлекает этот необычный коллаж предметов разного происхождения и разной функциональности.

Иррациональность комбинаций в работах Гийома Бейла возвращает нас к теме коллажности постмодерна как желания контраста. Но в более широком смысле мы видим процесс производства и потребления форм, который, по утверждению У. Эко, «проистекает из самой природы коммуникации» [12. С. 223]. Здесь следует отметить общую особенность искусства этого периода, о которой А.О. Котломанов говорит как о смене полюса смысловой нагрузки произведения, переходе от автономных качеств формы к понятию художественной концепции, предлагающей различные варианты «трансляции» замысла через трехмерную структуру [13. С. 7]. По своей сути лофт становится такой инсталляцией, где трехмерная структура пространственных объектов представляет концепцию Loft living как нового городского пространства и соответствующих ему повседневных практик. И вместе с этим проявляется «структура чувств» постмодерна.

Гийом Бейл в 1991 г. говорил о своем опыте работ из серии «Sorry»: «Я был „неверен“ своей собственной реалистичной форме». Это не была идея низвержения старого и очевидного отношения к предметам, скорее, это была демонстрация того, как производится и потребляется сочетание предметов

разного функционального значения и происхождения. По сути, это визуализация плотности культурного пространства, в котором находится современный человек. И примером такой демонстрации плотности культурного мира может быть инсталляция серии «Sorry» 1994 г. Palacia National, Sintra [11].

И в этом случае мы можем говорить о пересечении идеи работ серии «Sorry» с концепцией лофта, где пространство для жизни представлено как ready made, город уже заполнен объектами, которые не просто приспособливаются, а перепроживаются заново. Человек вписывается в плотную ткань города, существующую как ансамбль объектов, который нужно переосмыслить, чтобы принять. Нагромождение предметов в композиции Гийома Бейла как старый квартал города, где каждая вещь, как и дом, имеет свою историю и функциональное значение, воспоминания или ассоциации.

Таким образом, техника лофта не просто придерживается общих художественных тенденций работы с пространством, но и вводит пространство искусства в сферу повседневных практик как объект ежедневного потребления. При этом происходит концептуализация самого акта потребления преобразованного пространства как укоренения в городской среде.

В работах Г. Бейла второй группы в инсталляции помещены манекены. Черные, антропоморфные фигуры обозначают человеческое присутствие в мире ярких и самодостаточных предметов. Пространство вещей обретает собственное смысловое наполнение, которое вырисовывается на фоне манекена. В работах Бейла вещь становится актором, фактически подтверждая тезис М. Хайдеггера о том, что вещь не является символом чего-то, так как она не изображает присутствие мира, а есть это присутствие.

В своих комментариях художник настаивает на сюрреалистичности этих инсталляций. И они действительно открывают для нас сверхреальность материального окружения, где человеческое присутствие становится фоном для проявления значений вещи. Происходит процесс трансформации вещи, описанной Ж. Делёзом, когда мир искусства отсылает к идеальной сущности, заключенной в материальном знаке. Зритель подталкивается к интенциональному усилию, поиску знака, открывающему некий глубинный смысл.

Нами не случайно было отмечено хронологическое совпадение исследований Ш. Зукин и появления серии «Sorry». Фактически мы встречаем пример развития постмодернистской художественной практики работы с пространством и ее реализации в урбанистической концепции. Это предстает как единый процесс развития парадигмы постмодерна, реализованной в разном масштабе. В инсталляциях Гийома Бейла яркий предмет в противоположность черному манекену может быть интерпретирован как аллюзия на проблему смерти аутентичности города, материальной среды, которая определяет и структурирует функциональные связи и повседневные практики города. Это аналог зданий из красного кирпича и мощеных тротуаров у Ш. Зукин, которые передают атмосферу комфортной, обжитой территории, что и составляет «структуру чувств». Аутентичные места города несут свой смысл в урбанистическую однотипность, точно так как яркие юбки и «осмысленное» предметное окружение акцентируют искусственность манекенов. В инсталляциях Бейла именно предметы окружения делают понятными «действия» манекенов, имитирующих человеческое присутствие (например, Sorry Instal-

lation, 1989, Passages, Waregem [11]). В парадигме лофта вещи также создают ощущения человеческого присутствия, его укорененности в материальном окружении, привязанности к месту. Они превращаются в маркеры присутствия человека в пространстве города как искусственно созданного мира, антропогенной среды.

Третья группа инсталляций достаточно лаконична и включает два-три предмета с устойчивым символическим значением, таким как борода Санта Клауса или статуэтка премии Оскар. Эти работы созданы в 2000-х гг. Такое изменение стиля также хорошо соотносится с проблемой обнаженного города Ш. Зукин [14]. Это период, когда маркеры аутентичности включены в систему производства пространства и становятся частью процесса производства города как среды, имитирующей укорененность, обжитость, историю. Но в результате мы получаем Диснейленд – систему общепринятых символических обозначений, которые должны маркировать восприятие окружения как устойчивое, историческое, человеческое. У Ш. Зукин это прекрасно проиллюстрировано в описании джентрификации Гарлема, где копируется атмосфера места, но новые потребители этого пространства вытесняют создателей субкультуры данного района. «Причесанный» антураж порождает выхолощенное или, вернее, замещенное содержание этого городского пространства [15].

Такая погоня за аутентичностью, желание сконструировать ее даже там, где ее нет, прекрасно выражена в работе Гийома Бейла «Археологические раскопки», созданной для Скульптурного проекта в Мюнстере (Skulptur Projekte Münster) в 2007 г. [11]. Идею инсталляции дал анекдот о церкви в Антверпене, где во время строительства контейнерного парка случайно открыли забытый средневековый храм, который просто целиком потерялся в слоях насыпной площадки склада контейнеров, а четырехметровый шпиль остался визуально посередине контейнерного депо. Сам урбанистический анекдот о многослойности пространства хорошо иллюстрирует эпоху 2000-х гг., но коннотации мюнстерского проекта действительно впечатляют.

Это имитация археологических раскопок, в результате которых открывается крыша средневекового храма. «Найденная церковь» должна была стать туристическим памятником наподобие, скажем, квартала Агоры в Афинах. Но в отличие от этого объекта «Археологические раскопки» в Мюнстере, по словам автора, – это имитация, заставляющая задуматься о таких проблемах, как вера в вечность, власть, роскошь прошлого, растущее отсутствие интереса, ностальгия и т.д.

Однако еще более значимым является завершение этого проекта: в апреле 2015 г. «раскоп» с церковным шпилем был засыпан и в соответствии с ображениями художника и команды кураторов превратился в реальный археологический артефакт, который можно снова раскрыть. Таким образом, мы находим проявление идеи визуального конструирования историчности современным обществом, создания исторического окружения даже таким необычным способом. Однако в этом случае важен не факт имитации исторического объекта, а технология превращения современного арт-объекта в археологический материал. Мы не просто пересобираем пространство города, а перестраиваем временные порядки в его исторических напластованиях. То, что было начато техникой лофта в последней четверти XX в.,

получило новый вид технологии конструирования историчности (аутентичности) окружения.

Заключение

Фактически трансформации лофт-стиля как способа организации городского пространства и коллажа как ««трансляции» замысла через трехмерную структуру» стали проявлением новой структуры чувств. Прочтение тенденций, доминирующих в современных способах конструирования или производства пространства на примере искусства и культуры, открывает культурную логику метамодерна. Как отмечают Робин ван ден Аккер и Тимотеус Вермюлен, «творцы эпохи метамодерна нередко прибегают к стратегиям, схожим с теми, которыми пользовались их предшественники периода постмодерна, в манере, позволяющей им в беспорядке перемешивать стили прошлого, вольно обращаться с былыми приемами и в шутку брать на вооружение условности прошлого» [2].

Происходит переосмысление эстетики пространства, функциональных значений объектов и порожденных ими связей. Возникает новое представление о пространстве города как исторически укорененном и определенным образом визуализированном. Отсюда и интерес к мощеным улицам, этническим ресторанчикам и семейным магазинам. При этом важным моментом пространства города является расположенность к его проживанию, погруженность в антураж аутентичности, сопряженной с ультрасовременными урбанистическими технологиями. И, как отмечает Ш. Зукин, «в символической экономике совмещаются две принципиально важные для материальной жизни города производственные системы: *производство пространства*, в котором финансовые инвестиции взаимодействуют с культурными смыслами, и *производство символов*, которые являются и валютой коммерческого товарооборота, и языком социальной идентификации» культуры городов [15. С. 28]. Это свидетельство эволюции развития урбанистического пространства, в котором действуют механизмы, вскрытые в эпоху становления постмодерна. Однако они эволюционируют сами по себе и превращаются в средство для производства пространств и представлений о городе и о человеке. Если город постмодерна иронически допустил историю в модернизированное пространство, то в 2000-х гг. это допущение превратилось в необходимый инструмент для развития пространства, в маркер аутентичности. К 2010 г. «борьба за аутентичность» города стала трендом.

Процесс брендинга районов с точки зрения их историчности и аутентичности, по мнению Ш. Зукин, «имеет мало отношения к корням, но много – к стильности». Поэтому мы сталкиваемся с процессом конструирования аутентичности как стиля. Для этого есть основания в виде выраженной культурной идентичности, которую поддерживают путем сохранения исторических зданий и ткани районов, и для этого мы используем техники лофт-дизайна. Если этих оснований нет, то их можно создать, сконструировав определенное пространство вокруг предмета искусства или объекта с исторической или эстетической ценностью, как это продемонстрировал мюнстерский проект Гийома Бейла.

Таким образом, мы находим подтверждение тезиса Робина ван ден Аккера и Тимотеуса Вермюлена, что структура чувства метамодерна позициони-

руется *наряду* или *среди* более старых и более новых структур чувства. На символическом уровне культуры появляются гибридные и интеркультурные формы, дизайнерские решения архитектурных, технических, бытовых объектов. И те последствия лофтизации, которые так ярко описала Ш. Зукин, в виде новых сообществ, измененной повседневности традиционных кварталов, создания нового представления о городском образе жизни, – все это складывается в модель «зависания между прошлым и настоящим», которую Тимотеус Вермюлен и Робин ван ден Аккер определили как черту метамодерна. Мы видим, как предложенная рынком модель аутентичности соединяется с идеей «зависания между», сформулированной сторонниками концепции метамодерна. Это восприятие не только многослойности, но и одновременности присутствия разных пространств. Это не просто сконструированная или позволенная коллажность, а прожитая пространственность, которая предполагает встречу с другими временными объектами, точно так как человек встречает не только сверстников в своем окружении. Именно поэтому метамодерн акцентирует внимание на пространственном аспекте городской ткани как переплетении разновременных объектов. Нас интересует не сменяемость облика и композиции города, а схваченное «всегда» как проживание этих изменений.

Литература

1. *Андерсон П.* Истоки постмодерна / под ред. М. Маяцкого; пер. с англ. А. Апполонова. М. : Территория будущего, 2011. 250 с.
2. *Вермюлен Т., ван ден Аккер Р.* Заметки о метамодернизме // METAMODERN: журнал о метамодернизме. URL: <http://metamodernizm.ru/notes-on-metamodernism/> (дата обращения: 30.11.20).
3. *Сюндюков Н.* Интервью с Робин ван ден Аккером 01.03.2017 // METAMODERN: журнал о метамодернизме. URL: <http://metamodernizm.ru/robin-van-den-akker/> (дата обращения: 30.11.20).
4. *Делёз Ж.* Различие и повторение. СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1998. 384 с
5. *Робин ван дер Аккер Р., Вермюлен Т.* Вехи 2000-х, или Появление метамодернизма // METAMODERN: журнал о метамодернизме. URL: <http://metamodernizm.ru/emergence-of-metamodernism/> (дата обращения: 30.11.20).
6. *Артеменко А.П.* Метамодерн и его эстетический опыт: визуализация мировоззренческой и ценностной парадигмы в современной архитектуре // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки: науковий журнал. Житомир : Вид-во Житомир. держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. Вип. 1 (85). С. 45–55. DOI: 10.35433/PhilosophicalSciences.1(85). 2019. С. 45–55
7. *Акройд П.* Лондон: биография. М. : Изд-во О. Морозовой, 2009. 896 с.
8. *Hillier B., Hanson J.* The Social Logic of Space. Cambridge University Press, 1984. 282 p.
9. *Zukin S.* Loft Living: Culture and Capital in Urban Change. Baltimore, MD : Johns Hopkins, 1982.
10. *Дженкс Ч.* Язык архитектуры постмодернизма. М. : Стройиздат, 1985. 136 с.
11. *GUILLAUME BIJL.* URL: <http://www.guillaumbijl.be/sorry.html> (accessed: 30.11.20).
12. *Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1998. 432 с.
13. *Котломанов А.О.* Паблик-арт: страницы истории. Торжество концептуализма. Биеннале, конкурсы, арт-проекты // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2015. Сер. 15. Вып. 3. С. 5–19.
14. *Zukin S.* Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places. Oxford University Press, 2010.
15. *Зукин Ш.* Культуры городов. М. : Новое лит. обозрение, 2015. 424 с.

Andrii P. Artemenko, Kharkiv State Academy of Culture (Kharkiv, Ukraine).

E-mail: prof.artemenko@mail.ru

Yaroslava I. Artemenko, National University of Pharmacy (Kharkiv, Ukraine).

E-mail: tcepin@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 47–58.

DOI: 10.17223/1998863X/58/5

FROM POSTMODERNISM TO METAMODERNISM: THE FORMATION OF MODERN VISUAL PRACTICES

Keywords: visualization; metamodernism; space production; loft design; installation; collage.

The aim of the article is to trace the transition to metamodernism as the dominant cultural logic of modern society. The article presents the development of the loft style and the artistic collage as examples of changes in modern visual practices. The authors demonstrate how the new cultural logic is reflected in the production of the space of an art object and urban environment generally. The article shows the similarity of the semiotics of loft design and the artistic collage, which reflects the emergence of a new cultural logic of metamodernism. The article presents the evolution of views on the state of contemporary culture in the framework of the concepts of postmodernism and metamodernism. The relevance of this study is associated with the formation of a new attitude to visuality in the metamodernism concept. The proposed approach demonstrates a new principle of working with the phenomenon of visualization, both in terms of detail and generalization. The authors explore the concept of loft style in the context of general trends in visual practices during the transition from the postmodern culture to the metamodern one. An analysis of the loft aesthetics makes it possible to see the development of postmodernism as a common worldview paradigm of the late twentieth century. In turn, changes in the loft-style technique become markers of the transition to metamodernism. The loft object demonstrates the layering of senses and meanings, historical eras and aesthetic preferences. The loft style reflects the influence of aesthetic, technical and communicative preferences on the formation of a specific men-environment paradigm. The comparison of the loft-style and collage practices allows concluding about the post-modern art space practice and its implementation in an urban concept. This appears as a single process of the postmodern paradigm development realized on a different scale. The loft and artistic collage techniques of the last quarter of the twentieth century served as the basis for the metamodernist technology for constructing the historicity (authenticity) of the environment. At the same time, an important moment in space is the entourage of authenticity, coupled with cutting-edge urban technology. Metamodernism understands the visual image as a phenomenon of consciousness, inscribed in the complex system of interactions, where physicality, sociality, psychology, etc. are present. Anthropological projections are conditions, not means for expressing meanings. The article proposes an original approach to the phenomenon of visualization: visual image is presented as a result of the formation of a complex semiotic system which reflects the experience of a multi-level spatial environment.

References

1. Anderson, P. (2011) *Istoki postmoderna* [The Origins of Postmodernity]. Translated from English by A. Apollonov. Moscow: Territoriya budushchego.
2. Vermeulen, T. & van den Acker, R. (2015) Zametki o metamodernizme [Notes on metamodernism]. *METAMODERN: zhurnal o metamodernizme*. [Online] Available from: <http://metamodernizm.ru/notes-on-metamodernism/> (Accessed: 30th November 2020).
3. Syundyukov, N. (2017) Interv'yu s Robinom van den Akkerom 01.03.2017 [Interview with Robin van den Acker on March 1, 2017]. *METAMODERN: zhurnal o metamodernizme*. [Online] Available from: <http://metamodernizm.ru/robin-van-den-akker/> (Accessed: 30th November 2020).
4. Deleuze J. (1998) *Razlichie i povtorenie* [Difference and repetition]. Translated from French by N.B. Mankovskaya, E.P. Yurovskaya. St. Petersburg: Petropolis.
5. van den Acker, R. & Vermeulen, T. (2019) Vekhi 2000-kh, ili Poyavlenie metamodernizma [Milestones of the 2000s, or the Emergence of Metamodernism]. *METAMODERN: zhurnal o metamodernizme*. [Online] Available from: <http://metamodernizm.ru/emergence-of-metamodernism/> (Accessed: 30th November 2020).
6. Artemenko, A.P. (2019) Metamodern and Its Aesthetic Experience: Visualization of the World-view Paradigm in Architecture. *Visnik Zhitomirskogo derzhavnogo universitetu imeni Ivana Franka. Filosofs'ki nauki – Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences*. 1(85). pp. 45–55. (In Ukrainian). DOI: 10.35433/PhilosophicalSciences.1(85).2019.45-55
7. Ackroyd, P. (2009) *London: biografiya* [London: biography]. Translated from English. Moscow: O. Morozova.

8. Hillier, B. & Hanson, J. (1984) *The Social Logic of Space*. Cambridge University Press.
9. Zukin, S. (1982) *Loft Living: Culture and Capital in Urban Change*. Baltimore, MD: Johns Hopkins.
10. Jenks, Ch. (1985) *Yazyk arkhitektury postmodernizma* [The Language of Post-Modern Architecture]. Translated from English. Moscow: Storyizdat.
11. Bijl, G. (n.d.) *Sorry Works*. [Online] Available from: <http://www.guillaumbijl.be/sorry.html> (Accessed: 30th November 2020).
12. Eco, U. (1998) *Otsutstvuyushchaya struktura. Vvedenie v semiologiyu* [The Absent Structure: Introduction to Semiotics]. Translated from Italian by V. Reznik et al. St. Petersburg: Petropolis.
13. Kotlomanov, A.O. (2015) Public art: the pages of history. Triumph of conceptualism. Biennales, competitions, art projects. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Iskusstvovedenie – Vestnik of Saint Petersburg University. Arts*. 5(3). pp. 5–19. (In Russian).
14. Zukin, S. (2010) *Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places*. Oxford University Press.
15. Zukin, S. (2015) *Kul'tury gorodov* [Cultures of Cities]. Translated from English by D. Simanovsky. Moscow: NLO.

УДК 140.81
DOI: 10.17223/1998863X/58/6

И.Н. Круглова, Р.А. Шакир

ЦИНИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Рассматривается формирование цинического субъекта и цинической повседневности в результате перехода от «дисциплинарного общества» к «обществу контроля» в контексте «социальной технологизации» М. Фуко и акторно-сетевой теории. Делается вывод о развитии цинической стратегии как социального действия, направленного на уклонение от реальности, ускользание в поверхностно-оценочные модели поведения, приводящие к прокрастинаторским технологиям.

Ключевые слова: цинический субъект, циническая повседневность, актор-субъект, социальные технологии, масс-медиа.

Задолго до перехода человечества к стадии своего развития, получившей название «информационное общество» (или постиндустриальное, в зависимости от подходов к классификации), научные представления о сущности и природе социальных технологий были известны гораздо раньше первых попыток сформулировать их определения. Если понятийное закрепление социальных технологий появилось относительно недавно, то базовые принципы управления общественными процессами, структурными изменениями и ценностно-культурными основаниями непрерывно развивались от простого состояния к сложному на протяжении многих столетий.

В рамках современного социально-философского дискурса, образуемого многими исследовательскими традициями, обнаруживается большое разнообразие определений социальных технологий, у которых будет наличествовать одно общее основание, которое можно представить в виде универсального определения – это комплекс систематизированных методов, приемов, инструментов и способов, чей практический вектор применения направлен на реализацию общественных целей, от которых зависят высокие показатели эффективности и результативности как социального планирования и появления новых коммуникативных форм, так и содержательных аспектов информационной повестки принятия решений (и в повседневной жизни социальных субъектов, и на уровне международной политики).

Осмысление социальных технологий может транспонировать конфигурацию общественного сознания на более глубоких уровнях саморефлексии, поскольку связано с вопросами образования и развития различных паттернов и моделей социального поведения, в свою очередь обусловленных различными стратегиями действия, модусами социальности и актуализированных в пространстве «социального» маркер-тенденций. Понимание данных аспектов позволяет социальным акторам (или субъектам) разобраться в условиях общественного устройства и адаптационно реализовывать себя в них для удовлетворения личностно-общественных потребностей и фреймирования стабильного пространства «повседневной жизни». Современные социальные

технологии – это, в первую очередь, материально-смысловое единство источников и инструментов управления обществом, социальными институциями и стратами акторов (расширим данное определение интерпретацией социальной модели «актор-сеть» в контексте сетевого подхода). Если в рамках исторических периодов и эпох прошлого различные способы общественного устройства обладали более элементарными структурой и коммуникативными формами, то в наше время, из-за одновременно и количественного, и качественного усложнения всех аспектов интеракции (синергетический эффект в социальной плоскости), социальные технологии более не могут оставаться в положении традиционных аксиологических установок и передаваться из поколения в поколение без значительных изменений. Аспект их изучения в контексте социально-философской аналитики также требует поиска новых способов и приемов научного объяснения, продиктованных стремлением получения более глубоких знаний о принципах и причинно-следственных основаниях образования пространства «социального». Без этих знаний невозможны процессы стабильной реализации общественного прогресса и поддержания общества в продуктивно-функциональном состоянии.

Однако чем будет являться понятие «стратегии поведения» в исследовательском контексте «социальной технологизации» современного общества, и какое отношение к ней будет иметь «циническая повседневность»? Для раскрытия данных вопросов сначала обратимся к М. Фуко как одному из ведущих социально-технологических теоретиков XX в., а также свяжем выводы его философских воззрений с гносеометодологическими особенностями акторно-сетевой теории, чтобы в дальнейшем подступиться к обоснованию современных форм цинизма в качестве социальных технологий.

Стратегии поведения как условия и способы манипуляции общественным сознанием складываются исходя из междисциплинарного исследовательского контекста взаимодействия социальной философии, социологии, психологии, бихевиористики и когнитивистики. При этом процессуальность и актуальность праксиса социальных технологий как комплексной репрезентации стратегий поведения зависят от содержательного понимания природы социальной реальности. Если в социально-философской аналитике будут довлеть динамические способы объяснения природы социальной реальности, то это будет способствовать гуманистическому пониманию творческих и интеллектуальных возможностей человека как социального актор-субъекта, а также росту эффективности работы различных предприятий экономико-производственного характера и иных организационных форм общественных отношений.

Отечественная исследовательница Н.В. Гришина предлагает под «стратегией поведения» понимать определенную последовательность ментальных и поведенческих действий, направленных на достижение конкретной цели [1]. Данное определение сближает с исследовательской традицией М. Вебера, а точнее, с его типологией «социального действия», в основе которой лежит идея целерациональности как ключевого мотивационного компонента, побуждающего социального субъекта к действию. Исходя из этого, значения понятия «стратегии поведения» помещаются в область мотивационной проблематики, т.е. влияния факторов и стимулов (как внутренних, так и внешних) на процессы формирования устойчивых векторов субъектного целепола-

гания и продуцирования из них моделей социального поведения, понимание которых, в свою очередь, дает основание для ситуационного применения тех или иных социальных технологий манипуляций общественным сознанием.

В прочтении М. Фуко понятие «технологии» раскрывается в четырех смыслах: как деятельность, объект, знание и способ организации. То же самое касается и социальных технологий, при рассмотрении которых французский мыслитель ставит исследовательский акцент в их понимании на активности и методологической проблеме практик, реализующих действия социальных актор-субъектов. Несмотря на то что в своих работах Фуко рассматривает «технологии» с различных сторон (в «Археологии знания» и «Словах и вещах» – с точки зрения вопроса трансформации субъектов в объекты знания; в I томе «Истории сексуальности» и «Надзирать и наказывать» – с позиции изучения технологий, преобразующих человеческое существование в социальную предметность), в конечном итоге он отходит от ретроспективного изучения истории вещей в сторону «терминов, категорий и методов, через которые определенные вещи, в определенное время становятся в центре внимания всех процессов форм дискурса» [2. С. 8], отвечая таким образом на вопрос, как формируются вещи.

Для Фуко «социальная технологизация» применяется человечеством для осмысления себя и контроля «Иного», поскольку она затрагивает процессы обучения индивидуумов манипулировать другими индивидуумами (один из срезов «социализации») и формирования мировоззренческих установок с ситуационными компетенциями. Вместе с тем, если следовать логике «объяснения посредничества» [3. Р. 114], то технологии – это посредник между миром культуры и физическим миром, между смыслом и материей. Посредством технологий мы, как социальные актор-субъекты, реализуем себя в мире. Технологии являются не просто прослойкой между нами как продолжением «социального» и картезианским *res extensa*, но самостоятельным участником интеракции – медиатором акторного взаимодействия процессуальных сущностей, чья интеракция может влиять на то, как быть человеком в изменчивом мире.

Осмыслению природы «технологий» немецкий социолог и философ, Ю. Хабермас, посвящает свою типологию, согласно которой существует три типа значений перспективы технологической применимости. Первый тип – производственные технологии, цель которых лежит в создании различных вещей и их сборке; второй тип – знаково-символические технологии, связанные с коммуникационной сферой социальных субъектов и процессами смыслопорождения; третий тип – политические технологии (или технологии власти), которые основываются на принципах доминирования, тотального подчинения, воздействия и определения индивидуального поведения. М. Фуко прибавляет к данной типологии четвертый тип – технологии самости, через которые социальные акторы могут более эффективно себя проявлять в динамических условиях общественного этоса через самоактуализацию и манифестацию собственных средств трансформации себя в новые конфигуративные сборки статусно-ролевых значений.

Для Фуко (в более поздний период творчества, следующий за средним – «генеалогическим», периодом) наибольшее значение для «социальной технологизации» имеют последние два типа технологий – технологии власти и са-

мости, поскольку через них наиболее полно раскрываются ключевые аспекты западного субъективизма. Эти два типа технологий сосредоточиваются не на всем содержании тех или иных ассоциативных общностей, а на отдельных индивидах и особенностях маршрутизации их целеполагания.

В своей работе «Надзирать и наказывать» французский мыслитель в качестве объекта рассмотрения и анализа берет именно технологии власти, а точнее, ту ее модификацию, которую маркирует в качестве паноптизма. Такая модификация социальных технологий в политической оптике заслуживает исследовательского внимания, поскольку несет в себе аспект важной трансформации властных институций, уходящей корнями в период XVIII–XIX вв. Трансформация затрагивает плоскость социального контроля, когда политический фокус смещается с прямолинейного наказания тела к латентному наказанию души и разума. Попытки как проявление модуса тотальной «карающей длани» заменяются на более «спокойные» и рациональные практики «дисциплинарных наказаний», что приводит к образованию нового «режима социальности» – режима правил и предписаний, охватывающих все аспекты человеческого существования. «Дисциплинарные общества» и «буква закона» становятся одними из ведущих оснований нового состояния социальной реальности. Все это закладывает новый образ общественных отношений – общество модерна, которое исторически актуализируется несколько позже «дисциплинарных обществ», на рубеже XIX–XX вв., давая старт развитию «общества контроля» (Ж. Делёз). В рамках такого «общества» образуется «формальное знание о том, что все социальные институты обречены на предсмертную агонию» [4]. Здесь речь идет об организации формальных ритуализированных практик и прокрастинаторских стратегий поведения людей, призванных занять их время «чем-то отвлеченным» и менее важным, чтобы они смогли «уходить от проблем» до тех пор, пока социальная реальность не будет стабилизирована полным переходом от состояния «дисциплинарных обществ» к состоянию «обществ контроля».

«Дисциплинарные общества» Фуко – это общества классического модерна, не испытывавшие на себе влияния духа постметафизических проектов XX в. Таким образом, являясь отражением парадигмы постмодернистской чувствительности, «общество контроля» уже не интересует проблема объективной истины или даже субъективной правды. Вместо этого манифестируется стремление к репутации (образу поверхностного восприятия чего угодно – людей, социальных явлений, трендов, вещей и пр.) как единственно важной ценности, что, в свою очередь, говорит о формировании цинической стратегии поведения. В ходе определения цинической стратегии поведения как ценностнорационального социального действия (а также социальной технологии) оно может быть сформулировано как эвалютивное, т.е. поверхностно оценочное действие – аксиосуррогат – негативное выхолащивание ценностных представлений и образование внутренней пустотности их значений в социальной реальности «дисциплинарного общества», что приводит, в свою очередь, к прокрастинаторским алгоритмам «общества контроля» – неумению справляться с жизненными проблемами, и болезненным психологическим эффектам в процессе взаимодействия актор-субъекта с социумом.

Общество модерна, т.е. современное общество, является источником, носителем и транслятором цинических умонастроений, стратегий поведения и

онтосоциального пространства «цинической повседневности». В цинизме, по мнению немецкого философа П. Слотердайка, угадывается «эмблема современности» [5], определяемая им в качестве «структурного хаоса» социальной реальности, последовавшего за провалом проекта Просвещения. Результатом упадка просвещенческих идеалов, определивших развитие модернистского общества, является «ложное просвещенное сознание» [6. С. 20].

В ходе краха просвещенческих идеалов произошли переоценка классической рациональности в научном сообществе и как следствие этого – переход общества к состоянию модерна с установлением инструменталистского понимания рациональности. Инструменталистский рационализм, с присущей ему тягой к ужесточению формализации отношений, спровоцировал становление общества модерна как общества латентно-цинического, поскольку в его рамках воспроизводится отказ от классического «прямолинейного онтологизма» [7], приводящего общественные нормы и идеалы к состоянию относительной истинности. В этом случае цинизм предстает в виде выхолащенной рациональности, ведущей к образованию формализованных моделей социального поведения, а также в качестве знакового атрибута процессов десаκραлизации и деонтологизации значений социальной реальности.

Принцип разумного сомнения Р. Декарта, как одно из начал «ложного просвещенного сознания», приводит к принципу «ускользающей реальности», как его выразил В.Т. Адорно. Согласно последнему, «ускользающая реальность» характеризуется «понятием „тотальности“, выражающим многообразие отношений между частью и целым на различных уровнях реальности» [8. С. 50]. Тотальность или целостность – это «взаимосвязь отношений между частями и целым» [9. С. 81]. Результат тонкого взаимодействия обоих принципов побуждает современного человека, которого Слотердаик называет циническим субъектом, следовать поведенческой стратегии «вечного уклонения», т.е. «цинического уклонения» [6. С. 32]. Цинический субъект, являясь частью общества модерна, содержит в себе стойкие общественные интенции разочарования и бессилия, порождающие социальные установки равнодушия и безразличия.

Общество модерна как исторический показатель наибольшего сосредоточения общественной рефлексии определяет феномены модерна и постмодерна как устойчивые социальные состояния, при которых социум стремится к рекурсивному переосмыслению самого себя. В связи с этим происходит обострение процессов формализации общественных отношений, самоотчуждения человека от своей самости, вызревания цинических умонастроений, в результате чего образуется феномен «масс-культурной отсылки» [10]. Масс-культурная отсылка, являясь промежуточным звеном, отделяющим содержание информационного сообщения от его знаково-символической формы, образует зацикленную на себе самой пустотную, т.е. содержательно выхолащенную, репрезентацию. Практика таких отсылок развивает информационное поле масс-медиа и блогосферы, уводя его в сторону поверхностно-развлекательной направленности, в рамках которой целевой аудитории не предъявляются жесткие требования проявления критического мышления, что только находит позитивный отклик у зрителей.

Цинический субъект, всегда функционируя на грани распада, следует поведенческой стратегии «вечного уклонения», при этом оставляя вполне

конкретные «следы» – остаточные представления о социальной реальности или ее более конкретизированной части. Такие «следы» – суть устойчивые маркеры, яркие, как неоновые огни ночного города, на которые невозможно не обращать внимание, а значит, можно использовать в контексте «социальной технологизации», манипулируя общественным сознанием как вполне действующим инструментом информационной повестки современного дня. В данном контексте важно упомянуть английского философа «Тимоти Бьюза, который следует слотердаевской трактовке цинизма как „просвещенного ложного сознания“ и, таким образом, приходит к выводу, что цинизм в форме апатии, усталости и пораженчества, которые он относит к основным чертам постмодернизма, парализует всякую политическую и социально-повседневную волю, наоборот, требующую „веры в невозможное“» [11. С. 4–5]. Т. Бюз считает, что современный цинический субъект, в отличие от афинского киника, слишком подвержен социальной апатии; он погружен в себя и всегда готов смириться с тяжестью переживаемых испытаний, «нежели бравировать своим опытом отчуждения» [11. С. 8]. «Цинизм означает отказ иметь какие бы то ни было отношения с миром, кроме антагонистических, побег в одиночество, уход в себя и неприятие политики ввиду ее фальши. Современный цинизм – это состояние разочарования, которое может проявляться вспышками эстетизма или даже нигилизма. Цинизм отбрасывает эмоциональную и возвышенную шелуху с ценностей, поэтому абстракции истины и целостности гораздо более важны для него, чем такие политические добродетели, как активность и изобретательность» [11. С. 8–9], – пишет английский мыслитель. Отсюда следует, что, являясь вполне распознаваемыми маркер-тенденциями и модусами социальности, современные формы цинизма закладываются в основу стратегий поведения, осмысленные и проанализированные репрезентации которых составляют суть современных социальных технологий. Это подразумевает аспект предсказуемости и «читаемости» у проявлений цинических умонастроений, формирующих стабильное пространство «цинической повседневности», которое в наше время пополняют все большее количество социальных актор-субъектов.

Есть ли вероятность корректировки описанного типа стратегий поведения? Этот вопрос пока открыт, поскольку циническая трансформация всего «социального» еще не завершена. А будет ли она завершена полностью? Хотя данный вопрос также остается без ответа, все же ясно одно – существующие социально-правовые институты в этом вопросе пока не работают.

Итак, в пространстве технологии власти и технологии самости – двух основных стратегий формирования дисциплинарных обществ – происходит переход к обществу контроля, характерного для второй половины XX в. В результате этого перехода организуется циническая стратегия поведения как ценностнорациональное социальное действие, направленное на уклонение от целостной реальности, ускользание в поверхностно оценочные модели поведения, приводящие к прокрастинаторским алгоритмам взаимодействия актор-субъекта с социумом, в связи с чем можно говорить об образовании «цинической повседневности», парализующей политическую и социальную волю людей, порождая феномен всепоглощающей масс-культурной отсылки. Когда-то Эпиктет сравнил киника с лазутчиком и шпионом, который разведывает положение противника: исследуя границы человечности, где может

осуществляться отказ от всего внешнего, чужого и пустого, они пытались установить человека в наготу своего собственного «Я» [12. С. 188]. М. Фуко определил киников как «философских героев», которые из всех античных философов наиболее радикально соединили образ жизни с практикой высказывания истины [13. С. 221]. Циническая стратегия поведения как отказ от поиска своего «Я» и удовлетворение формальными ритуализированными практиками, являясь маркер-тенденцией развития современного общества, в какой-то степени становится тем же самым лазутчиком, но с обратным значением – показывающим, что ждет человечество, впадающее в социальную апатию и отклоняющееся от ценностей, ставших ложными и потому отброшенными, но также отказывающееся от поиска и обновления жизненных ориентиров, способных к веридикции истины.

Литература

1. Гришина Н.В. Определение «стратегии поведения» // Кашапов М.М. Основы конфликтологии / М.М. Кашапов; М-во образования и науки Российской Федерации; Федеральное агентство по образованию; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. Ярославль : Ярослав. гос. ун-т, 2006 (Ярославль: Ремдер). 115 с.
2. Rajchman J. The Story of Foucault's History // Social Text. 1984. № 8. P. 3–24.
3. Verbeek P. What Things Do: Philosophical Reflections on Technology. University Park : Pennsylvania University Press, 2005.
4. Делёз Ж. Post scriptum к обществам контроля / пер. с фр. В.Е. Быстрова // Международная ассоциация трудящихся. URL: <https://aitrus.info/node/754> (дата обращения: 16.11.20).
5. Смирнов И.И. Между цинизмом и кинизмом // Альманах «Studia culturae», Studia culturae. Вып. № 3. СПб. : СПб. философское общество, 2002. С. 154–160.
6. Слотердайк П. Критика цинического разума / пер. с нем. А.В. Перцева. Екатеринбург : У-Фактория ; М. : АСТ МОСКВА, 2009. С. 20 (Philosophy).
7. Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы // Центр гуманитарных технологий. 18.03.2012. URL: <https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5321/5328> (дата обращения: 16.11.2020).
8. Сивков Д.Ю. Концепция «ускользающей реальности» в философии Теодора В. Адорно // Вестник Самарской гуманитарной академии. Сер.: Философия. Филология. 2009. № 1 (5). С. 48–59.
9. Адорно В.Т. Эстетическая теория / пер. с нем. А.В. Дранова. М. : Республика, 2001. 527 с. (Философия искусства).
10. Скаррь А. Поор Team Epic. Мысли об обществе масс-культурной отсылки // Good Old Nerpach. URL: <https://gonerpach.ru/pop-team-epic/> (дата обращения: 16.11.2020).
11. Зеленский С.А. От переводчика // Бьюз Т. Цинизм и постмодерн / пер. с англ. С.А. Зеленского М. : ИД «КДУ», 2016. С. 4–5.
12. Эпиктет. Беседы / пер. Г.А. Тароняна. М. : Ладомир, 1997. 312 с.
13. Фуко М. Мужество истины. Управление собой и другими II. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1983–1984 учебном году: пер. с фр. СПб. : Наука, 2014. 358 с.

Ratmir A. Shakir, Krasnoyarsk State Agrarian University (Krasnoyarsk, Russian Federation).
E-mail: ratmirshak@gmail.com

Inna N. Kruglova, Krasnoyarsk State Agrarian University (Krasnoyarsk, Russian Federation).
E-mail: inna_krug@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 59–66.
DOI: 10.17223/1998863X/58/6

THE CYNICAL STRATEGY OF BEHAVIOR AS A SOCIAL TECHNOLOGY

Keywords: cynical subject; cynical lebenswelt; actor-subject; social technologies; mass media.

This article examines various aspects and foundations of the formation of a cynical subject and cynical lebenswelt as a result of the transition from a “disciplinary society” to a “society of control”. The authors proceed from the thesis that strategies of behavior as conditions and methods of manipu-

lating public consciousness depend on a meaningful understanding of the nature of social reality. Dynamic ways of explaining the nature of social reality contribute to a humanistic understanding of the creative and intellectual capabilities of a person as a social actor-subject. Based on the typology of “social action” by Max Weber, strategies of behavior are actualized in the field of motivational problems. Enriching the understanding of models of behavior with the ideas of Michel Foucault’s “social technologization” and actor-network theory, two main social technologies characteristic of a “disciplinary society” are distinguished: technologies of authority and technologies of the self. Technologies of authority are based on the principles of dominance, influence and determination of individual behavior. However, in modern society, these technologies are not productive, without technologies of the self, without social actors, to effectively express themselves in the dynamic conditions of the social ethos. The interaction of technologies of authority and technologies of the self contributes to the transition to a “society of control” characteristic of the second half of the 20th century. The “society of control” led to the formation of formalized models of social behavior, to desacralization and deontologization of the meanings of social reality. As a result, the authors deduce an assumption about the development of modern social technologies as representations of cynical strategies of behavior. A cynical strategy of behavior is understood as a value-rational social action aimed at avoiding a holistic reality, slipping into superficially evaluative models of behavior, leading to procrastinatory algorithms for the interaction of the actor-subject with society. A “cynical lebenswelt” is formed, paralyzing the political and social will of people, giving rise to the phenomenon of an all-consuming mass-cultural referral. The cynical strategy of behavior as a refusal to search for one’s self and for veridiction of truth and as satisfaction with formal ritualized practices is a marker trend in the development of modern society. The research uses the following methods: social typology by Weber, the concept of social technologization by Foucault, the ideas of the actor-network theory.

References

1. Grishina, N.V. (2006) *Opreделение “strategii povedeniya”* [Definition of “behavior strategy”]. In: Kashapov, M.M. *Osnovy konfliktologii* [Fundamentals of Conflictology]. Yaroslavl: Yaroslavl State University. [Online] Available from: <https://vocabulary.ru/termin/strategiya-povedeniya.html> (Accessed: 16th November 2020).
2. Rajchman, J. (1984) “The Story of Foucault’s History”. *Social Text*. 8. pp. 3–24.
3. Verbeek, P. (2005) *What Things Do: Philosophical Reflections on Technology*. University Park: Pennsylvania University Press.
4. Deleuze, J. (2004) *Post scriptum k obshchestvam kontrolya* [Post scriptum to control societies]. Translated from French by V.E. Bystrov. St. Petersburg: Nauka. [Online] Available from: <https://aitrus.info/node/754> (Accessed: 16th November 2020).
5. Smirnov, I.I. (2002) *Mezhdru tsinizmom i kinizmom* [Between cynicism and cynicism]. *Studia culturae*. 3. pp. 154–160.
6. Sloterdijk, P. (2009) *Kritika tsinicheskogo razuma* [Critique of Cynical Reason]. Translated from German by A.V. Pertsev. Ekaterinburg: U-Faktoriya; Moscow: AST MOSKVA.
7. Stepin, V.S. (2006) *Filosofiya nauki. Obshchie problemy* [Philosophy of Science. Common Problems]. Moscow: Tsentr gumanitarnykh tekhnologiy. [Online] Available from: <https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5321/5328> (Accessed: 16th November 2020).
8. Sivkov, D.Yu. (2009) The conception of elusive reality in T.W. Adorno’s philosophy. *Vestnik Samarskoy gumanitarnoy akademii*. 1(5). pp. 48–59. (In Russian).
9. Adorno, V.T. (2001) *Esteticheskaya teoriya* [Aesthetic Theory]. Translated from German by A.V. Dranov. Moscow: Respublika.
10. Sknar, A. (2018) *Poop Team Epic. Mysli ob obshchestve mass-kul’turnoy otsylki* [Poop Team Epic. Thoughts on a society of mass-cultural reference]. [Online] Available from: <https://gonerpach.ru/pop-team-epic/> (Accessed: 16th November 2020).
11. Zelensky, S.A. (2016) *Ot perevodchika* [From the translator]. In: Buse, T. *Tsinizm i postmodern* [Cynicism and Postmodernity]. Translated from English by S.A. Zelensky. Moscow: KDU. pp. 4–5.
12. Epictetus. (1997) *Besedy* [Discourses]. Translated from Ancient Greek by G.A. Taronyan. Moscow: Ladomir.
13. Foucault, M. (2014) *Muzhestvo istiny. Upravlenie soboy i drugimi II. Kurs lektsiy, prochtannykh v Kollezhe de Frans v 1983–1984 uchebnom godu* [The Courage of Truth: The Government of Self and Others II; Lectures at the Collège de France, 1983–1984]. Translated from French. St. Petersburg: Nauka.

УДК 141.3

DOI: 10.17223/1998863X/58/7

А.П. Семенюк, К.А. Семенюк, А.Д. Долбня

ПРИНЦИП ЦЕЛОСТНОСТИ КАК ОСНОВА КУЛЬТУРНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (БИОЭТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

Рассматривается концепт «целостность» как биоэтическое и в то же время культурологическое понятие. Показано, что общество, в котором удовлетворены базовые потребности, порождает новые биоэтические проблемы, а также что психофизиологическое здоровье человека может быть обусловлено факторами ноогенного происхождения. Делается вывод, что сегодня необходимы междисциплинарные исследования, проблематизирующие такие понятия, как целостность и самоидентичность на основе синтеза культурологии, биоэтики, философии, с одной стороны, медицины и естествознания – с другой.

Ключевые слова: целостность, культурная идентичность, личностная идентичность, экзистенциальная тревога.

Идея целостности известна в европейской культуре еще с Платона. И сегодня понятие «целостность» занимает важное место и в биофилософии, и в социальной философии, например, в анализе интеллектуальной и духовной жизни западноевропейских обществ¹. О значимости этого концепта для европейцев свидетельствует и то, что целостность вошла в набор краеугольных принципов так называемой европейской биоэтики, в отличие от ее американского прообраза. Авторы исследовательского проекта BIO-MED II, финансировавшего Европейской комиссией и Исследовательским советом Дании, заявляют о необходимости защищать как психическую, так и телесную целостность человека от разрушений в результате медицинского вмешательства. Под психофизической целостностью здесь понимается тождественность личности, в основе которой заключена нарративная когерентность индивидуальной памяти [2. Р. 38]. Осмысление идеи целостности требует анализа материалов разных наук, однако нас будет интересовать целостность как культурная ценность, как априорная убежденность человека в том, что он целостен².

¹ Следует отметить, что идея целостности рассматривается как характерный признак русской философской мысли, в том числе и антропологических учений, созданных в ее рамках. Хотя и очевидно, что русская мысль в этом отношении близка западной традиции, имея с ней одни источники (платонизм и христианская этика), такое направление как славянофильство, например, рассматривало целостность как черту сущностно отличающую русскую культуру от западной. Как отмечает Н.О. Лосский, по убеждению И.В. Киреевского, принципом, «в котором состоит главное достоинство русского ума и характера», является цельность [1. С. 32].

² Мы можем говорить о том, что человек – комплексное, сложно устроенное существо, раздираемое конфликтами. Разные его добродетели могут вступать в противоречие друг с другом. Человек может быть целостен в художественном или интеллектуальном отношении, но ущербен в моральном, несовершенен в профессиональном, но обладать нравственной чистотой и т.д. Когда мы пытаемся точно определить целостность, возникают трудности. Целостность распадается на уровни, типы, которые довольно сложно привести в некое связанное единство. Однако существует интуитивное понимание целостности, которое глубоко на уровне архетипов укоренено в культуре. Всегда есть некий проект целостности, который мы пробрасываем в будущее и с которым себя соотносим.

Представление о целостности в европейской культуре следует понимать и в более широком контексте. В феноменологическом и, более того, в духовном смысле целостностью обладает субъект, который является пространством телесно воплощенной личности. Этот топос личностного присутствия может быть выражен понятием «зона неприкасаемости», разработанным датским философом Кнудом Лёгструпом. Вторжение в эту зону он называет игнорированием целостности человека [3. Р. 5]. В этом определении просматривается отсыл уже к правовому аспекту проблемы целостности. Ссылка на защиту телесно-психической целостности человеческой личности становится неперенным пунктом в формулировании правовых норм. Вторжение в частную сферу человеческой личности рассматривается как нарушение целостности индивидуальной автономии. Таким образом, понятие целостности используется для защиты личностной идентичности человека, и не только отдельных людей, но и в отношении человечества как вида. П.Д. Тищенко указывает: «В имени „человек“ уже наброшена некоторая существенная тождественность (идентичность) существа, о котором идет речь, самому себе. Это набрасывание идентичности одновременно оказывается „заключением в скобки“ всего отклоняющегося, нетождественного» [4. С. 9].

Вместе с тем надо отметить, что для современной культуры помимо тенденции гуманизации характерен и антропологический кризис. Реальность существенно расходится с пафосом официально декларируемой обществом системы принципов и идеалов. Многие философы заявляют об утрате самоидентичности человека и даже о том, что он не существует как целое, – все неклассические теории сознания тому подтверждение. Еще К. Маркс говорил об отчужденной родовой сущности. Ницше и Фрейд описывали человека как разорванную сущность. По Ж.-П. Сартру, существование человека предшествует его сущности. Ю. Хабермас фиксирует инструментализацию человеческих отношений. Хорошо известно высказывание М. Фуко, который называет человека недавним изобретением и предрекает ему недалекий конец: «...человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке» [5. С. 403]. Близким по смыслу является и принцип детерриторизации субъекта Ж. Делеза и Ф. Гваттари.

В трудах упомянутых авторов высказана *экзистенциальная тревога по поводу утраты целостности человеком*. Действительно, человек современной западноевропейской культуры удовлетворяет базовые потребности, при этом уровень экзистенциальной тревоги (концепт, выдвинутый немецким философом и богословом П. Тиллихом в его классической работе «Мужество быть» [13]), как ни странно, оказывается очень высоким. Еще Виктор Франкл во второй половине XX в. зафиксировал рост ноогенных неврозов¹ и случаев «бесконечного психоанализа» в европейских странах, объясняя это тем, что человек в современном мире все больше вступает в пространство свободы, когда ни инстинкты, ни традиция уже не детерминируют его бытие. «Люди, лишенные напряжения, склонны к тому, чтобы создавать его, и это может принимать либо здоровые, либо нездоровые формы» [7. С. 65]. Однако в XXI в. эта тенденция лишь усугубилась, что актуализирует проведение не только философских, но и эмпирических исследований в данной области [12, 14].

¹ Ноогенный невроз (термин логотерапии В. Франкла) – невроз утраты смысла существования.

Экзистенциальная тревога напрямую связана с осознанием конечности бытия и переживается как распад и утрата целостности. В этом отношении становится понятен интерес философии XX в. к психиатрии, а психиатрии – к философии, так как больное сознание представляет собой экзистенциальный распад, «онтологическую незащищенность»¹ сознания как такового. Соответственно, психическое заболевание, психическое отклонение – это тот регистр, в котором в кристаллизованном виде можно разглядеть многие процессы, происходящие с человеком вообще.

Именно за счет философской прививки происходит гуманизация психиатрии. Интерес психиатрии к экзистенциальному измерению человека начался с «малой» психиатрии (психиатрии неврозов) в психоанализе. Затем он был продолжен в «большой» психиатрии мощным течением, определившим на долгие годы развитие психиатрии как науки, экзистенциально-феноменологической психиатрией в трудах таких авторов, как К. Ясперс, Л. Бинсвангер, М. Босс, Э. Минковски, В.Э. фон Гебзаттель и др. Развивая идеи экзистенциальной философии и феноменологии в пространстве медицинской дисциплины о душевных патологиях, экзистенциально-феноменологическая психиатрия в качестве критерия болезни вводит «экзистенциальную чуждость» [9. С. 24]. Этот критерий предполагал методологию познания, принципиально отличную от методов естественных наук, о чем однозначно писал Ясперс: «Когда объектом исследования становится человек во всей полноте „человеческого“, а не просто человек как биологический вид, психопатология обнаруживает свойство гуманитарной науки» [10. С. 64].

Воспользуемся описанием экзистенциальной тревоги, которое дает американский психиатр и психотерапевт Ирвин Ялом. В своей клинической работе и теоретических умозаключениях Ялом отталкивается от идей С. Кьеркегора, П. Тиллиха и М. Хайдеггера, сетуя на то, что многие проблемы пациентов не решаются, ввиду того что терапевт просто не опускается до глубинного уровня, «сканируя» лишь поверхность. Если страх – это всегда страх чего-либо (например, страх быть не понятым, не услышанным, не любимым), то тревога – это страх ничто, аннигиляции, распада, утраты целостности: «Страху, который нельзя ни понять, ни локализовать, противостоять невозможно, и от этого он становится еще страшнее: он порождает чувство беспомощности, неизменно вызывающее дальнейшую тревогу» [6. С. 41]. Так как экзистенциальная тревога порождается столкновением индивидуума с конечными данностями существования, то в этом виде она непереносима для человека. Именно поэтому она имеет тенденцию к трансформации во всевозможные страхи и фобии за счет защитных механизмов смещения, сублимации, вытеснения, рационализации и конверсии. Потому особый статус в исследованиях экзистенциальной тревоги представляет работа с онкобольными и психотическими больными. На анализе этого аспекта проблемы следует остановиться отдельно.

У онкобольных, помимо физической боли, являющейся следствием схем тяжелого лечения, и многих побочных эффектов, которые следуют за ним, рак обычно вызывает острейшую экзистенциальную тревогу и связанное с ней страдание [11]. Экзистенциальные страдания онкобольных отличны от

¹ Онтологическая незащищенность – понятие Р. Лэнга, характеризующее специфику психотического восприятия реальности

обычных неврозов тем, что наряду с фоновой экзистенциальной тревогой, которая заостряется в любых невротических расстройствах, эти расстройства являются расстройствами целостности человека, расстройствами нарратива о себе и своем жизненном пути. Они могут проявляться в виде переворота в убеждениях и целях, оставляя человека деморализованным относительно ценности продолжающейся жизни. Хотя это состояние чаще изучается в отношении неизлечимо больных пациентов, экзистенциальные страдания также проявляются у людей, уже переживших рак. Психосоциальная реабилитация, направленная на устранение экзистенциальных страданий, традиционно включает, среди прочего, разработку когнитивной стратегии для того, чтобы справиться с ситуацией, и технику осознанности. Однако проблемы, с которыми сталкивается онкобольной, подчас настолько ярко выражены, что лишь частично могут быть устранены за счет данных техник, так как все же они (проблемы) носят уже не столько психологический, сколько философский характер. Поэтому врачи-психиатры, ассоциирующие себя с феноменологическим подходом, столь настаивают на философской подготовке клинициста [15. С. 6].

Для философской же рефлексии может быть интересен опыт врачей на уровне индивидуума, соприкасающегося с экзистенциальными переживаниями. Среди многочисленных случаев психотерапевтической практики вышеупомянутого Ирвина Ялома особый интерес представляют его примеры работы с онкобольными. Так, один из его пациентов, двадцатипятилетний молодой человек, у которого была выявлена злокачественная лимфома, единственным шансом излечения имел новый протокол химиотерапии, однако молодой человек наотрез отказался сотрудничать с врачами. К этому возрасту пациент успел уже сделать хорошую карьеру и держать под контролем многие аспекты своей жизни. Ялом пишет о совершенно иррациональной реакции пациента на химиотерапию: он не мог спать ночью перед сеансом лечения, его охватывала паника, и он постоянно находил способы уклониться от лечения. Пациент не мог в точности сказать, чего он конкретно боится, и лишь отмечал, что это имеет отношение к неподвижности и беспомощности. Поэтому ему нестерпимо было ожидание, приготовление онкологом лекарства, вид вводимой в вену иглы, обматывание руки, вид капель, входящих в его тело. Данный эпизод демонстрирует смещение тревоги с самой смерти на процесс химиотерапии.

Если на уровне невроза экзистенциальная тревога кажется вполне очевидной и понятной, то на уровне психоза, т.е. тяжелого поражения личности с отсутствующей критикой в отношении происходящего, экзистенциально-феноменологический подход может восприниматься как что-то избыточное. Действительно, биологическая составляющая в таком психозе, как, например, шизофрения, многократно доказана, и большинство современных гипотез ее происхождения связаны с версией нарушения и разбалансировки нейротрансмиттерных систем головного мозга [16. С. 86]. Однако опыт таких психиатров как Бинсвангер, Лэнг, Сэлс, говорит о том, что психотический процесс может быть понят, а реабилитация должна в себя включать не только психофармакологическую терапию, которая по сути лишь купирует происходящие в личности изменения. В качестве субъективного опыта шизофрения – это капитуляция человека перед лицом экзистенциальной тревоги вследствие

незрелости Эго. Капитуляция шизофреника сопровождается, как правило, фоновым ужасом, ощущением разобщенности, разорванности реальности. Его поведение становится дискретным и непоследовательным.

Если невротические защиты позволяют человеку сместить свой страх утраты целостности на что-то иное, то психотический больной совершает «побег» в психоз, так как не имеет сил справиться с этим страхом. Внутри психотической модели существования, которую избирает для себя шизофреник, он выстраивает новые связи между вещами и новый тип существования, который спасает его от экзистенциальной тревоги и утраты целостности. Убегая от распада физического, больной шизофренией окунается в распад личности, распад экзистенциальный. Он замыкается в своем мире, где, подобно младенцу, может ощущать свое всемогущество. Рональд Лэнг приводит пример своего психотического больного, характеризующего себя как «пробку, плавающую в океане». Этот человек был крайне озабочен тем, что так и не стал личностью, и винил во всех своих неудачах свою мать. Несмотря на сильнейшую неуверенность в себе, на практике его было не так просто напугать, как может показаться. «Своим внешним поведением он предвосхищал опасность, которой постоянно был подвержен, а именно стать чем-то большим, чем пробка. (В конце концов, какая вещь в океане находится в большей безопасности?)» [8. С. 43]. Истокая свою связь с жизнью через этот способ защиты, т.е., рассматривая себя как нечто отчужденное, он уменьшал риск быть поглощенным, разделенным, разорванным реальностью, как бы говоря: «мне проще самому себя уничтожить, лишь бы не ждать, когда это сделает кто-то другой».

Таким образом, экзистенциально-феноменологическая традиция может представлять интерес как для биоэтики, так и для культурологии, раскрывая в теоретической и практической полноте переживание целостности и проживание утраты таковой. Однако проблема состоит в том, что, несмотря на декларацию данного принципа на всех возможных уровнях, в реальности происходит скорее обратный процесс. Научно-технический прогресс и рост значения доказательной медицины приводят к тому, что происходит смещение «диагностического приоритета с дескриптивно-феноменологического уровня к оценке выраженности тех или иных нарушений. Этот процесс, по сути, вытеснил устоявшийся в XX в. категориальный подход, заменив его дименсиональным» [16. С. 28]. Переход от категорий к дименсиям был продиктован, с одной стороны, требованием точности, присущей естественным наукам, с другой – дестигматизации психических больных. Однако повсеместное внедрение оценочных шкал, использование математических моделей, анкетных методов, экспресс-методов вытесняет, как отмечалось выше, собственно профессиональное клиническое мышление врача, а равно и ряд диагностических подтипов заболеваний. Так, например, произошло с простой шизофренией в современной DSM-5. Данная форма заболевания в такой ситуации фактически не может быть диагностирована, что приводит к утрате возможностей своевременной психиатрической помощи пациентам и некорректным диагнозам.

На основании вышесказанного можно утверждать, что научно-технический и социальный прогресс в жизни общества порождает новые экзистенциальные проблемы, новые условия культурного бытия, которым уже не со-

ответствует объектно-ориентированная научная рациональность. Биологический редукционизм, при всех достижениях в области естественных наук, биоинженерии, нейроисследованиях не может выступать ответом на антропологические запросы современности, так как не позволяет сформировать целостную картину человеческой реальности. Еще В. Франкл отмечал: «Редукционизм – это нигилизм наших дней. <...> Человек – не „что-то“, не вещь среди других вещей. Вещи детерминируют друг друга. Человек же определяет себя сам. Или, скорее, он решает, позволит ли он себе быть определяемым, будь то побуждениями и инстинктами, которые толкают его, или основаниями и смыслами, которые притягивают» [7. С. 84].

Смыслы, которые стоят за разрозненными данными наук, не могут быть соединены в целостную картину средствами самих естественных наук, так как в ней не остается места для человека как целостного смыслопорождающего субъекта. Технологические и гуманитарные изменения не просто расширяют возможности человека, но качественно преобразуют его психические функции, разрушая родовую сущность человека. Сегодня необходимы междисциплинарные исследования, проблематизирующие такие понятия, как целостность и самоидентичность на основе синтеза культурологии, биоэтики, философии, с одной стороны, медицины и естествознания – с другой.

Литература

1. Лосский Н.О. История русской философии. М. : Высшая школа, 1991. 559 с.
2. Basic ethical principles in european bioethics and biolaw / editors J.D. Reindtorff, P. Kemp. Barcelona : Institute Borja de Bioetica, 2000. Vol. I. Autonomy, dignity, integrity and vulnerability, 428 p.; Vol. II. Partners' research. 372 p.
3. Sviland R., Martinsen K., Nicholls D.A. Løgstrup's thinking: a contribution to ethics in physiotherapy // Physiotherap Theory and Practice An International Journal of Physical Therapy. DOI: 10.1080/09593985.2020.1741051
4. Тищенко П.Д. Био-власть в эпоху биотехнологий. М. : ИФРАН, 2001. 177 с.
5. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. с фр. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой, СПб. : A-cad, 1994. 407 с.
6. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / пер. с англ. Т.С. Драбкиной. М. : Независимая фирма «Класс», 2019. 576 с. (Библиотека психологии и психотерапии).
7. Франкл В. Человек в поисках смысла: сборник : пер. с англ. и нем. / общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева; вст. ст. Д.А. Леонтьева. М. : Прогресс, 1990. 368 с.
8. Лэнг Р.Д. Расколотое «Я». Феноменология переживания и Райская птичка. М. : ИОИ, 2016. 350 с.
9. Власова О. Анти-психиатрия. Социальная теория и социальная практика / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 432 с.
10. Ясперс К. Общая психопатология / пер. с нем. Л.О. Акопяна. М. : Практика, 1997. 1053 с.
11. Knox J.B.L. Developing a novel approach to existential suffering in cancer survivorship through Socratic dialogue. Psycho-Oncology. 2018. Vol. 1–3. DOI: 10.1002/pon.4750
12. Van Bruggen V., ten Klooster P., Westerhof G., Vos J., de Kleine E., Bohlmeijer E., Glas G. The ExistentialConcerns Questionnaire (ECQ) – Developmentand InitialValidationofa New Existential AnxietyScale ina Nonclinical and ClinicalSample // Journal of Clinical Psychology. Vol. 73, № 12. P. 1692–1703. DOI: 10.1002/jclp.22474
13. Тиллих П. Теология культуры. М. : Юрист, 1995. 479 с.
14. Weems C.F., Costa N., Dehon Ch. Paul Tillich's theory of existential anxiety : a preliminary conceptual and empirical examination // Anxiety Stress & Coping. Vol. 17, № 4. P. 383–399. DOI: 10.1080/10615800412331318616
15. Клинические разборы в психиатрической практике / под ред. А.Г. Гофмана. 4-е изд., доп. М. : МЕДпресс-информ, 2015. 720 с.

16. Корнетова Е.Г., Семке А.В., Корнетов А.Н., Иванова С.А., Лобачёва О.А., Семениук К.А., Бойко А.С., Бохан Н.А. Шизофрения: биопсихосоциальная модель и конституционально-биологический подход. Томск : Интегральный переплет, 2018. 174 с.

Anton P. Semenyuk, Siberian State Medical University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: apsemenyuk76@gmail.com

Xenia A. Semenyuk, Siberian State Medical University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: marcelp@yandex.ru

Andrey D. Dolbnya, Siberian State Medical University (Tomsk, Russian Federation).

Email: adolbnya1@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 67–74.

DOI: 10.17223/1998863X/58/7

THE PRINCIPLE OF INTEGRITY AS THE BASIS OF CULTURAL AND PERSONAL IDENTITY (A BIOETHICAL STATEMENT OF THE PROBLEM)

Keywords: integrity; cultural identity; personal identity; existential anxiety.

The article considers the concept of integrity as a bioethical and, at the same time, cultural concept. Integrity is taken here not as an ontological or methodological principle, but as a cultural value, as a person's prior belief that they are whole. The concept of integrity in Western societies is used to protect the personal identity not only of individuals, but also in relation to humanity as a species. Concurrently, modern culture, in addition to increasing humanization, is characterized by an anthropological crisis. Reality is significantly at variance with the system of principles and ideals officially declared by society. The article raises the problem of preserving integrity as an inherent characteristic of personal and cultural identity and the existential consequences associated with ignoring this problem. Modern Europeans meet all basic needs, while the level of existential anxiety is very high. Existential anxiety is directly related to the awareness of the finiteness of being and is experienced as a disintegration and loss of integrity. In this regard, it becomes clear that the twentieth-century philosophy is interested in psychiatry, and psychiatry is interested in philosophy, since the sick mind is a mode of existential disintegration of the mind itself. In this sense, the existential-phenomenological tradition can be of interest for both bioethics and cultural studies, bringing out the experience of integrity and loss of it in its theoretical and practical entirety. Using the example of oncological diseases and mental pathologies, the authors show that human psychophysiological health can be caused by factors of noogenic origin. It is concluded that today there is a need for interdisciplinary research that problematizes such concepts as integrity and self-identity based on the synthesis of cultural studies, bioethics, philosophy, on the one hand, and medicine and natural science, on the other.

References

1. Lossky, N.O. (1991) *Istoriya russkoy filosofii* [History of Russian Philosophy]. Moscow: Vysshayashkola.
2. Reindtorff, J.D. & Kemp, P. (ed.) *Basic ethical principles in European bioethics and biolaw*. Barcelona: Institute Borja de Bioetica.
3. Sviland, R., Martinsen, K. & Nicholls, D.A. (2020) Løgstrup's thinking: a contribution to ethics in physiotherapy. *Physiotherapy: Theory and Practice*. DOI: 10.1080/09593985.2020.1741051
4. Tishchenko, P.D. (2001) *Bio-vlast' v epokhu biotekhnologii* [Bio-authority in the age of biotechnology]. MHRAS.
5. Foucault, M. (1994) *Slova i veshchi. Arkheologiya gumanitarnykh nauk* [Words and Things. Archeology of the Humanities]. Translated from French by V.P. Vizgin, N.S. Avtonomova. St. Petersburg: Acad.
6. Yalom, I. (2019) *Ekzistentsial'naya psikhoterapiya* [Existential Psychotherapy]. Translated from English by T.S. Drabkina. Moscow: Klass.
7. Frankl, V. (1990) *Chelovek v poiskakh smysla* [Man in search of meaning]. Translated from English and German. Moscow: Progress.
8. Leng, R.D. (2016) *Raskolotoe "Ya". Fenomenologiya perezhivaniya i Rayskaya ptichka* [The Divided Self. The Politics of Experience and the Bird of Paradise]. Translated from English. Moscow: IOI.
9. Vlasova, O.A. (2014) *Anti-psikhiatriya. Sotsial'naya teoriya i sotsial'naya praktika* [Anti-Psychiatry. Social Theory and Social Practice]. Moscow: HSE.

10. Jaspers, K. (1997) *Obshchaya psikhopatologiya* [General Psychopathology]. Translated from German by L.O. Akopyan. Moscow: Praktika.
11. Knox, J.B.L. (2018) Developing a novel approach to existential suffering in cancer survivorship through Socratic dialogue. *Psycho-Oncology*. 1–3. DOI: 10.1002/pon.4750
12. van Bruggen V., ten Klooster P., Westerhof G., Vos J., de Kleine E., Bohlmeijer E., Glas G. (2017) The Existential Concerns Questionnaire (ECQ)—Development and Initial Validation of a New Existential Anxiety Scale in a Nonclinical and Clinical Sample. *Journal of Clinical Psychology*. 73(12). pp. 1692–1703. DOI: 10.1002/jclp.22474
13. Tillich, P. (1995) *Teologiya kul'tury* [Theology of Culture]. Translated from English. Moscow: Yurist.
14. Weems, C.F., Costa, N. & Dehon, Ch. (2004) Paul Tillich's theory of existential anxiety: a preliminary conceptual and empirical examination. *Anxiety Stress & Coping*. 17(4). pp. 383–399. DOI: 10.1080/10615800412331318616
15. Gofman, A.G. (ed.) (2015) *Klinicheskie razbory v psikiatricheskoy praktike* [Clinical Analyses in Psychiatric Practice]. 4th ed. Moscow: MEDpress-inform.
16. Kornetova, E.G., Semke, A.V., Kornetov, A.N., Ivanova, S.A., Lobacheva, O.A., Semenyuk, K.A., Boyko, A.S. & Bokhan, N.A. (2018) *Shizofreniya: biopsikhosotsial'naya model' i konstitutsional'no-biologicheskiiy podkhod* [Schizophrenia: A Biopsychosocial Model and a Constitutional-Biological Approach]. Tomsk: Integral'nyy pereplet.

УДК 172

DOI: 10.17223/1998863X/58/8

Н.А. Ястреб

ОРУЖИЕ И СОВРЕМЕННЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ДВА ВАРИАНТА ОТРИЦАНИЯ ЦЕННОСТНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

Показано, что тезис о ценностной нейтральности технических объектов в силу ряда противоречий не может быть использован в практике гуманитарной экспертизы техники. Проводится анализ теории вложения ценностей, сделан вывод о том, что данный подход не объясняет возможность использования технических объектов для реализации тех ценностей, которые не предполагались разработчиками, и не раскрывает сам процесс «вложения» ценностей, следовательно, не может быть использован как основа для проведения гуманитарной экспертизы технологий.

Ключевые слова: ценность, артефакт, аксиология техники, ценностная нейтральность технологии, искусственный интеллект, теория вложения ценностей.

Введение

Проблема этической, моральной и ценностной нейтральности технических объектов является фундаментальной для философии техники [1, 2]. Ее актуализация на разных этапах развития философских исследований техники, как правило, связана с появлением новых технических систем, функционирование которых так или иначе трансформирует социальные отношения и может изменить моральные или ценностные ориентации людей. Двойственная природа технических объектов¹, сущность которых определяется одновременно физической структурой и функциональностью, затрудняет анализ их гуманитарных свойств и проявлений, так как сложно выделить, к чему именно относятся наши утверждения – к артефактам как к физическим объектам, к их функциональным свойствам или к процессу их использования человеком. Эта непроясненность повсеместно используется для манипуляций сознанием людей, так как, меняя контекст и ракурс рассмотрения, можно показывать одни и те же технические объекты и как благо и как угрозу для человечества.

Этические и ценностные суждения о технике и технологиях используются для составления заключений экспертиз, на основе которых принимаются решения о внедрении, ограничении или запрете использования тех или иных систем. В последние годы дискуссии вокруг проведения этих экспертиз начинают обостряться, в том числе в связи с распространением практики, при которой производители, например, систем искусственного интеллекта, утверждают, что в их технологии изначально «встроены» ценности, и выступают против строгих форм регламентирования. Распространившийся в последнее время термин «этический искусственный интеллект» означает, что

¹ Используемые термины «артефакт» и «технический объект», строго говоря, не являются тождественными, но в том контексте, в котором они употребляются в статье, их можно условно считать синонимами.

разработчики определяют и декларируют определенную систему принципов, которой они руководствуются при создании технологий. Тем самым демонстрируется добрая воля создателей, которые заявляют в качестве своих целей «содействие прогрессу общества и человеческой цивилизации, устойчивому развитию природы и общества, на благо всего человечества и окружающей среды, а также повышение благосостояния общества» [3]. Следовательно, строгая регламентация в форме юридических разрешений и запретов как будто бы становится избыточной, потому что разработчик уже интегрировал в эти инструменты значимые общечеловеческие ценности и этические принципы. Такой подход весьма распространен в современной философии техники [4] и базируется на представлении о том, что артефакты (любые технические объекты) сами по себе являются носителями ценностей или, по меньшей мере, способствуют реализации определенных ценностей. Однако это утверждение является дискуссионным и требует детального анализа.

Тезис о нейтральности технологии и его критика

Отправной точкой для анализа подходов к пониманию морального статуса артефактов является тезис о нейтральности технологии, согласно которому технические объекты сами по себе нейтральны как в этическом, так и в ценностном плане, пассивны, не воплощают и не транслируют никакие системы убеждений, не являются ни добром, ни злом. При этом ответственность за все позитивные и негативные последствия применения этих технологий, а также за изменение социальных отношений возлагается исключительно на тех, кто внедряет и использует данные технологии. Ценностную окрашенность могут иметь действия с применением технологий, но не сами технологии. Этот подход объясняет, в частности, почему одни и те же объекты в разных ситуациях могут способствовать реализации различных ценностей. Например, нож может реализовывать ценность безопасности, если он как оружие используется для защиты, или ценность здорового образа жизни, если он применяется для измельчения полезных продуктов. Сам нож при этом остается тождественным самому себе и не изменяется в зависимости от выбора способа его использования, а те ценности, которые реализуются с его помощью, проявляются только в деятельности человека и связаны с его субъектностью.

Критики данного подхода отмечают, что если принять тезис о нейтральности технологии, то тогда нужно признать, что разные технические объекты одинаково нейтральны. Например, при таком подходе автомат Калашникова и губка для мытья посуды равнозначны [5]. Рассмотрение техники как некоторого инструментария, не оказывающего никакого влияния на деятельность с его применением, сталкивается с серьезными противоречиями. В частности, многие практики становятся возможными только при наличии определенных технологий. Без современных биотехнологий невозможны клонирование или генетическая модификация организмов. Если какой-либо технический объект является необходимым условием определенной деятельности, способствующей реализации конкретных ценностей, то такой объект нельзя считать нейтральным. Встраиваясь в повседневные практики, технические артефакты «могут активно влиять на своих пользователей, изменяя то, как они воспринимают мир, как действуют в мире и как взаимодействуют друг с дру-

гом» [3. Р. 1]. Так, П. Вербик, критикуя традиционное понимание артефактов как пассивных объектов действия, утверждает, что технические объекты являются частью «моральных агентов». В этом смысле в качестве субъекта действия выступает не просто человек, а гибрид человека и технологий [6].

Более сильный вариант отрицания тезиса о нейтральности технологии входит в число базовых идей подхода, получившего название теории вложения ценностей [7, 8]. Данная теория утверждает, что при создании артефактов в них могут вкладываться те или иные ценности. Основная идея теории вложения ценностей формулируется следующим образом. Артефакт x воплощает значение V , если спроектированные свойства x имеют потенциал для достижения или вклада в V из-за того, что x был разработан для V [7]. Ван де Поул приводит пример с дамбой. Если дамба возводится для обеспечения безопасности и действительно способствует безопасности, то она воплощает ценность безопасности [Там же]. То есть если артефакт вносит вклад в обеспечение той или иной ценности, то его можно считать носителем этой ценности. Автор называет данный вариант ценности «внешней конечной ценностью», имея в виду, что артефакт имеет ценность для других (внешняя ценность) и ценен сам по себе (конечная ценность). То есть самому артефакту не приписывается субъектность или даже активность и признается, что он представляет ценность только для внешних субъектов, но при этом ценность рассматривается как нечто связанное с самим объектом, неотделимое от него. По аналогии с аристотелевским учением о причинности, в котором объекты наделяются телеологическими свойствами, теория вложения ценностей рассматривает артефакты как носители поставленных при их проектировании ценностей.

М. Кленк, который не полностью соглашается с теорией вложения ценностей, анализируя понятие внешней конечной ценности артефактов, отмечает, что она определяется проектными свойствами технических объектов, так как «внутренние свойства артефакта (например, его физическая структура) не определяют ценность артефакта исчерпывающим образом, а его внешние свойства, намерения разработчиков артефакта, обязательно способствуют его ценности» [5]. То есть такую ценность нельзя назвать в полном смысле вложенной. Она может быть основана на физической структуре артефакта, но проявляется в процессе реализации функций только при участии внешних факторов.

Несмотря на то что теория вложения ценностей обосновывается рядом аргументов, она не объясняет, почему некоторые артефакты могут способствовать реализации тех ценностей, которые не были предусмотрены при их проектировании. Если следовать логике теории вложения, то заложенные в технических объектах ценности не могут изменяться. Передает ли нам жуткая, но в своем роде совершенная и прекрасная колесница, созданная Леонардо да Винчи для перерубания сухожилий лошадей и солдат, представления о красоте, гармонии и человеческом разуме, формирует ли она у нас вкус, эстетические ориентации? Технические объекты не имеют собственной субъектности и вряд ли способны самостоятельно производить ценности, однако это не означает, что они не могут транслировать ценности тех субъектов, которые их используют, но не имеют отношения к их созданию. Наш пример с колесницей Леонардо да Винчи показывает, что сначала объект мо-

жет рассматриваться как то, что главным образом способствует реализации военных задач, а через некоторое время – уже эстетических ценностей. Сами ценности при этом также могут переосмысливаться с течением времени.

Вопрос об изменении реализуемых техническими объектами ценностей связан с проблемой появления новых функций у артефактов. Возможность использования артефактов для реализации тех функций, для которых они не были предназначены, хорошо описана в литературе. Выделяют три основных способа изменения функциональности, а именно реинтерпретацию, адаптацию и переизобретение [5]. Все эти приемы могут приводить, в том числе, к изменению тех ценностей, которые транслируются с использованием артефакта, и могут рассматриваться как некоторые практики преобразования технических объектов, изменяющие ценностные аспекты взаимодействия с этими объектами. Реинтерпретация представляет собой изменение семантики без физических преобразований. Например, если рассматривать сохранившиеся фрагменты Берлинской стены, то использование граффити стало определяющим фактором, благодаря которому они воспринимаются не как символы разъединения, а как свидетельства торжества гуманизма и неизбежности разрушения тоталитарных режимов. Адаптация предполагает приспособление, в том числе конструктивное, артефактов для решения тех задач, которые не предполагались на этапе проектирования. М. Кленк приводит яркий пример с кассетными плеерами, которые создавались для проигрывания музыки, а стали использоваться для проведения религиозных проповедей, т.е. трансляция художественных, эстетических ценностей сменилась на приобщение к духовным, религиозным ценностям. Самый радикальный вариант преобразования артефакта – его переизобретение. К примеру, вычислительные приборы 40–60-х гг. XX в. создавались для решения исследовательских задач, а в 80-е гг. они переизобретаются в виде персональных компьютеров, встроенных в структуру ценностей общества потребления. Таким образом, мы видим, что новые функции появляются у артефактов, в том числе без изменения физической структуры, следовательно, некоторые ценности получают возможность реализации без их «вложения» на этапе проектирования.

И самым уязвимым местом теории является неопределенность самой процедуры «вложения ценности». Как именно оно происходит и какие явные и неявные намерения, убеждения и представления при этом вкладываются в артефакты? Оставляя в рамках данной статьи этот вопрос за скобками, отмечу, что при всей туманности и кажущейся мистичности данного процесса ссылки на высказывания о вложенных ценностях можно найти в самых серьезных документах, что заставляет более внимательно отнестись к данной проблеме, требующей отдельного рассмотрения.

Выявив серьезные уязвимости и в тезисе о нейтральности технологии, и в теории вложения ценностей, можно сделать вывод о том, что ценностные аспекты артефактов возникают в процессе их взаимодействия с человеком, однако сами артефакты здесь нельзя рассматривать как пассивные орудия, не оказывающие влияния на человека. Тезис о нейтральности технологии справедлив только в том случае, если технический объект не задействован напрямую или опосредованно в деятельности человека. В остальных случаях его нужно рассматривать как актор, который может задавать границы действия, влиять на принятие решений и способствовать реализации ценностей, однако

некорректно приписывать эти ценности объекту самому по себе, потому что их источником является гибридная система, включающая человека и технические объекты, используемые им.

Отрицание тезиса нейтральности технологии в практике производства и применения оружия и систем искусственного интеллекта: сравнительный анализ

Любое оружие производится для того, чтобы устрашать, предостерегать и по необходимости причинять вред. Использовать для этих целей теоретически можно все виды оружия, но на практике сам факт применения некоторых устройств рассматривается как необоснованная жестокость, вне зависимости от того, кто и при каких условиях их использует. Еще в Петербургской декларации 1868 г. об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль указывалось, что «единственная законная цель, которую должны иметь государства во время войны, состоит в ослаблении военных сил неприятеля... употребление такого оружия, которое по нанесении противнику раны без пользы увеличивает страдания людей, выведенных из строя, или делает смерть их неизбежною, должно признавать не соответствующим упомянутой цели; употребление подобного оружия было бы противно законам человеколюбия» [9]. Если любые без исключения практики применения конкретного оружия признаются негуманными, то, на первый взгляд, это значит, что данное качество относится не к способу использования объекта, а к нему самому. Здесь требуется уточнение. Если представить себе, что какое-то запрещенное этой конвенцией оружие оказалось потеряно, забыто и лежит там, где никто не может его найти и применить, и при этом никто не может использовать его как угрозу, то вряд ли мы будем утверждать, что оно само по себе содержит антигуманные ценности. Скорее, речь идет о том, что любая деятельность с применением этого вооружения, вне зависимости от целей, намерений, тактики и других аспектов признается негуманной.

Практически все виды лазеров могут при неправильном использовании привести к слепоте, однако существует ослепляющее лазерное оружие, специально созданное для перманентного ослепления и запрещенное Конвенцией о некоторых видах обычных вооружений [10]. Некоторые виды оружия не позволяют контролировать зону их поражающего действия, вследствие чего с высокой вероятностью при любом их использовании будет причинен вред гражданскому населению. Речь идет, в частности, об обсуждении применения кассетных боеприпасов, запрещенных Дублинской конвенцией [11]. При взрыве такие кассеты распадаются на множество отдельных суббоеприпасов, которые могут уцелеть при первоначальном взрыве и в дальнейшем привести к неконтролируемым последствиям. Конвенция прямо подчеркивает опасность самих кассетных боеприпасов вне зависимости от целей их применения, утверждая, что «взрывоопасные остатки кассетных боеприпасов убивают или калечат гражданских лиц, в том числе женщин и детей, препятствуют экономическому и социальному развитию, в том числе вызывая потерю средств к существованию, затрудняют восстановление и реконструкцию в постконфликтный период, задерживают процесс возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц или препятствуют ему, могут оказывать негативное воздействие на национальные и международные усилия по миростро-

ительству и оказанию гуманитарной помощи» [11. Р. 32]. Как видно из цитаты, в данном случае негативные гуманитарные аспекты связываются непосредственно с самим оружием, точнее, с его неизбирательностью, а не со спецификой практик его применения.

Практика гуманистической оценки оружия основана на тезисе о том, что технические объекты сами по себе имеют свойства, способствующие или препятствующие реализации ценностей. Да, запрещенные виды оружия не обладают субъектностью и, не участвуя в человеческой деятельности, не транслируют ценности, но при любом своем применении вне зависимости от обстоятельств они приводят к необоснованным убийствам военных, бесмысленным жертвам среди гражданского населения и тем самым признаются негуманными и отрицающими ценность человеческой жизни. Международные документы, запрещающие применение оружия или производство, учитывают его ценностные аспекты, однако в аргументации мы, как правило, не находим положений в духе теории вложения ценностей, наделяющих сами орудия ценностями. Самые радикальные в этом отношении документы, такие как Конвенция по кассетным боеприпасам, обращают внимание на то, что любая деятельность, вне зависимости от целей и способов использования этого оружия, приводит к негативным гуманитарным последствиям.

В последние несколько лет появился ряд новых дискуссий, посвященных регламентированию использования технических объектов, в рамках которых активно продвигается теория вложенных ценностей. Речь идет о попытках разработки концепций «этической техники». Наиболее показательным примером является «этический искусственный интеллект», т.е. декларируемая разработчиками интеллектуальных продуктов система ценностей и этических принципов, реализованная в системах искусственного интеллекта [3, 12–14]. Сами системы искусственного интеллекта при этом представляются как технологии со «встроенными» ценностными ориентациями и этическими принципами. И речь здесь идет не о возможностях, которые открывает применение искусственного интеллекта, а о том, что такие интеллектуальные системы сами «воплощают принципы человеческого достоинства, единства, свободы, неприкосновенности частной жизни и культурного и гендерного разнообразия, а также основные права человека» и должны препятствовать распространению «вредных человеческих предрассудков» [14]. Вроде бы, налицо антиинструменталистский подход и отрицание нейтральности технологии, однако в следующем предложении авторы говорят о том, что в правовом поле такие системы должны иметь статус орудий.

Нужно отметить, что в целом выделяются три вида регулирования технологий. В первом случае не предусмотрено вообще никакого правового регулирования, соблюдение этических принципов является добровольными. Во втором случае применяется умеренное правовое регулирование, поощряющее или требующее технических корректировок, которые существенно не противоречат прибыли. Самый строгий вариант предполагает ограничительное правовое регулирование, запрещающее или строго контролирующее внедрение технологии. Как указывают некоторые эксперты [15], бум на создание огромного количества деклараций, кодексов и хартий по этике искусственного интеллекта, наблюдавшийся в 2017–2019 гг., связан, в первую очередь, с желанием пролоббировать выбор способов регулирования первого и

второго типов. Если «правильные» ценности и этические принципы уже вложены в систему, то проведение гуманитарной экспертизы и строгая регламентация в форме юридических разрешений и запретов как будто бы становятся избыточными, так как разработчик сам взял на себя все гуманитарные проблемы. Такой подход, когда разработчик определяет то, какие ценности транслирует его продукт, на практике уже сейчас позволяет влиять на получение разрешения на внедрение технологии, облегчая или вовсе минуя этическую экспертизу. При этом, как показывает проведенный анализ, некорректно приписывать носительство ценностей самим технологиям, поскольку ценности проявляются в процессе человеческой деятельности. Следовательно, «этический искусственный интеллект» может в реальной практике способствовать распространению совсем не тех ценностей, которые были продекларированы его разработчиками.

Таким образом, можно видеть, что в XX в. в международном праве доминировал деятельностный подход к определению ценностного статуса оружия, при котором отрицается тезис о нейтральности технологии, но при этом само оружие не наделяется ценностями вне практики его применения. На современном этапе, прежде всего в связи с массовым появлением систем искусственного интеллекта, обостряются противоречия между требованиями цифровой экономики к скорости внедрения инноваций и необходимостью их правового регулирования. Поскольку в данном случае именно гуманитарные, т.е. ценностные и этические, проблемы становятся определяющими, то для облегчения регламентирования производства и внедрения систем искусственного интеллекта их разработчики начинают активно использовать идеи теории вложения ценностей. В то же время, как было показано ранее, при таком подходе игнорируются возможности использования технических объектов для реализации тех ценностей, которые не предполагались разработчиками, а сам процесс «вложения» ценностей вовсе не поддается анализу.

Заключение

Проблема нейтральности технологии, несмотря на очевидную практическую значимость, является фундаментальной для понимания сущности техники и структуры деятельности человека. В настоящее время в связи с необходимостью разработки этических кодексов и юридических документов, регламентирующих производство, внедрение и применение новых технологий, особо внимательного анализа заслуживают те положения, которые кладутся в их основу. Приписывание ценностей самим техническим объектам, которое мы можем встретить в разнообразных декларациях принципов этического искусственного интеллекта, не является в полной мере обоснованным и может привести к серьезным негативным социальным и гуманитарным последствиям. В то же время в силу своей физической организации и функциональной направленности технические объекты конструируют многие виды деятельности человека, а некоторые делают возможными в принципе. Поэтому опосредованно они могут влиять на реализацию тех или иных ценностей, что обязательно должно учитываться в практике регулирования применения этих объектов. Методологически проблемы гуманитарной экспертизы и прогнозирования возможных направлений реализации ценностей при внедрении технологий были разработаны в XX в. в международном праве при оценке

различных видов оружия. Проведенный анализ показывает, что в сложившихся условиях такие подходы целесообразно использовать в отношении систем искусственного интеллекта, которые, и это очевидно как для разработчиков, так и для экспертов, обладают огромным потенциалом гуманитарных и социальных трансформаций. При этом в сфере интеллектуальных систем активно продвигаются основанные на теории вложения ценностей практики облегченного правового регулирования и передачи функции аксиологической и этической оценки от экспертов к разработчикам данных технологий. В этих условиях важно, чтобы специалисты в области философии техники, аксиологии, этики активно подключались к обсуждению и прояснению проблем, а также активно высказывались в публичном пространстве по данным вопросам, так как последствия технократического подхода к гуманитарной экспертизе внедряемых технологий могут быть весьма серьезными.

Литература

1. Mitcham C., Waelbers K. Technology and Ethics: Overview // A Companion to the Philosophy of Technology / eds. J.B. Olsen, S. Pedersen, V. Hendricks. West Sussex : Wiley Blackwell, 2009. P. 367–383.
2. Elul J. The Technological Society / J. Elul, J. Wilkinson (transl.), R. Merton (int.). New York : Vintage Books, 1964. 449 p.
3. Beijing AI Principles. URL: <https://www.baai.ac.cn/news/beijing-ai-principles-en.html> (accessed: 06.06.2020).
4. The Moral Status of Technical Artefacts / eds. P. Kroes, P.-P. Verbeek. Dordrecht : Springer Netherlands, 2014. Vol. 17. 248 p.
5. Klenk M. How Do Technological Artefacts Embody Moral Values? // Philosophy & Technology. 2020. Vol. 2. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-020-00401-y> (accessed: 06.06.2020).
6. Verbeek P.P. Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things. London : University of Chicago Press, 2011. 200 p.
7. Poel van de I., Kroes P. Can technology embody values? // The Moral Status of Technical Artefacts. 2014. P. 103–124.
8. Hoven van den J. Design for values and values for design // Information Age. 2005. № 4. P. 4–7.
9. Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль. URL: <http://old.memo.ru/prawo/hum/spb-1868.htm> (дата обращения: 04.06.2020).
10. Конвенция ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года URL: <https://www.icrc.org/ru/document/konvenciya-oon-po-konkretnym-vidam-obychnogo-oruzhiya-1980-goda> (дата обращения: 01.06.2020).
11. Конвенция по кассетным боеприпасам. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/cluster_munitions.pdf (дата обращения: 01.06.2020).
12. AI Ethics Principles/ Australian Government, Department of Industry, Science. URL: <https://www.industry.gov.au/data-and-publications/building-australias-artificial-intelligence-capability/ai-ethics-framework/ai-ethics-principles>
13. On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
14. Top Ten Principles for Ethical AI. URL: http://www.thefutureworldofwork.org/media/35420/uni_ethical_ai.pdf (accessed: 01.06.2020).
15. Ochigame R. The invention of “ethical AI”: how big tech manipulates academia to avoid regulation // The Intercept. 2019. URL: <https://theintercept.com/2019/12/20/mit-ethical-ai-artificial-intelligence/> (accessed: 01.06.2020).

Natalia A. Yastreba, Vologda State University (Vologda, Russian Federation).

E-mail: nayastreba@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 75–84.

DOI: 10.17223/1998863X/58/8

WEAPONS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: TWO OPTIONS FOR DENYING THE VALUE-NEUTRALITY THESIS**Keywords:** value; artifact; axiology of technology; value-neutrality thesis; artificial intelligence; theory of value embedding.

The article shows that the value-neutrality thesis contains contradictions and cannot be used in the practice of humanitarian assessment of technology. The theory of value embedding is analyzed. The conclusion that this approach does not explain the possibility of using technical objects to implement values that were not anticipated by the developers and does not disclose the process of “embedding” values has been made. It is shown that the concept of value embedding cannot be used as the basis for a humanitarian assessment of technologies. The attribution of values to the technical objects themselves, which we can find in various concepts of ethical artificial intelligence, is not fully justified and can lead to serious negative social and humanitarian consequences. At the same time, due to their physical organization and functional orientation, technical objects construct many types of human activity, and make some of them possible. Therefore, they can indirectly influence the implementation of certain values, and this must be taken into account in the practice of regulating the use of these objects. The problems of the humanitarian assessment and forecasting of the possible directions of the implementation of values during the implementation of technologies were developed in the 20th century in international law when assessing various types of weapons. The analysis shows that under the current conditions it is advisable to use such approaches in relation to artificial intelligence systems that can cause serious humanitarian and social transformations. At the same time, in the field of intelligent systems, the practice of facilitated legal regulation based on the theory of value embedding is being actively promoted. The functions of axiological and ethical assessment in such cases are in fact transferred from experts to developers of these technologies. In these conditions, it is important that specialists in the field of philosophy of technology, axiology, ethics actively speak out in the public space on these issues.

References

1. Mitcham, C. & Waelbers, K. (2009) Technology and Ethics: Overview. In: Berg Olsen, J., Pedersen, S. & Hendricks, V. (eds) *A Companion to the Philosophy of Technology*. West Sussex: Wiley Blackwell. pp. 367–383.
2. Elul, J. (1964) *The Technological Society*. New York: Vintage Books.
3. China. (n.d.) *Beijing AI Principles*. [Online] Available from: <https://www.baai.ac.cn/news/beijing-ai-principles-en.html> (Accessed: 6th June 2020).
4. Kroes, P. & Verbeek, P.-P. (eds) (2014) *The Moral Status of Technical Artefacts*. Vol. 17. Dordrecht: Springer Netherlands.
5. Klenk, M. (2020) How Do Technological Artefacts Embody Moral Values? *Philosophy & Technology*. 2. DOI: 10.1007/s13347-020-00401-y
6. Verbeek, P.P. (2011) *Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things*. London: University of Chicago Press.
7. Poel, van de I. & Kroes, P. (2014) Can technology embody values? *The Moral Status of Technical Artefacts*. pp. 103–124. DOI: 10.1007/978-94-007-7914-3_7
8. Hoven van den, J. (2005) Design for values and values for design. *Information Age*. 4. pp. 4–7.
9. Russia. (1869) *Deklaratsiya ob otmene upotrebleniya vzyryvchatykh i zashigatel'nykh pul'* [Declaration on the abolition of the use of explosive and incendiary bullets]. [Online] Available from: <http://old.memo.ru/prawo/hum/spb-1868.htm> (Accessed: 4th June 2020).
10. UNO. (1980) *Konvenciya OON po konkretnym vidam obychnogo oruzhiya 1980 goda* [The 1980 UN Convention on Certain Conventional Weapons]. [Online] Available from: <https://www.icrc.org/ru/document/konvenciya-oon-po-konkretnym-vidam-obychnogo-oruzhiya-1980-goda> (Accessed: 1st June 2020).
11. UNO. (n.d.) *Konvenciya po kassetnym boepripisam* [Convention on Cluster Munitions]. [Online] Available from: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/cluster_munitions.pdf (Accessed: 1st June 2020).
12. Australian Government, Department of Industry, Science. (n.d.) *AI Ethics Principles*. [Online] Available from: <https://www.industry.gov.au/data-and-publications/building-australias-artificial-intelligence-capability/ai-ethics-framework/ai-ethics-principles>

13. European Comission. (2020) *On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust*. [Online] Available from: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf.

14. UNI Global Union. (n.d.) *Top Ten Principles for Ethical AI*. [Online] Available from: http://www.thefutureworldofwork.org/media/35420/uni_ethical_ai.pdf (Accessed: 1st June 2020).

15. Ochigame, R. (2019) The invention of “ethical AI”: how big tech manipulates academia to avoid regulation. *The Intercept*. [Online] Available from: <https://theintercept.com/2019/12/20/mit-ethical-ai-artificial-intelligence/> (Accessed: 1st June 2020).

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

УДК 1(091):130.2
DOI: 10.17223/1998863X/58/9

А.И. Пигалев

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОСЛЕ МОДЕРНА: ОТ «ДРУГОГО НАЧАЛА» ХАЙДЕГГЕРА К «ПОСЛАНИЮ» ДЕРРИДА

Рассматривается значение концепции репрезентации в переосмыслении М. Хайдеггером и Ж. Деррида сущности модерна и пределов его универсализма. Представления Хайдеггера о репрезентации исследуются в ходе анализа его концепции «другого начала». Прослеживается связь понятия репрезентации с концепцией «послания» Деррида. Анализируются различия сопоставляемых концепций в понимании возможности репрезентации и универсализма после модерна.

Ключевые слова: М. Хайдеггер, Ж. Деррида, модерн, метафизика, репрезентация, универсализм, другое начало, послание.

Введение

Концепция репрезентации играет важную роль в понимании М. Хайдеггером и Ж. Деррида сущности проекта модерна и особенно его универсальности. Согласно Хайдеггеру, модерн представляет собой результат развертывания того начала мышления, которое, как он считает вслед за Ницше, реализовалось в метафизике в качестве системы репрезентации и лежит в основе западной цивилизации в целом. Поэтому выход за пределы модерна в теоретической модели Хайдеггера предполагает преодоление метафизики и, таким образом, отказ от репрезентации в ее традиционном понимании.

Хотя указание на специфические метафизические основания модерна и его теоретическая реконструкция в работах Хайдеггера стали исходной точкой исследований Деррида, он очень далеко отошел от хайдеггеровской концепции, создав, по сути дела, ее альтернативу. Деррида придерживался и принципиально иного понимания самой репрезентации, прежде всего, связи репрезентируемого с репрезентирующим. В его теоретической модели указанная связь не столь проста, регулярна и однозначна, как это предполагается в традиционной концепции репрезентации.

Таким образом, в обеих концепциях в качестве структурной модели того безоговорочного универсализма, на который модерн всегда претендовал, выступает именно метафизика, посредством которой бытие замещается его репрезентациями. Далее, в обеих концепциях предполагается завершение метафизики, которое, однако, понимается по-разному. В итоге в оценке возможностей универсализма модерна, приближающегося к осознанию границ своих универсалистских притязаний, обозначаются две прямо противоположные друг другу теоретические позиции.

Структуры опосредования и непосредственность феномена

Переход от мифа к логосу, с которым обычно связывают возникновение самой философии в качестве метафизики, происходил на фоне перехода от изначальной непосредственности межчеловеческих отношений к символическому опосредованию, которое определенным образом отражало усложнение структур опосредования на всех уровнях общества в целом. Именно структуры опосредования (и, соответственно, обоснования) обеспечивают переход от частного к общему в качестве прототипа универсализма. В философии схема такого перехода была первоначально представлена концепцией логоса как внутренне дифференцированной целостности и позже оформилась в виде метафизики [1]. Модерн характеризуется уже весьма сложными структурами опосредования, достаточными для того, чтобы он в своей философии с самого начала мог бы исходить из убеждения в собственной универсальности.

В то же время отношения опосредования, репрезентируя вещи, одновременно их некоторым образом «заслоняют» и, в сравнении с предполагаемой их первоначальной непосредственностью, открытостью, делают частично или полностью скрытыми. Опосредованностью некоторого изначального опыта, который предполагается непосредственным, объясняют важность для М. Хайдеггера феноменологии, которую, он, впрочем, существенно переосмыслил [2]. Тем не менее свое особое видение феноменологии сам философ никак не характеризовал явным образом вплоть до опубликования написанной в 1963 г. статьи «Мой путь в феноменологию» [3].

Хайдеггер вспоминает о возникшей у него догадке о том, что феноменологическое понимание феномена в качестве явления, указывающего на самого себя, должно быть присуще не только феноменологии Гуссерля, но уже мышлению Аристотеля и вообще греческому мышлению, проявляя себя в понятии «ἀλήθεια» – «несокрытость», которая в древнегреческой философской традиции отождествляется с истиной. Феноменология для Хайдеггера – это, прежде всего, возможность сделать открытым, видимым то, что в качестве феномена, указывает только на самого себя, но при этом все же остается некоторым образом скрытым [4. С. 31].

Это означает, что М. Хайдеггер отнюдь не отождествляет феномен с тем, что дается непосредственно в чувственном восприятии, т.е. с явлением, но и не сводит его к тому, что может открываться в результате теоретической реконструкции. Такое понимание предполагает возможность видения того, что в явлении уже показывает себя «предшествующе или сопутствующе, хотя нетематически» [4. С. 31]. Иными словами, вещи должны быть увидены таким образом, чтобы была возможность видеть фоновые или контекстуальные способы их понимания, а также связанные с ними действия и структуры. Именно они порождают эти вещи в качестве таковых, соотнося их со всеми другими вещами, придавая им определенный смысл и, тем самым, включая в систему опосредования.

Соответственно, для Хайдеггера не теоретические реконструкции, и не практика вообще, а именно *повседневные* практики в качестве «открывающих» и должны стать тем предметом, для анализа которого следует использовать феноменологический метод [5. Р. 65–66]. Это уже было началом преодоления трансценденталистского подхода и одновременно попыткой

проникнуть в ту область, которая Гуссерлем позднее будет названа «жизненным миром» и которая, как предполагается, характеризуется исходной непосредственностью. Соответственно, главной, хотя и не выраженной явно задачей оказывается для М. Хайдеггера преодоление опосредования, которое, воплощаясь в метафизике, окутывает и опутывает хитросплетениями своих структур, замыкает и делает скрытым то, что изначально, как предполагается, было непосредственным и, таким образом, открытым.

В то же время, будучи иерархией, т.е. особым типом системы опосредования, которую Хайдеггер характеризует как онто-тео-логию [6. С. 40–41], метафизика указывает на нормативный способ связи начала (основания) с другими идеальными сущностями. Поскольку в «метафизическую эпоху» бытие всегда есть бытие сущего, то бытие репрезентируется через посредство сущего [7. С. 149–176]. Поэтому та система отношений, которую Хайдеггер называет «онтологической разницей», является элементарной системой репрезентации. Тогда история бытия предстает как последовательность его репрезентаций посредством различных видов сущего [8. С. 351–403]. В свете такого понимания модерн оказывается лишь особым этапом этой истории, на котором человек как индивид становится субъектом, замещающим бытие особыми репрезентациями. Тем не менее, критикуя модерн как «время картины мира» [9], Хайдеггер подвергает критике не тот или иной конкретный тип репрезентации, а «репрезентационизм», или «репрезентационное мышление», в качестве продукта метафизики субъективности.

От «присваивающего события» к «другому началу»

Характеризуя репрезентационное мышление, Хайдеггер подчеркивает *математический* характер метафизики, который заключается в ее императивности, в навязывании сущему определенных прототипов [10. S. 69–77; 11. P. 68–69; 12]. В этой связи большое значение имеет представление о состоянии исходной непосредственности, относительно которой предполагается, что в отсутствие опосредования она остается «нескрытой» и, следовательно, не допускает никакой иерархичности, присущей метафизике в качестве системы репрезентации. В то же время это состояние, согласно Хайдеггеру, не только принципиально доступно, но и может быть заменено другой исходной непосредственностью, которая уже не приведет к возникновению репрезентации в описанном выше смысле и тем более исключит ее господство, как это произошло в эпоху модерна.

В сущности, утверждение о возможности замены одной отправной точки мышления другой, т.е. выбора точки, с которой начинается историческое бытие, является основой хайдеггеровского учения о «другом начале». Будучи своего рода еще одной попыткой, другое начало должно открыть для мышления такие возможности, которые прежде для него были закрыты, и исключить возможность метафизики. В этом смысле, убежден Хайдеггер, переход ко второму началу – это всегда прыжок, который, однако, нуждается в подготовительном периоде, каковым и является эпоха завершения метафизики. В качестве противоположности опосредованию прыжок ко второму началу требует иных понятий для своего описания, и главными из них являются «присваивающее событие» (*Ereignis*) и «просвет» (*Lichtung*), хотя последний термин присутствует уже в «Бытии и времени».

Термин «просвет» у Хайдеггера метафорически связывается с представлениями о просеке, прогалине, лесной поляне. Однако он означает открытость бытия, свободную область, промежуток или зазор (т.е. лишь часть мира), где существуют и вещи, и свет, и темнота [4. С. 133]. Таким образом, просвет – это некий зазор, позволяющий свету упасть на присутствующее в зазоре сущее. В результате исходная непосредственность открывается как *ἀλλεθεια*. Кроме того, просвет является для Хайдеггера областью или частью мира, в которой сущее благодаря языку становится для здесь-бытия понятным и поэтому «своим».

Происходит это потому, что здесь-бытие в этой части мира следует установленному для нее образу действий, тем повседневным «открывающим практикам», которые, *присваивая* ей смысл, открытый для здесь-бытия, делают ее осмысленной. Следовательно, «присваивающее событие» должно быть понято как обеспечение возможности того, что человек, т.е. здесь-бытие, будет обращаться с вещами осмысленно и потому правильно во всех «просветах» и даже тогда, когда действия совершаются автоматически и не осознаются [13, 14]. Что касается самого термина «присваивающее событие», то формально немецкое слово «Ereignis» означает просто «событие», «присшествие». Однако, независимо от реальной этимологии, Хайдеггер связывает его со словом «eigen» – «свой», «собственный».

«Присваивающее событие» как процесс или акт некоторого «присвоения» делает возможным такую позицию человека, когда он некоторым образом вовлечен в ситуацию, освоился с ней, а не рассматривает ее в качестве внешнего наблюдателя и тем более чужака, не понимающего, что происходит вокруг и не знающего, какими должны быть его действия. Иными словами, благодаря «присваивающему событию» существует единство бытия (как бытия сущего) и здесь-бытия или, иначе, тождество бытия и мышления [15]. Благодаря «присваивающему событию» люди получают возможность «освоиться» с определенной частью мира, и поэтому Хайдеггер связывает с ним упорядочивание и обоснование множества частных, локальных образов действия. Возникающий в результате порядок выступает в качестве некоторого общего стиля [16].

«Присваивающим событием», обусловившим возникновение самого репрезентационного мышления и определившим судьбу Запада, Хайдеггер считает понимание мира в понятиях и контексте производственной деятельности ремесленника в Древней Греции. Именно перенос соответствующих понятий в философию досократиков обусловил возникновение философии как метафизики и определил набор тех основных категорий, которые используются для понимания мира, прежде всего, таких как «форма» и «материя» [13. Р. 291; 17. С. 222–224; 18. С. 139–155]. Напротив, «другое начало», определяющее новую, неметафизическую эпоху, должно быть таким, чтобы условий для возникновения репрезентационного мышления не возникло.

В этой связи появляются проблемы, вызванные тем, что отказ от репрезентации равнозначен признанию отсутствия опосредования. Прежде всего следует поставить вопрос о том, является ли исчезновение опосредования в контексте представления о «другом начале» желательным. Если это так, то не есть ли атака на репрезентационное мышление эвфемистическая форма выражения стремления ослабить системы опосредования не только в мышле-

нии, но и в обществе? Очевидно, что в социальном плане это означало бы требование возвращения к непосредственным или к так называемым личным общественным отношениям, предполагающим контакты типа «лицом-к-лицу».

Именно такая логическая схема отчетливо видна в отношении к хайдеггеровской онтологии Т.В. Адорно¹, который, однако, был не единственным противником М. Хайдеггера в его стремлении к достижению состояния непосредственности или, точнее, возвращения к ней. Тем не менее именно в философии Ж. Деррида, влияние Хайдеггера на которого не только очевидно, но и признавалось им самим, содержится значительно более последовательная, детальная и, в сущности, глобальная критика, перерастающая в альтернативу хайдеггеровской концепции «другого начала». Эта критика направлена, прежде всего, на те аспекты концепции репрезентации, которые Хайдеггер связывает с генезисом модерна.

«Послание» вместо репрезентации и «белая мифология»

В традиционной концепции репрезентации в качестве безусловных предпосылок предполагаются четкость и однозначность связей опосредования и потому принципиальная доступность исходного состояния непосредственности («несокрытости»). Это же можно выразить, сказав, что структуры опосредования должны быть непрерывными и проницаемыми. Если, напротив, исходить из того, что связи опосредования имеют разрывы, являются ветвящимися, нечеткими и неоднозначными, образующими петли и узлы, то доступ к исходному состоянию непосредственности в общем случае не может быть обеспечен. Поэтому и само предположение о его существовании становится теоретически бессмысленным.

В противоположность представлению о четкой и однозначной связи репрезентирующего с репрезентируемым Деррида исходит из некоего «почтового принципа», который он связывает с используемыми Хайдеггером словами *schicken* (посылать), *Geschick* (судьба как предназначение, отсылка, «отправка по адресу») и *Geschichte* (история). У М. Хайдеггера бытие понимается в качестве «посланного» (*geschickt*) на его путь в истории, которая является «судьбичной». Точно так же, в соответствии с «почтовым принципом», связи опосредования и, соответственно, репрезентации рассматриваются как пути, по которым движутся почтовые отправления или «послания». Они могут быть доставлены не по адресу, задержаться в пути, вернуться к отправителю или вообще затеряться, потому что их движение, согласно Деррида, представляет собой блуждание (фр. *errance*).

Ненадежности путей, по которым движутся «послания», соответствует, по Деррида, неопределенность связи знака и его смысла. При этом наиболее характерной метафорой текста как послания является почтовая открытка, которая

¹ Говоря о хайдеггеровской онтологии, Адорно характеризовал ее как «готовность санкционировать гетерономный, свободный от оправдания перед сознанием порядок» [19. С. 63]. Это, в сущности, готовность «зачеркнуть опосредования, вместо того чтобы рефлексировать их» [19. С. 64]. Предпочтения, которые обозначает Адорно, могут быть обусловлены только желанием освободиться от императивного характера репрезентации. Они предполагают одновременно стремление «вернуться к тем ступеням познания, которые предшествуют рефлексии субъективности и опосредования» [19. С. 78]. Характерно, что эти ступени заранее и вполне предсказуемо связываются со «священной древностью» [19. С. 72].

может содержать как частные, так и предназначенные для всех сообщения. Тем не менее, в силу того что это *открытка*, в обоих случаях сообщения доступны для всех – точно так же, как это имеет место при использовании языка [20. С. 5–6, 85–91, 106–111]. В результате репрезентация уже не понимается как жесткая и однозначная связь репрезентирующего с репрезентируемым.

В рамках такой теоретической модели любой текст может, подобно почтовому отправлению, обрести совсем не тот смысл, который ему намеревались придать. Более того, такая неоднозначность понимания характерна не только для читателя (получателя) текста, но и для его автора (отправителя). В результате различие между истиной и ее внешним выражением исчезает, и истина в рамках такой теоретической модели может быть только ситуативной, т.е. зависимой от контекста. В этой связи Деррида в согласии с приведенными выше суждениями Адорно замечает, что критика репрезентации была бы недостаточной, если бы в результате предполагалась реабилитация непосредственности, изначальной простоты, присутствия [21. Р. 122–123].

Напротив, для Ж. Деррида это предположение исключено, и ничего, что уже не было бы опосредованным, не допускается. Предметом такой критической переоценки оказывается то, что Деррида называет метафизикой присутствия. Для нее характерно предположение, что и бытие, и смысл могут быть определены в терминах некоторой соотносимой с ними, считающейся внутренне присущей им, самотождественной и самодостаточной полноты. Это для метафизики присутствия их «свое» или, в более привычной формулировке, их «свой-ство» (англ. *property*, нем. *Eigenschaft*, фр. *propriété*).

Таким образом, метафизика присутствия предполагает возможность как раз того, что Хайдеггер описал, характеризуя «присваивающее событие» – присвоение и освоение, для Деррида характерным образом соотносимое с понятием собственности в экономике. Это, к примеру, имя как собственность человека, смысл как собственность языка, субъективность как самообладание и само-утверждение через посредство самосознания, благодаря чему человек может считать себя своей собственностью. Однако в концепции «послания» подчеркивается не относительность истины, а ее отделение от репрезентации через посредство текста и принципиальная невозможность исключить такую ее зависимость от контекста, которая обуславливается множественностью эффектов «почтовой доставки».

Между тем некоторые формы текстов и, таким образом, репрезентации основываются на подавлении зависимости текста от контекста и стирании самого факта этого подавления – его забвения, что позволяет считать текст самотождественным. Именно так, по мнению Деррида, поступает философия в качестве метафизики. В целом же такие притязания присущи комплексу идей, который Деррида, используя термин, введенный Анатолем Франсом, называет «белой мифологией». Соответственно, главной задачей становится поиск подавленной метафизикой и затем забытой нетождественности, того, что «несвойственно». Это поиск того, что основано на различиях и поэтому не может считаться «свойством» в качестве «собственности» не только в различных частных случаях, но и в самом просветительском логосе и, тем самым, в метафизических основаниях модерна.

«Белая мифология» для Деррида – это дискурс, считающийся логосом не только в качестве манифестации разума и истины, но и предполагающий по-

давление и вытеснение за пределы дискурса любых свидетельств зависимости логоса от мифа. Это выражение обозначает метафизику как философию логоса, представляющую собой, согласно Ж. Деррида, лишь мифологию «белого человека», который, отрицая исторические и культурные различия, исключает их из дискурса. Таким способом западная цивилизация, логос которой, по Деррида, в действительности является мифом ее идиомы [22. С. 247], обосновывает свою всеобщность. Универсализм такого типа достигается путем расширения целостности своей цивилизации путем превращения Другого в Своего, т.е. путем принудительного отождествления нетождественного, что в высшей степени характерно для метафизики¹.

Тип мышления, который считается предшествовавшим метафизике и противостоящим ей, в общем плане был достаточно четко охарактеризован в работах Л. Леви-Брюля [23; 24. С. 128–140]. Предполагается, что это «первобытное», «неприрученное», свободное мышление было, прежде всего, малочувствительным по отношению к противоречиям и неспособным их помыслить в качестве противоречий. Кроме того, оно еще не могло воспроизводить причинно-следственные связи, заменяя их представлением о «партиципации» (причастности). В целом, как считается, это приводило к неспособности помыслить тождество и различие, без чего невозможны никакие структуры опосредования и, в частности, образование тропов и абстрактных понятий. Поэтому такое мышление может быть охарактеризовано как дологическое.

Ограниченность «белой мифологии»

Следует подчеркнуть, что в рассматриваемом контексте не имеет смысла обсуждать вопросы о том, какими свойствами в действительности обладало дологическое мышление и даже существовало ли оно вообще, хотя в общем плане эти вопросы, разумеется, вполне осмысленны, актуальны и важны. В рассматриваемом контексте смысл предположения о существовании такого мышления в прошлом и теоретической реконструкции его свойств не исчерпывается только указанием на некое некогда существовавшее и радикально иное состояние.

Описание особенностей этого мышления представляет собой, скорее, средство обозначить специфику и границы самого логоса путем противопоставления его исходному состоянию в качестве преодоленного и потому понимаемого в качестве локального. Соответственно, гипотеза дологического мышления является обязательной предпосылкой того подхода к осмыслению генезиса логики, метафизики и рациональности в целом, который является неотъемлемой составной частью философских оснований модерна и определяет способ легитимации его притязаний на универсализм.

Если отвлечься от деталей, то описанная теоретическая реконструкция не противоречит хайдеггеровскому пониманию мышления в период, предшествовавший возникновению метафизики, а, напротив, хорошо согласуется с ним, хотя позиция Хайдеггера по этому вопросу проявляется по большей части неявно и скрыта в различных контекстах. Так, например, для Хайдеггера принципиально важно, что в Древней Греции, в эпоху, предшествовавшую

¹ В стремлении к специфическому универсализму усматривается главный отличительный признак «белых мифологий» и в более широком контексте [25].

возникновению метафизики, отнюдь не человек смотрел на сущее, как это характерно для эпохи метафизики субъективности. Наоборот, сущее некоторым образом глядело на человека [9. С. 50].

Эта не слишком прозрачная метафора является осмысленной лишь при условии, что первоначально человек не должен был еще обладать тем привилегированным положением, которое он обретает в эпоху метафизики субъективности. Иначе говоря, необходимо считать, что первоначально он находился со всем сущим на одном уровне и должен был быть с ним в тесном, неразрывном единстве. Таким образом, следует исходить из того, что изначально человек не был субъектом, репрезентацией которого должно было бы стать все сущее именно в силу того, что еще не было более или менее сложной системы опосредования.

Выход из этого состояния предполагал ограничение «неприрученности» и появление в мышлении некоторой принудительности, свидетельствующей о появлении ощутимых связей опосредования. Эта принудительность нашла свое выражение в требованиях, ограничениях и запретах, определяемых законами бинарной логики и в первую очередь законами тождества и противоречия. Поэтому репрезентация, условием возможности которой является способность мыслить тождество, различие, отношение, сходство и подобие, стала возможна только после того, как мышление подчинилось выраженным в этих законах ограничениям, что и произошло в древнегреческой философии.

На первый взгляд, Деррида в отличие от Хайдеггера (если, конечно, судить по его публикациям) не проявлял особого интереса к древнегреческой философии, за исключением некоторых концепций Платона и Аристотеля, и его работы, в которых затрагивается эта проблематика, немногочисленны. В этой связи, однако, очень важна статья «Мы другие греки», в которой он характеризует не только наше отличие от древних греков, но и считает, что при этом должно быть учтено также их отличие от самих себя. При этом он пишет, что его собственная позиция представляет собой возражение и Аристотелю, и Хайдеггеру [26. Р. 256]. Наконец, Деррида особо подчеркивает, что древние греки интересуют его не как таковые, не как носители определенной идентичности, а в их отношении к тому, что для них является «другим». Это, например, «еврей, араб, христианин, римлянин, германец и т.д.» [26. Р. 267].

Соответственно, должна существовать некая структура, которая «радикально чужда любой оппозиции и любой диалектике» [26. Р. 271]. Для М. Хайдеггера переход от мифа к логосу как начало истории репрезентации, достигшей кульминации с появлением новоевропейского субъекта, представляет собой переход от дологического мышления к бинарной логике (хотя, разумеется, сам он таких терминов не употребляет). Напротив, для Ж. Деррида переход от мифа к логосу представляет собой не окончательный разрыв, а лишь подавление и вытеснение, в сущности, дологического мышления в качестве того, что предшествовало метафизике и что должно возвратиться после ее завершения.

Заключение

Таким образом, позиции М. Хайдеггера и Ж. Деррида относительно сущности и перспектив репрезентации после модерна обуславливаются различным отношением к основаниям и возможностям его универсализма. Для

Хайдеггера в контексте критики модерна как эпохи репрезентации главной задачей становится преодоление иерархических метафизических структур опосредования и возвращение к первоначалу, к исходной непосредственности *ἀλήθεια*, что, собственно, и предполагает «другое начало». Для Деррида непосредственность тождества как свойство первоначала или, как он обозначает традиционное понимание этого состояния, «наличие, а не различие» [27. С. 385], невозможна. Первоначало для Деррида уже иерархично и, следовательно, не непосредственно, потому что оно как первичное отличается от «другого» как вторичного.

В понимании Деррида, первичность первоначала возникает из его отличия исключительно от самого себя, а не от вторичного «другого». Более того, первоначало должно считаться абсолютно первичным изначально, поскольку оно опирается на различие в нем самом. Это означает, что, в соответствии с «логикой дополнительности», как ее называет Деррида, первичным считается не присутствие (наличие), а именно различие. Вездесущность опосредования объясняет и тезис о том, что «внетекстовой реальности вообще не существует» [27. С. 313], который мог бы означать, что нет ничего и вне репрезентации. Однако такая формулировка была бы не слишком корректной вследствие подчиненности репрезентации «логике тождества» в качестве основы «белой мифологии».

Для Хайдеггера модерн не может быть универсальным потому, что репрезентация как выражение его сущности должна исчезнуть с появлением признаков завершения метафизики в качестве структурной модели его универсализма. Но это, несомненно, указание на ограниченность возможностей «первого начала» (или «белой мифологии»), равно как и модерна в целом. У Деррида предполагается, что господство «логики дополнительности» – вопреки Хайдеггеру – является значительно более устойчивым и не может быть преодолено. Тем не менее это также приводит к выявлению ограниченности «белой мифологии», притязаниям на универсализм которой угрожает тот предельно широкий смысл, который придается концепции «послания».

Литература

1. *Miculić B.* Sein, Physis, Aletheia: Zur Vermittlung und Unmittelbarkeit im "ursprünglichen" Seinsdenken Martin Heideggers. Würzburg : Königshausen und Neumann, 1987. [3]. 444 S.
2. *Gillespie M.A.* The Search for Immediacy and the Problem of Political Life in Existentialism and Phenomenology // *A Companion to Phenomenology and Existentialism* / ed. by H.L. Dreyfus, M.A. Wrathall. Malden, MA : Blackwell, 2006. P. 531–544.
3. *Хайдеггер М.* Мой путь в феноменологию / пер. с нем. В.В. Анашвили // *Логос*. 1995. № 6. С. 303–309.
4. *Хайдеггер М.* Бытие и время / пер. с нем. В.В. Бибихина. М. : Ad Marginem, 1997. XII, 452 с.
5. *Fell J.P.* The Familiar and the Strange: On the Limits of Praxis in the Early Heidegger // *Heidegger: A Critical Reader* / ed. by H.L. Dreyfus, H. Hall. Oxford, UK; Cambridge, MA : Blackwell, 1992. P. 65–80.
6. *Хайдеггер М.* Онто-тео-логическое строение метафизики // *Тождество и различие* / пер. с нем. А. Денежкина. М. : Гнозис : Логос, 1997. С. 29–59.
7. *Хайдеггер М.* Европейский нигилизм // *Время и бытие: статьи и выступления* / сост., пер. с нем., вступ. ст. и ком. В.В. Бибихина. М. : Республика, 1993. С. 63–176.
8. *Хайдеггер М.* Ницше / пер. с нем. А.П. Шурбелева. СПб. : Владимир Даль, 2007. Т. 2. 458 с.
9. *Хайдеггер М.* Время картины мира // *Время и бытие: статьи и выступления* / сост., пер. с нем., вступ. ст. и ком. В.В. Бибихина. М. : Республика, 1993. С. 41–62.

10. *Heidegger M.* Die Frage nach dem Ding: Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen (Gesamtausgabe. Bd. 41). Frankfurt am Main : Klostermann, 1984. S. 1–252.
11. *Judovitz D.* Representation and Its Limits in Descartes // *Postmodernism and Continental Philosophy: Selected Studies in Phenomenology and Existential Philosophy* / ed. by H.J. Silverman, D. Welton. Albany. New York : State University of New York Press, 1988. P. 68–84.
12. *Judovitz D.* Subjectivity and Representation in Descartes: The Origins of Modernity. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 1988. XII. 232 p.
13. *Spinoza C.* Derrida and Heidegger: Iterability and Ereignis // *Heidegger: A Critical Reader* / ed. by H.L. Dreyfus, H. Hall. Oxford, UK; Cambridge, MA : Blackwell, 1992. P. 270–297.
14. *Spinoza C.* Derridean Dispersion and Heideggerian Articulation: General Tendencies in the Practices That Govern Intelligibility // *The Practice Turn in Contemporary Theory* / ed. by T.R. Schatzki, K. Knorr Cetina, E. von Savigny. London; New York : Routledge, 2001. P. 209–222.
15. *Heidegger M.* Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (Gesamtausgabe. Bd. 65). Frankfurt am Main : Klostermann, 1989. XVIII. 521 S.
16. *Polt R.* Ereignis // *A Companion to Heidegger* / ed. by H.L. Dreyfus, M.A. Wrathall. Malden, MA : Blackwell, 2005. P. 375–391.
17. *Хайдеггер М.* Вопрос о технике // *Время и бытие: статьи и выступления* / сост., пер. с нем., вступ. ст. и ком. В.В. Библина. М. : Республика, 1993. С. 221–238.
18. *Хайдеггер М.* Основные проблемы феноменологии / пер. с нем. А.Г. Чернякова. СПб. : Высшая религиозно-философская школа, 2001. X. 446 с.
19. *Адорно Т.В.* Негативная диалектика / пер. с нем. Е.Л. Петренко. М. : Научный мир, 2003. 374 с.
20. *Деррида Ж.* О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только / пер. с фр. Г.А. Михалкович. Минск : Современный литератор, 1999. 832 с.
21. *Derrida J.* Envoi // *Psyché: Invention de l'autre. Nouvelle édition augmentée.* Paris : Éd. Galilée, 1998. T. 1. P. 109–144.
22. *Деррида Ж.* Белая мифология: Метафора в философском тексте // *Поля философии* / пер. с фр. Д.Ю. Кралечкина. М. : Академический проект, 2012. С. 242–311.
23. *Леву-Брюль Л.* Первобытный менталитет / пер. с фр. Е. Кальщикова. СПб. : Европейский дом, 2002. 400 с.
24. *Леву-Строс К.* Неприрученная мысль // *Первобытная мысль* / пер., вступ. ст. и прим. А.Б. Островского. М. : Республика, 1994. С. 111–336.
25. *Young R.J.C.* White Mythologies: Writing History and the West. 2nd ed. London; New York : Routledge, 2004. XVI. 287 p.
26. *Derrida J.* “Nous autres Grecs” // *Nos Grecs et leurs modernes: Les stratégies contemporaines d'appropriation de l'antiquité* / sous la direction de B. Cassin. Paris : Éd. du Seuil, 1992. P. 251–276.
27. *Деррида Ж.* О грамματοлогии / пер. с фр. и вступ. ст. Н. Автономовой. М. : Ad Marginem, 2000. 512 с.

Alexander I. Pigalev, Volgograd State University (Volgograd, Russian Federation).

E-mail: pigalev@volsu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 85–96.

DOI: 10.17223/1998863X/58/9

REPRESENTATION AFTER MODERNITY: FROM HEIDEGGER'S "OTHER BEGINNING" TO DERRIDA'S "SENDING"

Keywords: Martin Heidegger; Jacques Derrida; modernity; metaphysics; representation; universalism; other beginning; sending.

The article deals with the relevance of the concept of representation for rethinking the project of modernity and its possible alternatives by Heidegger and Derrida. It is pointed out that the concept of representation is closely connected with the universalism of modernity as it is reputedly provided by metaphysics, since Heidegger's concept of ontological difference, e.g., the difference between Being and being that has become the token of metaphysics, proves to be an elementary model of representation. This makes it possible, in turn, to correlate representation as the substitution of one entity for another with mediation. In the issue, Heidegger's concept of the history of Being turns out to be the description of the sequence of its representations that depend on the respective type of mediation. The analysis proceeds from Heidegger's concepts of "clearing" (*Lichtung*) and "appropriating event"

(*Ereignis*) that designate man's everyday coping with people and things based on habitual skills. It is these everyday practices that reveal people and things in "clearing" and render the understanding of Being possible. Therefore, the "appropriating event", implying a paradigm or style of revealing Being, elucidates Heidegger's idea of the other beginning of thinking. The first beginning, having given birth to representation, destined metaphysics as the pattern of going from the particular to the general for modeling universalism. However, according to Heidegger, the first beginning makes possible the other beginning that does not assume representation and mediation. In Derrida, the connection of modernity with representation is exposed in his critique of the "metaphysics of presence" which resulted in specifying representation as a "sending" (*envoi*). Derrida holds the opinion that it is not the difference of the origin of a system from the secondary entities, but its difference from itself is primordial. It implies that mediation and thereby representation prove to be primordial, whereas the immediacy of the origin seems impossible. Eventually the limitations of the type of universality that is inherent in modernity come into sight, and the binary "logic of identity" which was reputedly universal is opposed by the "logic of supplementarity". Thus, the comparative analysis juxtaposes Derrida's and Heidegger's modeling of representation, whereas their stances on representation and universalism after modernity turn out to be antithetical.

References

1. Miculić, B. (1987) *Sein, Physis, Aletheia: Zur Vermittlung und Unmittelbarkeit im "ursprünglichen" Seinsdenken Martin Heideggers*. Würzburg: Königshausen und Neumann.
2. Gillespie, M.A. (2006) The Search for Immediacy and the Problem of Political Life in Existentialism and Phenomenology. In: Dreyfus, H.L. & Wrathall, M.A. (eds) *A Companion to Phenomenology and Existentialism*. Malden, MA: Blackwell. pp. 531–544.
3. Heidegger, M. (1995) *Moy put' v fenomenologiyu* [My Way to Phenomenology]. Translated from German by V.V. Anashvili. *Logos*. 6. pp. 303–309.
4. Heidegger, M. (1997) *Bytie i vremya* [Being and Time]. Translated from German by V.V. Bibikhin. Moscow: Ad Marginem.
5. Fell, J.P. (1992) The Familiar and the Strange: On the Limits of Praxis in the Early Heidegger. In: Dreyfus, H.L. & Hall, H. (eds) *Heidegger: A Critical Reader*. Oxford, UK, Cambridge, MA: Blackwell. pp. 65–80.
6. Heidegger, M. (1997) *Tozhdestvo i razlichie* [Identity and Difference]. Translated from German by A. Denezhkin. Moscow: Gnozis, Logos. pp. 29–59.
7. Heidegger, M. (1993a) *Vremya i bytie: stat'i i vystupleniya* [Time and Being: Articles and Speeches]. Translated from German by V.V. Bibikhin. Moscow: Respublika. pp. 63–176.
8. Heidegger, M. (2007) *Nitshe* [Nietzsche]. Vol. 2. Translated from German by A.P. Shurbelev. St. Petersburg: Vladimir Dal'.
9. Heidegger, M. (1993b) *Vremya i bytie: stat'i i vystupleniya* [Time and Being: Articles and Speeches]. Translated from German by V.V. Bibikhin. Moscow: Respublika. pp. 41–62.
10. Heidegger, M. (1984) *Gesamtausgabe*. Vol. 41. Frankfurt am Main: Klostermann.
11. Judovitz, D. (1988) Representation and Its Limits in Descartes. In: Silverman, H.J. & Welton, D. (eds) *Postmodernism and Continental Philosophy: Selected Studies in Phenomenology and Existential Philosophy*. Albany, NY: State University of New York Press. pp. 68–84.
12. Judovitz, D. (1988) *Subjectivity and Representation in Descartes: The Origins of Modernity*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
13. Spinoza, C. (1992) Derrida and Heidegger: Iterability and Ereignis. In: Dreyfus, H.L. & Hall, H. (eds) *Heidegger: A Critical Reader*. Oxford, UK, Cambridge, MA: Blackwell. pp. 270–297.
14. Spinoza, C. (2001) Derridean Dispersion and Heideggerian Articulation: General Tendencies in the Practices That Govern Intelligibility. In: Schatzki, T.R., Knorr Cetina, K. & von Savigny, E. (eds) *The Practice Turn in Contemporary Theory*. London, New York: Routledge. pp. 209–222.
15. Heidegger, M. (1989) *Gesamtausgabe*. Vol. 65. Frankfurt am Main: Klostermann.
16. Polt, R. (2005) Ereignis. In: Dreyfus, H.L. & Wrathall, M.A. (eds) *A Companion to Heidegger*. Malden, MA: Blackwell. pp. 375–391.
17. Heidegger, M. (1993c) *Vremya i bytie: stat'i i vystupleniya* [Time and Being: Articles and Speeches]. Translated from German by V.V. Bibikhin. Moscow: Respublika. pp. 221–238.
18. Heidegger, M. (2001) *Osnovnye problemy fenomenologii* [The Basic Problems of Phenomenology]. Translated from German by A.G. Chernyakov. St. Petersburg: Vysshaya religiozno-filosofskaya shkola.
19. Adorno, T.W. (2003) *Negativnaya dialektika* [Negative Dialectics]. Translated from German by E.L. Petrenko. Moscow: Nauchnyy mir.

-
20. Derrida, J. (1999). *O pochtovoy otkrytke ot Sokrata do Freyda i ne tol'ko* [The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond]. Translated from French by G.A. Mikhalkovich. Minsk: Sovremennyy literator.
 21. Derrida, J. (1998) *Psyché: Invention de l'autre. Nouvelle édition augmentée*. Vol. 1. Paris: Éd. Galilée. pp. 109–144
 22. Derrida, J. (2012) *Polya filosofii* [Margins of Philosophy]. Translated from French by D.Yu. Krachchkin. Moscow: Akademicheskii proekt. pp. 242–311.
 23. Levy-Bruhl, L. (2002) *Pervobytnyy mentalitet* [Primitive Mentality]. Translated from French by E. Kalshchikov. St. Petersburg: Evropeyskiy dom.
 24. Levi-Strauss, C. (1994) *Pervobytnaya mysl'* [The Primitive Thinking]. Translated from French by A.B. Ostrovsky. Moscow: Respublika. pp. 111–336.
 25. Young, R.J.C. (2004) *White Mythologies: Writing History and the West*. 2nd ed. London, New York: Routledge.
 26. Derrida, J. (1992) “Nous autres Grecs”. In: Cassin, B. (ed.) *Nos Grecs et leurs modernes: Les stratégies contemporaines d'appropriation de l'antiquité*. Paris: Éd. du Seuil. pp. 251–276.
 27. Derrida, J. (2000) *O grammatologii* [Of Grammatology]. Translated from French by N. Avtonomova. Moscow: Ad Marginem.

УДК 1 (091)

DOI: 10.17223/1998863X/58/10

К.А. Родин

ТРЕУГОЛЬНИК ЖЕЛАНИЯ РЕНЕ ЖИРАРА И СОЗНАНИЕ ПОДПОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА В «ЗАПИСКАХ ИЗ ПОДПОЛЬЯ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО¹

В контексте многочисленных литературно-критических работ Рене Жирара рассматривается прочтение некоторых текстов Ф.М. Достоевского через «треугольник» желания и обращается особое внимание на «Записки из подполья». Согласно нашей гипотезе текст «Записок...» (и особенно первая часть) не может быть до конца и правильно понят через концепцию Рене Жирара. Мы предлагаем (в порядке доказательства высказанной гипотезы) собственное прочтение «Записок» через использование различных способов «описания» – при помощи схем нарратологии и феноменологического подхода (в рамках гегелевой проблемы несчастного сознания). Ключевые слова: Достоевский, Рене Жирар, треугольник желания, подпольный человек, несчастное сознание, диалектический нарратор, экзистенциализм.

Ф.М. Достоевский среди других писателей и философов занимает важное место в построениях и литературной критике Р. Жирара. Однако прочтение (интерпретация) Жираром избранных философов отличается от прочтения произведений литературы. Философы подвергаются безоговорочной критике и якобы не дотягивают до точности теоретической мысли создателя фундаментальной антропологии. И напротив, за произведениями литературы (и снова избранными) усматриваются верные прозрения в существо формул фундаментальной антропологии. На поле теоретических изысканий писатели и не могут составить конкуренции. Достоевский действительно неплохо и отчасти верно может быть прочитан через Жирара и в таком прочтении не становится только материалом для верификации посторонних теорий. Жирар предан Достоевскому и отчасти зависит от Достоевского. Но Достоевский неизбежно шире любого теоретического прочтения. В статье на примере проблемы подпольного человека мы формулируем существенную и необходимую (неизбежную) для фундаментальной антропологии интерпретационную ошибку Жирара.

Мы ограничим рассмотрение фундаментальной антропологии «треугольником» желания и феноменологией соперничества внутри «треугольного» желания. При прочтении литературных текстов (Достоевский не исключение) Р. Жирар преимущественно опирается именно на теоретическую конструкцию треугольного желания.

Камнем преткновения для Жирара послужили «Записки из подполья». «Достоевскому не удалось перевести подпольную психологию в строгие понятия» [1. С. 63] (далее ссылки на указанный источник приводятся в круглых скобках с указанием страницы). И неизбежно здесь подразумевается первенство и бóльшая значимость для анализа сознания подпольного человека ин-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-011-90001).

терпретаций в рамках фундаментальной антропологии. Но не текст Достоевского. И симптоматичным выступает предпочтение Жираром второй части «Записок». Собственно критика первой части во многом справедливая. Но в статье мы иначе подойдем к критике первой части «Записок» (не отказывая в справедливости критике Жирара) и покажем ключевую роль предпочтения Жираром второй части «Записок из подполья» в построении всего прочтения творчества Достоевского. Первая часть «Записок» очень сильно сопротивляется встраиванию в предложенное Жираром прочтение Достоевского.

Вначале статьи мы излагаем основные структурные элементы и феноменологию треугольного желания на примерах сочинений и биографии Достоевского (излагаем прочтение Жирара). Во второй части предлагаем собственное (неизбежно ограниченное) критическое прочтение «Записок из подполья». И в заключении разбираем заинтересованное (ошибочное) прочтение «Записок» Жираром.

По Жирару желание всегда и неизбежно делится на троих и опосредованно третьим лицом. В различных ситуациях третье лицо выступает как препятствие (соперник) или как образец для подражания. И одновременно (и неизбежно через различные формы соперничества) выступает как препятствие (в частном случае – как причина ревности) и как образец для подражания. Неустранимость третьего лица влечет невозможность существования (и разделения) желания на двоих. Неустранимость соперничества внутри треугольного желания влечет неизбежность соперничества в различных (иногда в виде ложного благородства) формах и невозможность мира и желания на троих. Треугольное желание всегда амбивалентно и противоречиво.

В произведениях Достоевского Жирар видит работу треугольного желания:

«В „Слабом сердце“ мы опять оказываемся в мире мелких чиновников <...>

У героя... очаровательная невеста, преданный друг, благосклонные начальники. Однако он... оказывается парализован возможностью поражения и... постепенно погружается в безумие. ...герой повести... представляет невесту... другу...»

(с. 46).

И... друг объявляет собственную влюбленность в невесту друга. Главный герой уступает и просит разрешения остаться преданным другом новой пары влюбленных. Соперничество оборачивается и манифестируется в мазохистской форме благородства и общего блага.

Похожая ситуация прослеживается в отношениях Достоевского и Марии Дмитриевны (первая жена Достоевского) через опосредование Вергунова (соперника). Вергунов беден. Замужество Марии Дмитриевны за Вергуновым приведет к нищете и несчастной жизни в провинции (Достоевскому представляется такое развитие событий). Но Достоевский не хочет вынуждать гордую Марию Дмитриевну защищать Вергунова. Достоевский:

«...доводя до предела логику... рассуждения... перенимает поведение... собственных героев. ...становится адвокатом и защитником... соперника перед молодой женщиной... обещает похлопотать за него и просит о нем у Врангеля...

<...>

...в Кузнецке они предаются настоящему рыцарскому состязанию в благородстве.

<...>

Достоевский опьянен романтической риторикой.

<...>

Наличие соперника, страх поражения, препятствие оказывали на Достоевского, как и на его героев, влияние одновременно парализующее и возбуждающее»

(с. 49–50).

И дальше Жирар снова возвращается к анализу литературных произведений:

«Все персонажи «Униженных и оскорбленных» получают болезненное, но сильное удовольствие от зрелища любовного несчастья, в котором они активно принимают участие.

<...>

Мечта о жизни вдвоем превращается в общий кошмар.

<...>

...любовные отношения возникают лишь благодаря препятствию, которым является третье лицо, и существуют только за счет этого третьего лица».

Такое

«...поведение... сентиментальная риторика освещает ложным светом нравственных усилий и самопожертвования»

(с. 53–54).

Среди различных и бесконечно разнообразных вариантов соперничества герои ранних произведений Достоевского невольно выбирают бессилие и мазохистское (окрашенное романтической или сентиментальной риторикой) благородство. Однако Жирар не разбирает и не объясняет жизнь Достоевского через сюжетную линию персонажей литературных произведений (и наоборот). Достоевский «одного за другим изгоняет своих демонов» посредством исчерпания ситуации изнутри литературы (стр. 43). В изгнании демонов соперничества и в разоблачении механизма треугольного желания Жирар и усматривает задачу и подвиг писателя. Показательное исключение – лишь первая часть «Записок из подполья».

Далее приведем собственный критический анализ первой части «Записок из подполья» и после вернемся к Жирару.

Главные герои произведений Достоевского часто выступают в качестве диегетических нарраторов (см. подробнее: [2]) и ведут непосредственный

рассказ (который всегда оборачивается «закавыченным» и опосредованным) путем многочисленных и неизбежно путанных отступлений изнутри постоянного возвращения к сознанию (инертному или обостренному) собственного исключительного (равно ничтожного) места внутри рассказываемых историй и продумываемых обстоятельств. Поэтому заинтересованный читатель Достоевского незаметно усваивает определенный тип отстранения и слова с оглядкой (см. подробнее: [3]) и начинает миром Достоевского измерять мир и других людей. Непрекращающийся мерцающий переход между диегетическим и недиегетическим нарратором (между диегезисом и экзегезисом) и особенно между субъектом и объектом повествования для диегетического нарратора разворачивает крайне обширное и, по существу, бездвижное пространство героев Достоевского (образ стены от подпольного человека). Мы подробно проследим ситуацию на примере фигуры подпольного человека (см.: [4]).

Итак, рассказ ведет отставной чиновник сорока лет. Из собственной ситуации подполья он пытается изложить правду подпольного человека (и всегда замечает здесь противоречие). Отсутствие и не-знание другой неподпольной жизни постоянно бросает и возвращает рассказчика в подполье в круги собственного ада (рассказчик знает свою неспособность знать правду и рассказать правду подполья и ведет рассказ о неспособности рассказать правду в надежде на полное исчерпывающее описание собственной ситуации). В узнавании правды подпольного человека правда перманентно обесценивается. И остаются только чрезмерная (сознаваемая рассказчиком) навязчивость и нелепость повествования и привязанность рассказчика к якобы узнанной правде. Рассказчик не просит помощи, и знает, и сердцем крепко привязан к невозможности помощи и просьбы. Он сам – и только.

«Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек. ...я ни шиша не смыслю в моей болезни...

<...>

...я не хочу лечиться со злости...

<...>

я не только не злой... даже и не озлобленный человек...

<...>

...я наврал... что я был злой... Со злости наврал. Я просто баловством занимался... в сущности никогда не мог сделаться злым...

<...>

...но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым...

<...>

...о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием...

...о себе.

...я буду говорить о себе.»

Рассказчик сознает и (поэтому) не может остановить злобу оглядкой и никаким (ложным) знанием устройства собственной подпольной злобы. И одновременно рассказчик не способен вынести и знать абсолютное зло и не

может поверить в правду подпольного мелкого зла. Несуществование зла рассказчику неизвестно.

«...слишком сознавать – это болезнь... полная болезнь.»

Рассказчик продолжает сознавать и рассказывать собственную историю, и путается через слово, и не замечает (замечает с запаздыванием). Рассказчик отождествляет сознание, злость и болезнь. Однако не в единый момент.

Со злости рассказчик отождествляет сознание и болезнь.

Ради болезни отождествляет сознание и злость.

Изнутри сознания отождествляет злость и болезнь. И путается в сознании собственной запутанности. Признание неспособности вынести и знать абсолютное зло не освобождает от ошибки откровенного признания в сознании абсолютной болезни (диегетический нарратор непригоден для повествования абсолютного зла каторги; см.: [5]). Изнутри тюрьмы повествования рассказчик постоянно утверждает только собственное исключительное право и собственный ум (и подчеркивает собственный ум и ничтожность собственного ума).

Экзистенциализм Достоевского со стороны часто и есть такой усвояемый и передаваемый рассказ в литературных или же философских формах. Изнутри собственного несчастья (обида и злоба) человек хочет искать выход только из собственного несчастья и не хочет разбирать несчастье другого. Или, наоборот, из собственной зависти к чужому сознанию втайне хочет бесконечно и без результатов (кроме ничтожных результатов подражания) разбирать чужое несчастье (обиду и злобу). Экзистенциализм по определению – это экзистенциализм другого (который ад, т.е. чужой, чуждый, посторонний, и поэтому экзистенциализм равно захватывающий и интересный и ничтожный и глупый).

Из несостоятельности и полного знания несостоятельности говоримого рассказчик (изнутри собственного несчастного сознания) продолжает и продолжает говорить... о тайном наслаждении от зубной боли... о европейской цивилизации и недостаточности или бесполезности различных нравственных учений... о вредности и оборотной стороне морализаторства и пр. Слово с оглядкой разворачивает для любого случайного объекта сознания многослойную рефлексию без конца и результата. Достоевский дает слово выдуманному рассказчику и принимает за собственную жизненную задачу необходимость (кроме меркантильных интересов) подобного письма. Ф. Достоевский располагает бесконечным набором литературных возможностей посмеяться или посочувствовать персонажам (выразить авторское отношение к герою) и вполне успешно может заставить и читателя обмануться и по инерции литературного текста посочувствовать персонажу недостойному и смешному или, наоборот, возненавидеть и испытать раздражение по отношению к персонажу доброму и смиренному (в последнем случае очень часто – ненамеренно).

Невозможно из несчастного и страдающего сознания (см. подробнее: [6]) высказать никакую объективную правду о несчастье и страдании. В несчастном сознании нет знания несчастного сознания. Но только упоение или экзи-

стенциальное рефлексивное исследование несчастного сознания. Безрезультатное.

Каждое говоримое рассказчиком слово осуждает рассказчика. И рассказчик прекрасно сознает непрекращающееся осуждение и только повторяет – и только из сознаваемого страха и трусости и подполья наслаждается собственной невозможностью остановиться и (ложной надеждой) договорить до конца. Рассказчик из невероятных построений и уверений в невозможности свести порочное подпольное желание исповедания (письма и сознания) и страдания в исповеди (которое одновременно и наслаждение) к безвольным и без страдания за-человеческим законам природы в открытую и честно принимает и навязывает собственную сознаваемую ложь как единственную правду. И считает нужным (и одновременно ненужным) подкрепить собственные противоречивые теории выдуманной повестью. Во второй части записок из подполья выписывается ряд историй. Рассказчик становится наконец действующим лицом. Однако действия рассказчика ничем не отличаются от тупиков собственного сознания.

Проблема сознания подпольного человека – вариант проблемы несчастного сознания в философии Гегеля. Никакая истина изнутри тюрьмы несчастного сознания (изнутри тюрьмы подпольного человека) не может быть истиной.

Жирар пишет:

«Достоевскому не удалось перевести подпольную психологию в строгие понятия... Он... видел, что подпольный герой всегда выбирает что-то другое, нежели... собственный „правильно понятый“ интерес, но... дал ускользнуть... главному. Морали „правильно понятого“ интереса он не противопоставил ничего, кроме пустой и абстрактной свободы, своего рода „права на каприз“, что в действительности ничего не опровергает. ...первая часть произведения... значительно уступает последующей. Но... именно на этой части почти всегда основываются исследователи, когда стремятся определить антидетерминизм и антипсихологизм Достоевского...

Текст всего лишь отвергает, во имя туманного иррационализма... все позитивные элементы... текст действует в направлении новых разделений и новых рассеиваний... противоречит той части, которая представляет собой художественное повествование... текст постоянно цитируется... представителями индивидуализма анархического толка...»

(с. 63).

Из нашего анализа первой части «Записок» комментарий Жирара выглядит несправедливым. Текст первой части «Записок» достаточно «подрывной». Высказываемая правда всегда осознается рассказчиком как недостаточная полуправда или вовсе ничего. Позитивные или критические соображения... о тайном наслаждении от зубной боли... об европейской цивилизации и недостаточности или бесполезности различных нравственных учений... о вредности и оборотной стороне морализаторства... и правда иррационализма и прочие закавычены формой изложения и непосредственно выступают тупиками несчастного подпольного сознания. Подпольный человек не может сказать ничего.

Мы не обязательно должны вменять в вину Достоевскому или даже непосредственно тексту «Записок» различные прочтения со стороны «индивидуализма анархического толка». Позитивные и критические (анархические и индивидуалистические) прочтения равно отвергаются самопротиворечивой формой повествования (единственно доступной несчастному сознанию подпольного человека). Достоевский до конца выписал форму повествования и довел абсурдность происходящего до полного «исчерпания». Позиция Жирара по отношению к другим произведениям Достоевского (кроме первой части «Записок») была другой: Достоевский «одного за другим изгоняет своих демонов» посредством исчерпания ситуации изнутри литературы. Однако ситуация не изменилась и в первой части «Записок». Только вместо демонов соперничества и треугольного желания изгоняются демоны рефлексивного *тупиковского* сознания (которое вместо изгнания (демоны рефлексии)) одноименных демонов соперничества и треугольного желания. Ф.М. Достоевский недвусмысленно говорит: подпольного сознания недостаточно для преодоления соперничества. Недостаточно и рассказываемых повествователем историй из собственной жизни (вторая часть «Записок»). Поэтому, наоборот, вторая часть «Записок» и фактически и по замыслу Достоевского выступает лишь частным примером первой части.

Истории из второй части «Записок из подполья» действительно хорошо описываются изнутри теории треугольного желания. История первая. Соперничество (до пристрастия и странной привязчивой влюбленности в объект соперничества) с офицером из-за выдуманной и взращиваемой обиды и одновременно невозможность из выдуманной собственной трусости отомстить обидчику. Офицер (обидчик) и рассказчик и общество (игра признания и непризнания со стороны других) – вот стороны треугольника (см. подробнее разбор Жирара: [1. С. 61 и далее]. Поэтому Жирару и интересна вторая часть – из-за возможности проверить собственные теории. Первая же часть призвана показать неспособность сознания подпольного человека (несмотря на очевидность для подпольного человека многочисленных и описываемых через треугольное желание ситуаций) никаким знанием и сознанием преодолеть собственную тюрьму. Треугольное желание и соперничество выступают *значимым* метаописанием исключительно для второй части «Записок» (которой поэтому и отдает предпочтение Жирар) и неизбежно уступают и легко могут быть описаны (сконструированы) как правда (полуправда) подпольным сознанием рассказчика первой части «Записок из подполья». Предположим невероятное: подпольный человек не способен перевести собственную психологию в строгие понятия (предположение очевидно противоречит рефлексивной природе сознания подпольного человека). Тогда строгие понятия могли бы стать верным и освобождающим метаописанием для ситуации подпольного человека. Но Достоевский справедливо не мог принять такое допущение.

Литература

1. Жирар Р. Достоевский. От двойника к единству // Критика из подполья. М. : Новое литературное обозрение, 2012. С. 41–133.
2. Шмид В. Нарратология. М. : Языки славянской культуры, 2003.
3. Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского // Собр. соч. : в 7 т. М. : Русские словари, 2000. Т. 2. С. 5–175.

4. Достоевский Ф.М. Записки из подполья // Полн. собр. соч. : в 30 т. Т. 5: Повести и рассказы. Л. : Наука, 1972. С. 99–178.

5. Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома // Полн. собр. соч. : в 30 т. Т. 4: Записки из Мертвого дома Л. : Наука, 1972.

6. Жан В. Несчастное сознание в философии Гегеля. СПб. : Владимир Даль, 2006.

Kirill A. Rodin, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: rodin.kir@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 97–104.

DOI: 10.17223/1998863X/58/10

RENÉ GIRARD'S TRIANGLE OF DESIRE AND THE CONSCIOUSNESS OF THE UNDERGROUND MAN IN FYODOR DOSTOEVSKY'S *NOTES FROM UNDERGROUND*

Keywords: Dostoevsky; René Girard; triangle of desire; underground man; unhappy consciousness; diegetic narrator; existentialism.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 18-011-90001.

In the article, in the context of numerous literary-critical works by René Girard, the author considers Girard's reading of some texts by Fyodor Dostoevsky through the "triangle" of desire and pays special attention to *Notes from Underground*. According to the author's hypothesis, the text of *Notes* (especially the first part) cannot be fully and correctly understood through Girard's concept. And the obvious impossibility to include the text of *Notes* in the series of texts that verify the concept of the triangle of desire entails the lack of explanatory power of Girard's theory in relation to (some) Dostoevsky's works. To prove the stated hypothesis, the author offers his own reading of *Notes* through the use of various ways of "description": the schemas of narratology and the phenomenological approach (within the Hegelian problem of unhappy consciousness). In the first part of the article, the author sets out the main structural elements and the phenomenology of the triangular desire using examples of Dostoevsky's works and biography (presenting Girard's reading). In the second part, the author offers his own (inevitably limited) critical reading of *Notes from Underground*. In conclusion, the author analyzes the interested (erroneous) reading of *Notes* by René Girard.

References

1. Girard, R. (2012) *Kritika iz podpol'ya* [Criticism from the underground]. Translated from French. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. pp. 41–133.

2. Schmid, W. (2003) *Narratologiya* [Narratology]. Translated from German. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

3. Bakhtin, M.M. (2000) *Sobranie sochineniy: v 7 t.* [Collected Works: in 7 vols]. Vol. 2. Moscow: Russkie slovari. pp. 5–175.

4. Dostoevsky, F.M. (1972a) *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 t.* [Complete Works: in 30 vols]. Vol. 5. Leningrad: Nauka. pp. 99–178.

5. Dostoevsky, F.M. (1972b) *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 t.* [Complete Works: in 30 vols]. Vol. 4. Leningrad: Nauka.

6. Jean V. (2006) *Neschastnoe soznanie v filosofii Gegelya* [The Unhappy Consciousness in Hegel's Philosophy]. Translated from French by V.Yu. Bystrov. St. Petersburg: Vladimir Dal'.

УДК 1 (091)

DOI: 10.17223/1998863X/58/11

В.А. Суровцев, К.А. Габрусенко

О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ *TO LEKTON* В ФИЛОСОФИИ СТОИКОВ И *SINN* В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Г. ФРЕГЕ: ЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ¹

*Проводится сравнительный анализ категории стоиков *to lekton* и категории Г. Фреге *Sinn*. Эксплицируются некоторые формальные черты этих категорий, которые демонстрируют сходство логико-семантических теорий стоиков и Г. Фреге. Показано, что некоторые семантические аспекты функционирования *to lekton* и *Sinn* позволяют уточнить, какую роль они играют в установлении логических взаимосвязей знания и получения выводов.*

Ключевые слова: логика стоиков, *to lekton*, Г. Фреге, *Sinn*, семантическая теория, *axiōta*, *Gedanke*, компаративные исследования, античная и современная логика.

В литературе неоднократно отмечался структурный параллелизм между семантической теорией стоиков и некоторыми современными теориями в рамках логической семантики (см., например, [1, 2]). Это сравнение затрагивало в основном те семантические теории, которые в отношении наименования наряду со знаком и обозначаемым им объектом включали третий элемент, имеющий интенциональный характер, поскольку считалось, что отношение знака к обозначаемому объекту опосредовано некоторым смыслом, т.е. способом, которым объект представлен в знаке. Наиболее часто такому компаративному анализу подвергалась теория смысла Г. Фреге, аналогия которой с логической теорией стоиков казалась наиболее наглядной (см., например, [3, 4]).

Аналогия затрагивала различные аспекты теорий стоиков и Г. Фреге относительно трактовки ими категорий *to lekton* и *Sinn* соответственно. Однако несмотря на то что в рамках структурных характеристик отношения наименования *to lekton* и *Sinn* выполняют похожие функции и в принципе можно говорить о формальном сходстве этих категорий, они имеют совершенно разный онтологический и эпистемологический статусы. Онтологическое различие связано с тем, что *to lekton* не существует вне связи с постигающим представлением субъекта того обозначаемого, которое выражено в знаке, тогда как *Sinn* имеет независимое от субъекта существование и образует область объективных смыслов, с которой субъект связан с помощью особой познавательной способности *Auffassung* (схватывание) [5]. Немаловажным являются и эпистемологические различия. У стоиков *to lekton* – это структурный элемент не только отношения наименования, но и в более общем смысле элемент познавательного отношения к миру, так как непосредственно связан с постигающим представлением. Совершенно не то обнаруживается у Г. Фреге, который все эпистемологические вопросы выводит за рамки логи-

¹ Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (№ 18-18-00057).

ческой семантики, будучи сторонником того взгляда, что собственно формальная логика не имеет отношения к особенностям протекания субъективных познавательных процессов [6].

Тем не менее аналогия приводит и к замечательным сходствам, касающимся прежде всего понимания логико-грамматических конструкций, анализ которых и стоики и Г. Фреге проводят не на основании априорного конструирования основных элементов действительности, представленных в рамках познавательного процесса, а опираясь, в общем-то, на ресурсы естественного языка и речи [7]. Действительно, во главу угла при анализе форм осуществления мышления стоики ставят не различие между тем, что существует само по себе, и тем, что существует как привходящее, что свойственно логике Аристотеля, но различие между грамматическими формами, представленными в языке и речи [8]. То же самое относится и к построениям Г. Фреге, который всегда начинает с анализа того, каким образом, например, грамматические субъект и предикат в том виде, в котором они представлены в языке и речи, сказываются на способах анализа логической формы. Однако сходства подобного рода не следует преувеличивать.

Логико-грамматический анализ, который приводит к видимости сходства форм, в которых представлен смысл, еще ничего не говорит о том, что собственно логические взаимосвязи, имеющие место между этими формами, понимаются одинаково. Какого именно рода взаимосвязи подразумеваются, когда говорят, что одна грамматическая форма логически связана с другой, проблема немаловажная, поскольку хотя с точки зрения чисто формального представления эти взаимосвязи могут выглядеть одинаково, смысл, который в них вкладывается, зачастую совершенно различный. Поэтому вопрос о том, какую роль играет *to lekton* у стоиков и *Sinn* у Г. Фреге в чисто логических построениях и их интерпретации, является крайне интересным.

Различие логико-грамматического и собственно логического анализа здесь вполне соответствует тому различию, которое в традиционной логике со времен схоластики закрепилось в виде выделения двух основных разделов логики, а именно учения о логических элементах и учения о доказательстве. Наиболее отчетливую форму это различие получило в известном трактате А. Арно и П. Николя «Логика, или Искусство мыслить» [9]. Суть этого различия основана, прежде всего, на том, что логика как особая теоретическая дисциплина, связанная с анализом рассуждения, должна ориентироваться не на содержание знания, т.е. на то, о чем собственно рассуждение, а на то, каким образом это рассуждение осуществляется. Материальное содержание знания для логического исследования значения не имеет, поскольку сама возможность рассуждения зависит только от тех форм, в которых это знание выражено. В этом отношении первая основная задача логики понимается как задача выявления и систематизации различных форм, в которых представлено содержание. Однако когда речь идет о возможности получения одного знания из другого или обоснования или опровержения одного знания другим, сама по себе систематизация форм представления знаний оказывается недостаточной.

Логика – это анализ процесса рассуждения. Но если логика понимается как исследование того, что не связано с содержанием знаний, но только с тем, что обусловлено его формой, то и логические взаимосвязи знания должны

соотноситься только с формой представления знаний. Анализ процесса рассуждения в этом случае основывается исключительно на особенностях логико-грамматических форм, а собственно логический анализ ориентируется на выявление нормативной базы связи знаний, которая отталкивается только от особенностей формы их представления. Логический анализ процесса рассуждения, связанный с возможностью получения одного знания из другого и его обоснованностью, образует второй раздел логики, исследующий доказательность того, каким образом одна форма представления знаний может достоверно преобразовываться в другую или получаться из этой другой формы. В этом отношении вторая основная задача логики сводится к выявлению и систематизации нормативной базы, определяющей возможность или невозможность связи логических форм, т.е. к учению о доказательстве. Два раздела традиционной логики, безусловно, связаны, поскольку если считается, что логический вывод не зависит от содержания, т.е. от того, о чем рассуждение, но только от формы, в которой выражено знание, то отсюда следует, что и сама возможность выявления грамматической формы служит основанием анализа возможности логического вывода одного знания из другого.

Подобного рода подход вполне уместен. Действительно, если есть исходное знание, и оно выражено в определенной форме, то получение другого знания с точки зрения логики, которая ориентируется только на способ рассуждения, должно зависеть как раз от этой формы, а не от чего-то другого. Такое понимание собственно логического исследования можно найти во всех трактовках, опирающихся на представление о том, что логические взаимосвязи основаны на особенностях формы представления знаний, а логический вывод, собственно, никакого отношения к содержанию рассуждения не имеет. Подобного рода подход присутствует практически во всех трактатах XVIII в., касающихся логики, и в большинстве работ XIX в. Интересно, что такое понимание формальной логики лежит в основании философских построений. Например, оно имеет важное значение в различении И. Кантом аналитических и синтетических суждений, с одной стороны, и априорных и апостериорных суждений – с другой. Такое членение формальной логики нетрудно обнаружить и в современных учебниках по логике, ориентированных на ее традиционный вариант.

Однако в подходе традиционной логики есть один важный момент, который основывает собственно логическое исследование на определенных онтологических предпосылках, поскольку само учение о логических элементах во многом связано, благодаря Аристотелю, с категориями сущности и привходящего, в соответствии с которыми в качестве основных логических элементов выделяются понятия, построенные из понятий суждения и, наконец, построенные из суждений умозаключения. Не то обнаруживается в подходе стоиков и Г. Фреге, что и роднит эти концепции в наибольшей степени. Их построения ориентированы не на онтологические предпосылки, но отталкиваются, прежде всего, от анализа языка и речи, а стало быть, выделяемые ими формы и структура логического вывода ориентированы не на анализ предзаданной действительности, а на то, каким образом действительность выражена в языке. Однако это сходство не должно скрывать того факта, что стоики и Г. Фреге совершенно по-разному понимают то, о какого рода взаимосвязях идет речь, когда мы говорим о доказательстве. Поскольку анализ здесь начи-

нается с исследования языка и речи, а отношение наименования, которое играет важную роль, представлено как трехчленная структура (знак – смысл – обозначаемое), само понимание логических взаимосвязей, независимо от того, что они могут быть представлены сугубо формально, затрагивают интенциональный элемент в отношении наименования. Здесь важным становится вопрос, что именно отражает этот интенциональный элемент и с чем он связан? А это уже зависит от того, как понимается его онтологический и эпистемологический статус.

Следует отметить, что логика, развиваемая Г. Фреге в существенных моментах, отличается от логической теории, развиваемой стоиками. Функциональный подход к анализу простых высказываний у стоиков фактически отсутствует, и об аналогии можно говорить только на уровне сложных высказываний. В случае простых высказываний логика стоиков, видимо, не идет дальше силлогистики Аристотеля. Но та часть, которую современная логическая теория относит к логике высказываний, вполне сопоставима, и именно она рассматривается историками логики как предвосхищение того, что сделал Г. Фреге (см., например, [10, 11]). Во всяком случае, у стоиков уже было представление о логических союзах, связывающих простые высказывания (конъюнкция, дизъюнкция, импликация), истинностных значениях и функциональных отношениях, которые определяют истинностные значения сложных высказываний в зависимости от того, каким образом из них образуются сложные высказывания.

Тем не менее понимание того, что выражают логические взаимосвязи в рамках смыслового отношения знака к обозначаемому у Г. Фреге и стоиков, остается различным. Для понимания этого различия остановимся лишь на той части их семантических теорий, которые затрагивают то, что стоики называли полный *lekton* или *axiōta* (высказываемое) как разновидность *to lekton*, и *Gedanke* (мысль) как разновидности *Sinn* у Г. Фреге. Для этого есть основания, поскольку, как уже указывалось выше, функциональной логики предикатов у стоиков не обнаруживается, и поэтому речь может идти только о сравнении функциональной логики высказываний. Но полный *lekton*, как и *Gedanke*, соответствует как раз целостным высказываниям, имеющим истинностное значение. И то и другое, по сути, определяются как носители истины и лжи, поскольку именно посредством этих интенциональных компонентов отношения наименования, собственно, и возникают понятия истинности или ложности. Здесь, конечно, имеются существенные различия, поскольку в теории стоиков истина и ложь возникают тогда, когда полный *lekton* связывает предложение посредством постигающего представления с наглядной действительностью. Г. Фреге же развивает номинативную теорию предложений, где сами повествовательные предложения являются именами истинностных значений, а *Gedanke* или мысль – способом представленности истины и лжи в предложении или способом, которым предложение указывает на них. Отметим также, что Истина и Ложь в этом случае выступают в качестве абстрактных объектов, чего нет у стоиков. Но дело здесь даже не в этих различиях.

При определении понимания характера логических взаимосвязей логико-грамматических форм основную роль играет значение онтологического статуса интенциональных сущностей. Какой онтологический статус Г. Фреге приписывает мысли как содержанию повествовательных предложений?

Определяющим для Г. Фреге при установлении онтологического статуса интенциональных сущностей типа *Sinn* вообще и *Gedanke* в частности является то, что они образуют совокупность объективного знания. Только ввиду объективности подобного рода знания, выраженного в языке, можно говорить о его истинности или ложности, поскольку последние не являются характеристикой содержания индивидуальной ментальной жизни. Например, представления, имеющие субъективный характер, не могут характеризоваться как истинные или ложные, поскольку они могут меняться от одного человека к другому. То же, что признается за истину, не является достоянием одного, а должно принадлежать всем.

Г. Фреге развивает определенную разновидность лингвистического платонизма, приписывая смыслу языковых выражений некоторую разновидность объективного существования. В частности, он утверждает: «Следует признать третью область. То, что относится к этой области, соответствует представлениям в том отношении, что не может быть воспринято чувствами, а вещам – в том отношении, что не требует носителя, сознанию которого принадлежит. Так, например, мысль (*Gedanke*), которую мы выражаем в теореме Пифагора, является истинной безотносительно ко времени, истинной независимо от того, считает ли кто-нибудь ее истинной. Она не нуждается в носителе. Она является истинной отнюдь не только с момента ее открытия, но подобна планете, которая, даже и не будучи еще обнаруженной кем-либо, находится во взаимодействии с другими планетами» [12. С. 42]. В этом утверждении Г. Фреге, помимо того, что он считает знание, характеризующееся как истинное или ложное, независимым от познавательных способностей человека, есть еще один очень важный момент, который, быть может, выражен несколько метафорически. Говоря о взаимодействии планет при указании на объективность мысли, Г. Фреге считает, что и сами мысли находятся в отношениях, которые не определяются индивидуальной мыслительной деятельностью, но столь же объективны, как и сами мысли. Объективный мир смыслов имеет структуру, и эта структура определяет архитектуру истинного и ложного знания. Причем эта архитектура не связана ни с характером организации наших познавательных способностей ввиду своей независимости от таковых, ни с организацией окружающего нас мира вещей ввиду отличия статуса области смыслов от природы действительности.

Рассмотрим, каким образом Г. Фреге трактует логические взаимосвязи, ограничиваясь тем разделом логики, который относится к характеру функционирования логических союзов, с помощью которых из простых мыслей (*Gedanke*) образуются сложные мысли (*Gedankengefüge*). Этот раздел наиболее точно в формальном отношении соответствует тому, как трактовали стоики логические взаимосвязи в рамках полного *lekton* или *axiōma*. В языковом отношении в работе [13] Г. Фреге ориентируется на способы связи сложных предложений, представленные различного рода союзами, образующими из простых предложений сложные. Акцент на способах языкового выражения сложных предложений не должен скрывать здесь того факта, что анализ ориентирован, прежде всего, на то, что выражается, т.е. на мысль. Сами по себе предложения есть только внешний способ выражения мысли и не должны скрывать того, что принадлежит именно логическим взаимосвязям мысли. Языковые союзы, приспособленные для образования сложных предложений из

простых, только указывают на способ логической связи, который не является собственно языковым, но также относится к области объективной мысли.

Отметим, что здесь речь не идет о сложноподчиненных предложениях, поскольку, с точки зрения Г. Фреге, придаточные предложения не выражают полную мысль, которая может быть истинной или ложной. В расчет принимаются только те способы языкового выражения связи смысла, каждая часть которой сама является мыслью, т.е. может быть истинной или ложной. В этом отношении придаточные предложения не выражают полную мысль, логические взаимосвязи здесь хотя и имеют место, но они имеют несколько иную природу, чем выражение взаимосвязи того, что Г. Фреге называет сложной мыслью (*Gedankengefüge*). Он объясняет это следующим образом: «Грамматике известны такие предложения, которые логика не может признать за подлинные предложения, поскольку они не выражают мысли. Это иллюстрируется придаточными предложениями, так как мы не можем сказать точно, на какое предполагаемое относительное местоимение указывает придаточное предложение, обособленное от своего главного предложения. Такое предложение не содержит смысла, истинность которого можно было бы установить; другими словами, смысл обособленного придаточного предложения не является мыслью» [13. С. 75]. Таким образом, в языковом отношении Г. Фреге обращает внимание именно на те сложные предложения, частями которых являются подлинные (*eigentliche*) предложения, которые для своей осмысленности не нуждаются ни в каком дополнении.

Вопрос о логических взаимосвязях, таким образом, затрагивает только такие сложные предложения, осмысленные части которых являются подлинными (т.е. не требующими дополнения для понимания их полного смысла) предложениями. Простейшим примером такого типа сложных предложений является выражение, в котором два простых предложения объединены, например, союзами '... и ...', '... или ...', 'если ..., то ...'. Проблема, однако, заключается в следующем. Простые предложения выражают мысль, истинную или ложную, сложные предложения, состоящие из простых, также выражают мысль. Но с чем связан способ их связи? Какого рода отношения он выражает? Относятся ли они к конструкциям собственно языка или указывают на описываемые в языке отношения в рамках окружающей нас действительности?

Очевидно, что ответ на эти вопросы зависит от того, что понимается под сложной мыслью. Сложные предложения выражают сложную мысль, но что, собственно, за этим скрывается? Г. Фреге, определяя сложную мысль, говорит следующее: «Под сложной мыслью я буду понимать такую мысль, которая состоит из мыслей, но не только из них. Поскольку мысль является полной и насыщенной, для того чтобы существовать, она не нуждается в дополнении. Поэтому мысли не сливались бы в единое целое, если бы они не объединялись чем-то таким, что не является мыслью. Мы можем предположить, что это связующее является ненасыщенным. Сложная мысль сама должна быть мыслью, то есть чем-то таким, что является истинным или ложным (третьего не дано)» [13. С. 75]. Полная мысль, выраженная в подлинном предложении, соединяясь с другой подлинной мыслью, выраженной в другом предложении, образует новую подлинную мысль. Но сама по себе их взаимосвязь не может быть полной, поскольку, если бы она была бы полной, она

была бы мыслью и выражалась в некотором предложении. Но связи предложений сами по себе не являются предложениями. В этом отношении они являются неполными. Такие союзы, как 'и', 'или', 'если, то' в языковом отношении есть лишь способ связи предложений, и как таковые они не выражают собственного смысла. Связи, используемые при образовании сложных предложений, отражают нечто в связи мыслей, но сами мыслями не являются.

Для Г. Фреге здесь важнейшим понятием является понятие неполного или ненасыщенного (*ungessattigten*) выражения. Языковые союзы, с помощью которых из простых предложений образуются сложные, сами по себе не обладают никаким значением, они обретают свой смысл, только выступая в качестве связи других языковых выражений. Их ненасыщенность определяется именно тем, что они приобретают свое значение только будучи соединенными с чем-то другим. Подобного рода ненасыщенность связана не только с союзами, которые связывают два подлинных простых предложения, она затрагивает уже те языковые выражения, которые связаны с отрицанием. Само по себе отрицание, например, состоит как минимум из отрицающего выражения и из того, что отрицается. И если предложение, в котором выражено отрицаемое, является предложением, то само отрицание является лишь неполным или ненасыщенным выражением, требующим для своего осмысления как раз того предложения, которое отрицается. Отрицательные выражения, будучи выраженными префиксным выражением типа 'неверно, что ...' или отрицательным союзом перед глаголом в предложении, которое считается простым, не имеют собственного значения в том смысле, в котором собственное значение имеет выражение, которому оно придано. Подобного рода выражения указывают лишь на неверность той мысли, которая выражена в отрицаемом предложении.

Об отрицании Г. Фреге говорит, например, следующее: «Мысль для своего существования не нуждается в дополнении, она самодостаточна. В сравнении с этим отрицание требует дополнения мыслью. Обе составные части, если употреблять эти выражения, совершенно разнородны и совершенно различным образом способствуют образованию целого. Одно дополняет; другое дополняется. И посредством этого дополнения целое сохраняется в единстве. Чтобы потребность в дополнении сделать различимой и в языковом отношении, можно написать „отрицание того, что...“. При этом пропуск после 'что' указывает, куда следует поместить дополняющее. Ведь дополнению в области мыслей и частей мыслей соответствует нечто подобное в области предложений и частей предложений» [14. С. 69]. Неполнота или ненасыщенность языковых выражений, в которых представлена мысль, уже на примере анализа отрицательных выражений требует того, чтобы эта особенность была объяснена на уровне мысли. Неполнота языковых выражений, связывающих подлинные предложения, должна быть объяснена на уровне мыслей, которые связываются в некоторое целое, выраженное в этих языковых выражениях.

Это целое должно объясняться не просто на уровне предложения или его отрицания, оно должно охватывать целостность того, что представлено в языке, включая связи, касающиеся не просто отрицания предложения, но и связи нескольких предложений. Связь нескольких предложений в отличие от отрицания Г. Фреге видит в том, что их неполнота или ненасыщенность свя-

зана с тем, что дополнения требует не выражение, относящееся к одному предложению, но выражение, связывающее два предложения. В этом отношении префиксное выражение 'отрицание того, что ...' отличается от связи двух предложений только наличием двух ненасыщенных мест. Объединяя два предложения, мы можем, например, использовать выражения '... и ...', '... или ...', 'если ..., то ...'. Главное в том, что эти выражения являются ненасыщенными (*ungessattigten*) и требуют для своего понимания заполнения той части, которая отмечена точками, где отточия обозначают законченную мысль.

Сложные мысли у Г. Фреге рассматриваются как составленные из простых, которые могут быть выражены в разных логико-грамматических формах. В частности, он пишет: «Если мы будем рассматривать мысли как составленные из простых частей и, в свою очередь, считать, что они соответствуют простым частям предложений, мы сможем понять, каким образом несколько частей предложений могут образовывать огромное количество предложений, которым, в свою очередь, соответствует огромное количество мыслей. Но тогда возникает вопрос о том, как конструируется мысль и как ее части соединяются таким образом, что целое в итоге представляет собой нечто большее, нежели части, взятые сами по себе» [13. С. 74]. Ответ на этот вопрос заключается в том, что связи мыслей, сами будучи неполными, а значит, не имеющими собственного значения, выполняют роль образования общего осмысленного целого из осмысленных же частей. Они не имеют собственного значения, но служат для того, чтобы организовать целое, состоящее из частей: «Благодаря тому, что мысль насыщает (*sattigt*) ненасыщенную часть или, как еще можно сказать, дополняет часть, нуждающуюся в дополнении, имеет место спаянность целого» [13. С. 74].

Мысль, составляющая содержание объективного знания, важна не только сама по себе. Важны также и те связи, которые объективные мысли связывают между собой, что позволяет рассматривать знание не просто как разнородный набор истинных или ложных сведений, но как организованную целостность, архитектура которой определяется связями столь же объективными, как и сама мысль. И хотя для Г. Фреге «в логическом вообще соединение в целое всегда привходит через насыщение того, что ненасыщенно» [13. С. 74], эти связи имеют характер столь же объективный, что и сама мысль. Но объективный – не в том смысле, в котором объективными связями наделен мир окружающих нас вещей, но в том, в котором объективной является третья область, область знания, выраженная в языке. Мысль (*Gedanke*) для Г. Фреге – это все-таки объективное образование. Пусть даже и выраженное посредством языка. Истинность и ложность – это не свойство языковых выражений. Это абстрактные предметы независимой реальности, пусть она и имеет несколько необычный характер, с которой связаны мысли, выраженные в предложениях. И это представлено в его своеобразном лингвистическом и логическом платонизме.

Также и логика не является наукой о субъективных психических процессах, ее предмет не сводится к анализу структуры содержания индивидуального сознания. Г. Фреге, например, утверждает: «Выражение 'законы мысли' вызывает соблазн предположить, что эти законы управляют мышлением тем же самым способом, каким законы природы управляют событиями во внеш-

нем мире. В этом случае они были бы не чем иным, как законами психологии: поскольку мышление есть душевный процесс. И если бы логика была связана с этими психологическими законами, она была бы частью психологии» [15. S. XVI]. Последнее же совершенно недопустимо, поскольку «если быть истинным независимо от быть признанным за истинное тем или другим человеком, тогда законы истины не являются психологическими законами» [15. S. XVI]. Логика изучает архитектонику объективной области смыслов, существующих до и независимо от человека. В этом отношении логика не сводима ни к психологии, ни к любой другой науке. Ее искусственный язык описывает структурные взаимосвязи, столь же независимые, как и представленное в них содержание. Архитектоника языка логики есть образ архитектоники объективной области смыслов.

Область смыслов не является простой совокупностью разрозненных содержаний, а представляет собой систематическую связь истин. Дело логики состоит в прояснении этой систематической связи и представлении ее в дедуктивной форме. Так называемые законы логики есть не что иное, как предписания, управляющие процедурой вывода одной мысли из другой. То, что представляет логика, есть не что иное, как законы дедукции, оправдывающие возможность логического вывода. Логический вывод при этом характеризует только область объективного знания, не зависимо ни от окружающего мира вещей, ни от познавательных способностей человека.

Вывод одного знания из другого, если они признаются истинными, не зависит от индивидуальных психических способностей, даже если таковые и применяются. Знания связаны между собой объективно в том смысле, что *Gedanke*, из которых образуются *Gedankengefüge*, т.е. составные мысли из простых, тоже являются мыслями. В этом отношении область мысли замкнута, поскольку результат любой операции, выраженный языковыми союзами и отражающий ненасыщенность в сфере смыслов, сам относится к сфере смыслов. Операции тогда рассматриваются как то, что принадлежит самой области смыслов и не является результатом деятельности сознания. Архитектоника знания, образующая связь объективных мыслей, может только открываться или схватываться (*Auffassung*) в процессе выражения знания в языке. Будучи объективными, такого рода связи между мыслями все-таки отличаются и от того, что рассматривается как отношения между событиями окружающего нас мира. Мир объективных, окружающих нас вещей – это не мир мыслей о вещах. Отношения в мире вещей отличаются от отношений в мире мыслей. Мир мыслей подчинен законам логики, регулирующим соотношения форм организации знаний, тогда как мир вещей связан с законами, управляющими природой.

В понимании Г. Фреге того, что представляет собой логическая взаимосвязь, таким образом, можно выделить следующие моменты:

1. Мысль (*Gedanke*), в рамках которой устанавливаются логические взаимоотношения, является объективным образованием, независимым от индивидуального психического действия, в качестве которого выступало бы представление, связанное с действительностью вещей. Мысль является особой сущностью, отличной от представлений, поскольку в силу своей объективности она может оцениваться как истинная или ложная. Объективность мысли отличается от объективности вещей окружающего нас мира, поскольку их

взаимосвязь отличается от взаимосвязи мыслей. Так, например, взаимосвязь вещей не может быть истинной или ложной.

2. Сложная мысль (*Gedankengefüge*) принадлежит той же области, что и простая мысль. Все преобразования простой мысли в сложную включаются в ту же самую систему, что и простые. Сложные и простые мысли образуют единую систему знания, содержательно объемлющую то, что выражено в рамках языка простыми и сложными предложениями. Сложные предложения, помимо простых, включают способы связи. Но эти связи есть лишь выражение того, что уже должно быть в области мысли.

3. Способам связи предложений в области мысли соответствует то, что является неполным или ненасыщенным (*ungessattigten*). Но именно этот элемент позволяет из простого образовывать сложное. Сам этот элемент не принадлежит только способам языкового выражения. Точно так же он не принадлежит миру объективных вещей. Он относится к сфере смыслов, как и сами мысли. Будучи объективным, он выражен в языке, но как таковой принадлежит не языку, но области мысли. Этот элемент связан с формами организации мысли и, основываясь на особенностях этих форм, позволяет получать одну форму из другой.

4. Собственно логика связана с исследованием именно этого элемента. Логическое относится к тому, что касается формы выражения знаний. Однако сама логико-грамматическая форма значима не сама по себе, но только в том отношении, в котором она быть может связана с другой логико-грамматической формой. Логико-грамматические формы, будучи выражены в языке, значимы не сами по себе, но лишь в той мере, в которой они выражают собственные взаимосвязи.

5. Если логику понимать надлежащим образом, то она оказывается наукой о тех взаимосвязях, которые касаются области объективных смыслов. При этом то, что исследует логика, затрагивает объективные взаимосвязи, образующие конструкцию или архитектуру знания, которая никаким образом не зависит как от познавательных способностей человека, так и от того, что познается. Содержание собственно познания никакого отношения к логическому выводу не имеет, поскольку сам вывод основан только на формальных структурах представления знаний.

6. Законы логики в этом случае являются нормативной базой, регулирующей то, что должно быть выражено в качестве логических взаимосвязей мыслей, представленных в той объективной области, которая относится не к совокупности субъективных представлений и не к мыслимой реальности, где вещи связаны особым, присущим им способом, но к области смыслов, где определяются способы связи, ненасыщенные сами по себе, но образующие целостную мысль при дополнении того, что в языковом выражении изначально казалось неполным или допускающим дополнения.

Можем ли мы найти такие представления о логической связи у стоиков? Можно ли сказать, что в логике стоиков аналогичным образом понимается связь полных *lekton* или *axiōta* с точки зрения того, что считать логической организацией знания? Ответ, конечно, отрицательный. Главное здесь заключается в том, что для стоиков важным было отношение не просто в рамках области смысла, но то, каким образом смысл языковых выражений соотносится с наличной действительностью.

На первый взгляд, однако, аналогия между стоиками и Г. Фреге в данном отношении кажется достаточно явной. Это связано с двумя моментами. В первых, стоики, как и Г. Фреге, очевидно отмечают, что в языковом отношении можно совершенно отчетливо выделить взаимосвязи между теми логико-грамматическими категориями, которые образуют собой полный *lekton* или *axiōma* (высказываемое). Например, Диоген Лаэртский по этому поводу сообщает: «Из высказываний одни простые, другие – не простые... Простые – те, которые состоят из неповторяющегося высказывания. Непростые – те, которые состоят либо из повторяющегося высказывания, либо из различных высказываний» [17. С. 113]. То же самое относится и к отрицательным высказываниям: «Простые высказывания бывают отрицательные», и выражается отрицание также в языке, поскольку отрицание «состоит из привативной частицы и возможного высказывания» [17. С. 114]. Здесь вполне можно подразумевать то, что Г. Фреге имеет в виду под связями мысли (*Gedankengefüge*). И действительно, если учесть, что *axiōma* суть то, что может быть истинным или ложным, а истинность и ложность часто приписывается именно предложениям, т.е. особому типу звучащей или написанной речи, то и особым образом связанным или написанным элементам речи можно приписать истинность или ложность. Скажем, выражение ‘если ..., то ...’ в рамках речи вполне может рассматриваться как грамматическая связь двух выражений, смыслом которых является полный *lekton* или *axiōma*. Однако и сам результат связи выражает полный *lekton* или *axiōma* и поэтому также может рассматриваться как истинный или ложный. В этом случае возникает то, что в языковой грамматике обозначается как сложные предложения, состоящие из предложений, имеющих собственный смысл, т.е. из того, что может быть истинным или ложным, независимо от той части, дополнением которой они могут быть. То есть из языковых выражений образуется нечто такое, что в свою очередь также образует полный *lekton* или *axiōma*.

Во-вторых, сходство обнаруживается в том, что выражения этой связи хотя и принадлежат языку, но при этом они не являются лишь грамматическими образованиями. Выражения, например, условной связи между языковыми выражениями не относятся к уровню речи, но отражают отношения того, что выражается в речи. При этом могут использоваться различные языковые выражения, но сам способ связи не меняется. Осмысленные элементы речи, которые могут оцениваться как истинные или ложные, в свою очередь соединяются в элементы речи, которые также осмысливаются как истинные или ложные. Само это осмысление хотя и выражается в речи, но речью не является, поскольку отражает взаимосвязи, которые относятся не просто к уровню звучащих или написанных знаков. Таким образом, так же, как и у Г. Фреге, эти связи не являются просто связями языка, но отражают то, что выражается в языке и речи. Из осмысленного простого образуется сложное, столь же осмысленное, как и простое. Так, в речи как угодно можно выражать условную связь одного с другим, используя аналоги выражения ‘если ..., то ...’, но само по себе выражение условной связи зависит не от речи, но от того, что в ней выражается. Подобным образом можно интерпретировать и подход стоиков к отображению связей, имеющих место в сложном выражении, объединяющем то, что образует сложную мысль. Например, так может тракто-

ваться важный для стоиков термин *synēmmenon*, обозначающий условную связь предложений, когда говорят, что способ выражения должен быть только таким, чтобы в нем прослеживалась условная связь, вне зависимости от языкового выражения, поскольку она «удовлетворительна, как общее рассмотрение всех условных высказываний» [11. Р. 135]. Языковые выражения, к примеру отражающие условные связи в форме «если ..., то ...», таким образом, указывают только на те связи, которые к речи не относятся, но лишь выражают то, что выходит за рамки отношений между озвученными или написанными знаками. Сама речь, выражающая такие связи, не является тем, что относится к области смыслов.

Вот здесь и возникает главный вопрос. Речь и зафиксированные на бумаге знаки есть лишь внешнее выражения того, что связывается. Связываемое образует содержание того, что выражено в языке и в этом отношении, поскольку результат связывания смыслов не относится только к речи, а принадлежит области смыслов, важно решить, что же представляют собой эти связи? Чему они тогда принадлежат? Если подобного рода связи не являются лишь языковыми оборотами, необходимо установить их онтологический и эпистемологический статус. Ни *Gedankengefüge* (сложная мысль) у Г. Фреге, ни *synēmmenon* (способы условной связи) у стоиков не относятся только к уровню выражения мысли. У Г. Фреге ответ понятен: эти связи относятся к объективной и независимой как от сознания, так и от вещей внешнего мира области, области смыслов. Но можно ли тоже самое сказать о концепции смысла у стоиков?

Заканчиваются указанные выше сходства. Все дело в том, каким образом трактуется у стоиков роль области смыслов в эпистемологическом отношении. Смысл у стоиков есть то, что связывает наличную действительность через посредство каталептического представления, т.е. представления, которое наиболее точно отражает то, что есть, со способом выражения [6]. Здесь вполне можно согласиться с утверждением, что «'лектон' есть констатирующий, или корреспондирующий, смысл, который указывает на денотат, раскрывает его значение, но не оказывает на него никакого воздействия. ... Стоики (как впоследствии Витгенштейн) были убеждены, что языковые средства выражения адекватны описываемой реальности и логическое высказывание должно полностью соответствовать определенной ситуации как некоторой структуре фактов» [16. С. 72].

Результат связывания смыслов принадлежит области смыслов, но лишь постольку, поскольку сами смыслы посредством постигающего представления связаны с действительностью. Но сама эта связь не является сугубо грамматической. Точно также она не является просто связью смыслов. Она отражается в области смыслов через каталептическое (постигающее) представление, но относится к наличной действительности, которая и представлена посредством смысла в языковых выражениях, т.е. в речи или написанных на бумаге знаках. В этом отношении *Sinn* в общем, и *Gedanke*, включая *Gedankengefüge*, в частности у Г. Фреге совершенно отличаются от того, что в понимании стоиков представляют собой связи, выраженные посредством *synēmmenon* (различных типов условной связи, которые в языке представляют различные типы связи того, чем является *axiōta*), того, что отражает речь или знаки, зафиксированные на бумаге.

Эти связи касаются не грамматических конструкций и не того, что в этих конструкциях выражено. Они прежде всего и по преимуществу относятся к наличной действительности, но не к тому, каким образом эта наличная действительность может быть выражена, пусть и посредством языка. Согласимся здесь со следующим утверждением: «Термин *synēttmenon* обозначает то, что составлено из *axioma*, и это как раз говорит о том, что он обозначает составное положение дел. Более того, это составное положение дел обозначается приписыванием отношения следования между положениями дел, которые являются частями составной *axioma*. Стоики подразумевают, что при рассмотрении вывода можно получить знание, что некоторый особый вид события или положения дел следует из некоторого другого события или положения дел» [18. Р. 423].

События, но не смыслы связываются в логике стоиков. И это действительно отличает то, что может быть связано. Одно дело, когда связываются языковые выражения, другое дело, когда связываются выраженные в языке смыслы, но и совсем другое дело, когда связываются положения дел, считающиеся действительностью. Действительность здесь понимается совсем не так, как она понимается у Г. Фреге, полагающего, что логические взаимосвязи относятся исключительно к области смыслов, к третьей области, области нашего знания. Стоики, видимо, подразумевают совсем другое. Логические взаимосвязи отражают то, что присуще реальности, выраженной в языке. Реальность может по-разному пониматься, но то, что она выразима и каким-то образом представлена посредством языка, сомнения не вызывает.

Действительность логических взаимосвязей, о которых идет речь у Г. Фреге, соотносящего эти взаимосвязи с областью независимых как от субъекта познания, так и от предмета познания особой реальности, нельзя однозначным образом соотнести с тем, что сказано об области смыслов, выраженных в языке и речи. Соотнести это можно только с тем, что в данном случае считается семантической теорией стоиков. Имеется в виду та ее часть, которая может быть в той или иной степени соотнесена с теорией *Sinn* и *Gedanke*, а также *Gedankengefüge* у Г. Фреге. Что здесь можно соотнести? Понимания стоиками области смыслов совсем не соотносятся с тем, что под этим понимает Г. Фреге. Область смыслов у Г. Фреге никоим образом не согласуется с тем, что подразумевается в философии стоиков. Связи в третьей области, области смыслов у Г. Фреге, никак не соответствуют тому, что под связью, грамматически выраженной сложными предложениями, понимают стоики. Если у Г. Фреге речь идет о связи в рамках области смыслов, которая понимается как особая реальность, то стоики предпочитают рассматривать такого рода связи как относящиеся к наличной действительности. Когда речь идет о *synēttmenon*, имеются в виду те взаимосвязи, которые касаются наличной действительности. Но не просто то, что может выражаться посредством речи, не только то, что видимо и слышимо в языковых выражениях. Видимое и слышимое, конечно, относятся к уровню языка. То, что выражается посредством видимого и слышимого, также относится к уровню языка в том отношении, в котором язык выражает некоторый смысл (*lekton* или *axiōma*), оцениваемый как истинный или ложный. Однако именно наличная действительность у стоиков определяет то, что считать истинным или ложным.

Общий взгляд на логические взаимосвязи у стоиков можно предварительно выразить следующим образом:

1. Логико-грамматические формы у стоиков связаны с особым пониманием эпистемологического статуса *lekton* в общем и с эпистемологическим статусом *axiōma* в частности, которые через постигающее представление связывают знаки с наличной действительностью. В этом отношении трактуется истина и ложь как определенная связь знаков, выраженных в языке посредством речи, с действительностью. Истина и ложь в данном случае касается исключительно языковых выражений, которые организованы в рамках системы знаний.

2. Взаимосвязи в области смыслов (*lekton* и *axiōma*), выраженные в языке и речи, есть средство, позволяющее через постигающее представление выразить взаимосвязи, характеризующие отношения в рамках наличной действительности. Логико-грамматические формы отражают не взаимосвязи в области объективного знания, которое может быть истинным или ложным, но отношения в рамках самой действительности. При этом логика рассматривается не как форма организации знаний, но как форма организации действительных отношений между событиями в области самой наличной действительности.

3. Условная связь ‘если ..., то ...’, например, выражает не отношения в рамках объективного знания, как это имеет место у Г. Фреге, где условие, представляющее собой определенного рода знание, связывается с другим знанием, являющимся следствием первого и эта связь основана на особенностях грамматической формы условия и следствия. У стоиков эта связь отражает отношения между событиями в рамках самой наличной действительности. И, конечно же, речь здесь совсем не идет о том, что, как получается у Г. Фреге, у которого *Sinn* вообще и *Gedanke* и *Gedankengefüge* в частности есть способ данности истинностного значения предложений и соотношения предложений. У стоиков же речь идет о взаимосвязях в рамках наличной действительности. Условные связи касаются не взаимодействия в области объективных смыслов, но отношений в окружающей нас реальности.

Особенно рельефно различие между Г. Фреге и стоиками проявляется в трактовке логического правила вывода *modus ponens*, который представлен у Г. Фреге в его своеобразном понимании того, как должны записываться смыслы, выражения и взаимосвязи смыслов. В работе *Begriffsschrift* [19] в виде схемы они представлены необычным, но достаточно понятным, выраженным в двухмерной записи способом. Понятность записи зависит только от того, каким образом трактуется способ вывода одного знания из другого. Совсем иначе, однако, трактуется то, что считается у стоиков так называемой основной аксиомой [18. Р. 468]. Но это уже совсем другая тема.

Литература

1. Mates B. Stoic Logic. Berkeley and Los Angeles, 1961.
2. Graeser A. The Stoic theory of meanings // The Stoics / ed. J.M. Rist. Berkeley : University of California Press, 1978. С. 77–100.
3. Суровцев В.А. О соотношении категорий *to lekton* в философии стоиков и *Sinn* в семантической теории Г. Фреге // СХОЛН (Schole). 2015. № 9.2. С. 241–252.
4. Нехаев А.В. Логико-семиотические аспекты учения стоиков // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2011. № 14 (109), вып.17. С. 180–187.

5. Суровцев В.А. О соотношении категорий *to lekton* в философии стоиков и *Sinn* в семантической теории Г. Фреге: Вопрос об их онтологическом статусе // *ΣΧΟΛΗ (Scholē)*. 2016. № 10.2. С. 422–440.
6. Суровцев В.А. О соотношении категорий *to lekton* в философии стоиков и *Sinn* в семантической теории Г. Фреге: Вопрос об их эпистемологическом статусе // *ΣΧΟΛΗ (Scholē)*. 2018. № 12.2. С. 499–522.
7. Суровцев В.А. О соотношении категорий *to lekton* в философии стоиков и *Sinn* в семантической теории Г. Фреге: Логико-грамматический аспект // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 52. С. 113–125.
8. Frede M. *Principles of Stoic Grammar // Essays in Ancient Philosophy*. University of Minnesota. 1987. С. 301–337.
9. Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить. М.: Наука, 1991.
10. Котарбинский Т. Лекции по истории логики. Биробиджан, 2000.
11. Kneale W., Kneale M. *Development of Logic*. Clarendon Press. Oxford, 1978.
12. Фреге Г. Мысль: логическое исследование // Логико-философские труды. Новосибирск: Сиб. ун-е изд-во, 2008. С. 28–54.
13. Фреге Г. Логические исследования. Часть третья: Сложная мысль // Логико-философские труды. Новосибирск: Сиб. ун-е изд-во, 2008. С. 74–95.
14. Фреге Г. Отрицание: логическое исследование // Логико-философские труды. Новосибирск: Сиб. ун-е изд-во, 2008. С. 54–75.
15. Frege G. *Grundgesetze der Arithmetik, begriffsschriftlich abgeleitet*. Jena, 1893. Bd. 1.
16. Столяров А.А. Стоя и стоицизм. М.: АО КАМИ ГРУП, 1995.
17. Фрагменты ранних стоиков. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 1999. Т. II, ч. 1.
18. O'Toole R.R., Jennings R.E. *The Megarians and the Stoics // Handbook of the History of Logic* / ed. D.M. Gabbay and J. Woods. Elsevier, 2004. Vol. 1. P. 397–522.
19. Фреге Г. Логика и логическая семантика. М.: Аспект Пресс, 2000.

Valeriy A. Surovtsev, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk Russian Federation).
E-mail: surovtssev1964@mail.ru

Kirill A. Gabrusenko, Tomsk State University (Tomsk Russian Federation).
E-mail: koder@mail.tsu.ru
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 105–120.
DOI: 10.17223/1998863X/58/11

TO LEKTON IN STOIC PHILOSOPHY AND SINN IN GOTTLÖB FREGE'S SEMANTIC THEORY: THE LOGICAL ASPECT

Keywords: stoic logic; *to lekton*; Gottlob Frege; *Sinn*, semantic theory; *axiōma*; *Gedanke*; comparative studies; ancient and contemporary logic.

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 18-18-00057.

The article compares the Stoic category '*to lekton*' and Gottlob Frege's category '*Sinn*'. It explicates some of these categories' formal features, which demonstrate the similarity between the Stoic and Frege's logical and semantic theories. The article shows that some semantic features of functioning of the Stoic '*to lekton*' and Frege's '*Sinn*' allow revealing the role they play in establishing the logical interconnections of knowledge and inference making.

References

1. Mates, B. (1961) *Stoic Logic*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
2. Graeser, A. (1978) The Stoic theory of meanings. In: Rist, J.M. (ed.) *The Stoics*. Berkeley: University of California Press. pp. 77–100.
3. Surovtsev, V.A. (2015) *To Lekton in Stoic philosophy and Sinn in G.Frege's semantic theory: The question of their relationship*. *ΣΧΟΛΗ (Scholē)*. 9(2). pp. 241–252. (In Russian).
4. Nekhaev, A.V. (2011) *Logiko-semioticheskie aspekty ucheniya stoikov* [Logical-semiotic aspects of the Stoic doctrine]. *Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo*. 14(109). Vyp.17. pp. 180–187.

5. Surovtsev, V.A. (2016) To lektonin Stoic Philosophy and Sinnin G. Frege's Semantic Theory: the question of their relationship: the question of their ontological status. *ΣΧΟΛΗ (Schole)*. 10(2). pp. 422–440. (In Russian). DOI: 10.21267/AQUILO.2016.10.2952
6. Surovtsev, V.A. (2018) To lekton in Stoic philosophy and Sinn in G. Frege's semantic theory: the question of their epistemological status. *ΣΧΟΛΗ (Schole)*. 12(2). pp. 499–522. (In Russian).
7. Surovtsev, V.A. (2019) To Lekton in Stoic Philosophy and Sinn in Gottlob Frege's Semantic Theory: A Logical and Grammatical Aspect. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 52. pp. 113–125. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/52/12
8. Frede, M. (1987) *Essays in Ancient Philosophy*. University of Minesota. pp. 301–337.
9. Arnauld, A. & Nicole, P. (1991) *Logika, ili Iskusstvo myslit'* [Logic, or the Art of Thinking]. Translated from French. Moscow: Nauka.
10. Kotarbiński, T. (2000) *Lektsii po istorii logiki* [Lectures on the history of logic]. Translated from Polish by M.M. Gurenko. Birobidzhan: [s.n.].
11. Kneale, W. & Kneale, M. (1978) *Development of Logic*. Oxford: Clarendon Press.
12. Frege, G. (2008a) *Logiko-filosofskie trudy* [Logical and Philosophical Works]. Translated from German. Novosibirsk: Sib. univ. izd-vo. pp. 28–54.
13. Frege, G. (2008b) *Logiko-filosofskie trudy* [Logical and Philosophical Works]. Translated from German. Novosibirsk: Sib. univ. izd-vo. pp. 74–95.
14. Frege, G. (2008c) *Logiko-filosofskie trudy* [Logical and Philosophical Works]. Translated from German. Novosibirsk: Sib. univ. izd-vo. pp. 54–75.
15. Frege, G. (1893) *Grundgesetze der Arithmetik, begriffsschriftlich abgeleitet*. Vol. 1. Jena: [s.n.].
16. Stolyarov, A.A. (1995) *Stoya i stoitsizm* [Stoa and Stoicism]. Moscow: AO KAMI GRUP.
17. Stolyarov, A.A. (ed.) (1999) *Fragmenty rannikh stoikov* [Fragments of the Early Stoics]. Vol. 2(1). Moscow: Yu.A. Shichalin's Greco-Latin Cabinet.
18. O'Toole, R.R. & Jennings, R.E. (2004) The Megarians and the Stoics. In: Gabbay, D.M. & Woods, J. (eds) *Handbook of the History of Logic*. Vol. 1. Elsevier. pp. 397–522.
19. Frege, G. (2000) *Logika i logicheskaya semantika* [Logic and Logical Semantics]. Translated from German. Moscow: Aspekt Press.

УДК 1(410)(091)
DOI: 10.17223/1998863X/58/12

В.В. Яковлев

ОСМЫСЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ ЮМА: ПРАКТИКИ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Проведен обзор некоторых базовых положений советской историографии религиозно-философских идей Юма. Предметом рассмотрения стала историко-философская рефлексия известных отечественных специалистов и исследователей – С.Ф. Васильева, А.Ф. Грязнова, Б.В. Мееровского, Ю.П. Михаленко, И.С. Нарского, Н.Э. Овандера. Выявлены встречающиеся в их работах основные характеристики религиозно-философских идей Юма.

Ключевые слова: Дэвид Юм, религиозно-философские идеи, советская историография.

Введение

В центре внимания в данной статье находится советская историография религиозно-философских идей Юма. Следует отметить, что, в общем, в советской – формационно-эволюционистской по определению историографии религиозно-философских идей Юма – весьма часто эти идеи рассматривались в контексте его скептических и общеполитических воззрений. Цель статьи – выявить встречающиеся в советской формационно-эволюционистской специализированной историографии основные характеристики религиозно-философских идей Юма. Достичь этой цели планируется посредством проведения обзора некоторых базовых положений обозначенной историографии, представленных в ряде монографий, учебном пособии, ряде статейных и эссеистских исследований.

Монографии

Ю.П. Михаленко¹ рассматривал компоненты религиозно-философских идей Юма в монографии «Философия Д. Юма – теоретическая основа английского позитивизма XX века» [1]. На страницах данной монографии Михаленко неоднократно обращался к осмыслению различных религиозно-философских идей Юма и различных аспектов этих идей. Весьма показательны общие характеристики религиозно-философских идей Юма, данные Михаленко, например, во введении [1. С. 3–17]. Так, констатируя, что французские материалисты «вслед за английским материалистом и атеистом Гоббсом (1588–1679) вели беспощадную борьбу против религии и [Ц]еркви²», Михаленко отметил, что «[р]елигиозный скептицизм Юма казал-

¹ Михаленко Юрий Петрович (род. в 1929 г.) – доктор философских наук; советский и российский историк философии и философ-антрополог. Работал в Институте философии РАН.

² При печатании религиозных понятий и слов с вероисповедным значением в настоящей статье автор стремился учитывать нормы церковной лексики [2], т.е. начинать эти понятия и слова с начальной прописной буквы. Увы, данное правило вольно соблюдается в источниковедческих публикациях и исследовательской литературе, с чем связаны многочисленные квадратные скобки при печатании указанных понятий и слов в тексте статьи. Кроме того, нужно учитывать, что в оригинальных изданиях упоминаемых в статье источников понятия и слова с вероисповедным значением также напечатаны с начальной прописной буквы.

ся передовым мыслителям Франции слишком умеренным». Юму, по их мнению (в трактовке Михаленко), не удалось полностью освободиться «от оков религии» [1. С. 8]. Позицию Юма в вопросах религии Михаленко считал отражением двойственности «классового положения английской буржуазии» [1. С. 9].

В понимании Михаленко, эту захватившую власть буржуазию отличало наличие у нее противоречивой потребности использовать и религию «для духовного подавления народа», и науку «для развития капиталистического производства». По мнению исследователя, «[ю]мизм удовлетворяет этой потребности буржуазии». Так, Юм произвел скептическую критику религии в «Диалогах о естественной религии» и в «Естественной истории религии»¹. Однако буржуазии было не выгодно довести борьбу «науки против религии» до решительного конца. Буржуазия, по мысли Михаленко, не заинтересована в развитии «подлинной науки», так как на основе этой науки формируется критическая оценка «существующих буржуазных порядков». Следовательно, у буржуазии возникало стремление ограничить науку «в пользу религии». Как полагал ученый, «[ю]мизм удовлетворяет и этой потребности буржуазии, так как он объявляет основные вопросы мировоззрения недоступными разрешению силами человеческого разума». Следовательно, «[ф]илософия юмизма выражает религиозное ханжество и лицемерие буржуазии: наука и свободомыслие – для имущих и „образованных“, религии – для одурманивания народных масс» [1. С. 10].

Свои соображения о своеобразии религиозно-философских идей Юма Михаленко высказал в пункте 2 главы первой «Юмизм и основной вопрос философии». Пункт называется «Критика Юмом понятия духовной субстанции как форма защиты „средней“ линии в философии» [1. С. 31–42]. Например, по мнению автора, несмотря на то, что Юм выступал «против Беркли»² с критикой понятия духовной субстанции, он чуждался материалистических соображений, ибо им не была отвергнута субъективно-идеалистическая аргументация Беркли. Критикуя представления о «духовной субстанции», Юм занял позицию «последовательного субъективизма» [1. С. 37–38]. Тем не менее, по убеждению Михаленко, произведенную Юмом критику «понятия духовной субстанции», нашего «я» можно использовать для критики богословия, нацеленного на «рациональное „доказательство“ бытия [Б]ожия». По мысли исследователя, осуществленная Юмом «скептическая критика религии» имела на определенном историческом этапе положительный эффект. К примеру, свойственное Юму представление о нашем «я» как о пучке «перцепций», согласно Михаленко, «ставило под сомнение сказки теологов о «загробной жизни», «спасении души» и т.п.».

Впрочем, Ю.П. Михаленко настоятельно подчеркнул, что «[к]ритика религии Юмом носила весьма ограниченный характер». Ведь агностические убеждения не позволяют, в конечном итоге, и отрицать существование Бога, потому что «вопрос о существовании Бога» заставляет выходить «за пределы

¹ Сочинения Юма «Dialogues Concerning Natural Religion» («Диалоги о естественной религии»), 1779 г. (посмертное издание); «The Natural History of Religion» («Естественная история религии»), 1757 г. Известно, что «Диалоги о естественной религии» написаны Юмом раньше «Естественной истории религии».

² Беркли Джордж – англо-ирландский философ, ученый, англиканский епископ (George Berkeley; 1685–1753).

непосредственно данных ощущений» и, следовательно, по мысли Юма, он «превышает возможности человеческого разума». То есть, заключает Михаленко, в своих скептических рассуждениях Юм не подошел к атеизму. В целом «в религиозных вопросах для юмизма характерна антиматериалистическая направленность, глубокая, но маскируемая антиатеологической и иррелигиозной фразой враждебность материализму и атеизму» [1. С. 38]. В конечном итоге, «[с]кептицизм Юма оказывается бессильным против религии», вследствие того что религия базируется на иррациональных основаниях, а также вследствие того что в религии на первый план выдвигается вера, а не разум. В этом смысле «[ю]мизм расчищает место иррациональной вере» [1. С. 39].

И.С. Нарский¹ обсуждал компоненты религиозно-философских идей Юма в монографии «Философия Давида Юма» [3]. Размышления Нарского об этих идеях встречаются в разных главах монографии, кроме того, обсуждению указанных идей Юма посвящена вся глава VI «Между религиозными догматами и безверием» [3. С. 235–276]. В центре внимания Нарского в этой главе находились религиозно-философские идеи Юма, высказанные им в сочинениях «Естественная история религии» и «Диалоги о естественной религии». Показательны общие характеристики религиозно-философских идей Юма, данные Нарским в обозначенной главе.

Так, по его мнению, «[п]роблема истинности веры в [Б]ога была для Юма столь же значительна, как и проблема причинности (см. у Нарского ссылку в сноске 1. – В.Я.). Это была вторая область приложения его скептицизма, до некоторой степени прогрессивного по своим последствиям именно в этой области». Понимание Юмом религии ярко свидетельствует о двойственности «позиции шотландского философа, занятой им в антитезе религии и безверия». Из-за этой двойственности, по мнению Нарского, Юму приходилось выступать в роли по большей части невольного союзника представителей французского Просвещения, а иногда и представителей и французского материализма «в борьбе их против христианства». С другой стороны, используя эту двойственность, Юм отмежевался «от атеизма, дабы не оказаться отщепенцем в „респектабельном“ обществе на своей родине». Наконец, вследствие этой же двойственности Юм не смог прийти к последовательным заключениям по результатам своих исследований «причин возникновения религии». Двойственность также вызывала недовольство «добропорядочной Англии», не одобрявшей, в частности, враждебность Юма «к всякому духовенству» [3. С. 235].

На основании кратких источниковедческих и историографических экскурсов Нарский отметил, что «отношение Юма к религии не отличается ясностью и простотой» [3. С. 238]. Он предложил правильную, по его мнению, трактовку сущности взглядов Юма на религию, в той или иной форме изложенных им в «Трактате о человеческой природе»² и в «Диалогах о естествен-

¹ Нарский Игорь Сергеевич (1920–1993) – доктор философских наук, профессор; советский и российский историк философии. Работал на кафедре истории зарубежной философии философского факультета МГУ, а также в Институте философии АН СССР.

² Сочинение Юма «A Treatise of Human Nature, being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects» («Трактат о человеческой природе, или Попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам»), 1739–1740 гг.

ной религии». Так, нельзя говорить о несовместимости этих взглядов с религией в целом, но можно говорить о несовместимости этих взглядов только «с определенными ее формами и прежде всего – с христианством» [3. С. 238–239].

Изучая историю Великобритании и конкретно Шотландии¹, Юм, по замечанию Нарского, убедился в том, «что религиозные распри различных враждующих групп служат политическим целям, а догматические различия между верующими всего-навсего просто хлам, который, если не приносит вреда, то бесполезен» (см. у Нарского ссылку в сноске 4. – В.Я.) [3. С. 239]. Нарский также указал на то, что «[н]е только католикам, „секту“ которых, как выражался Юм, он в особенности презирал, но и представителям всех прочих христианских вероучений немало досталось от него». Напомнил он и о том, что Юм «считал христианскую религию скоплением „суеверий“, „заблуждений“ и „фантазий“, „сновидениями больного человека“, „игривыми причудами обезьян в облике человеческого“ и т.д.» (см. у Нарского ссылку в сноске 1. – В.Я.). Ссылаясь на источники, Нарский упомянул так же о высмеивании Юмом религиозного культа и обрядности, о выведении Юмом из числа грехов самоубийства, об отрицании Юмом бессмертия души, и т.п. [3. С. 240].

Однако, по мнению И.С. Нарского, «может быть, наибольший гнев клерикалов вызывала знаменитая критика Юмом учения [Ц]еркви о чудесах». Нарский констатировал, что «[в] эссе „О чудесах“ (которое было опубликовано также как глава X «Исследования о человеческом познании»². – В.Я.) Юм квалифицировал всякое предполагаемое чудо как „нарушение законов природы“, верить в которое людям „приятно“». Здесь Юм «противопоставляет рассказам о „[Б]ожественном вмешательстве“ в течение событий „твердый и неизменный опыт (a firm and unalterable experience)“, который утвердил эти законы» (см. у Нарского ссылку в сноске 2. – В.Я.). Как считал Нарский, «[в] этом противопоставлении терпит крах христианство в целом: сплошным „чудом“ является уже то, что люди принимают это противоестественное и нелепое учение и верят в него» [3. С. 242].

Идеи Юма о чудесах Нарский (как он сам напомнил [3. С. 242]) обсуждал также в главе IV «Подлинная структура причинности. Причинность и социальные явления» [3. С. 169–205]. Краткий анализ рассматриваемых идей он произвел в контексте обсуждения противоречивости различных религиозно-философских идей Юма. Как полагал Нарский, ведя полемику «против клерикалов и официальных религий, Юм стремится опереться на им же расшатываемый принцип причинности в событиях природы, в особенности когда нападает на учение о чудесах, составляющее, по его мнению, стержень религиозной веры» (здесь для иллюстрации вышесказанного И. Нарский сослался на интересные, по его мнению, комментарии, сделанные Юмом в «Истории Англии» при обсуждении им судебного разбирательства против Жан-

¹ Сочинение Юма «The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688» («История Англии от вторжения Юлия Цезаря до революции в 1688 г.»), в 6 т., 1754–1778 гг.

² Сочинение Юма «An Enquiry Concerning Human Understanding» («Исследование о человеческом познании»), 1748 г.; при первой публикации сочинение называлось «Philosophical Essays Concerning Human Understanding. By the Author of the Essays Moral and Political».

ны д'Арк¹). Обратившись далее к соображениям Юма из посвященной чудесам главы X «Исследования», Нарский отметил: «Юм ссылается на то, что твердый и неизменный опыт „прочно“ установил законы природы, и заявляет: „А так как единообразный опыт равняется доказательству, то против существования какого бы то ни было чуда у нас есть *прямое и полное доказательство*...“» (курсив мой; см. у Нарского ссылку в сноске 2. – В.Я.). В общем, сущность высказанных Юмом в указанной главе идей о чудесах историк сводил к следующему: «Начиная с соображений о маловероятности чудес, Юм заканчивает твердым отрицанием того, что чудеса когда-либо и где-либо были или могли бы быть».

А вот на страницах «Трактата о человеческой природе» Юм отметил «доводы религии в пользу признания свободы воли человека». Нарский подчеркнул, что «[в]озникает явное несоответствие» [3. С. 201]. В этой связи противоречивые и не антирелигиозные размышления Юма о судьбе, о причинности [3. С. 201–202] показывают, что «[д]ороги Юма и французских материалистов разошлись; он не развил того успеха в сражении с религией, который выпал на его долю в полемике о чудесах». В понимании Нарского, в целом «проблема чудес была для клерикалов одним из самых уязвимых пунктов, и здесь им пришлось отступать шаг за шагом» [3. С. 202].

И.С. Нарский анализировал компоненты религиозно-философских идей Юма в монографии «Давид Юм» [4]. Эти идеи он рассматривал в главе IV «Человек и религия» [4. С. 83–100], которая состоит из вводного фрагмента [4. С. 83–87] и двух пунктов: «Происхождение религии» [4. С. 88–94] и «Вопрос об истинности религиозной веры» [4. С. 94–100]. Как и следовало ожидать, в этой книге Нарский повторял либо углублял и расширял свои мысли о религиозно-философских идеях Юма, высказанные им в своей же монографии о Юме [3], некоторые положения которой были уже рассмотрены выше. Круг рассматриваемых Нарским источников при освещении религиозно-философских идей Юма в монографии 1973 г. по сравнению с монографией 1967 г. не изменился [4. С. 88]. Кроме того, и в монографии 1973 г. размышления ученого о религиозно-философских идеях Юма и его идеях о чудесах встречаются не только в специализированной главе (глава IV здесь). Например, в главе III «Проблема причинности» в пункте 3 «Юм „спасает“ причинность. Оценка его учения о каузальных связях» [4. С. 69–82]. Нарский отметил, что в своих работах «по критике религии» Юм «рассуждает о психологических детерминациях религиозных иллюзий вполне в духе материализма XVIII в. Так, решительно отрицая возможность чудес, он ссылается на строгое единообразие причинно-следственных отношений в природе» [4. С. 72].

Особое внимание исследователь уделял критике Юмом религии. В начале пункта 1 главы IV рассматриваемой монографии Нарский заявил, что «[к]ритика Юмом религии составляет самую прогрессивную часть его учения» [4. С. 88]. Продолжая развивать тему, И. Нарский указал, что в несколь-

¹ Жанна д'Арк / Орлеанская Дева – легендарная предводительница французских войск в Столетней войне (1337–1453 гг.) между Францией и Англией (Jeanne d'Arc / La Pucelle d'Orléans; ок. 1412–1431 гг.).

ких своих сочинениях Юм «иронически едко пишет о вере в [Б]ожественные чудеса», уподобляет любые культы вздору и нелепице. Юм говорил не только о бесполезности, но и о вреде религии для человека. Например, в «Истории Англии» «Юм показывает, как различные христианские [Ц]еркви в корыстных политических целях стравливали друг с другом людей, разжигали их взаимную ненависть и подстрекали к массовой резне» [4. С. 91].

Также, по мнению Нарского, духом «воинствующего антиклерикализма» пронизаны сентенции Юма из второй части предисловия ко второму тому «Истории Англии» (опубликованной в составе «Диалогов о естественной религии»). Судя по этим сентенциям, Юм считал религию величайшим злом: «[и]змыслив ее (религию. – В.Я.), люди вместо полезной для них веры (belief) в естественные причинные связи обрели вредную веру (faith) в чудесную, сверхъестественную беспричинность» [4. С. 92].

Весьма показательны характеристики Нарского особенностей агностицизма Юма в религиозных вопросах. Например, обсуждая в пункте 2 главы IV соображения Юма из «Диалогов о естественной религии» в отношении доказательств бытия Бога (и подводя читателя к мысли о все той же противоречивости религиозно-философских идей Юма), Нарский, помимо всего прочего, дал такую трактовку: «Оснований верить в существование [Б]ога-личности нет, но есть, по его мнению, основания оправдать веру в некую верховную „Причину вообще“» (см. у Нарского далее цитату и ссылку. – В.Я.). По мысли исследователя, выходит, «что вера (belief) в объективную причинность, одобряемая Юмом в „Трактате о человеческой природе“ как правильная житейская позиция, используется им теперь как основание для допущения веры (faith) в [Б]ожественную причинность» [4. С. 95]. Следовательно, даже приверженность агностицизму не помогла Юму развить в теоретической сфере положения атеизма, «и он остановился „на полпути“ к нему, и даже на распутье между атеизмом и деизмом» [4. С. 95–96].

Учебное пособие

А.Ф. Грязнов¹ истолковывал религиозно-философские идеи Юма в главе 7 «Юм» [части] III «Идеалистические и агностические учения» раздела I «Английская философия XVIII века» учебного пособия «Западноевропейская философия XVIII века», авторами которого являлись также В.Н. Кузнецов и Б.В. Мееровский² [5]. Кроме того, в данной главе осмыслению этих идей посвящен специальный пункт – «Юм о религии и [Ц]еркви» [5. С. 131–134]. В целом по смыслу общие и частные оценки религиозно-философских идей Юма, даваемые Грязновым, совпадают с рассмотренными выше оценками этих идей, встречающимися на страницах советских монографий. В центре

¹ Грязнов Александр Феодосиевич (1948–2001) – доктор философских наук, профессор; советский и российский философ, историк философии. Работал на кафедре истории зарубежной философии философского факультета МГУ.

² Кузнецов Виталий Николаевич (1932–2011) – доктор философских наук, профессор, заслуженный профессор МГУ; советский и российский философ, историк философии. Работал на кафедре истории зарубежной философии философского факультета МГУ. Мееровский Борис Владимирович (1922–1996) – доктор философских наук, профессор; советский и российский историк философии. Работал на кафедре философии Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова – Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.

внимания ученого в указанной главе находились религиозно-философские идеи Юма из «Трактата о человеческой природе», «Исследования о человеческом познании», «Естественной истории религии», «Диалогов о естественной религии».

По мысли Грязнова, «[н]есмотря на то что шотландский философ не примыкал к атеизму, его позиция объективно была прогрессивным шагом в критике религии». Несомненно, заслуживает внимания представленный исследователем далее небольшой комментарий к идеям Юма о чудесах из главы «Исследования». Так, Юм показал, «что описания всевозможных чудес, содержащиеся в различных религиях, противоречат свидетельствам чувств и здравому смыслу. Человеческие слабости – склонность ко всему необычному и способность лгать – подлинные источники тех загадочных событий, о которых сообщают древние авторы и священные книги. Чудеса обладают наименьшей степенью вероятности». Следом Грязнов процитировал известный «аргумент» Юма из «Исследования» (см. у Грязнова ссылку в тексте). Завершая комментарий, он отметил, что «[н]а многие вопросы, касающиеся религии и [Ц]еркви, Юм смотрел даже более реалистически, чем французские просветители», и (по Грязнову) это обеспечило весомость религиозно-философских идей Юма впоследствии.

Как полагал ученый, «[з]начительно более сложен вопрос об определении позитивной концепции Юма в отношении религии». Для решения этого вопроса он обратился к рассмотрению ряда идей Юма из «Диалогов о естественной религии» [5. С. 132]. Позицию Юма в «Диалогах», по его мнению, отражает точка зрения «скептика Филона».

Подводя итоги освещению религиозно-философских идей Юма, А.Ф. Грязнов отметил, что богословам и религиозно настроенным философам – современникам Юма – он казался вольнодумцем и антиклерикалом, подрывающим основы религии. Тем не менее «компромиссный характер всего мировоззрения Юма не позволил ему занять атеистическую позицию». И хотя Юм по многим вопросам оппонировал английским деистам, «его собственная позиция близка деизму, правда, скептицизм и агностицизм не позволяют ему сформулировать твердую и определенную точку зрения». Впрочем, Грязнов не сомневался в неприятии «Юмом понятия [Б]ога как личности, обязательного для христианской ортодоксии» [5. С. 133]. С другой стороны, «[н]аличие [Б]ожества, сущность которого непознаваема, для него (Юма. – В.Я.) „доказывается“ существующей-де в мире целесообразностью» (см. у Грязнова ссылку в тексте. – В.Я.) [5. С. 133–134].

Таким образом, «[с]вою позицию Юм, как и деисты, называл „естественной религией“¹, в основе которой лежит допущение непознаваемой „высшей причины“». Так происходила практическая реализация «понятия о причине», разработанного Юмом. Оно и позволяло ему «остановиться на позиции абстрактной религиозной веры, противостоящей религиозному обскурантизму и фанатизму» [5. С. 134].

¹ Естественная религия (лат. «religio naturalis», фр. «religion naturelle» [ʁəliʒjɔ̃ natyʁɛl], англ. «natural religion») – религия здравого смысла, т.е. религия, корнящаяся в разуме, в человеческой природе и, соответственно, упраздняющая значение откровения, религиозных авторитетов, догм, и т.п.

Статейные и эссеистские исследования

С.Ф. Васильев¹ объяснял компоненты теоретико-философских и общеполитических идей Юма в эссе «Теоретическая философия Давида Юма», опубликованном в «Историко-философском сборнике» [6]. Эссе Васильева состоит из двух пунктов (I–II) без специальных подзаголовков [6. С. 104–128; 128–151]; пункты разбиты на обозначенные звездочками (***) подпункты без специальных подзаголовков. В центре внимания историка – соответствующие идеи Юма из «Трактата о человеческой природе» и «Исследования о человеческом познании». В эссе религиозно-философские идеи Юма не рассматриваются. Тем не менее полезно изложить представленные Васильевым в заключительном подпункте пункта II эссе общие характеристики теоретической философии Юма. Так, по его мнению, «[а]налитический характер юмовского мышления обусловил антидиалектический подход его к проблеме познания, что в итоге и привело его к феноменализму, а затем – скептицизму».

Васильев констатировал также, что, испытывая влияние со стороны рационализма, Юм причислил математику к априорным наукам, находя ее «состоящей из аналитических суждений». Вообще, отличаясь созерцательным отношением к окружающей действительности и одновременно используя аналитическую методологию, Юм мог бы превратиться в выразителя идей солипсизма; однако «апелляция к „здоровому смыслу“ и практике дала ему возможность остановиться на агностицизме».

Согласно Васильеву, произведенная Юмом «критика причинности», с логической необходимостью вытекающая из «общих положений его системы, является крайней антитезой онтологически-метафизического понимания причинности, которое было разработано рационалистами». Вместе с тем блестящая критика «априоризма в понимании причинности» не помогла Юму вследствие его феноменализма «удовлетворительно справиться с положительным решением проблемы». Подводя финальный итог эссе, Васильев заявил, что «[о]бщая роль юмовской теоретической философии, – если ее не вырывать из той объективной среды, в которой она выросла, и если сопоставить ее с теми историческими противниками, с которыми она боролась, – может быть с исторической точки зрения оценена как прогрессивная» [6. С. 151].

Н.Э. Овандер² рассуждал о компонентах теоретико-философских, общеполитических и религиозно-философских идей Юма в статье «Учение Юма о причинности и марксистская критика этого учения», опубликованной в журнале «Под знаменем марксизма» [7]. Статья Овандера состоит из введения и пяти пунктов без нумерации и специальных подзаголовков; пункты обозначены звездочками (***) [7. С. 90; 90–93; 93–101; 101–105; 105–107; 107–114].

Компоненты религиозно-философских идей Юма освещаются вскользь в первом пункте статьи – на фоне производимых общих характеристик идей о

¹ Васильев Сергей Фёдорович (1898–1937) – советский философ и историк науки. Работал в Ленинградском отделении Института философии АН СССР.

² Овандер Николай Эдуардович (? – 1963) – кандидат философских наук, доцент; советский историк философии. Работал в Институте философии АН УССР, в Киевском государственном университете, в Одесском государственном университете.

причинности и оценок общефилософских воззрений Юма. Так, «[и]сходным пунктом философии Юма является скептицизм или агностицизм» (разрядка моя. – В.Я.) [7. С. 90]. Овандер высказал также свои соображения о классовом источнике, фундировавшем скептицизм, феноменализм и идеализм Юма. Этим источником «был поворот наиболее влиятельных, верхушечных элементов английской буржуазии после победы революции 1689 г.¹ к реакции, как политической, так и идейной, теоретической». Конкретно в скептицизме Юма и в субъективном идеализме предшествовавшего ему Беркли историк усмотрел реакцию «на материалистическую философию, широко распространившуюся в Англии среди радикально-демократических интеллигентских кругов (Толанд, Мандевиль, Додуэл, Гартли, Коллинз² и др.)».

В сомнении Юма Овандер видел также своеобразное философское обобщение «эмпирической ограниченности естествоиспытателей XVIII века» [7. С. 91]. То есть в физике теоретические выкладки Ньютона³ являлись в условиях его эпохи «передовыми», тогда как философское учение Юма и применительно к условиям XVIII в. было отсталым и реакционным; однако своеобразие философии Юма и воплощалось «в том, что она в себе концентрировала то отсталое, что было свойственно тогдашнему метафизическому, ограниченно-эмпирическому естествознанию».

Как полагал Овандер, «[п]резрение к разуму и недоверие к науке толкали Юма в объятия идеализма и определили характернейшие черты его философской концепции». Кроме того, «[б]орьба Юма с материализмом и тупоумная претензия „подняться выше“ материализма и идеализма толкали его в объятия субъективного идеализма Беркли». Впрочем, ошибочно полностью отождествлять философское учение Юма и идеализм Беркли. В отличие от Беркли Юм «старался занять особую позицию, позицию колебаний между материализмом и идеализмом». Юм же представлял агностицизм, и «[е]го колеблющаяся позиция отчетливо выступает во всех его работах».

Для иллюстрации этого Овандер обратился к краткому обсуждению ряда основополагающих идей Юма из сочинений «Трактат о человеческой природе», «Исследование о человеческом познании», «Диалоги о естественной религии». Так, Юм говорил об отсутствии оснований для неопровержимых доказательств или отрицания бытия Бога, о непонятности как материализма, так и идеализма (см. у Овандера ссылки в сносках 2–5. – В.Я.) [7. С. 92]. Резюмируя свои рассуждения в первом пункте статьи, историк указал на пессимистичность общего вывода Юма. Вывод этот отражен в суждениях Юма из «Трактата о человеческой природе» о более чем скромных познавательных способностях человека (см. у Овандера ссылку в сноске 1 на С. 93.) [7. С. 92–

¹ «Славная революция» (“Glorious revolution” / “Revolution of 1688” / “Bloodless Revolution”) – процесс установления парламентской монархии в Англии в 1688–1689 гг.

² Толанд Джон – ирландский философ, самобытный интеллект, исследователь и историк христианства (John Toland; 1670–1722). Мандевиль Бернард де – английский философ французского происхождения, врач, психолог, писатель-моралист (англ. Bernard Mandeville, фр. Bernard de Mandeville; 1670–1733). Додуэлл / Додвелл Генри – англо-ирландский церковный писатель, англиканский теолог (Henry Dodwell; 1641–1711). Гартли Дэвид / Давид – английский врач, философ и психолог (David Hartley; 1705–1757). Коллинз Энтони / Джон-Энтони (Антони) – английский философ, теолог (Anthony / John-Anthony Collins; 1676–1729).

³ Ньютон Исаак – английский физик, математик, астроном (Sir Isaac Newton; 1642–1727).

93]. Как подытожил Овандер, «[т]ак подходит Юм к решению основного вопроса философии, игнорируя те выводы передовой философии и науки, которые были сделаны в его время» [7. С. 93].

Ю.П. Михаленко разбирал компоненты теоретико-философских и общеполитических идей Юма в статье «Об оценке действительного исторического значения теории причинности Юма», опубликованной в журнале «Научные доклады высшей школы. Философские науки» [8]. Данная статья не разделена на пункты. В центре внимания Михаленко находились соответствующие идеи Юма из «Трактата о человеческой природе» и «Исследования о человеческом познании». В статье нет анализа или описания религиозно-философских идей Юма. Несмотря на это, целесообразно коротко рассмотреть элементы примененного в ней марксистско-ленинского дискурса осмысления «действительного исторического значения теории причинности Юма». Как отметил исследователь, «[с]овременный позитивизм, утверждающий, что он покончил с традиционной „метафизикой“ и выдающий себя за „философию науки“, опирается на Юма, считая его „основателем ортодоксального научного метода“» (см. у Михаленко ссылку в сноске 2. – В.Я.). Кроме того, осуществленная Юмом «критика причинности» понимается современными позитивистами как необходимая предпосылка «научного метода», тогда как его теоретические соображения о причинности воспринимаются ими как один «из основных элементов этого метода». Проблемы причинности современные позитивисты, в целом, осмысливают в границах толкования причинности Юмом.

Выведенную (причем уже в начале статьи) Михаленко оценку «действительного исторического значения теории причинности Юма» в целях сохранения колорита соответствующего марксистско-ленинского дискурса уместно полностью процитировать: «Между тем, критика категории причинности Юмом явилась исторически преходящей, она занимала совершенно определенное место в историческом развитии взглядов по данному вопросу [8. С. 172]. Ее исторически преходящее значение было вполне исчерпано скептической ролью, которую она сыграла в своеобразных условиях развития естествознания и философии в XVIII в., когда уже начинала чувствоваться недостаточность метафизического метода, но еще далеко не созрели условия для выработки диалектического метода познания. Со времени возникновения диалектического метода отошло в прошлое и теоретическое значение критики Юма» (в статье весь процитированный фрагмент напечатан с разрядкой в тексте. – В.Я.) [8. С. 172–173].

При этом, по замечанию Михаленко, анализируя категорию причинности, Юм, так же, как он поступал при анализе любых других проблем, исходил «из решения основного философского вопроса в духе агностицизма и субъективного идеализма» [8. С. 173].

Б.В. Мееровский освещал компоненты религиозно-философских идей Юма в статье «Давид Юм и Шарль де Бросс[:] Из истории западноевропейского атеизма и свободомыслия», опубликованной в журнале «Философские науки (научные доклады высшей школы)» [9]. Статья не разделена на пункты. Мееровский отметил, что «[к]ритика религии занимает значительное место в произведениях Д. Юма». По его мысли, рассмотрение в статье «Естественной истории религии» – как он полагал, самого значительного и яркого

произведения «юмовского свободомыслия» – осуществляется им для осмысления степени воздействия идей данного произведения на идеи, изложенные Шарлем де Броссом¹ в его работе «О культе богов-фетишей», опубликованной в 1760 г. [9. С. 79].

Оставив в стороне сравнительный аспект статьи, следует осветить основные моменты описания исследователем содержательной сути указанного произведения. Так, главными задачами, которые ставил перед собой Юм в этом сочинении, были выяснение происхождения религии и описание того, как развивались религиозные представления. Как считал Мееровский, «[с]вои мысли по этим вопросам Юм противопоставляет взглядам английских деистов XVII–XVIII вв., которые не только подвергли рационалистической критике христианскую и другие исторически сложившиеся религии, но и стремились противопоставить этим религиям основанную на принципах разума „естественную религию“» [9. С. 80]. Эта «естественная религия» объявлялась ими «первоначальной и единственно истинной формой религиозного сознания»; всякую другую религию они считали воплощением «искажений и извращения», производимых, прежде всего, духовенством [9. С. 80–81].

Юм, по замечанию Мееровского, отверг подобную точку зрения. Согласно рассуждениям Юма, «[п]ервоначальной религией человечества был политеизм, или идолопоклонство». Этому обстоятельству можно найти подтверждение в исторических данных, в фактах «из жизни отсталых народов», в свойствах, присущих человеческому сознанию. В поисках причин, из-за которых возникли религиозные представления, Юм подчеркивал, что решающую роль в их формировании играли не человеческие разум и интеллект, а эгоистические побуждения и аффекты, связанные с житейскими заботами, боязнями, страхами, надеждами, и т.д.

Д. Юмом были рассмотрены «различные формы политеизма» на примерах древнегреческой, древнеримской, древневосточных религий. Причину, по которой возникали религиозные верования, Юм находил также в склонности «людей к антропоморфизму, к олицетворению природы», в стремлении «приписать всему окружающему чисто человеческие свойства». Юм полагал, что политеизм сменялся монотеизмом в условиях опять же преобладания эмоций, что религию в изменяющихся условиях подпитывали человеческие невежество, ограниченность, страхи, надежды, а вовсе не размышления «о конечных причинах бытия, первоначале всех вещей и т.п.». Как отметил Мееровский, при сопоставлении монотеизма и политеизма «с точки зрения их влияния на нравственность, отношения к другим религиям и т.д., Д. Юм отдает предпочтение язычеству, отличающемуся, по его мнению, большей веротерпимостью и гуманностью».

Причем, по замечанию Мееровского, «[х]ристианству (главным образом в лице римско-католического вероучения), иудаизму и мусульманству он [Юм. – В.Я.] противопоставляет „принципы истинного теизма“, естественную

¹ Бросс Шарль де – французский историк, этнограф, писатель, энциклопедист (фр. Charles de Brosses; 1709–1777).

религию, которая исходит из существования „невидимой разумной силы“, из признания того, что мир есть произведение какого-то непостижимого высшего начала, но не связывает себя никакими догмами, таинствами и обрядами» [9. С. 81].

Заключение

Таким образом, проведенный обзор позволил достичь цели, а именно выявить следующие встречающиеся в советской формационно-эволюционистской специализированной историографии основные характеристики религиозно-философских идей Юма.

Во-первых, советские специалисты и исследователи делали акцент на осмыслении тех религиозно-философских идей Юма, которые показывали своеобразие его скептицизма, своеобразие его отношения к материализму и деизму. Например, в скептицизме Юма видели реакцию «на материалистическую философию, широко распространившуюся в Англии среди радикально-демократических интеллигентских кругов» [7. С. 91]. Хотя и подчеркивалось, что «[с]кептицизм Юма оказывается бессильным против религии» [1. С. 39]. Говорилось также, что в целом «в религиозных вопросах для юмизма характерна антиматериалистическая направленность, глубокая, но маскируемая антитеологической и иррелигиозной фразой враждебность материализму и атеизму» [1. С. 38]. Отмечалось, что по вопросам происхождения религии, по вопросам развития религиозных представлений Юм полемизировал с английскими деистами XVII–XVIII вв. [9. С. 80]. Вместе с тем объявлялось, что «[с]вою позицию Юм, как и деисты, называл „естественной религией“, в основе которой лежит допущение непознаваемой „высшей причины“» [5. С. 134].

Во-вторых, советские специалисты и исследователи были склонны видеть в Юме философа, критически относящегося к религии. Отмечалось, что произведенную Юмом критику «понятия духовной субстанции, нашего „я“» можно использовать для критики богословия, нацеленного на «рациональное „доказательство“ бытия [Б]ожия». Впрочем «[к]ритика религии Юмом носила весьма ограниченный характер» [1. С. 38]. Указывалось, что взгляды Юма были несовместимы только с христианством, а не с религией, в целом [3. С. 238–239]. Тем не менее, заявлялось также, что «[к]ритика Юмом религии составляет самую прогрессивную часть его учения» [4. С. 88].

В-третьих, советские специалисты и исследователи часто обращали внимание на двойственность и противоречивость религиозно-философских идей Юма. Например, указывалось, что «[р]елигиозный скептицизм Юма казался передовым мыслителям Франции слишком умеренным» [1. С. 8], что «[ф]илософия юмизма выражает религиозное ханжество и лицемерие буржуазии» [1. С. 10]. Подчеркивалось, что понимание Юмом религии ярко свидетельствует о двойственности «позиции шотландского философа, занятой им в антитезе религии и безверия» [3. С. 235], а противоречивые и не антирелигиозные размышления Юма о судьбе, о причинности [3. С. 201–202] показывают, что «[д]ороги Юма и французских материалистов разошлись» [3. С. 202]. Говорилось также о большой сложности вопроса «об определении позитивной концепции Юма в отношении религии» [5. С. 132].

Литература

1. Михаленко Ю.П. Философия Д. Юма – теоретическая основа английского позитивизма XX века. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1962. 151 с.
2. Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий: справочник автора и издателя. М. : Изд-во Моск. Патриархии, 2015. 205 с.
3. Нарский И.С. Философия Давида Юма. М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1967. 357 с.
4. Нарский И.С. Давид Юм. М. : Мысль, 1973. 180 с.
5. Грязнов А.Ф. Юм // Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская философия XVIII века : учеб. пособие. М. : Высш. школа, 1986. Разд. I: Английская философия XVIII века, [ч.] III. Идеалистические и агностические учения, гл. 7. С. 99–135.
6. Васильев С. Теоретическая философия Давида Юма // Историко-философский сборник / под общ. ред. А.М. Деборина. М. : Коммунист. акад., 1925. С. 104–151.
7. Овандер Н. Учение Юма о причинности и марксистская критика этого учения // Под знаменем марксизма. 1941. № 4. С. 90–114.
8. Михаленко Ю.П. Об оценке действительного исторического значения теории причинности Юма // Научные доклады высшей школы. Философские науки. 1958. № 2. С. 172–183.
9. Мееровский Б.В. Давид Юм и Шарль де Бросс : Из истории западноевропейского атеизма и свободомыслия // Философские науки (научные доклады высшей школы). 1965. № 6. С. 79–84.

Valentin V. Yakovlev, University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation).

E-mail: v-yakovlev@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 121–134.

DOI: 10.17223/1998863X/58/12

COMPREHENDING HUME'S RELIGIOUS-PHILOSOPHICAL IDEAS: PRACTICES OF SOVIET HISTORIOGRAPHY

Keywords: David Hume; religious-philosophical ideas; Soviet historiography.

The article overviews some of the basic provisions of the Soviet historiography of Hume's religious-philosophical ideas. The subject of the article is the historical-philosophical reflection of famous national specialists and researchers – S.F. Vasiliev, A.F. Gryaznov, B.V. Meerovsky, Yu.P. Mikhalenko, I.S. Narsky, N.E. Ovander. The aim of the article was to identify the main characteristics of Hume's religious-philosophical ideas found in the Soviet formational-evolutionist specialized historiography. As a result, the following was stated. Firstly, Soviet specialists and researchers focused on comprehending those Hume's religious-philosophical ideas, which showed the originality of his skepticism, the originality of his attitude towards materialism and deism. Secondly, they were inclined to see in Hume a philosopher who was rather critical of religion. Thirdly, they often drew attention to the duality and contradictions of Hume's religious-philosophical ideas. The article is provided with a body of reference in the form of personalities, bibliographic articles, and a dictionary entry.

References

1. Mikhalenko, Yu.P. (1962) *Filosofiya D. Yuma – teoreticheskaya osnova angliyskogo pozitivizma XX veka* [D. Hume's philosophy is the theoretical basis of 20th-century English positivism]. Moscow: USSR AS.
2. Siloviev, V. (ed.) (2015) *Redaktsionno-izdatel'skoe oformlenie tserkovnykh pechatnykh izdaniy: spravochnik avtora i izdatelya* [Editorial and Publishing Design of Church Publications: A Reference Book of the Author and Publisher]. Moscow: Moscow Patriarchate of the Russian Orthodox Church.
3. Narsky, I.S. (1967) *Filosofiya Davida Yuma* [Philosophy of David Hume]. Moscow: Moscow State University.
4. Narsky, I.S. (1973) *David Yum* [Philosophy of David Hume]. Moscow: Mysl'.
5. Gryaznov, A.F. (1986) Yum [Hume]. In: Kuznetsov, V.N., Meerovsky, B.V. & Gryaznov, A.F. *Zapadnoevropeyskaya filosofiya XVIII veka* [West European Philosophy of the 18th Century]. Moscow: Vysshaya shkola. pp. 99–135.

6. Vasiliev, S. (1925) Teoreticheskaya filosofiya Davida Yuma [Theoretical philosophy of David Hume]. In: Deborin, A.M. (ed.) *Istoriko-filosofskiy sbornik* [Historical and Philosophical Collection]. Moscow: Kommunist. akad. pp. 104–151.

7. Ovander, N. (1941) Uchenie Yuma o prichinnosti i marksistskaya kritika etogo ucheniya [Hume's doctrine of causality and Marxist criticism of this doctrine]. *Pod znamenem marksizma*. 4. pp. 90–114.

8. Mikhaleiko, Yu.P. (1958) Ob otsenke deystvitel'nogo istoricheskogo znacheniya teorii prichinnosti Yuma [On the assessment of the actual historical significance of Hume's theory of causality]. *Nauchnye doklady vysshey shkoly. Filosofskie nauki*. 2. pp. 172–183.

9. Meerovsky, B.V. (1965) David Yum i Sharl' de Bross: Iz istorii zapadnoevropeyskogo ateizma i svobodomyслиya [David Hume and Charles de Brosse: From the History of Western European Atheism and Free Thought]. *Filosofskie nauki (nauchnye doklady vysshey shkoly)*. 6. pp. 79–84.

УДК 1(091)

DOI: 10.17223/1998863X/58/13

V. Asakavičiūtė, V. Valatka¹

INTERPRETATIONS OF COMMUNICATION AS DIALOGUE EXISTENCE IN SØREN KIERKEGAARD'S PHILOSOPHY

The article discusses interpretations of communication as dialogue existence in Søren Kierkegaard's philosophy. The beginning of the article is dedicated to the origins and trends of communicative philosophy. The links between communicative and existential philosophies are also presented. The second part of the article focuses on philosophical texts of Kierkegaard. On the basis of three (aesthetic, ethical and religious) phases in the life suggested by this thinker, the aim is set to reveal the peculiarities and prerequisites of dialogue existence and to highlight the necessity of the dialogue with God, its importance to human existence as well as his/her ability to create a love dialogue with the surrounding people.

Keywords: Kierkegaard, existence, philosophy of communication, dialogue existence, God.

Introduction

With the rapid expansion of new means of mass communication in the age of technological progress and globalisation, the term communication has become one of the most popular concepts. Communication is a complex and multidimensional concept with numerous forms and definitions: “even scientists, writers and philosophers use the term in a variety of ways” [1. P. 7]. It can be stated that in the 20th century philosophical research on communication emerged as a reflection, which was targeted at critical consideration of increasingly evolving mass culture, means of mass communication and their influence on human existence and interpersonal relations. Modern technologies have been gradually contributing to enhancement of an interactive dialogue, which encourages alienation and deepens the crisis of human spiritual life. The main focus in philosophy of Martin Heidegger, a well-known German existentialist, was laid on modern technologies. He consistently underlined their negative impact on human existence [2, 3]. In their philosophical texts Karl Jaspers, Martin Buber and Juozas Girnius claimed that an individual is born to establish a direct and live dialogue with another person, which makes up his/her natural need and necessity. It shows that dialogue is fundamental and a most meaningful aspect of human existence. The latter existentialists emphasised the importance of openness, immediacy and love in interpersonal communication.

¹ **Авторы:** Вайда Асакавичюте, Витис Валатка.

Название статьи: Коммуникации как интерпретации диалогического существования в философии Серена Кьеркегора

Аннотация: Рассматривается коммуникация как интерпретация диалогического существования в философии Серена Кьеркегора. В начале дается краткий обзор истоков и направлений философии коммуникации и раскрываются связи между философией коммуникации и экзистенциальной философией. Вторая часть статьи посвящена анализу философских текстов Кьеркегора и на основе учения мыслителя о трех этапах жизни – эстетическом, этическом и религиозном, раскрываются особенности и предпосылки диалогического существования. Далее подчеркивается необходимость и важность диалога с Богом для человеческого существования и его способности создавать диалог любви с близкими.

Ключевые слова: Кьеркегор, философия коммуникации, существование, Бог, диалогическое существование.

Considered to be the father of existentialism, Søren Kierkegaard was one of the first to refer to the dialogue between the human being and God as to the foundation for human existence and all the relations. Hamid Mowlana [4] astutely observes that philosophy and religion open up new horizons in research on communication as “philosophy is the universal discipline capable of reflecting various sides, angles and aspects of diverse phenomena, processes as well as actions” [5. P. 6]

Kierkegaard's religious philosophy deprives the communicative process of logical and theoretical limitations and with the help of faith raises human communication to a higher spiritual-transcendent level. The insights of this Danish thinker gave impetus for forming the theory of existential communication, which sees communication as a feature of human existence. Therefore, this article aims to disclose interpretations of communication as dialogue existence in Kierkegaard's philosophy. The article starts with a brief overview of origins of and trends in the formation of communication philosophy. The second part of the article focuses on Kierkegaard's philosophy: on the basis of three life phases suggested by this thinker, attempts are made to identify peculiarities and prerequisites of dialogue existence, to highlight the necessity of the dialogue with God and its significance to human existence. The question is formulated: what new dimensions of human life and human relations are revealed by the perspective of religious communication as dialogue existence.

Communication and philosophy

Communication and its peculiarities have been extensively investigated from the different perspectives of the humanities, social and technological sciences. In the contexts of aforesaid research various conceptions and trends of communication emerge: social communication, political communication, art communication, medical communication, and many others. It can be claimed that “communication is at the ‘crossroads’ of many disciplines” [6].

In the middle of the 20th century, there forms a trend in the philosophy of communication, the object of which consists of communication and its various forms. The boundaries of communication philosophy are very broad and they can be interpreted differently. This philosophical trend has connections with such spheres of philosophy as ontology, phenomenology, epistemology, hermeneutics, language philosophy, social and political philosophy, and other spheres. In posing the question about the necessity and role of the philosophy of communication in the contemporary world, it can be noted that the “philosophy of communication is a particularly salient area of inquiry today, given the increased understanding of the fundamental role communication plays in almost all aspects of life, and increasingly, of science, and the social changes brought about by an increasingly globalised ‘communication society’ ” [7]

While analysing the sources of the philosophy of communication, the publication *Philosophy of Communication* [8] indicates that philosophy and communication have belonged together since the beginning. Sharing this attitude, Calvin O. Schrag [9. P. 335] points out that the “philosophical inquiry about human communication existed long before ‘philosophy of communication’ became a specialized discipline.” The prevailing attitude is that ties between philosophy and communication go back to ancient Greece, antiquity, and the first philosophers [9–11]. Sources of the philosophy of communication can be ascribed to such prominent

ancient philosophers as Socrates, Plato and his works *Phaedrus*, *Gorgias*, *Seventh Letter*; Aristotle and his famous *Rhetoric*. These books are regarded as the first classical works devoted to the problems of communication [11]. Here, the ancient philosophers pose and analyse problems directly or indirectly related to communication (dialogue, writing, discussion, rhetoric etc.) as well as draw attention to how certain forms of communication develop the person's skills and critical thinking. According to Algis Mickūnas [12. P. 311–325], we are able to argue and have a dialogue with Plato today while reading his texts because linguistic media open up such possibilities of communication for us.

The overview of the historical development of the philosophy of communication and its field of investigations also refers to such thinkers as St Thomas Aquinas, John Locke, Edmund Husserl, John Dewey, Heidegger, Buber, Jaspers, Georg Gadamer, Ludwig Wittgenstein, Merleau-Ponty, Michel Foucault, Jacques Derrida, and many others [9, 13–17]. All this evidences that the scope of studies of communication philosophy is very broad and requires discussion and separate research.

In his research studies Kirtiklis [18, 19] refers to two interrelated conceptions of the philosophy of communication. The first includes the philosophy of communication oriented to the analysis of the fundamentals of specialized theories of communication. The second embraces the philosophy of communication which aims at examining the meaning of communication in human existence. The latter trend in communication philosophy is associated with the phenomenological and hermeneutic philosophical tradition. Moreover, it is closely connected with existential philosophy where communication is regarded as one of the basic phenomena in human existence. Richard Lanigan claims that most existential philosophers perceive communication as a central force. This process of incorporating communication into the basic explanation of existence has taken four main forms: “1) Existence as indirect communication; 2) Existence as direct communication; 3) Existence as authentic or inauthentic communication, and 4) Existence as primordial or genetic communication” [20. P. 35]. These ties between existence and communication were first reflected in the philosophical texts of Kierkegaard and his followers Jaspers, Buber, Heidegger, and other existentialists.

It may be safely assumed that the origins of existential communication lie in Kierkegaard's religious worldview, where an authentic life of a person is understood as a continued dialogue with God. Thus, it can be stated that existential philosophy, which is directed to dialogue communication, seeks to respond to internal spiritual needs, to help a person to establish an immediate dialogue with another individual, to understand and learn the self and own existence.

Communication as an existential dialogue

There is no doubt that Kierkegaard, who is a forerunner of existential philosophy and the author of the concept *existence*, is one of the first thinkers, who disclosed the links between existence and communication. It can be stated that Kierkegaard's existentialism mainly focused on the communicative aspects of human subsistence. Although Kierkegaard did not use the concept of communication directly, specific forms of communicative expression, such as belief, encounter, dialogue, relation and friendship, can be found in his philosophical works. Later these forms of communication were significantly reflected in the philosophical works of Jaspers, Buber, Girnius and other existentialists.

In fact, it should be acknowledged that “to speak about the conception of communication in Kierkegaard’s philosophy is a huge challenge” [21. P. 123]. This is a very broad topic and it can be approached from a number of perspectives. The communicative aspects of Kierkegaard’s philosophy are analysed by a big number of different authors [21–27]. The aforesaid authors disclose the significance of Kierkegaard’s philosophical thoughts and their importance to various theories of communication. Referring to Kierkegaard’s texts, Brian Prosser and Andrew Ward [28] discuss the influence of the internet on interpersonal relations. They argue “that from Kierkegaard’s perspective, technologically mediated communications run a serious risk of attenuating interpersonal connectivity” [28. P. 167]. True communication, according to Kierkegaard, is interpersonal and never impersonal.

The problem of authenticity of human subsistence and personal development is one of the main issues in Kierkegaard’s philosophy. Kierkegaard points out that human subsistence is not something taken for granted but the aim and objective for an individual himself or herself. What does this mean? An individual is called for building up own personality and authentic existence. The importance of faith, which is expressed as a dialogue with God, arises from this. According to Kierkegaard, an individual is not capable of creating and implementing own subsistence – he/she needs a relation with God and only through this Absolute relation implementation of human subsistence and a possibility of establishing a love dialogue with another individual become possible.

In his book *The Sickness unto Death* [29] Kierkegaard points out that synthesis and relation determine an individual as subsistence. This shows that a human is a communicating being in a constant relation with the self, who is also in a constant relation with another person and God. Later these attitudes were adopted by his follower Jaspers, who is among the first to have formulated the concept of existential communication. “Jaspers perceives people as relative beings, as homo communicativus whose authentic existence and identity result from existential communication” [30. P. 132]

The analysis of Kierkegaard’s philosophical texts reveals that his theory of communication as that of dialogue existence is closely linked to his spheres or stages of existence (*the aesthetic, the ethical, and the religious*). The Danish philosopher elaborated on the aforesaid stages in his famous book *Either-Or* [31]. The stages disclose different dimensions of the human subsistence or steps in the individual’s life path. The question arises how communication reveals itself in these stages? Ian McPherson [32. P. 157] states that “communication across ways of being seems relatively straightforward”. Generally specific way of life, specific thinking, worldview, values and relation with reality are characteristic of an individual in each of the stages. Moreover, it can be seen that each of these life stages refers to a different level of interpersonal relations and dialogue. Namely this aspect requires a broader analysis.

Thus, looking at these three stages of life from the perspective of human relations and dialogue, it can be stated that people’s interpersonal relations are grounded on different motives and are of different maturity level. The *aesthetic* stage is the lowest one and is attributed to the elements of sensual life. The aesthetes are people pursuing only pleasures and joy. They follow their instincts and carnal pleasures. For this reason they are not able to maintain long-term relations because another individual is seen only as a means for satisfying own desires. An aesthete

sees the beauty as the most essential source of pleasure, which only provides the established relations with the instant moment. Thus, it can be concluded that a dialogue with another individual does not occur because the subsistence is directed only to the self and to own egoistic needs. These principles are revealed in Kierkegaard's work *The Seducer's Diary* [33]. Since an individual is not capable of establishing an authentic dialogue with another person in this stage, he/she loses "the self", lives in the world of illusions, constantly feels disappointment, emptiness and vacuity because, according to Kierkegaard, the fullness of human subsistence discloses only through the authentic deep love relation.

The second stage is referred to as the *ethical* one. It is a higher level of existence and communication, where duty and logic prevail. An individual seeks for stable relations and a rational dialogue with another. Thus, communication in this stage of life is of substantial character, i.e. it is based on logical thinking and rules. People create an interpersonal dialogue pursuing specific results or goals. However, viewing from Kierkegaard's existential perspective, dialogue communication, which is grounded only on common standards and external communication ethics, remains superficial and restricted and is not capable of an authentic unification of people. On the contrary, people get alienated from each other because the relations that rest only on benefit and external duty, become artificial and schematised.

Kierkegaard points out that without Christian faith, interpersonal relations do not have a real link and foundation. The *religious or faith* stage is the most perfect phase of dialogue because it is based on God's love. The personal choice of an individual to believe acquires utmost importance here. In his *Works of Love* [34] Kierkegaard states that saying "you" to God we enter a dimension of religious life. Faith, according to Kierkegaard, is a live conversation, a love dialogue with God. This dialogue is grounded on a free choice of an individual. A human, as a creature of God, is called to be with his/her Creator. The dialogue between God and an individual occurs not using only words but also involving the heart, the soul and the whole human essence. Thus, this dialogue engages an individual as a whole and all his/her life as well. Therefore, the dialogue arising from this faith can be referred to as an existential dialogue.

This means that Kierkegaard assumes that only religious faith enables prerequisites for existential dialogue. Seeking to encourage an individual to make a step towards faith, Kierkegaard employs Abraham's story in his book *Fear and Trembling* [35]. This story reveals an impressive dialogue between God and a person. Called by God, Abraham answers "Here I am". Only faith enables you to hear God's voice and to answer Him. The Danish philosopher points out that an individual seeks to open himself or herself to this personal dialogue with God. The implementation of this aspiration is one of the most important goals of human subsistence and its final realisation.

One more aspect is related to the principle of equality that *existential dialogue* is grounded on. In his work *Philosophical Fragments* [36], the Danish philosopher presents an analogy of God, who acquires a human shape and that of a servant while seeking the equality and unity with a human. This shows that not only a person but also God presents and dedicates Himself to a human through the relation. This principle of existential communication, which was later elaborated on by Jaspers while presenting the concept of existential communication, is important because "no man can consider himself or herself superior to other people. A person

has to respect another person as a personality, to consider his/her freedom and truth, regardless of gender, social status and cultural differences" [30. P. 133]. Such an internal state of heart derives from the love of God and shows that a person is open to hear another person, to accept and love him/her.

Thus, according to Kierkegaard, human subsistence evolves and unfolds only through the everlasting relation with God. No existential dialogue is possible without faith, without belief in a person, his/her relations with other people remain limited, short-time, only physical and of inferior character. Therefore, the stage of faith can rightly be called *the stage of love dialogue*. The Danish philosopher criticises the aesthetic and ethical paradigms of love. Graham Smith [37] notices that the concept of friendship is of utmost importance to Kierkegaard. In the aesthetic stage friendship is grounded only on short-term "romantic love" or "erotic love", in the ethical phase "ethical friendship" is formed. In both ways people do not acknowledge themselves as spiritual beings and fail to see God's Face in other people. People are closed to existential dialogue, i.e. to spiritual friendship, which derives from God and unites human souls. The true relationship can be achieved only through God and His love. In his *Works of Love* the Danish philosopher states that the wisdom of the world thinks that love is the sense of community between *a person* and *a person*. But Christianity teaches that love is the sense of community between *a person* – *God* – *a person*. Thus, God has to be inside because it is only thanks to him a true relationship is possible [38]. In fact, this tripartite structure defines the essence of Kierkegaard's communication as existential dialogue. God is the foundation of existential dialogue, which contributes to establishment of just, unselfish and equal love dialogue with another person. This Kierkegaard's assumption was expanded in Buber's work *I and Thou*, where the latter pointed out that the relationship with God is supreme because it unites and embraces all the other relations (the ones with another person, with nature, with the world). Thus, communication in Kierkegaard's philosophy can be perceived only from the perspective of Christian communication.

Conclusions

Interpretations of communication as dialogue existence in Kierkegaard's philosophy are closely related to three life stages, i.e. with the aesthetic, ethical, and religious ones. These stages disclose different forms of human subsistence, the evolution of which is closely connected with the abilities of an individual to establish an authentic dialogue. In the aesthetic and ethical stages of his / her life, a human remains alone and his / her existence is not of a dialogue nature. In the first case an individual-aesthete "does not communicate" with an equal partner, his / her existence is directed only to the self, to own carnal and egoistic needs, whereas "ethical friendship" rests only on a substantial dialogue, which is created considering external stereotypes and ethical rules. In either case, an individual is not free and does not have any spiritual relation and an authentic love dialogue with another person because he / she has not made a step forward towards the faith and God. Only the religious stage, which is the supreme life phase, can be referred to as a stage of existential love dialogue. Thus, in the context of Kierkegaard's philosophy, the conception of religious communication as dialogue communication arises. Kierkegaard grounded the individual's authentic existence on the love dialogue, which derives from the faith seeing it as an opportunity for the supreme Absolute

relationship with God. This dialogue is not just short-term moments of life but a constant being in the face of God. Therefore, in the context of Kierkegaard's existential philosophy the religious dialogue acquires a subjective ontological dimension and is perceived as one of the underlying features of authentic human existence and foundation of interpersonal communication with another individual. In other words, dialogue-based life is full of God's love and is an authentic way of human subsistence, which contributes to improvement of an individual as well as enables him / her to experience the fullness of life.

References

1. Littlejohn, S.W., Foss, K.A. & Oetzel, J.G. (2016) *Theories of Human Communication*. USA: Waveland Press, INC.
2. Mickevičius, T. (2018) Heidegger's Twofold Treatment of Modern Technology. *Filosofija. Sociologija*. 29(1). pp. 32–38. DOI: 10.6001/fil-soc.v29i1.3629
3. Stasiulis, N. (2019) The Transformation of Modern Causality in Heidegger's Thought. *Filosofija. Sociologija*. 30(1). pp. 27–36. DOI: 10.6001/fil-soc.v30i1.3913
4. Mowlana, H. (2003) Communication, philosophy and religion. *Journal of International Communication*. 9(1). pp. 11–34. DOI: 10.1080/13216597.2003.9751942
5. Valatka, V. (2019) Philosophical Considerations: Economical, Epistemological, Cultural and Social Issues. *Filosofija. Sociologija*. 30(1). pp. 1–7. DOI: 10.6001/fil-soc.v30i1.3910
6. Cooren, F. & Bencherki, N. (2017) Philosophy of Communication. *Oxford Bibliographies*. [Online] Available from: <http://www.oxfordbibliographies.com> (Accessed: 1st December 2020).
7. European Communication Research and Education Association (ECREA). (n.d.) *Philosophy of Communications Section*. [Online] Available from: <https://www.ecrea.eu/Philosophy-of-Communication> (Accessed: 1st December 2020).
8. Briankle, G.Ch. & Garnet, B. (eds) (2012) *Philosophy of Communication*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
9. Schrag, C.O. (2015) Communication and Philosophy at the Crossroads. *Review of Communication*. 15(4). pp. 335–340. DOI: 10.1080/15358593.2015.1102405
10. Kirtiklis, K. (2010) Komunikacijos filosofijos genezė. *Problemos*. 78. pp. 153–163.
11. Craig, R.T. & Muller, H.L. (2007) *Theorizing Communication. Readings Across Traditions*. Los Angeles et. al.: SAGE Publications.
12. Mickūnas, A. (2018) Polycentric creative communication: the dispositive. *Creativity Studies*. 11(2). pp. 311–325. DOI: 10.3846/cs.2018.6594
13. Mowlana, H. (2019) Human communication theory: a five-dimensional model. *The Journal of International Communication*. 25(1). pp. 3–33. DOI: 10.1080/13216597.2018.1560351
14. Kačerauskas, T. (2019) Alternative Schools of Communication: Philosophical Aspects. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 49. pp. 92–100. DOI: 10.17223/1998863X/49/10
15. Kačerauskas, T. (2019) Ethics in business and communication: common ground or incommensurable? *E+M Ekonomie a Management*. 22(1). pp. 72–81. DOI: 10.15240/tul/001/2019-1-005
16. Kačerauskas, T. (2018) Communication and perspectivism. *Logos*. 97. pp. 65–71. DOI: 10.24101/logos.2018.68
17. Ramsey, E. (2016) Ethics from the Edge: A Sketch of Precarity from a Philosophy of Communication. *Atlantic Journal of Communication*. 24(1). pp. 31–39. DOI: 10.1080/15456870.2016.1113964
18. Kirtiklis, K. (2014) *Įvadas į komunikacijos filosofiją* [Introduction to Communication Philosophy]. Vilnius: Vilniaus universitetas.
19. Kirtiklis, K. (2009) *Komunikacijos samprata šiuolaikinėje filosofijoje* [The conception of communication in modern philosophy]. Vilnius: Vilniaus universitetas.
20. Lanigan, R.L. (1991) *Speaking and Semiology: Maurice Merleau-Ponty's Phenomenological Theory of Existential Communication*. 2nd ed. Berlin: Mouton de Gruyter.
21. Vevere, V. (2014) Intersubjectivity or inter existentiality? Kierkegaard's conception of existential communication. *Topos*. 1. pp. 123–137.

22. Scott, W.D. (2018) Pynchon's Repetition of Kierkegaard's Post Horn: Theology, Communication Theory, and the Crying of Lot 49. *Literature & Theology*. 32(1). pp. 39–52. DOI: 10.1093/litthe/frx004
23. Mooney, E.F. (2017) *On Søren Kierkegaard: Dialogue, Polemics, Lost Intimacy, and Time*. London: Routledge.
24. Shakespeare, S. (2017) *Kierkegaard, Language and the Reality of God*. London: Routledge.
25. Tietjen, M.A. (2013) *Kierkegaard, Communication, and Virtue. Authorship as Edification*. Bloomington: Indiana University Press.
26. Cates, B.D. (2009) *Christianity and Communication: Kierkegaard, Hamann, and the Necessity of Indirect Communication*. Liberty University.
27. Herrmann, A.F. (2008) Kierkegaard and Dialogue: The Communication of Capability. *Communication Theory*. 18(1). pp. 71–92. DOI: 10.1111/j.1468-2885.2007.00314.x
28. Prosser, B.T. & Ward, A. (2000) Kierkegaard and the internet: Existential reflections on education and community. *Ethics and Information Technology*. 2(3). pp. 167–180. DOI: 10.1023/A:1010005605872
29. Kierkegaard, S. (1980) *The Sickness unto Death*. Princeton: Princeton University Press.
30. Asakavičiūtė, V. & Valatka, V. (2019) Existential communication as the basis for authentic human existence in Karl Jasper's philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 47. pp. 129–136. DOI: 10.17223/1998863X/47/14
31. Kierkegaard, S. (1946) *Either/Or*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
32. McPherson, I. (2003) Kierkegaard as an Educational Thinker: Communication Through and Across Ways of Being. *Journal of Philosophy of Education*. 35(2). pp. 157–174. DOI: 10.1111/1467-9752.00218
33. Kierkegaard, S. (1997) *The Seducer's Diary*. Princeton: Princeton University Press.
34. Kierkegaard, S. (1962) *Works of Love*. London: Collins.
35. Kierkegaard, S. (1986) *Fear and Trembling*. Cambridge: Cambridge University Press.
36. Kierkegaard, S. (1985) *Philosophical Fragments*. Princeton: Princeton University Press.
37. Graham, M.S. (2007) Kierkegaard: Responsibility to the Other. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*. 10(2). pp. 181–197. DOI: 10.1080/13698230701207964
38. Storm, D.A. (1996) *Anthony Storm's Commentary on Kierkegaard*. [Online] Available from: <http://sorenkierkegaard.org/works-of-love.html> (Accessed: 1st December 2020).

Vaida Asakavičiūtė, Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania).

E-mail: vaida.asakaviciute@vgtu.lt

Vytis Valatka, Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania).

E-mail: vytis.valatka@vgtu.lt

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 135–142.

DOI: 10.17223/1998863X/58/13

INTERPRETATIONS OF COMMUNICATION AS DIALOGUE EXISTENCE IN SØREN KIERKEGAARD'S PHILOSOPHY

Keywords: Kierkegaard; existence, philosophy of communication; dialogue existence, God.

The article focuses on a multi-perspective discussion on interpretations of communication as dialogue existence in Søren Kierkegaard's philosophy. The beginning of the article contains a short overview of origins and trends of communication philosophy and reveals the links between communication philosophy and existential philosophy. On the basis of three life phases suggested by Kierkegaard, the links between dialogue communication and existence are disclosed. The article also shows that dialogue communication is of different level in the aesthetic, ethical, and religious stages of life, and is grounded on different motives. From the comparative aspect, in the aesthetic stage of life there is no dialogue among people because an individual is self-centred and searches for pleasures. The ethical stage reveals only possibilities for a limited substantial and rational dialogue. Only the religious phase, which is considered to be the supreme one, opens the path to the love dialogue with another individual. This stage rests on the faith as an immediate dialogue between the human and God. A conclusion is made that authentic human existence is of a dialogue character because an individual is naturally called to be in the relationship with God and it is only through this religious dialogue that the real identity of an individual, his/her purport of life and ability to create a love dialogue with another individual can unfold.

СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.7

DOI: 10.17223/1998863X/58/14

Ф.С. Кудзиева

ЭЛЕМЕНТЫ БЫТОВОЙ МАГИИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ОСЕТИН: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Магия является выражением глубокой и тесной взаимосвязи двух феноменов культуры, представляющих для человека смысл бытия: символики (как всеобщего культурного кода) и жизненной формы (как игры, объединяющей лингвистические и нелингвистические сферы). Магия как форма жизни в культуре объединяет реальность, язык и опыт; это форма, в которой осуществляется «приручение» мира человеком, основываясь на оперировании магическими действиями и символами. В этом аспекте магия становится неотъемлемой частью бытия общества.

Ключевые слова: магия, культура, этнография, белая магия, социокультурная универсалия.

Характерными маркерами конца XX – начала XXI в. являются научно-техническая революция и глобальные перемены, радикально реформировавшие все сферы социального и культурного бытия современного человека. Тем не менее в его жизни всегда есть место магии. Этот феномен сегодня популяризуется при помощи ряда теле- и радиопрограмм, обилия мистической и эзотерической литературы, обширной рекламы гадалок, «народных целителей» и экстрасенсов. Роль магии в российском обществе возрастает.

Магия является одним из культурных паттернов, в науке считающимися «иррациональными». Это преднамеренное использование магическим агентом, прошедшим специальную подготовку, опыта магической трансценденции, в рамках которого сознание, прорывая собственные сингулярные ограничения, обретает способность непосредственной трансформации природных и социальных объектов и явлений, нарушая тем самым принцип причинно-следственной гомогенности [1].

Феномен магии активно исследуется философами, социологами, фольклористами, этнографами и антропологами. Комплексные исследования в этой области важны не только для науки, но и для культуры, так как они способствуют развенчанию опасных заблуждений массового сознания, опровергают популярные социальные мифы, а самое главное – отражают влияние магии на современное общество.

Актуализация чародейства в современной России связана с общественным интересом к феномену в период социально-политической нестабильности и духовных исканий. Современная социокультурная ситуация формирует новую культурную нишу, и в этом ключе исследования феномена колдовства и магии являются актуальными.

В отечественной культуре магическая экспансия приходится на 90-е гг. XX в [1]. Распад СССР, обусловленный сменой режима, привел к социальной дезорганизации и аномии, девальвации социальных норм и, как следствие – к смене доселе привычных, ценностных, смысловых и поведенческих паттернов. Принятый в 1990 г. закон «О свободе вероисповеданий» способствовал беспрепятственному проникновению магии в отечественную культуру, что не могло не привести к различным по своей масштабности социальным и культурным последствиям.

Достаточно успешным приемом при достижении любых целей является использование архетипических символов в современном мультикультурном пространстве [2]. Созданные с учетом ментальных особенностей образы, эти продукты декодируются и верно интерпретируются любой аудиторией, в любой культуре или среди народа.

В трудах классики этнографии и теологии Дж. Фрезера [3] и Э. Тайлора [4] и отмечено, что любая магия основана на ассоциативности идей. То есть еще первобытный человек мысленно соединял те вещи, которые находил связанными между собой в действительности. Дж. Фрезер при изучении традиционной культуры выделял два принципа, на которых основывается магическое мышление. Сущность первого принципа – следствие похоже на свою причину (подобное производит подобное). Второй принцип гласит, что вещи, хотя бы единожды соприкоснувшиеся друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии даже после прекращения прямого контакта. Первый принцип получил название «закон подобия», второй – «закон соприкосновения» (заражения).

Фрезер приводит самый простой пример контактной магии – магической связи, якобы существующая между человеком и частями его тела, волосами или ногтями. Другими словами, на любом расстоянии можно навязать человеку свою волю, имея в наличии его ногти или волосы.

Необходимо отметить, что комплексные научные исследования феномена магии до сих пор достаточно редки, поскольку сбор и анализ материала для них может занимать долгое время. Тем не менее в числе авторов, исследования и мнения которых о феномене магии пользуются значительным научным авторитетом и известностью, прежде всего, находятся такие ученые, как Э. Тэйлор, Дж.Дж. Фрезер, А. Фиркандт, А. Юбер, М. Мосс, Арнольд ван Геннеп, Е.Г. Кагаров [5], К. Мошинский, Б. Малиновский [6], К. Леви-Стросс [7], С.А. Токарев, П. Курц и др.

На территории Российской Федерации до настоящего времени также не предпринимались попытки провести целостное исследование феномена современной магии. Речь не идет о том, что исследований магии не было вообще. Можно упомянуть труды С.А. Токарева [8], В.Ф. Зыбковца [9], И.А. Крывелова [10] и др. Однако в них магия как социализированное проявление природного бытия человека представлена недостаточно полно, что было обусловлено особенностями идеологических установок марксистско-ленинского подхода к изучению трансцендентного. Поэтому частичная детерминация выводов о рассматриваемом феномене позволяет поставить под сомнение целостность его образа в советской историографии. Кроме того, с момента публикации упомянутых работ в структуре представлений о магии произошли значительные изменения: появились новые оккультные концепции

ДЭИР, СИМО-РОН и др., широкое распространение получили теософские идеи, знахарство, культ вуду, некромантия и т.д.

Немногочисленные современные научные исследования феномена магии в отечественной науке не рассматривают проблему ее влияния на формирование мировоззрения современного человека в целом. К тому же недостаточно внимания уделено выявлению сущности и структуры магии. Акцент исследований сделан на отдельных проблемах проявления магического. Современный этап изучения магии связан как с дальнейшим историческим-компаративистским анализом традиционных форм магии, так и с открытием новых форм магии в культуре. Возрастает интерес исследователей к культуре повседневности, частной жизни человека, его ментальности, миру страстей и эмоций. Современные работы содержат философский и социально-психологический анализ магии, она исследуется как социокультурный феномен, как феномен современной религиозной и эзотерической культуры; также выявлены социально-гносеологические, психологические аспекты магии, место и роль магии в социализации личности (С.Е. Гречишников [11], А.Ю. Григоренко, Ю.В. Ермолина [12], М.А. Марков, В.С. Свечников [13]). В этом направлении интерес представляет магический аспект потребительских и повседневно-бытовых ритуалов. Это позволяет глубже понять душевный мир современного человека, его желания, страхи и соблазны.

Репрезентативной исследовательской площадкой для рассмотрения роли и места магии в современной культуре выступила Республика Северная Осетия – Алания. Приверженность населения восточному типу культуры, социальная «пестрота» региона в виде мультикультурализма, поликонфессиональности и полиэтничности дает основание предположить, что обращение к силам природы или попытки «приручения мира» встречаются здесь чаще, чем в других регионах.

Статья основана на материалах исследования «Черты магии в современной культуре осетин», проведенного в январе–марте 2000 г. кафедрой социологии Северо-Осетинского государственного университета. В опросе приняли участие жители Республики Северная Осетия–Алания (N = 492). Ранжирование респондентов проводилось по возрасту (2 категории: «моложе 35 лет» и «старше 35 лет» – подобное ранжирование обусловлено разницей менталитетов поколений, выросших в различных социально-экономических и политических условиях), полу, национальности, уровню образования и сфере профессиональной деятельности. Также в исследовании приняла участие группа из девяти экспертов, в которую вошли коучи «духовного роста», «потомственные целители и колдуны», знахари и гадалки.

Следует заметить, что в контексте повседневной культуры речь идет о так называемой низкой (низовой) форме магии. В отличие от «высокой магии», связанной с философией, эзотерикой, духовными практиками и поисками смысла жизни, «низкая» опирается на традиции, обрядовость и устную народную культуру. Черты традиционной магии проявляются в следовании приметам, в суевериях и предохранительных ритуалах. Так, результаты исследования показали, что 92% всех опрошенных имеют в доме предметы традиционно-магического культа, например, куклу-домовенка (антропоморфный символ); висящую над входной дверью подкову, монетку или купюру; декоративный мини-веник, висящий на стене рядом с кухонной плитой; статуэтки

для привлечения в дом денег. В последнее время все популярнее становятся предметы восточного культа Фэн-Шуй – колокольчики, веера, тропические растения или небольшие скульптуры, которые размещают в разных местах жилища согласно китайскому компасу и рекомендациям данного культа. Каждый второй житель республики носит на теле либо нагрудный амулет, либо красную нить на запястье или щиколотке с целью оберега (рис. 1).



Рис. 1. Традиционный кавказский амулет-оберег для мужчин

Следует отметить, что носителями мужского амулета в подавляющем большинстве являются лица моложе 35 лет – т.е. поколение, выросшее в новых социально-экономических условиях, в «эпоху перемен». Представители категории «старше 35 лет» настроены более скептически к подобного рода атрибутам. Желание доверить свою судьбу высшим силам или «приручить» их может указывать на опасения, связанные с нестабильностью функционирования современных социальных институтов и попытками своеобразной духовной подстраховки в случае неприятностей.

Трансцендентная область познания в той или иной степени одинаково привлекательна для представителей всех слоев общества. Так, исследование показало, что каждый второй житель хотя бы раз в год пользуется услугами лиц, причастных к магии, а каждый пятый делает это с регулярностью раз в месяц. При этом 81% респондентов имеют законченное высшее образование.

Как распределились ответы на вопрос «Какова главная причина Вашего обращения к магам?», показано на рис. 2.

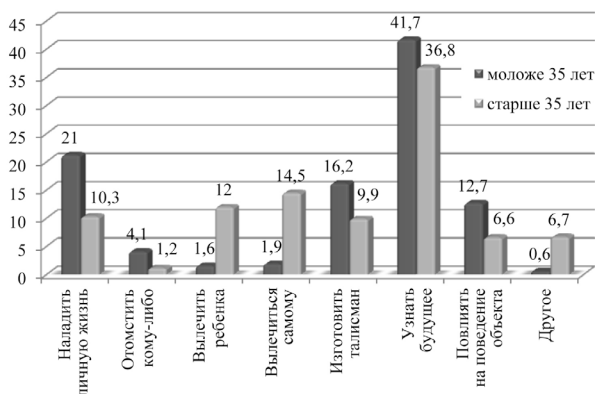


Рис. 2. Главная причина обращения респондентов к магам

Из гистограммы видно, что чаще всего к магам обращаются для того, чтобы узнать, какие события и перемены ожидают их в будущем, 41,7% опрошенных в возрасте до 35 лет и 36,% респондентов старше 35 лет. Примечательно то, что, несмотря на жизненный опыт, старшее поколение доверяет народному целительству больше, чем научной медицине – 14,5% всех опрошенных, а в волшебную силу талисмана-оберега больше верит младшее поколение – 16,2%.

В позиции «Другое» респонденты отметили следующее: «увести любимого(-ую) из семьи», «ради любопытства – чтобы сравнить прогноз гадалки с

реальностью», «хожу за компанию с подругой (другом)», «чтобы получить совет», «пройти очищающие процедуры от сглаза и порчи», «привлечь удачу в дом», «развести сына (дочь) с супругой (супругом)», «чтобы получить утешение после неприятного или трагического события». Надо сказать, что последний пункт чаще всего встречается в ответах лиц старше 35 лет.

По мнению экспертов, мотивами обращения к помощи магов могут служить неспособность самостоятельно решить поставленную задачу, необходимость в моральной поддержке со стороны, робость и нерешительность, разочарование в привычном и т.п. Неопределенность в завтрашнем дне побуждает людей перекладывать ответственность за свою судьбу или действия на потусторонние силы во избежание нежелательных событий.

Значимую роль в формировании отношения населения к магии играют средства массовой информации. Ряд специализированных программ на телевидении и радио, сайты и страницы в интернете, обилие литературы, посвященной магии, оккультизму, целительству и эзотерике, а также гастролирующие маги, чародеи, знахари, гадатели и всевозможные тренеры по «духовному росту и самопознанию» не оставляют равнодушной определенную часть населения. Данные исследования показали, что более половины респондентов (56,4%) регулярно смотрят передачи про экстрасенсов и магов, каждый четвертый читает соответствующие материалы в Сети или покупает литературу по теме. Низкий уровень жизни, неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне, частые стрессы – все это толкает людей к эскапизму – бегству от обыденной реальности в инобытие.

Большинство респондентов отметили положительный эффект от посещений магов. Ответы на вопрос «Что, по Вашему мнению, изменилось в Вашей жизни после взаимодействия с магами / знахарями / целителями?» представлены на рис. 3.

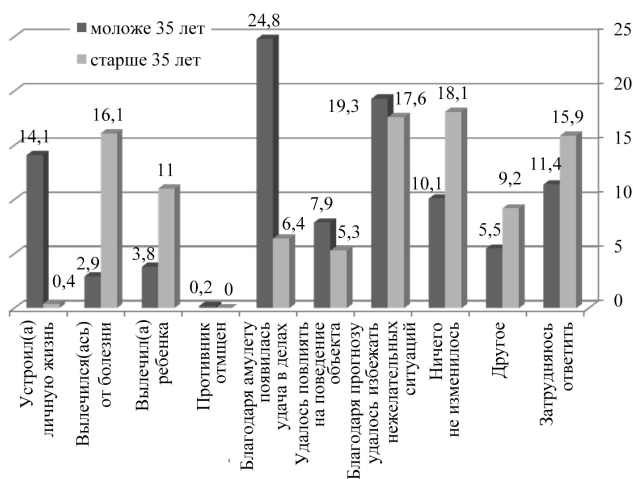


Рис. 3. Эффект от взаимодействия с магами / знахарями / целителями

Результаты исследования показывают, что в разной степени желаемый либо ожидаемый эффект после посещения мага достигнут. Наиболее популярными ответами респондентов из категории «до 35 лет» являются «Устроил(а) личную жизнь» – 14,1%, «Благодаря прогнозу удалось избежать неже-

лательных ситуаций» – 19,3% и «Благодаря амулету появилась удача в делах» – 24,8%. Вероятно, причина подобных перемен кроется в своеобразном «толчке» со стороны мага, стимулирующем аналитическое мышление и более осознанный подход к принятию решений у визитера. Респонденты из категории «старше 35 лет» при посещении знахарей / гадалок / целителей пытаются реализовать более жизненные задачи: побороть болезнь, снять порчу, «заговорить» испуг или «сглаз» у ребенка и другие, и в своих ответах отмечают успех после проведенных знахарских процедур и обрядов: 16,1% опрошенных в указанной категории излечились от болезни, 11,0% с помощью целителей вылечили ребенка. Как уже указывалось выше, поколение постарше все же склонно относиться к деятельности чародеев с долей скепсиса, и это не могло не отразиться на результатах опроса – 18,1% респондентов отмечают, что их ожидания не оправдались и никаких перемен не последовало.

По мнению экспертов, знание человеческой психологии в работе мага – едва ли не самый главный момент. Клиент при встрече должен полностью раскрыться и довериться – тогда и результат работы будет удовлетворительным. Также эксперты указывают на стирание гендерных различий в частоте посещений – парни и девушки посещают гадалек и «колдунов» приблизительно одинаково. Достаточно много людей обращаются к народным целителям в связи с разочарованием в традиционной медицине.

Магия представлена как выражение глубинной взаимосвязи двух феноменов культуры, имеющих бытийный смысл для человека: формы жизни (как игры, объединяющей лингвистические и нелингвистические сферы) и символики (как всеобщего кода культуры). Как форма жизни магия в культуре объединяет язык, опыт и реальность, это форма, в которой на основе оперирования символами и магическими действиями осуществляется «приручение» мира человеком. В этом аспекте магия становится неотъемлемой частью бытия общества. Отношение респондентов к этому факту отражено в ответах на вопрос «Нужны ли магия и медиумы в современном обществе?»: 68,7% опрошенных ответили положительно, 26,4% – отрицательно и 4,9% затруднились с ответом.

Ответы на вопрос «Для чего, на Ваш взгляд, в современном обществе нужны маги (гадалки, знахари и т.п.)?» представлены на рис. 4.



Рис. 4. Функции магов в современном обществе (по мнению респондентов)

Результаты опроса показывают, что наибольшая доля респондентов возлагает надежды на компенсаторную (терапевтическую) функцию бытовой магии – 15,7% всех опрошенных. Современные социально-экономические

реалии и затяжная аномия привели к атомизации общества и явились причиной индивидуализации и отчуждения людей друг от друга даже в семье. Поэтому необходимость в поддержке, утешении и одобрении компенсируется иными ресурсами.

Слабое функционирование социальных институтов общества, в частности института здравоохранения, отсутствие высококвалифицированных специалистов заставляет людей все чаще обращаться к нетрадиционной медицине. Так, необходимость наличия «народных целителей» в обществе в наш техногенный век отметили 13,6% всех респондентов. Наименьшая доля опрошенных указала необходимость наличия магов для наведения порчи и совершения иных манипуляций, характерных для «черной магии». Позиция «Другое» включила в себя такие моменты, как «Отвадить мужа от походов „налево“», «Улучшить остывшие интимные отношения супругов», «Заставить ребенка учиться», «Избежать харрасмента со стороны начальника», «Легко сдать ЕГЭ».

По мнению экспертов, каким бы развитым общество ни было, в нем всегда есть место магам, так как, выполняя функции, связанные с «белой магией», они несут людям благо. Для одной стороны это возможность заработать, для другой – соприкоснуться с запредельным и получить желаемое.

Необходимо отметить, что по сравнению с предыдущей эпохой в современный феномен магии привнесен некий элемент новизны. Если раньше посетители обращались к знахарям и магам за практической помощью, то сегодня им гораздо важнее духовная составляющая (поэтому знание элементарной психологии и техник НЛП быстро приносит последним желаемую популярность среди населения). Гендерное соотношение постоянных клиентов магов также претерпело заметные изменения – лиц мужского пола становится все больше. Архаическое начало отправления обрядов у «волшебников» все чаще дополняется современными техническими новшествами, такими как предсказание судьбы, снятие порчи, привязка мужчины и привлечение удачи через интернет, а также использование случайного генератора чисел при виртуальном гадании. То есть можно сказать, что благодаря современным средствам коммуникации архаика становится неоархаикой.

По-прежнему неясен правовой статус лиц, оказывающих услуги «магического» характера. На местном уровне властными структурами неоднократно поднимался вопрос о признании их самозанятыми либо о регистрации их как ИП, но решение проблемы не было доведено до конца.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сегодня магия служит удовлетворению как практических, так и психологических потребностей людей. Тем не менее магия – это неординарная, таинственная, порою опасная реальность, характеризующаяся многообразием форм и имеющая имитационный, архетипический и игровой характер. Стремительно трансформируясь, магические практики занимают весомый пласт современной культуры, что не может не отражаться на жизни каждого человека. Детальное и тщательное изучение магии способно сделать это влияние более явным, раскрыть механизмы его функционирования, определить новые пути формирования общекультурной идентичности и позволит минимизировать негативные моменты.

Литература

1. *Стекланников В.Ю.* Магия в современной культуре: «Просвещенное общество» или «Новая магическая эпоха»? // *Современные гуманитарные исследования.* 2007. № 2. С. 423–427.
2. *Андреева Е.В., Ефимова М.М.* Магические ритуалы в социально-культурной практике туризма // *Культура и цивилизация.* 2019. Т. 9. № 3-1. С. 52–58.
3. *Фрэзер Дж.Дж.* Золотая ветвь. Исследование магии и религии / пер. с англ. М.К. Рыклина. М.: Политиздат, 1980. С. 41–49.
4. *Тайлор Э.Б.* Первобытная культура. М.: Изд-во полит. культуры, 1989. URL: <http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z00000015/index.shtml> (дата обращения: 24.03.2020).
5. *Кисляков Н.А.* Евгений Георгиевич Кагаров // *Советская этнография.* 1963. № 1. С. 144–147.
6. *Малиновский Б.* Магия, наука и религия. М.: Рефл-бук, 1998. С. 19–55.
7. *Леви-Стросс К.* Структурная антропология. М.: Наука, 1985. С. 20.
8. *Токарев С.А.* Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990. С. 404–505.
9. *Зыбковец В.Ф.* О черной и белой магии. М., 1965. С. 18–32.
10. *Крычев И.А.* Место магии в религиозном комплексе. М.: Политиздат, 1973. С. 16–34.
11. *Гречишников С.Е.* Магия как социокультурный феномен: автореф. дис. ... канд. соц. наук. 1994. 21 с.
12. *Ермолина Ю.В.* Наука и вненаучные формы знания в современной культуре (на примере магии) // *Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.* 2008. № 8. С. 157–162.
13. *Свечников В.С.* Методология магии как процесса коммуникации // *Бюллетень Международной академии психологических наук.* Саратов; Ярославль, 1995. Вып. 2. 1995. Вып. 2. С. 42–48.

Fatima S. Kudzieva, North Ossetian State University after K.L.Khetagurov (Vladikavkaz, Russian Federation).

E-mail: kudz-fatima@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 143–151.

DOI: 10.17223/1998863X/58/14

ELEMENTS OF MAGIC IN CONTEMPORARY OSSETIAN CULTURE: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Keywords: magic; culture; ethnography; white magic; sociocultural universal.

The actualization of sorcery in modern Russia is associated with public interest in the phenomenon during the period of sociopolitical instability and spiritual quest. The current sociocultural situation forms a new cultural niche, and, in this vein, the study of the phenomenon of witchcraft and magic is relevant. The article is based on the materials of the study “Features of Magic in the Modern Culture of Ossetians”, conducted in January–March 2000 by the Department of Sociology of North Ossetian State University. The survey involved residents of the Republic of North Ossetia-Alania (N = 492). The respondents were ranked by age (two cohorts: “under 35 years old” and “over 35 years old”; the ranking is due to the difference in the mentality of generations who grew up in different socioeconomic and political conditions), gender, nationality, level of education, and occupation. Also, a group of nine experts took part in the study; it included coaches of “spiritual growth”, “hereditary healers and sorcerers”, healers, and fortune-tellers. The transcendental field of knowledge is equally attractive to one degree or another for representatives of all walks of life. Thus, the study showed that every second resident at least once a year used the services of persons involved in magic, and every fifth did this with a regularity of once a month. At the same time, 81% of respondents had higher education. Magic is presented as an expression of the deep interconnection of two cultural phenomena that have an existential meaning for a person: a form of life (as a game combining linguistic and non-linguistic spheres) and symbolism (as a universal code of culture). The media play a significant role in shaping the attitude of the population towards magic. A number of specialized programs on television and radio, websites and pages on the Internet, the abundance of literature on magic, occultism, healing, and esotericism, as well as touring magicians, sorcerers, witch doctors, fortunetellers, and all kinds of trainers on “spiritual growth and self-knowledge” do not leave indifferent a certain part of the population.

References

1. Steklyannikov, V.Yu. (2007) *Magiya v sovremennoy kul'ture*: "Prosveshchennoe obshchestvo" ili "Novaya magicheskaya epokha"? [Magic in Modern Culture: "Enlightened Society" or "New Magic Age"?]. *Sovremennye gumanitarnye issledovaniya*. 2. pp. 423–427.
2. Andreeva, E.V. & Efimova, M.M. (2019) Magical rituals in the sociocultural practice of tourism. *Kul'tura i tsivilizatsiya – Culture and Civilization*. 9(3-1). pp. 52–58. (In Russian).
3. Frazer, J.G. (1980) *Zolotaya vetv'. Issledovanie magii i religii* [The Golden Bough: A Study in Magic and Religion]. Translated from English by M.K. Ryklin. Moscow: Politizdat. pp. 41–49.
4. Taylor, E.B. (1989) *Pervobytnaya kul'tura* [Primitive Culture]. Translated from English. Moscow: Izd-vo polit. kul'tury. [Online] Available from: <http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml> (Accessed: 24th March 2020).
5. Kislyakov, N.A. (1963) Evgeniy Georgievich Kagarov. *Sovetskaya etnografiya*. 1. pp. 144–147.
6. Malinowski, B. (1998) *Magiya, nauka i religiya* [Magic, Science, and Religion]. Translated from English. Moscow: Refl-buk. pp. 19–55.
7. Lévi-Strauss, C. (1985) *Strukturnaya antropologiya* [Structural Anthropology]. Translated from French. Moscow: Nauka.
8. Tokarev, S.A. (1990) *Rannie formy religii* [Early Forms of Religion]. Moscow: Politizdat. pp. 404–505.
9. Zybkovets, V.F. (1965) *O chernoy i beloy magii* [On Black and White Magic]. Moscow: Izd-vo polit lit-ry. pp. 18–32.
10. Kryvelev, I.A. (1973) *Mesto magii v religioznom komplekse* [The Role of Magic in the Religious Complex]. Moscow: Politizdat. pp. 16–34.
11. Grechishnikov, S.E. (1994) *Magiya kak sotsiokul'turnyy fenomen* [Magic as a socio-cultural phenomenon]. Abstract of Sociology Cand. Diss. Moscow.
12. Ermolina, Yu.V. (2008) *Nauka i vnauchnye formy znaniya v sovremennoy kul'ture (na primere magii)* [Science and non-scientific forms of knowledge in modern culture (a case study of magic)]. *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena – Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences*. 8. pp. 157–162.
13. Svechnikov, V.S. (1995) *Metodologiya magii kak protsessa kommunikatsii* [Methodology of magic as a communication process]. *Byulleten' Mezhdunarodnoy akademii psikhologicheskikh nauk*. 2. pp. 42–48.

УДК 316.334.22

DOI: 10.17223/1998863X/58/15

Н.А. Орлова

РАССМАТРИВАЯ КОНЦЕПЦИЮ ОТЧУЖДЕНИЯ К. МАРКСА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АДЖАЙЛ-ПОДХОДА

Представлены результаты теоретического обзора проблемы отчуждения Маркса; сделан анализ способов преодоления отчуждения, которые предлагает аджайл-подход к управлению; описаны результаты интервью с экспертами в сфере аджайл-трансформаций. Опираясь на проведенные интервью, автор демонстрирует, как современная компания в постиндустриальной эпохе меняет подход к управлению, преодолевая те аспекты отчуждения, о которых писал К. Маркс, оставаясь в рамках капиталистической системы.

Ключевые слова: трудовая мотивация, отчуждение, аджайл, автономность, К. Маркс.

Введение

В XX и XXI вв. мы могли наблюдать изменение подходов к трудовой мотивации, которые сопровождали переход от индустриального к постиндустриальному обществу. Несмотря на то что «Экономическо-философские рукописи» были созданы К. Марксом в 1844 г., можно заметить, как XXI в. он актуализировал тему отчуждения, которую рассматривал. Вопросы профессионального выгорания и профессиональной демотивации, которые сегодня стали центральными темами в дискуссиях о продуктивности и трудовой эффективности, в большой степени содержательно повторяют проблематику теории отчуждения у Маркса. Такие проблемы, как утрата автономности или понимания цели, активно исследуются теоретиками и практиками в сфере трудовой мотивации [1–5]. При этом, анализируя события XX в., можно отчетливо увидеть, что разница между индустриальными производствами в капиталистической и социалистической системе с точки зрения отчуждения работника была ничтожна. И тоталитарные, и рыночные экономические системы в первой трети прошлого века одинаково понимали необходимость принуждения к труду, но использовали для этого разные инструменты: материальные стимулы или неэкономическое принуждение. Но обе системы строились на посылке о необходимости внешнего стимулирования работника, что, на наш взгляд, и является базовой причиной отчуждения труда. Сам по себе труд как способ мотивации и источник счастья и удовлетворенности жизнью не рассматривался в системе индустриального производства. Сопровождающие процесс отчуждения деиндивидуализация, утрата автономности, отсутствие понимания конечной цели своей работы, отсутствие социальной интеграции в трудовом процессе – все эти следствия индустриальной промышленной системы, позволяющей максимизировать производство и выпускать продукцию с высокой скоростью и минимальными затратами, в постиндустриальную эпоху стали, напротив, тормозить развитие компаний. Мы видим, как постепенно растет круг профессий, где фактор высокой мотива-

ции и вовлеченности в трудовой процесс является основой экономического роста и конкурентоспособности.

В начале XX в. те тенденции, о которых писал Маркс, достигают своего апогея. Индустриализация принимает повсеместный характер в западноевропейских странах, США, СССР. Покупательский спрос в то время намного превышает возможности промышленности, проблема сбыта еще не стоит, что приводит к экономической модели, где основной конкурентной стратегией становятся максимизация производства, снижение издержек и повышение производительности труда. Появляются научные школы, которые рассматривают поведение человека труда как фактор экономического роста компании, растет интерес к вопросам трудовой мотивации. Но классики теории управления – Тейлор и Форд – не рассматривали отчуждение как проблему, продолжая воспринимать людей исключительно механистически, как некий черный ящик, на который можно воздействовать однотипными внешними стимулами и добиваться необходимого поведения. Индивидуальные потребности не учитывались, а проблема, о которой писал Маркс, когда труд перестает быть для человека целью и источником счастья, а становится средством удовлетворения других потребностей, только усиливалась за счет акцента на прямой зависимости результатов труда и материальных вознаграждений за него.

Постепенный переход к постиндустриальному обществу приводит к изменению взглядов на трудовую мотивацию и делает теорию отчуждения Маркса беспрецедентно актуальной и востребованной не только и не столько среди угнетенного класса или социальных теоретиков, традиционно сочувствующих левой повестке, но среди высшего руководства наиболее богатых и влиятельных корпораций, в которых появляется и масштабируется так называемая аджайл-культура, способствующая преодолению отчуждения в понимании Маркса. Первой на себе ощутила изменения наиболее передовая и технологичная IT-сфера, где и появляется новый подход к построению организационной культуры и управлению. Это было связано с изменением роли рядового сотрудника в производственном процессе, когда от него стали требоваться решения менеджерского уровня, а для него самого главным фактором, мотивирующим в работе, становится самореализация, что задолго до появления новых управленческих аджайл-фреймворков предсказывал Питер Друкер (Drucker) [6. Р. 23].

Причины, по которым это произошло, связаны, во-первых, с ускорением научно-технического прогресса и глобализацией. Они делают инновации доступными массовому рынку зачастую через короткий промежуток времени после создания прототипа. Это повышает конкуренцию и усиливает те компании, который могут вносить изменения и улучшения в свои продукты как можно быстрее, не тратя время на согласования. Соответственно, возникает необходимость делегировать возможность принятия решений рядовым сотрудникам, повышая их автономность, а это, в свою очередь, делает необходимым формировать у сотрудников конечное видение продукта, посвящать их в долгосрочные цели компании. А необходимость постоянного «выхода за рамки» для того, чтобы создавать новые продукты или способы их поставки, расширяет круг сотрудников, чья работа связана с творчеством и генерацией идей, что совершенно невозможно в системе, отчуждающей людей от процесса и результата труда. Во-вторых, сильно изменился социальный запрос в

трудовой сфере. Повышение уровня образования и уровня жизни людей неизменно актуализируют потребность в саморазвитии на работе, в повышении вовлеченности в процесс принятия решений, в автономности. Мы можем увидеть, как в трудовой сфере появляется и актуализируется запрос на снятие отчуждения. Эти изменения наиболее свойственны более молодым акторам рынка труда [7, 8], а именно они в ближайшей перспективе будут определять направление его развития.

Несмотря на то что аджайл-менеджмент как теория и практика чаще всего ассоциируется со сферой разработки программного обеспечения, сегодня мы наблюдаем, как аналогичные процессы происходят в других сферах экономики – строительстве, промышленности или розничной торговле.

В этой статье будет показано, как теория отчуждения Маркса связана с трендом на аджайлизацию компаний; что из себя представляет и какие практические решения предлагает аджайл-подход к менеджменту для преодоления отчуждения и сохранения мотивации и отношения к труду как к источнику саморазвития и счастья, а не средству выживания и удовлетворения исключительно материальных, внешних по отношению к трудовому процессу потребностей.

Методология эмпирического исследования

Целью исследования было рассмотреть особенности аджайл-трансформаций компаний и основные направления изменений в управленческих моделях, структуре мотивации и бизнес-процессах. Одной из задач было рассмотреть способы преодоления отчуждения, которые предлагает современный аджайл-подход к управлению.

В работе был использован метод исследования – глубинное полуструктурированное интервью с экспертами. В качестве информантов выступили 11 экспертов (приложение) в сфере аджайл-трансформаций: руководители и ведущие эксперты компаний, реализовавших аджайл-трансформации крупных предприятий нефтегазовой сферы, банков и ряда других крупных корпораций (6 человек); внешние консультанты по настройке аджайл-бизнес-процессов в IT-стартапах и компаниях малого и среднего бизнеса (2 человека); внутренние аджайл-коучи компаний (3 человека). Для отбора участников применялся, во-первых, метод снежного кома, во-вторых, были выявлены компании, которые реализовывали аджайл-трансформации в крупных российских компаниях, банках и т.п. и в качестве экспертов привлекались их руководители и ведущие бизнес-консультанты.

Интервью проводилось удаленно, велась диктофонная и видеозапись. Продолжительность интервью – от 45 минут до 185 минут.

Гайд интервью включал в себя следующие блоки:

- определение аджайл, аджайл-менеджмента;
- аджайл-трансформации: цель, особенности процесса, ключевые изменения в процессе трансформаций;
- дисфункции, устраняемые в процессе аджайл-трансформаций; маркеры успешной аджайл-трансформации компании; маркеры дисфункциональной управленческой модели с точки зрения аджайл-подхода;
- аджайл-компании в России: компании, с наиболее зрелой аджайл-культурой в разных отраслях экономики, компании с дисфункциональными практиками.

На основании анализа текстов интервью были выделены тематические блоки, связанные с проблемой отчуждения, выявлены и описаны способы преодоления отчуждения в современных компаниях.

Теория отчуждения Карла Маркса и ее «второе рождение» в теориях трудовой мотивации в XX и XXI вв.

Теория отчуждения Карла Маркса представлена в «Экономических и философских рукописях 1844 г.», где он выделяет четыре типа отчуждения, свойственные рабочему, включенному в производственный процесс капиталистической системы. Это отчуждение работника от продукта труда, от процесса труда, от других людей и от своей сущности (человеческого в себе).

Суть отчуждения человека от процесса труда, по Марксу, заключается в том, что капитализм разрушает врожденную присущую человеку потребность в труде, поскольку труд носит принудительный характер и не дает человеку ощущения счастья и удовлетворения. Труд становится средством для выживания, а не способом удовлетворения потребности в труде, свойственной людям. И это ведет к отчуждению человека от человеческого в себе, проявляется в том, что человек становится лишь придатком производственной машины. «Родовая сущность человека – как природа, так и его духовное родовое достояние – превращается в чуждую ему сущность, в средство для поддержания его индивидуального существования. Отчужденный труд отчуждает от человека его собственное тело, как и природу вне его, как и его духовную сущность, его человеческую сущность», – пишет Карл Маркс [9. С. 86]. Отчуждение человека от продукта труда состоит в том, что результат труда не принадлежит работнику. Продукт принадлежит собственнику, интересы которого, по мнению Маркса, противоположны («враждебны») интересам работника. И, наконец, все это приводит к отчуждению людей друг от друга, поскольку противостояние человека самому себе приводит к его противостоянию с другим.

Актуальность теории Маркса сегодня подтверждается в том числе и интересом к теории отчуждения со стороны социологов: исследования преодоления отчуждения в труде проводятся как отечественными, так и зарубежными учеными. В российской социологии интерес к теории отчуждения мы можем увидеть в работах А. Чепуренко [10. С. 26–34], М. Удальцовой, Е. Абрамовой [11], В. Красильщикова [12. С. 3–14], М. Черныша [13. С. 15–25], Б. Славина [14. С. 35–44], Ю. Красина [15. С. 45–55] и др.

Зарубежные исследователи в сфере трудовой мотивации, удовлетворенности трудом и трудовых ценностей также обращаются к теории отчуждения Маркса. Основываясь на опросе швейцарских и северо-восточных немецких фермеров, исследователи Манн (Mann) и Бессер (Besser) (2017) подтверждают эмпирическим путем утверждение Маркса о том, что диверсификация труда повышает удовлетворенность работой [2. Р. 349–362]. Теория отчуждения и ее современный анализ также рассматривается в работах социологов Уорелла и Криера [16. Р. 213–239]; Салерно (Salerno) [17. Р. 259–266] и других [18. Р. 471–481; 19. Р. 267–274; 20. Р. 30–44; 21. Р. 375–394; 22. Р. 1–25; 23. Р. 1–254].

Все четыре типа отчуждения так или иначе присутствуют в современной повестке управления. Как можно увидеть в работах, посвященных трудовой

мотивации, проблемы отчуждения сегодня рассматриваются прежде всего в контексте изучения демотивации трудовых акторов и профессионального выгорания.

Отчуждение человека от продукта труда сегодня признается одним из важнейших факторов, определяющих демотивацию. В более ранних работах мы можем увидеть определение отчуждения в терминах бессилия, бессмысленности, беспомощности, самоотчуждения и социальной изоляции [24. С. 358]. Авторы не связывают процесс отчуждения с наличием частной собственности или внутреннего конфликта, присущего отношениям внутри капиталистической системы производства, видя причины в неправильной организации труда, высокой бюрократизации бизнес-процессов, иерархичной управленческой структуре с большим количеством промежуточных звеньев.

Д. Пинк (Pink), изучив процесс мотивации в различных командах, занимающихся интеллектуальным трудом, выделил три основные условия для поддержания высокого уровня мотивации сотрудников: автономность (возможность самому принимать решения, отсутствие микроменеджмента), целеполагание (человек должен понимать, какова конечная цель его работы и разделять ее) и мастерство (возможность самосовершенствования и самореализации на рабочем месте) [3. Р. 18]. Нетрудно заметить здесь связь с теорией отчуждения Карла Маркса: предоставление автономности позволяет преодолеть отчуждение от процесса труда, устранить ситуацию, когда человек не может повлиять на процесс собственной работы. Необходимость предоставления автономности сотруднику анализируется в различных исследованиях трудовой мотивации [28. Р. 2045–2068].

Целеполагание помогает устранить отчуждение от результата труда. Человек понимает, зачем он совершает те или иные действия и каким будет результат. Более того, в компании должны быть построены механизмы вовлечения сотрудников в принятие решений по конечному видению продукта, тогда будет сохраняться высокий уровень мотивации. И, наконец, мастерство (по Пинку) как мотивирующий фактор позволяет преодолеть одну из важнейших причин отчуждения – превращение труда в средство вместо цели. Современные теории мотивации все чаще делают акцент на том, что внешнее стимулирование трудовой активности бессмысленно либо вредно. Идея заключается в том, что если система не приводит к отчуждению человека от процесса труда, то люди будут работать продуктивно, поскольку это свойственно человеку. Но природу этого отчуждения современные исследователи видят не в капитализме, а в неправильно построенной системе, где внешние факторы стимулирования превалируют над интересными задачами, свободой принятия решений и возможностью выбора способа действия. Управленческий фокус должен смещаться от микроменеджмента, управления процессом к выработке видения результата и донесения его важности и значимости до сотрудников. Менеджмент должен создать благоприятные условия для работы людей, предоставить ресурсы и устранить препятствия, и тогда люди будут работать продуктивно. Р. Шпренгер (Sprenger) в принципе отрицает любую возможность мотивировать индивида извне. По его мнению, любые способы внешней мотивации сотрудника могут только демотивировать его [4. С. 32]. Исследования показывают, что условные материальные вознаграждения и другие внешние факторы, например конкуренция и оценки, снижают

эффективность работы, требующей творческого подхода, когнитивной гибкости [25. Р. 6–21; 26. Р. 23–60]. Теоретики, работающие в контексте аджайл-подхода, также отрицают возможность внешнего стимулирования мотивации и рассматривают автономность как важный фактор высокой продуктивности, а кроме того, считают счастье на работе важным условием эффективного труда [5, 27].

Аджайл-менеджмент: главные черты

Логика развития управленческих моделей претерпела существенные изменения в XX и XXI вв. Важнейшим драйвером этих изменений, несомненно, был рост технологий, ускоряющийся с каждым десятилетием, который постепенно снизил актуальность простого ручного труда за счет постепенной автоматизации и роботизации производственных процессов. Вместе с тем возросла потребность в специалистах, способных выполнять задачи, требующие сильных когнитивных навыков, творческих компетенций и самостоятельности в принятии решений. Основной тренд в системе управления XXI в. – это постепенная передача все большего количества полномочий вниз, что в IT-сфере в итоге привело к специфической карьерной мобильности, когда профессиональный рост начал восприниматься большинством работников не как продвижение вверх по карьерной лестнице, а как расширение компетенций, рост числа освоенных технологий, важность и значимость проектов, в реализации которых сотрудник принимал участие. Такая система требует высокой вовлеченности и мотивированности сотрудника, самостоятельность подразумевает высокую компетентность рядового сотрудника в управлении рабочим процессом. Необходимость построения принципиально новой системы управления крупным бизнесом для того, чтобы он мог конкурировать с небольшими компаниями в гибкости и мобильности – едва ли не главные условия конкурентоспособности в XXI в., – порождает новый подход к управлению, который был назван «аджайл». Эксперты, которые выступали информантами в проведенном интервью, определяли аджайл следующим образом:

– *Это философия, образ мышления и, как следствие, поведения* (Интервью 1).

– *Аджайл – набор определенных миссией, которые у людей стимулируют желание совместно создавать ценность и апеллируют все время к здравому смыслу, который в классической парадигме почему-то не работает. Логично. Аджайл – это обычная человеческая жизнь, которую мы пытаемся в компаниях поселить* (Интервью 2).

– *Аджайл – это ценности* (Интервью 3).

– *Сам аджайл – это философия. Это 4 ценности и 12 принципов. Под этим зонтиком существует много различных практик. А сам аджайл – это философия, мировоззрение, то, как люди мыслят. Это ценности – ориентиры по жизни. Мы выбираем исходя из тех ценностей, которые у нас есть* (Интервью 5).

– *Смотри, для меня аджайл – это однозначно культура или мышление, а не методология. То есть я никогда не говорю, что это методология, метод, инструмент, что угодно. Для меня это именно мышление и именно культура, которая есть в компании* (Интервью 8).

– Аджайл – это философия про то, как работать, чтобы делать крутые продукты, которые будут выигрывать на рынке (Интервью 10).

– В первую очередь это про культуру и про подход к работе. То есть, скорее, философия, чем что-либо другое. Для меня это какой-то другой подход к организации деятельности людей, основанный на других ценностях, который впоследствии дает результат как в плане бизнес-процессов, так и в плане мотивации, удовлетворенности сотрудников, ну и в крутом продукте, удовлетворенных пользователей (Интервью 11).

Все эксперты, таким образом, солидарны во мнении, что аджайл – это прежде всего набор некоторых ценностных установок, которые являются основой любой деятельности. Таким образом, они делают отсылку к аджайл-манифесту, сформулированному в 2001 г. ведущими практиками в сфере информационных технологий, которые сформулировали документ, ставший ориентиром для современного менеджмента сначала в сфере ИТ, а потом и в других экономических отраслях. Этот документ содержит четыре основные ценности и двенадцать принципов:

«Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.

Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.

Сотрудничество с клиентом важнее согласования условий контракта.

Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

Таким образом, не отрицая важности того, что справа, мы все-таки больше ценим то, что слева» (Manifesto for Agile Software Development 2001).

Эти ценности воплощены в конкретных практиках управления, чертами которых являются:

– **Итерационно-инкрементальный подход в управлении циклом поставок.** Итерационность подразумевает, что работа строится короткими циклами, в конце каждого из которых проводится анализ и делаются практические выводы на основе полученного опыта. Все это дает возможность динамически корректировать процесс, адаптироваться к меняющимся условиям, снижать риски и повышать ценность результатов. Инкрементальность в управлении ИТ-проектом подразумевает, что необходимо так строить процесс работы, чтобы в конце каждой итерации происходила поставка некой бизнес-ценности – например нового функционала продукта, который можно продемонстрировать потенциальному пользователю и получить обратную связь. Этот подход отличается от традиционного менеджмента, полагающегося на долгосрочное планирование и диаграммы Ганта, поскольку слишком быстрые изменения и необходимость постоянной адаптации к переменам сложной внешней среды делают долгосрочное планирование невозможным, а необходимость следованию первоначальному плану снижает конкурентоспособность компании по сравнению с более мобильными и готовыми к быстрым переменам участниками рынка.

– Например, Windows. Скорость в 90-х – полтора-два года, в начале двухтысячных – около года сроки между релизами. Сейчас новый релиз – раз в месяц. Для веб-продуктов – иногда несколько дней или даже часов (Интервью 4).

– И мы все это делаем для того, чтобы быстрее выводить продукты. Это выражается в цифрах. Раньше мы делали 4 месяца – теперь мы делаем за месяц. Ты убираешь, во-первых, миллион помех – тупо сажая людей вме-

сте. То есть самое основное, на чем мы теряем время всегда – я поговорил с тобой, завтра надо поговорить с другим человеком, чтобы согласовать, с третьим, а у нас с ним разные цели и знания. И все это с точки зрения создания ценности – 80 процентов потери и 20 процентов результата. Убираем все эти потери – чтобы создавался результат быстрее. Достигается от физической колокации людей до выравнивания целей, до объединения вокруг, собственно говоря, одной какой-то тематики, фокусирование на этой тематике – это то, что можно увидеть в цифрах, в общении с людьми, разных показателях (Интервью 2).

– **Командная работа над проектом, автономность и кроссфункциональность команд.** В аджайл-компаниях предусмотрена специфическая структура, единицей которой является не индивид, а команда. Система мотивации строится таким образом, чтобы повышать сотрудничество и социальную интеграцию и не допускать внутрикомандной конкуренции. С этим связано, например, отрицательное отношение в аджайл-компаниях к личному КРІ – поощрению отдельных членов команд за индивидуальные достижения. Материальная мотивация, в принципе, не признается в качестве эффективного стимула, идея о том, что «человек не может лучше решить задачу или быстрее думать, если ему больше заплатить» является одной из аксиом аджайл-подхода [3–5]. Это не отменяет возможности выплат премий и бонусов, но они должны быть одинаковыми для всех членов команды для повышения уровня социальной интеграции.

Другой чертой аджайл-структуры является автономность и кроссфункциональность команд. Это означает, что аджайл-менеджмент стремится к уменьшению зависимости команд друг от друга: команды формируются не вокруг выполняемой функции, что свойственно традиционному предприятию, где это является основным принципом разделения на отделы, а вокруг продукта. Команда, таким образом, объединяет специалистов с разными компетенциями для того, чтобы они могли выполнить общую задачу и поставить инкремент в конце итерации.

– *Надо было менять структуру команды, избавляться от ролей, делать команды кроссфункциональными. Сопротивление связано с потерей власти (у среднего менеджмента. – Прим.) На уровне команд – более старшие, склонные к консерватизму. Молодые более заряжены, им интереснее с этим работать* (Интервью 1).

Подобная система, построенная на постоянной коммуникации сотрудников между собой, выводит на первый план вопросы комфортного социально-психологического климата, решения появляющихся конфликтов и создания продуктивной коммуникации и обратной связи. Традиционное представление о программистах как о людях, которые общаются исключительно с компьютером, претерпело серьезные изменения в последние десятилетия. Количество и интенсивность коммуникаций между сотрудниками возрастает, что, с одной стороны, положительно влияет на мотивацию людей, поскольку получение обратной связи от социальной группы является сильнейшим стимулом для любого социального существа, включая людей, с другой стороны, требует развития у каждого члена команды навыков коммуникации, координации, улаживания конфликтов и продуктивного взаимодействия, что получило название «soft-skills» и является сегодня необходимым дополнением к про-

фессиональной экспертизности индивида и в тех сферах, где раньше не предполагалось общения с людьми.

– **Плоская структура управления, вовлеченность сотрудников в процесс принятия решений.** В процессе аджайл-трансформаций компаний происходит постепенное уплощение и упрощение управленческой структуры. Это связано со специфическим способом организации, описанным выше, когда единицей рабочего процесса является не индивид, а самоорганизующаяся команда, обладающая высокой степенью автономности. Принцип самоорганизации предполагает, что команда обладает свободой в принятии решений относительно способов достижения целей, которые определяются стратегией развития продукта. Таким образом, менеджмент ставит перед командой высокоуровневые цели, а способы достижения определяются самими сотрудниками, делегирование и контроль производится на горизонтальном уровне, посредством регулярных «сверок», например, с помощью взаимного ревью, открытой для всей команды системы трекинга задач, где видна динамика работы каждого или ежедневных кратковременных собраний. Нетрудно заметить, что при такой системе функции, которые были свойственны среднему менеджменту, полностью переходят к команде. Это приводит к уменьшению звеньев между рядовым сотрудником и владельцем компании и является причиной того, почему наибольшее сопротивление при проведении аджайл-трансформаций оказывает средний менеджмент. На это указывают эксперты:

– *Средний менеджмент потому что в парадигме аджайла, и вообще вот этого века, это действительно лишнее... роль эта мидл-менеджмента теряет смысл, когда ты переходишь к кроссфункциональным автономным командам, потому что они могут самоорганизовываться и координировать работу между собой и не должны умные люди с высшим образованием, менеджеры, тратить свое драгоценное время на глупые вещи, такие как оценку людей, контроль их, координацию... И конечно, они видят в этом угрозу, да, потому что как бы роль под угрозой, ты действительно не нужен. И, конечно, их самих станет меньше (Интервью 7).*

– *Руководство обычно понимает ценность, но есть слой, его обычно называют мидл-менеджмент, которые на данный момент находятся на позициях управления и им не хочется свои позиции сдавать. Они защищаются, протестуют и бунтуют и, в общем, можно их понять (Интервью 11).*

– **Культура ошибки вместо культуры вины, постоянное экспериментирование.** Поскольку цель внедрения аджайл-подхода в управление – повышение гибкости компании за счет быстрой адаптации к меняющимся условиям, то главным способом получения обратной связи от внешней среды является постоянное экспериментирование. Культура эксперимента невозможна без права на ошибку, и в аджайл-компаниях формируется представление о том, что отсутствие провалов в работе – это минус, который свидетельствует о том, что команда не выходит за рамки привычных паттернов решения задач и, следовательно, не сможет произвести ничего принципиально инновационного:

– *И это наверное всякие «мягкие» вещи, типа, каким образом / когда меняется отношение к ошибкам и как это транслируется в метрике. Например, мы ставим себе в виде метрик количество фейлов, которое допустили.*

Мы говорим, ошибаться – это круто! Ошибаться – здорово. Мы стимулируем людей ошибаться. Больше, чаще – главное не на том же самом, на чем они ошибались ранее (Интервью 2).

Способы преодоления отчуждения в аджайл-компаниях

Рассмотренные выше особенности аджайл-подхода к управлению подразумевают специфическую систему трудовой мотивации, отрицающую управление через поощрение прямыми материальными стимулами. Вместо этого в аджайл-компаниях делается акцент на формировании мотивирующей среды, где человек может максимально раскрыть свой потенциал, достигая поставленных целей с высокой степенью личной свободы выбора решений. Рассмотрим, как современные системы аджайл-менеджмента решают проблемы отчуждения, описанные К. Марксом.

Проблема отчуждения от процесса труда и от человеческого в себе.

К. Маркс рассматривает отчуждение человека от процесса труда как разрушение присущей человеку от природы потребности в труде, поскольку труд носит принудительный характер и не приносит удовлетворения и счастья. Становясь средством для выживания, а не целью существования человека, такой подневольный, вынужденный труд, управляемый внешними потребностями, отчуждает человека от человеческого в себе: «Отчужденный труд отчуждает от человека его собственное тело, как и природу вне его, как и его духовную сущность, его человеческую сущность» [9. С. 86]. В современных теориях мотивации и в частности аджайл-подходе отчуждение от процесса труда рассматривается в разрезе утраты автономности актора. Необходимость сохранения автономности рассматривается в работах Д. Пинка, Д. Сазерленда, Н. Шпренгера. Пинк пишет, что автономия является базовой частью человеческой природы, Шпренгер указывает на недостаток свободного пространства как на важнейший демотивирующий фактор, а Сазерленд создает и активно внедряет фреймворк, который помогает добиться высокой автономности. Отсутствие автономности постепенно приводит к выученной беспомощности. В этой ситуации локус контроля индивида («механизм атрибуции ответственности индивидом за результаты своей деятельности») постепенно смещается вовне, и человек перестает чувствовать свою ответственность за происходящее с ним.

Аджайл построен на возвращении автономности сотруднику и команде. Перед командой ставится высокоуровневая задача, а то, как команда будет ее выполнять, какие инструменты и инженерные практики для этого использовать, решается с помощью совместного открытого обсуждения:

– Мы строим команды вокруг мотивированных профессионалов, их не нужно менеджерить, не нужно контролировать. Нужно дать интересную задачу, не задачу, а проблему. А они сами придумают, какими способами ее можно решить и выберут самый лучший... и сделают оптимально с точки зрения технических инструментов (Интервью 1).

– Важна автономность – через определенный набор вопросов и подглядывание за процессами ты смотришь, насколько у тебя спущено вниз принятие решений, а с другой стороны, люди наделены power'ом, чтобы эти решения принимать, насколько они автономны (Интервью 2).

– *Надо перестроить организацию и следить не за тем, кто чем занят, а за тем, что работа движется, то есть, грубо говоря, мы хотим видеть, что мяч залетает в ворота, а не что футболисты бегают* (Интервью 7).

– *Люди ответственные, профессиональные могут сами нести ответственность, принимать наилучшие решения, они все равны* (Интервью 11).

Таким образом, происходит возврат автономности к человеку труда. Он сам контролирует свое рабочее поведение, принимает решение о том, какими способами ему достигать целей. Самостоятельность и автономность, которых не было у рабочего на индустриальном предприятии, возвращают человеку ощущение контроля и способствуют преодолению отчуждения от процесса труда.

Проблема отчуждения от результата труда. Отчуждение от результата труда проявляется, во-первых, в физическом отделении продукта труда от его создателя, во-вторых, в отсутствии ощущения своего вклада в продукт. По мнению Маркса, эти процессы неотъемлемо присущи капиталистическому производству: «Все эти следствия уже заключены в том определении, что рабочий относится к продукту своего труда как к чужому предмету» [9. С. 88]. Преодоление этих аспектов отчуждения происходит посредством нескольких практик, принятых в аджайл-компаниях. Первая относится к базовым составляющим аджайл-подхода, это целеполагание через конечный результат для пользователя, а не через достижение выполнения поставленной задачи. В традиционном для индустриального производства подходе рабочему не обязательно понимать не только то, какую потребность конечного пользователя будет выполнять сделанный им продукт, но и в целом не обязательно представлять весь производственный цикл, достаточно только разбираться в тех непосредственных задачах, которые связаны с его участком работы. В аджайл-компаниях такой подход считается одним из сильнейших демотивирующих факторов, способствующих отчуждению от результата труда. Работа выстроена таким образом, чтобы каждый исполнитель видел конечную цель своей работы. В аджайл-компаниях существует ряд инструментов, позволяющих конвертировать этот принцип в конкретные инженерные практики. Например, вместо долгосрочного плана работ формируется карта продукта, команда сама формирует задачи на основе продуктового бэклога – приоритизированного списка, перечня всех функций, которые люди хотят получить от продукта. Такой подход возвращает в работу связь с конечным результатом, учит мыслить в терминах ценности продукта для конечного пользователя.

– *А инженеры... когда они не просто код пишут, а реальную ценность приносят. А это реально мотивирует, не деньги, а то, что приносят пользу, проблему решают люди* (Интервью 1).

Другой практикой является авторизация результата труда. В резюме специалистов чаще можно видеть список реализованных проектов, чем просто перечисление навыков и выполняемых обязанностей. IT-продукты все чаще всего имеют своего «автора», и это не компания, а конкретные инженеры или продуктовый менеджер. Такую тенденцию можно заметить на отраслевых конференциях и в специализированных блогах. Стремление создавать свое портфолио и отношение к выпущенным продуктам как к своим очевидно.

Третья практика, которая направлена на преодоление отчуждения от результатов труда, связана с изменением экономических отношений владельцев и работников: все чаще в крупных IT-компаниях сотрудники помимо зарплаты получают опционы – договор, который предусматривает получение доли или акций компании, в которой сотрудник отработает определенное количество времени. Это также разрушает привычную классовую дихотомию Маркса, в которой есть собственник и есть наемный работник. Отчуждение от результата труда преодолевается уже не только на уровне ощущений причастности к созданию продукта, но и на юридическом уровне.

Проблема отчуждения человека от человека. Маркс подчеркивал важную роль групповой интеграции для человека и признавал ее влияние на продуктивность: он считал, что любой социальный контакт повышает производительность работника [9]. В XX в. было проведено много исследований, демонстрирующих положительное влияние групповой интеграции на трудовую мотивацию – например, эксперименты Мэйо, исследования Келлера. Социальные потребности признавались важнейшими в теориях Маслоу, Баард (Baard), Райан (Ryan) и Деси (Deci) [28. Р. 2045–2068], которые называют потребность связанности с другими людьми базовой психологической потребностью человека. Несмотря на это логика развития индустриального общества в целом и индустриального производства в частности шла в сторону атомизации и дезинтеграции людей. Практически весь XX в. мы видели эти тенденции, пока с развитием постиндустриального общества они не сменились на противоположные. В начале XXI в. мы видим, как тренд на повышение интеграции проявляет себя в обществе ростом гражданских объединений, а в трудовой сфере – появлением и повсеместным интересом к организации трудового процесса таким образом, чтобы структурной единицей в нем выступал не индивид, а команда. Аджайл-подход наиболее ярко демонстрирует эту тенденцию, используя командную синергию как основной источник управления, принятия решений, генерации идей и мотивации. Преодоление отчуждения людей друг от друга является важнейшей задачей аджайл-трансформации и обеспечивается комплексной системой действий.

Во-первых, происходит изменение структуры компании: вместо функциональных отделов, которые объединяют сотрудников с узкой специализацией, появляются кросс-функциональные команды, которые могут автономно решить поставленную задачу от начала и до конца, но только в постоянном взаимодействии друг с другом.

– *Компания строится не вокруг функции, а вокруг бизнес-ценности (Интервью 1).*

– *Когда у тебя на тренинге сидит ряд руководителей высшего звена, ты можешь пошатнуть их ментальные модели, такие как, допустим, «хорошо, когда все люди заняты в организации» или «когда у меня есть узкий специалист и каждый знает свою работу и все разделено по подразделениям, маркетологи занимаются маркетингом, а продажники продажами занимаются, то организация выигрывает от этого» и куча других ложных убеждений (Интервью 7).*

– *Если ты видишь, что у вас якобы кроссфункциональная команда – но один фронтенд, один бэкенд, тестировщик и аналитик отдельно, и нет никакой мультидисциплинарности, ты видишь потом, что scrum не работает точно*

так же. Окей, это означает, что не команда владеет задачей, а я лично владею задачей, так как в данный момент я пишу веб. Scrut не про это (Интервью 8).

Аджайл-подход предполагает командную ответственность за выполнение задачи, изменяется в том числе система KPI, личные метрики эффективности заменяются командными:

– Конечно, в очень продвинутых и осознанных с точки зрения аджайл-команд – мы не найдем личных KPI, личных бонусов. Вся эта история не работает, противоречит идее гибкости (Интервью 8).

Во-вторых, рабочий процесс строится таким образом, чтобы сотрудники как можно больше взаимодействовали друг с другом в процессе решения задач. Это начинается с системы онбординга (интеграции нового специалиста в команду) и вырастает в систему с высокой степенью социальной интеграции:

– Потратили колоссальное количество усилий, чтобы сразу научить правильным подходам к работе, была выстроена мощная система онбординга, как конвейер, когда новичка сажали прямо сразу к наставнику и даже если у него не было опыта парной работы, он его приобретал. Мы знакомили их не только со своей командой, но и со всеми командами. Формировали такую культуру, если не знаешь – спроси, если не знаешь – подойди и попроси помощи. И никто не отказывал. И люди начинали к этому привыкать. Эта атмосфера доверия, взаимопомощи появилась и стала жить своей жизнью. Это общая черта... часть культуры аджайла (Интервью 1).

– Они чувствуют ответственность за какой-то общий результат, но если не дотянут – виноват будет кто-то один. Когда это аджайл-команда, там по-другому. Они говорят... Мы-сообщения – нам надо сделать, нам надо показать. Они помогают друг другу. Они включаются и помогают. Вася не ждет, когда Петя сделает свой кусок работы, а помогает. Либо кофе ему принести, если не может включиться, чтоб тот не отвлекался, либо непосредственно включиться в работу и что-то поделаться. Видно, как друг друга поддерживают (Интервью 5).

Все бизнес-процессы подразумевают взаимодействия, например, наиболее популярный управленческий фреймворк скрам предполагает ежедневные встречи команды на 10–15 минут, а в течение каждой итерации (они длятся от одной до четырех недель в зависимости от производственного цикла) проводится несколько командных встреч общей продолжительностью от 6 до 16 часов. В отличие от традиционных совещаний все встречи проводятся в формате фасилитации: с помощью специальных инструментов вовлечения участников скрам-мастер (его задача – внедрение и поддержка скрама в команде) обеспечивает активную работу каждого члена команды, высокую продуктивность и результативность таких встреч.

В-третьих, сама рабочая среда, физическое пространство, в котором функционирует современная IT-компания, способствуют взаимообмену идеями и интеграции: множество пространств для совместной работы, многочисленные кофе-пойнты (оборудованные места с кофе и снеками), рекреационные зоны, удобные для совместной деятельности рабочие места. Общение на рабочем месте перестает считаться тратой времени и всячески поддерживается и стимулируется работодателем с помощью проектирования рабочих пространств.

Заключение

Карл Маркс первым обратил внимание на дисфункции индустриального производства, удивительным образом точно назвав те болевые точки, которые станут фокусом внимания менеджмента в конце XX в. Тем не менее мы рассматриваем аджайл-подход к управлению как способ преодоления отчуждения без радикального изменения общественно-политической формации. Нам представляется, что отчуждение, о котором писал Маркс, достигшее своего пика в XX в., детерминировано не капиталистической системой и не является производной отношений между классами, но есть продукт индустриального общества. В социалистических экономиках, где собственность на средства производства была государственной, можно было увидеть те же самые процессы: отсутствие автономности, потеря понимания смысла своей работы, нарастающее отчуждение друг от друга. Не революционные изменения строя, но роботизация и автоматизация наиболее рутинного, деморализующего или приводящего к физическому истощению труда обеспечивает возможность развития на работе, раскрытие своего потенциала и достижение той цели человеческой природы, счастья в труде, о которых писал Маркс.

В то же время важно понимать, что сама по себе автоматизация производства не способна повышать автономность, а в ряде случаев, напротив, может способствовать ее снижению: например, А. Шевчук, рассматривая децентрализованные формы организации труда посредством цифровых платформ, где самозанятые исполнители могут получать заказы, доказывает, что алгоритмизация, напротив, снижает автономность и не дает возможности выбора [1. С. 30]. Это показывает, что одни и те же технологические возможности могут приводить как к повышению автономности сотрудников, так и к ее снижению и, соответственно, повышению уровня отчуждения в труде в зависимости от управленческой парадигмы.

Аджайл-подход, ориентированный на высокую вовлеченность и самоорганизацию сотрудников, дает возможность преодоления отчуждения и возвращения человеческому труду статуса цели и источника развития, а не средства выживания. По итогам анализа экспертного интервью можно выделить следующие способы преодоления отчуждения, которые используют современные компании:

- Повышение автономности команд: вместо внешнего контроля над процессом работы в аджайл-компаниях практикуют постановку перед командой высокоуровневых задач. Команда при этом обладает самостоятельностью в выборе технологий, способов декомпозирования и решения задачи. Контроль над процессом, например, анализ диаграмм сгорания задач, скрам-доска и другие инструменты визуализации и оценки прогресса – это способ для команды оценить свой прогресс и улучшить самоорганизацию, а не метрика для контроля команды внешними структурами. Такие практики в совокупности способствуют преодолению отчуждения от процесса труда.

- Командная работа над проектом. В аджайл-компаниях единицей рабочего процесса является не индивид, а команда. Команды выстраиваются по принципу кросс-функциональности, вокруг продукта, а не выполняемой работы (например, «команда, которая делает систему платежей в приложении», а не «отдел мобильной разработки»). Управленческая модель, построенная по

принципу самоорганизации команд, подразумевает постоянную коммуникацию, а командная ответственность за результат способствует развитию взаимопомощи и поддержки. Так преодолевается отчуждение людей друг от друга в процессе производства.

– Наличие понятной и разделяемой сотрудниками цели работы. В аджайл-компаниях считается критически важным, чтобы каждый сотрудник понимал конечную цель своей трудовой деятельности и чтобы эта цель была достаточно вдохновляющей и сама по себе мотивировала актора работать над продуктом.

– Авторизация результата: труд перестает быть анонимным за счет того, что вместо структуры с функциональными отделами сотрудники работают в небольших командах над автономным продуктом (или отделяемой частью продукта), каждый сотрудник авторизует результат этого труда.

Такая комплексная система управленческих действий способствует преодолению отчуждения в трудовом процессе, что, в свою очередь, повышает продуктивность сотрудников и в конечном счете приводит к росту прибыли работодателя.

Приложение

Список экспертов

1. Внутренний аджайл-коуч крупной компании, настраивал аджайл-процессы в компании, которую большинство экспертов приводили как пример наиболее «зрелого» и «правильного» аджайл-менеджмента.

2. Аджайл-коуч компании, крупного игрока в сфере реализации аджайл-трансформаций.

3. Руководитель компании, аджайл-коуч, специализируется на работе с крупными корпорациями.

4. Руководитель компании, аджайл-коуч, специализируется на работе с крупными корпорациями.

5. Внутренний аджайл-коуч компании, которую ряд экспертов называли в числе наиболее успешных в Санкт-Петербурге с точки зрения внедрения аджайл-подхода.

6. Аджайл-коуч компании, крупного игрока в сфере реализации аджайл-трансформаций.

7. Аджайл-коуч компании, крупного игрока в сфере реализации аджайл-трансформаций.

8. Внутренний аджайл-коуч IT-компании.

9. Аджайл-коуч компании, крупного игрока в сфере реализации аджайл-трансформаций.

10. Внешний аджайл-коуч, специализируется на работе со стартапами, малым и средним бизнесом.

11. Внешний аджайл-коуч, специализируется на работе со стартапами, малым и средним бизнесом.

Литература

1. Шевчук А. От фабрики к платформе: автономия и контроль в цифровой экономике // Социология власти. 2020. Т. 32, № 1. С. 30–54. DOI: 10.22394/2074-0492-2020-1-30-54

2. Mann S., Besser T. Diversification and Work Satisfaction: Testing a Claim by Marx and Engels for Farmers // *Rural Sociol.* 2017. № 82. С. 349–362.
3. Pink D.H. Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. // Riverhead Books. 2011. P. 1–272.
4. Sprenger R.K. Mythos Motivation // *Wege aus einer Sackgasse*, Campus Verlag. 2002. P. 1–295.
5. Sutherland J. Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, Crown Publishing Group. 2014. P. 1–256.
6. Drucker P. Managing in the Next Society. Griffin; Reprint edition. 2002. P. 1–321.
7. Porter T., Gerhardt M., Fields D., Bugenhagen M. An exploratory study of gender and motivation to lead in millennials // *The Journal of Social Psychology.* 2019. 03.04. P. 138–152.
8. Немировская А.В., Соболева Н.Э. Трудовые аттитуды и самооценка трудового положения молодежи и взрослого населения Ленинградской области и г. Санкт-Петербург // Условия и способы повышения активности молодежи как субъекта инноваций и устойчивого развития регионов : сб. докл. ст. участников XV Всерос. науч.-практ. конф. в рамках инициативной программы «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов». Санкт-Петербург, 9–11 октября 2019 г. / сост. Н.И. Лапин, Р.Х. Салахутдинова; отв. ред. А.В. Немировская. СПб. : Реноме, 2019. С. 44–59.
9. Маркс К. Критика политической экономии. Черновой набросок 1857–1858 годов // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: 2-е изд. 1955.
10. Чепуренко А.Ю. Маркс в университете 3.0? // *Социологические исследования.* 2018. № 5. С. 26–34.
11. Удальцова М.В., Абрамова Е.А. Социальные взаимодействия как механизм формирования социальности // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология.* 2019. № 48. С. 126–134. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-vzaimodeystviya-kak-mehanizm-formirovaniya-sotsialnosti> (дата обращения: 03.05.2020).
12. Красильщиков В.А. Карл Маркс: двести лет молодости? // *Социологические исследования.* 2018. № 5. С. 3–14. DOI: 10.7868/S013216251805001
13. Черныш М.Ф. Современный марксизм в мировом и российском контекстах // *Социологические исследования.* 2018. № 5. С. 15–25. DOI: 10.7868/S0132162518050021
14. Славин Б.Ф. О социальном идеале Маркса и исторических пределах развития капитализма // *Социологические исследования.* 2018. № 5. С. 35–44. DOI: 10.7868/S0132162518050045
15. Красин Ю. А. Марксизм: взгляд из XXI века // *Социологические исследования.* 2018. № 5. С. 45–55. DOI: 10.7868/S0132162518050057
16. Worrell M.P., Krier D. Atopia Awaits! A Critical Sociological Analysis of Marx's Political Imaginary // *Critical Sociology.* 2018. № 44(2). P. 213–239. DOI: 10.1177/0896920515620476
17. Salerno R. A. Imagining Lacan Imagining Marx // *Critical Sociology.* 2018. № 44(2). P. 259–266. DOI: 10.1177/0896920516658942
18. Jourshari A., Haghighat S. An assessment of the concept of alienation in marxist theories // *Amazonia Investiga.* 2019. № 8(18). P. 471–482. URL: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/360>
19. Lotz C. Alienation, Private Property, and Democracy // *Critical Sociology.* 2018. № 44(2). P. 267–274. DOI: 10.1177/0896920516664963
20. TenHouten W. Alienation, from Hegel and Feuerbach to Marx and Engels // *Routledge Advances in Sociology.* 2017. P. 30–44.
21. Byron C. Essence and Alienation: Marx's Theory of Human Nature // *Science & Society.* 2016. Vol. 80, № 3. P. 375–394. DOI: 10.1521/siso.2016.80.3.375
22. Miguélez B. La Producción Socioinstitucional de Sufrimiento Social // *International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences.* 2016. № 5(1). P. 1–25. DOI: 10.17583/rimcis.2016.1802
23. Seignani S. Privacy and Capitalism in the Age of Social Media Preface // *Routledge Research in Information Technology and Society.* 2016. Book 18. P. 1–254.
24. Krahn H.J., Lowe G.S. Work, Industry, and Canadian Society: second edition. Scarborough, Nelson Canada, 1993.
25. Amabile T.M., Goldfarb P., Brackfield S.C. Social influences on creativity: Evaluation, coercion, and surveillance // *Creativity Research Journal.* 1990. № 3(1). P. 6–21. DOI: 10.1080/10400419009534330
26. McGraw K.O. The Detrimental Effects of Reward on Performance: A Literature Review and a Prediction Model // *The Hidden Costs of Reward: New Perspectives on the Psychology of Human Motivation* / eds. M. Lepper, D. Greene. London : Psychology Press, 1978. P. 33–60.

27. Maximini D. The Scrum Culture: Introducing Agile Methods in Organizations. Springer International Publishing, 2018.

28. Baard P.P., Deci E.L., Ryan R.M. Intrinsic need satisfaction: A motivational basis of performance and well-being in two work settings // Journal of Applied Social Psychology. 2004. № 34 (10). P. 2045–2068.

Nadezhda A. Orlova, Higher School of Economics in Saint Petersburg (Saint Petersburg, Russian Federation).

E-mail: naorlova@hse.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 152–169.

DOI: 10.17223/1998863X/58/15

REVISING KARL MARX'S CONCEPT OF ALIENATION THROUGH THE AGILE APPROACH

Keywords: work motivation; alienation; agile; autonomy; Marx.

The twentieth century demonstrated the undoubted correctness of Marx's theory of alienation. Many of the problems he pointed out reached their climax at the end of the twentieth century and became the focus of attention when management realized them as an obstacle to development in the most innovative sectors of the economy. On the other hand, non-capitalist production showed similar dysfunctions associated with alienation. All this shows that alienation, which Marx considered a product of capitalism, is, on the whole, a property of the industrial system and the requirements that it makes to organizing labor, to the place and role of the actor in the production system. Post-industrial society is freed from alienation in labor due to new approaches to management and work motivation, agile transformations in particular. The article presents the results of a theoretical review of Marx's theory of alienation. The author analyzed the methods of overcoming alienation used in agile companies. The results of expert interviews are presented in the article. The informants were 11 experts in the field of agile transformations: heads of companies that have implemented agile transformations of large oil and gas enterprises, banks and a number of other large corporations; external consultants on setting up agile business processes in startups; agile coaches of IT companies working in-house. Based on the conducted expert interviews, the author demonstrates the ways a modern company, in the post-industrial era, changes its approach to management, overcoming the aspects of alienation Marx wrote about, but at the same time remains within the framework of the capitalist system and private ownership on the production means. Based on the results of the analysis of the interviews, the following methods of overcoming alienation modern companies use are distinguished: 1. Increasing teams' autonomy: instead of external control over the work process, agile companies practice setting high-level tasks for teams. Such practices collectively are a way to overcome alienation from the work process. 2. Teamwork on the project. In an agile company, the work unit is not an individual, but a team. The management model, built on the principle of teams' self-organization, implies constant communication, and team responsibility contributes to the development of mutual assistance and support. Thus, the alienation of people from each other in the production process is overcome. 3. Having a clear and shared work purpose. 4. Authorization of the result: it ceases to be anonymous due to the fact that instead of a structure with a team of functional departments, employees work in small groups on an autonomous product.

References

1. Shevchuk, A. (2020) From Factory to Platform: Autonomy and Control in the Digital Economy. *Sotsiologiya vlasti – Sociology of Power.* 32(1). pp. 30–54. DOI: 10.22394/2074-0492-2020-1-30-54
2. Mann, S. & Besser, T. (2017) Diversification and Work Satisfaction: Testing a Claim by Marx and Engels for Farmers. *Rural Sociology.* 82. pp. 349–362. DOI: 10.1111/ruso.12129
3. Pink, D.H. (2011) *Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us.* Riverhead Books. pp. 1–272.
4. Sprenger, R.K. (2002) *Mythos Motivation: Wege aus einer Sackgasse.* Campus Verlag. pp. 1–295.
5. Sutherland, J. (2014) *Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time.* Crown Publishing Group. pp. 1–256.
6. Drucker, P. (2002) *Managing in the Next Society.* Griffin; Reprint edition. pp. 1–321.

7. Porter, T., Gerhardt, M., Fields, D. & Bugenhagen, M. (2019) An exploratory study of gender and motivation to lead in millennials. *The Journal of Social Psychology*. 159(2). pp. 138–152. DOI: 10.1080/00224545.2019.1570902
8. Nemirovskaya, A.V. & Soboleva, N.E. (2019) Trudovye attityudy i samoocenka trudovogo polozheniya molodezhi i vzoslogo naseleniya Leningradskoy oblasti i g. Sankt-Peterburg [Labor attitudes and self-assessment of the labor situation of youth and the adult population of Leningrad region and St. Petersburg]. In: Nemirovskaya, A.V. (ed.) *Usloviya i sposoby povysheniya aktivnosti molodezhi kak sub"ekta innovatsiy i ustoychivogo razvitiya regionov* [Conditions and methods of increasing the activity of youth as a subject of innovation and sustainable development of regions]. St. Petersburg: Renome. pp. 44–59.
9. Marx, K. (1955) Kritika politicheskoy ekonomii. Chernovoy nabrosok 1857–1858 godov [Critique of Political Economy. A rough sketch of 1857–1858]. In: Marx, K. & Engels, F. *Sochineniya* [Works]. 2nd ed. Translated from German. Moscow: Izdatel'stvo politicheskoy literatury.
10. Chepurenko, A.Yu. (2018) Marx at the University 3.0? *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 5. pp. 26–34. (In Russian).
11. Udaltsova, M.V. & Abramova, E.A. (2019) Social interactions as a mechanism that forms sociality. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 48. pp. 126–134. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/48/12
12. Krasilshchikov, V.A. (2018) Karl Marx: 200 Years of Youth? *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 5. pp. 3–14. (In Russian). DOI: 10.7868/S013216251805001
13. Chernysh, M.F. (2018) Marxism in the global and Russian contexts. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 5. pp. 15–25. (In Russian). DOI: 10.7868/S0132162518050021
14. Slavin, B.F. (2018) The social ideal of Marx and historical limits of the capital development. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 5. pp. 35–44. (In Russian). DOI: 10.7868/S0132162518050045
15. Krasin, Yu.A. (2018) Marxism: a view from 21st century. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 5. pp. 45–55. (In Russian). DOI: 10.7868/S0132162518050057
16. Worrell, M.P. & Krier, D. (2018) Atopia Awaits! A Critical Sociological Analysis of Marx's Political Imaginary. *Critical Sociology*. 44(2). pp. 213–239. DOI: 10.1177/0896920515620476
17. Salerno, R.A. (2018) Imagining Lacan Imagining Marx. *Critical Sociology*. 44(2). pp. 259–266. DOI: 10.1177/0896920516658942
18. Jourshari, A. & Haghighat, S. (2019) An assessment of the concept of alienation in marxist theories. *Amazonia Investiga*. 8(18). pp. 471–482. [Online] Available from: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/360>
19. Lotz, C. (2018) Alienation, Private Property, and Democracy. *Critical Sociology*. 44(2). pp. 267–274. DOI: 10.1177/0896920516664963
20. TenHouten, W. (2017) *Alienation, from Hegel and Feuerbach to Marx and Engels*. Routledge Advances in Sociology. pp. 30–44.
21. Byron, S. (2016) Essence and Alienation: Marx's Theory of Human Nature. *Science & Society*. 80(3). pp. 375–394. DOI: 10.1521/siso.2016.80.3.375
22. Miguélez, B. (2016) La Producción SocioInstitucional de Sufrimiento Social. *International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences*. 5(1). pp. 1–25. DOI: 10.17583/rimcis.2016.1802
23. Seignani, S. (2016) Privacy and Capitalism in the Age of Social Media Preface. *Routledge Research in Information Technology and Society*. 18. pp. 1–254. DOI: 10.4324/9781315674841
24. Krahn, H.J. & Lowe, G.S. (1993) *Work, Industry, and Canadian Society*. 2nd ed. Scarborough, Nelson, Canada: Nelson College Indigenous.
25. Amabile, T.M., Goldfarb, P. & Brackfield, S.C. (1990) Social influences on creativity: Evaluation, coaction, and surveillance. *Creativity Research Journal*. 3(1). pp. 6–21. DOI: 10.1080/10400419009534330
26. McGraw, K.O. (1978) The Detrimental Effects of Reward on Performance: A Literature Review and a Prediction Model. In: Lepper, M. & Greene, D. (eds) *The Hidden Costs of Reward: New Perspectives on the Psychology of Human Motivation*. London: Psychology Press. pp. 33–60.
27. Maximini, D. (2018) *The Scrum Culture: Introducing Agile Methods in Organizations*. Springer International Publishing.
28. Baard, P.P., Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2004) Intrinsic need satisfaction: A motivational basis of performance and well-being in two work settings. *Journal of Applied Social Psychology*. 34(10). pp. 2045–2068.

УДК 316.42

DOI: 10.17223/1998863X/58/16

А.Б. Рахманов

ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА АПОКАЛИПСИСА: ПРИЧИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРОБОК В КРУПНЫХ ГОРОДАХ МИРА

Автомобильные пробки являются одной из наиболее важных проблем крупных городов всех стран мира. На основе анализа 52 мегаполисов планеты с самыми значительными пробками автор выдвигает концепцию генезиса пробок. Согласно этой концепции пробки в крупных городах разных стран мира обусловлены иерархической комбинацией шести причин или же части из них. Особое внимание уделяется анализу причин пробок в крупных городах России.

Ключевые слова: транспорт, автомобиль, пробки, город, урбанистика, культура труда, архитектурно-градостроительный тип.

Автомобили и пробки

Автомобиль давно уже стал неотъемлемым атрибутом потребительского общества позднего капитализма, выступая как своего рода верховный бог политеистической религии консьюмеризма. Будь Р. Декарт нашим современником, он, вероятно, сказал бы: «Я управляю автомобилем, следовательно, я существую». «Воля к власти» Ф. Ницше трансформировалась в стремление обогнать «ближнего своего» по автомобильной полосе, а мораль господ и мораль рабов – в мораль водителей и мораль пешеходов, в мораль водителей дорогих автомобилей и автомобилей эконом-класса. Герой Ф.М. Достоевского, возможно, воскликнул бы в наши дни: «Тварь ли я, пешком ходящая, или право на автомобиль представительского класса имею?»

Однако массовая автомобилизация породила пробки, которые уже давно стали большой проблемой в первую очередь крупных городов всех стран мира. Мегаполисы работают как фабрики по производству пробок. Ежедневно и повсеместно пробки приводят к огромным экономическим, временным, психологическим, экологическим и иным издержкам, которые ложатся на плечи водителей автомобилей и иных транспортных средств, транспортных предприятий, экономик городов и национальных экономик, а также пешеходов и жителей городов. Например, в Японии, согласно информации Министерства землепользования, инфраструктуры, транспорта и туризма этой страны за 2015 г., в пробках в этой стране терялось в совокупности 8 млрд часов в год, что составляло 40% от времени, необходимого на поездки [1. Р. 3].

Автомобиль был изобретен, и им пользуются с целью совершения быстрых и комфортных перемещений, но ежедневное появление большого количества автомобилей на улицах любого крупного города планеты ведет к тому, что поездки стали совсем не быстрыми и далеко не комфортными, т.е. приводят к противоположным эффектам. Пробки, вероятно, одно из наиболее ярких подтверждений тезиса Гегеля об «иронии истории», заключающейся в том, что люди получают благодаря своей деятельности не те результаты, к которым они стремились. В духе философии Л. Фейербаха можно сказать, что пробки –

это отделение от человека его транспортно-коммуникативных сил и их обращение против него. Вслед за ранним К. Марксом следует, пожалуй, выделить четыре формы отчуждения, возникающие благодаря пробкам: 1) отчуждение от водителя результата его поездки; 2) отчуждение от водителя его деятельности во время поездки; 3) отчуждение от водителя его транспортно-коммуникативной сущности и превращение последней в средство воспроизводства пробок и 4) отчуждение между водителями. Если переиначить известное выражение Х. Ортеги-и-Гассета, то можно сказать, что пробки – это восстание автомобильных масс. Обратившись же к литературным образам, непременно вспомним о монстре Франкенштейна и о Големе.

Современному человеку может показаться забавным то, что пробки существовали уже в Античности. Они создавались движением гужевого, вьючного транспорта, всадников, стад перегоняемых животных и пешеходов. Нидерландский ученый К. ван Тилбург указывает, что причинами задержек на дорогах Римской империи были ремонт дорог, аварии, разбойники и таможни (на границах). Внутригородские транспортные пробки были вызваны двумя причинами. Во-первых, городские ворота. В связи с тем, что античные города в силу оборонительных соображений часто были окружены мощными стенами с небольшим количеством ворот, проезд через них был затрудненным, нередко однопутным. Тилбург полагает, что городские ворота воплощали конфликт интересов между военным и экономико-логистическим аспектами функций городов. Во-вторых, внутреннее устройство городов. Города Римской империи отличали чрезвычайно беспорядочная застройка с нагромождением узких улиц и высокая плотность населения. В Риме, в котором проживало более миллиона человек (с начала эпохи Принципата), это приводило к тому, что на улицах и площадях господствовал хаос движущихся толп людей, повозок и животных. Эта грандиозная непрекращающаяся уличная сутолока поражала уже древних римлян, что отражено в произведениях Горация, Сенеки и Ювенала [2. Р. 85–126].

С широким распространением автомобилей в начале XX в. возникают смешанные пробки – с участием гужевого транспорта и автомобилей, а потом и исключительно автомобильные пробки.

Страны, первыми перешедшие к массовой автомобилизации, первыми же познакомились с автомобильными пробками и начали их изучение. У. Ростоу, создатель известной концепции стадий экономического роста, полагал, что в пятую стадию, стадию высокого массового потребления, отличительной чертой которой было массовое распространение товаров длительного пользования и в первую очередь автомобиля, первой из стран мира в 1920-е гг. вступают США, а вслед за ними несколько позже – Канада и Великобритания. При этом индикатором вступления в эту стадию является достижение страной показателя в 100 персональных автомобилей на 1 000 человек [3. Р. 11, 78, 84].

В английском языке, изначально ставшем главным языком исследования пробок, используются понятия *traffic congestion* и *traffic jam*. *Traffic congestion* – это дорожный затор, чрезмерное скопление транспортных средств на автомагистралях, которое препятствует развивать им разрешенный максимум скорости. *Traffic jam* – это ситуация, когда большая масса машин вынуждена стоять или ехать очень медленно. В научной литературе чаще используется

понятие *traffic congestion*. Оба термина на русский язык, как правило, переводятся одинаково – как «пробки».

Литература о пробках: некоторые позиции

Американский ученый М. Макклинток, который, по всей вероятности, и был родоначальником научного исследования пробок, еще в 1925 г. в своем фундаментальном труде в качестве основных причин автомобильных пробок в городах США выделял: 1) неспособность улиц вместить достаточное количество автомобилей и позволить им двигаться с адекватной скоростью; 2) включение в транспортный поток элементов, которые препятствуют свободному течению этого потока и 3) неадекватное управление транспортным потоком и контроль за ним. Он указывал, что фундаментальная причина пробок может быть сформулирована так: города переросли свои улицы [4. Р. 25–26]. Макклинток подразделил пробки на повторяющиеся и неповторяющиеся, и эту типологию исследователи воспроизводят и до сих пор. Труд Макклинтока не устарел и в XXI в., а его анализ причин пробок и рекомендации по их преодолению сохраняют свое значение и поныне.

После Макклинтока появилось несметное количество литературы о пробках. С автомобилизацией развивающихся стран это явление стало объектом осмысления во всемирном масштабе. Укажем лишь некоторые недавние работы.

Признанный эксперт в области транспортной урбанистики современный американский ученый В. Вучик, писал, что заторы в городах США являются «следствием неверной транспортной политики и неудовлетворительного планирования» [5. С. 115]. Согласно его позиции чрезмерное использование автомобильного транспорта внутри городских агломераций приводит к заторам, и более перспективным направлением, чем политика автомобилизации, было бы мультимодальное планирование, предполагающее использование жителями городов различных способов перемещения от рельсового транспорта до велосипедов и пешей ходьбы. Вучик полагает, что в агломерациях со сбалансированными транспортными системами, т.е. с высококачественным общественным транспортом и привлекательной пешеходной инфраструктурой, передвижение без автомобиля зачастую удобнее, чем на автомобиле [5. С. 155].

Китайские исследователи Ц. Лун, Ц. Гао, Х. Жэнь и А. Лянь выделили три причины пробок: 1) временные препятствия, к которым относятся дорожные работы, хозяйственную деятельность высокой интенсивности, ДТП, поломанные или брошенные транспортные средства, природные аномалии, дорожный мусор, строительство; 2) постоянные ограничения, обусловленные самой дорожной сетью, под чем подразумевается неадекватный тип уличных магистралей, сужение магистралей, малоразличимые дорожные знаки, что вынуждает уменьшать скорость; 3) стохастические флуктуации, обусловленные спросом на услуги определенных зон дорожных сетей или неадекватным поведением водителей [6. Р. 950].

Американский эксперт М. Свит указал, что повторяющиеся пробки возникают там, где спрос на услуги транспортных сетей превосходит их пропускные способности, а эпизодические пробки – там, где происходят случайности, препятствующие передвижению (плохая погода, аварии или строительство) [7. Р. 392].

Согласно американским ученым Д. Фалкокьо и Г. Левинсону, транспортные трудности являются результатом дисбаланса между возможностями транспортной системы и спросом на ее услуги, что обусловлено различными историческими и географическими ограничениями, характером управления транспортной системы, практиками использования транспорта, уровнем инвестиций в обустройство уличной сети и автомагистралей, а также концентрацией поездок в пространстве и во времени [8. Р. 35]. Они указывают на причины пробок: 1) значительная концентрация спроса на пользование автомагистралями в определенные моменты времени на определенных участках; 2) принципиальное превышение спроса на пользование автомагистралями над их возможностями, обусловленное ростом численности населения, экономически активного населения занятых и ростом использования автомобилей; 3) физические и эксплуатационные пробки, которые вызываются ДТП, влиянием зон трудовой активности, плохими погодными условиями, плохой работой светофоров, поведением водителей [8. Р. 36–37].

Российские ученые А.Р. Бахтизин и В.Л. Макаров отметили, что основная причина транспортной проблемы в Москве заключается в изначальной планировке города без учета возможностей широкого использования личных автомобилей. Кроме того, они выделяют и следующие факторы: 1) «отсутствие полос разгона на многих двухуровневых развязках, что приводит к торможению основных и примыкающих потоков»; 2) плохое программирование светофоров; 3) долгое ожидание сотрудников ГИБДД в случае ДТП; 4) неудовлетворительное состояние в ряде случаев дорожного покрытия; 5) перекрытие дорог для проезда чиновников; 6) невысокий уровень культуры части водителей и пешеходов [9].

Российский ученый-транспортник М.Я. Блинкин выделил две причины современных пробок в Москве: 1) рост индивидуального автотранспорта и 2) точечное строительство зданий высокой этажности на месте малоэтажных зданий [10]. В статье, написанной совместно с А. Сарычевым, он указывает на следующие причины пробок, обусловленные традициями социализма: 1) движение общественного транспорта в общем потоке транспортных средств; 2) право приоритетного проезда для ряда привилегированных автомобилей; 3) обычай стоянки автомобиля по месту назначения поездки; 4) популистская политика чрезмерно мягких санкций за нарушение правил поведения, в том числе за парковки, препятствующие движению; 5) недостаточное строительство паркингов под зданиями; 6) сохранение промышленных предприятий в городских центрах; 7) управление земельной собственностью без учета транспортной ситуации и 8) неудовлетворительная организация регулирования транспортных потоков [11].

Японские ученые Т. Коно и К. Ёши рассматривают политику землепользования как решающий фактор возникновения пробок. Они полагают, что неэффективная политика землепользования обуславливает неудачные паттерны размещения городского населения, порождающие автомобильные пробки. Японские авторы считают, что подобная неудачная политика землепользования в Москве привела к тому, что плотность населения на городских окраинах значительно превышает плотность населения центральной части города. Более благоприятный вариант политики землепользования связан с Парижем, где ситуация противоположна московской [1. Р. 1–2].

По поводу взгляда на автомобилизацию как на причину пробок существует полярность позиций, которую, обращаясь к именам российских экспертов, можно было бы назвать дилеммой Блинкина–Родомана. М.Я. Блинкин полагает в контексте парадигмы либерализма, что право индивидуума на автомобиль и его эксплуатацию должно быть непререкаемой предпосылкой решения проблемы пробок [10], а географ Б.Б. Родоман считает, что решение этой проблемы может предполагать только полный отказ от личного автомобиля [12].

Пробки: рейтинги, масштабы и издержки

О масштабах пробок в крупных городах разных стран мира мы можем судить по двум ежегодным рейтингам городов с наиболее значительными пробками – рейтингу нидерландской компании TomTom [13] и рейтингу американской компании INRIX [14]. Первый из них публикуется с 2012 г., второй – с 2016 г. TomTom в качестве единицы измерения масштабов пробок в крупных городах мира использует отношение времени, затраченного в пробках средним водителем при прохождении определенного маршрута ко времени, которое потребовалось бы в случае полного отсутствия пробок. INRIX выстраивает свой рейтинг, рассматривая совокупное влияние пробок с учетом населения города, указывая при этом абсолютное количество времени, потерянного в пробках средним водителем. При этом ранг города в рейтинге INRIX не связан прямой зависимостью с количеством времени, потерянного в пробках. Слабостью рейтинга INRIX является то, что он касается намного меньшего количества стран, хотя и охватывает намного большее количество городов, чем рейтинг TomTom. Города многих важных стран, например Китая, Индии, Филиппин, Перу обходятся INRIX. Последний рейтинг TomTom, отражающий ситуацию в 2019 г. и опубликованный в 2020 г., охватывает 416 городов 57 стран, а рейтинг INRIX за то же время – 979 городов лишь 29 стран мира.

Согласно этим двум рейтингам список 25 городов с наиболее значительными пробками в 2019 г. представлен в табл. 1.

В списке 25 городов по TomTom 23 города представляют развивающиеся страны (Индия, Филиппины, Колумбия, Россия, Перу, Турция, Индонезия, Таиланд, Украина, Румыния, Бразилия и Польша) и лишь два – развитые страны (Ирландия и Израиль). В списке 25 городов INRIX присутствуют 12 городов развивающихся стран (Колумбия, Бразилия, Мексика, Турция, Россия, Индонезия, Эквадор) и 13 городов развитых стран (Италия, Франция, Великобритания, США, Ирландия, Канада, Бельгия, Австралия, Португалия). Принимая во внимание то, что INRIX не учитывает города ряда стран Азии, Латинской Америки и Африки и то, что в обоих рейтингах первые пять позиций заняты мегаполисами развивающихся стран, мы приходим к выводу, что пробки в первую очередь характерны для крупных городов этих стран. Это весьма примечательно в связи с тем, что по уровню автомобилизации развитые страны значительно, порой на порядок превосходят развивающиеся страны. В 2015 г. в Индии на 1 000 человек приходилось 22 автомобиля, на Филиппинах – 38, в Индонезии – 87, Колумбии – 111, Турции – 195, Бразилии – 206, Мексике – 294, России – 358, тогда как в США – 821, Франции – 598, Германии – 593, Великобритании – 587 автомобилей [13]. Мы обнаруживаем парадоксальную ситуацию: меньшее количество автомобилей в стране сопряжено с более серьезными пробками в городах этой страны.

Таблица 1. Города мира с наибольшими пробками в 2019 г.

Ранг	По TomTom		По INRIX	
	Город	Время, проведенное средним водителем в пробках от времени в пути в отсутствие пробок, %	Город	Время, потерянное средним водителем в пробках за год, часы
1	Бангалор	71	Богота	191
2	Манила	71	Рио-де-Жанейро	190
3	Богота	68	Мехико	158
4	Мумбаи	65	Стамбул	153
5	Пуна	59	Сан-Паулу	152
6	Москва	59	Рим	166
7	Лима	57	Париж	165
8	Нью-Дели	56	Лондон	149
9	Стамбул	55	Бостон	149
10	Джакарта	53	Чикаго	145
11	Бангкок	53	Санкт-Петербург	151
12	Киев	53	Филадельфия	142
13	Мехико	52	Белу-Оризонти	160
14	Бухарест	52	Нью-Йорк	140
15	Ресифи	50	Дублин	154
16	Санкт-Петербург	49	Джакарта	150
17	Дублин	48	Москва	128
18	Одесса	47	Кито	144
19	Лодзь	47	Торонто	135
20	Рио-де-Жанейро	46	Брюссель	140
21	Тель-Авив	46	Вашингтон	124
22	Краков	45	Гуаякиль	130
23	Новосибирск	45	Сидней	119
24	Сан-Паулу	45	Палермо	137
25	Самара	44	Лиссабон	136

Примечание. Составлено по: [13, 14].

Согласно TomTom в России, Великобритании, Франции, Италии, Мексике наибольшие пробки воспроизводятся в столицах этих стран, но так происходит далеко не всегда. В США Лос-Анджелес (31-е место в рейтинге), Нью-Йорк (52-е), Сан-Франциско (59-е), Сан-Хосе (84-е), Сиэтл (110-е), Майами (113-е) по пробкам опережают Вашингтон (141-е). В Китае Чунцин (34-е место), Гуанчжоу (38-е), Жухай (39-е), Шэньчжэнь (49-е) по пробкам превосходят Пекин (51-е). В Индии Бангалор (1-е место), Мумбаи (4-е), Пуна (5-е) обгоняют Нью-Дели (8-е). Семь городов Бразилии по масштабу пробок превосходят столицу страны, Бразилиа (270-е место) – Ресифи (15-е), Рио-де-Жанейро (20-е), Сан-Паулу (24-е), Сальвадор (28-е), Форталесца (50-е), Белу-Оризонти (60-е), Куритиба (149-е место). В Турции Стамбул (9-е место) оставляет далеко позади себя Анкару (100-е). В Польше Лодзь (19-е место), Краков (22-е), Познань (27-е) превосходят Варшаву (37-е) [14]. Это говорит о том, что столичный статус города в большом количестве случаев не оказывает значительного влияния на генезис пробок в нем.

Наиболее очевиден экономический ущерб, наносимый пробками. Благодаря INRIX мы располагаем сведениями о годовых издержках водителей и городских экономиках мегаполисов США, Великобритании и Германии. В 2019 г. водители США из-за пробок потеряли совокупно 88 млрд долл., а средний водитель – 99 часов и 1 377 долл. в год [15. Р. 9]. Рассмотрим издержки 7 американских, 3 британских и 3 немецких городов с наибольшими пробками в 2016 и 2019 гг. (табл. 2).

Таблица 2. Издержки от пробок для среднего водителя и для городов США, Великобритании и Германии в 2016 и 2019 гг.

Город, валюта	2016		Город, валюта	2019	
	Издержки для среднего водителя	Издержки для города, млрд		Издержки для среднего водителя	Издержки для города, млрд
Нью-Йорк, \$	2 533	16,949	Нью-Йорк, \$	2 072	11,0
Лос-Анджелес, \$	2 408	9,680	Лос-Анджелес, \$	1 524	8,2
Чикаго, \$	1 643	5,158	Чикаго, \$	2 146	7,6
Майами, \$	1 762	3,576	Филадельфия, \$	2 102	4,5
Атланта, \$	1 861	3,140	Бостон, \$	2 205	4,1
Вашингтон, \$	1 694	2,963	Вашингтон, \$	1 835	4,1
Даллас, \$	1 509	2,904	Сан-Франциско, \$	1 436	3,0
Лондон, £	1 911	6,242	Лондон, £	1 162	4,9
Бирмингем, £	990	0,407	Бристоль, £	803	0,207
Манчестер, £	1 136	0,233	Эдинбург, £	764	0,177
Гамбург, €	2 172	2,360	Берлин, €	587	0,792
Мюнхен, €	2 418	1,990	Мюнхен, €	774	0,405
Кёльн, €	2 141	1,180	Гамбург, €	427	0,280

Примечание. Составлено по: [15, 16].

Во многих городах США, Великобритании и Германии в период с 2016 по 2019 г. ущерб, наносимый пробками и водителям, и городским экономикам, уменьшился¹. Но все равно издержки остаются значительными: в 2019 г. совокупный ущерб от пробок 25 городов США с наибольшими пробками составил \$68,9 млрд, 10 британских городов – £6,259 млрд, 10 немецких городов – €2,087 млрд². Данными об издержках пробок в других странах мы не обладаем, но следует предполагать, что они также являются весьма значительными.

Гипотеза о причинах пробок в крупных городах

Задача научного исследования пробок заключается в первую очередь в выявлении их причин, причем в самом общем виде. Теоретическое представление о причинах пробок могло бы выступить методологией прикладного исследования проблемы пробок и способствовать разработке средств борьбы с ними.

Я исхожу из гипотезы, согласно которой пробки в крупных городах порождаются комбинацией шести причин или же части из них: 1) количество автомобилей; 2) численность жителей городских агломераций; 3) плотность населения городских агломераций; 4) культура труда соответствующей страны; 5) архитектурно-градостроительный тип (АГТ) города и 6) рельеф местности, в которой расположен город.

Первая причина очевидна уже с точки зрения обыденного сознания – чем больше движущихся автомобилей на городских улицах и площадях, тем сложнее совершать поездки из-за переполненности транспортных коммуникаций. В этом случае препятствием для движения являются сами потоки автомобилей.

¹ То, как это было достигнуто, – предмет особого исследования, которое остается за пределами настоящей статьи.

² Подсчет автора по: [15].

Вторая причина заключается в том, что высокая численность населения крупных городов порождает пробки, поскольку большая масса людей сопряжена с большим количеством поездок или пеших перемещений. В силу значительного количества субъектов внутригородских передвижений в соответствии с суточными, недельными и годовыми циклами мобильности возникает гиперспрос на услуги ключевых участков транспортных коммуникаций, что и приводит к пробкам. Населенным пунктам с небольшим населением пробки практически неведомы. Дж. Фалкоко и Г. Левинсон отмечают: «Пробки обычно увеличиваются в зависимости от размеров города. Это происходит потому, что по мере увеличения города растут концентрация активности и дальность поездок» [8. Р. 36].

Третья причина в том, что высокая плотность жителей городских агломераций обуславливает значительное количество перемещений транспортных средств и пешеходов в каждом районе города или же в большинстве из них. Эту причину наряду с предыдущей следует рассматривать в связи с тем, что мегаполисы с сопоставимой численностью населения часто серьезно отличаются друг от друга по плотности населения. В разных странах мы наблюдаем разную плотность жителей в городских агломерациях: подсчет показывает, что в США средняя плотность жителей на 1 км² равна 994 человека (по 74 городам), в Австралии – 1 387 (6), Канаде – 2113 (9), Франции – 2 185 (11), ОАЭ – 2 551 (3), Нидерландах – 2 836 (3), Германии – 2 642 (16), Саудовской Аравии – 3 265 (10), Польше – 3 331 (7), России – 3 597 (40), Японии – 3 678 (21), Италии – 3 772 (11), Великобритании – 4 212 (14), Испании – 4 467 (11), Мексике – 4 643 (30), Бразилии – 4 753 (36), Китае – 4 959 (248), в Турции – 6 521 (16), Южной Корее – 7 719 (11), Индонезии – 8 266 (24), Индии – 11 530 (108), Пакистане – 12 346 (14), Колумбии – 12 879 (9), Египте – 14 114 (7), Демократической республике Конго – 15 758 (13)¹. Закономерность очевидна: уровень развития страны в значительной мере обратно пропорционален плотности городских жителей. Это значит, что развитие производительных сил, как правило, ведет к снижению плотности городского населения, хотя могут существовать противодействующие факторы, прежде всего, географические (ограниченность территории) и исторические.

Четвертая причина связана с тем, что культура труда, характерная для страны, обуславливает транспортную культуру, которая включает в себя, с одной стороны, культуру вождения транспортных средств (и поведения пешеходов), с другой – культуру управления движением со стороны городских властей. Культура труда в целом проявляется в производительности труда, в способности производить самую сложную (наукоемкую, высокотехнологичную) продукцию, а также в низкой доле брака, травматизма и аварийности. Высокая культура труда предполагает высокий уровень управления средствами труда, а управление автомобилем сродни управлению станком или иным сложным оборудованием. Чем выше культура труда, тем выше индивидуальная культура поведения на дорогах, характерная для водителей транспортных средств (и пешеходов), и тем выше культура управления движением со стороны властей. В качестве индикатора культуры труда мы можем использовать, во-первых, производительность труда, во-вторых – смертность в

¹ Подсчет автора по: [17].

дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на 100 тыс. транспортных средств. Последнее является результатом преломления культуры труда транспортной культурой.

Пятая причина требует развернутого комментария. Вводимое автором понятие АГТ города обозначает определенный тип зданий и тип организации урбанистического пространства (улиц, площадей, кварталов и т.д.), а следовательно, и городских транспортных коммуникаций. Выделим условно и схематично три АГТ: 1) доиндустриальный, 2) индустриально-капиталистический и 3) индустриально-социалистический.

В доиндустриальном обществе в городах живет небольшая часть населения. Для этого общества характерен невысокий уровень разделения труда и, следовательно, невысокий уровень мобильности транспортных средств и людей, в том числе и внутри городов. Значение транспортных коммуникаций относительно невелико. Транспортные коммуникации таких городов подчинены закономерности: покой является принципом, субстанцией, движение – моментом, модусом. Доиндустриальный АГТ предполагает города, как правило, с узкими, извилистыми, короткими улицами, нередко ведущими в тупики, с маленькими площадями. Уличная сеть выглядит зачастую как лабиринт, как хаос, причем ключевые транспортные коммуникации замкнуты на дворцы, крепости, храмы и подобные сооружения. В городах этого типа совокупная площадь оснований зданий значительно превосходит совокупную площадь транспортных коммуникаций (улиц). Яркими примерами сооружений этого типа могут служить императорские форумы, Колизей и бесчисленные базилики в Риме, Запретный город и Храм Неба в Пекине, Московский Кремль, дворцы Санкт-Петербурга, императорский дворец в Токио, Красный форт в Дели, крепость Арк в Бухаре. Доиндустриальный АГТ предполагает то, что проницаемость урбанистических пространств для транспортных и пешеходных потоков является довольно низкой, и от одного до другого пункта в городе можно добраться по траектории, в несколько раз превосходящей прямую линию, связывающую эти пункты.

Индустриальное капиталистическое общество, впервые возникшее в Великобритании в середине XIX в., предполагает высочайший уровень разделения труда и городскую цивилизацию. Такое общество сопряжено с самой интенсивной в истории мобильностью людей в локальном, национальном и, позже, глобальном масштабах. Транспортные коммуникации городов эпохи индустриального капитализма подчинены закономерности: движение есть принцип, субстанция, а покой – момент, модус. В своих зрелых формах мобильность в таком обществе означает оснащение каждого человека индивидуальным транспортным средством, и первую очередь автомобилем. Все это обуславливает колоссальное значение транспортных коммуникаций в городах. Здания, улицы, площади и вся городская инфраструктура подчинены императиву бесконечного роста транспортных потоков и постоянно перестраивается соответствующим образом. Индустриально-капиталистический АГТ предполагает длинные, широкие, прямые улицы и большие площади, причем все улицы выведены в транспортную бесконечность, не будучи замкнутыми на сооружения в отличие от доиндустриального АГТ. В таких городах совокупная площадь транспортных коммуникаций значительно превосходит совокупную площадь оснований зданий, благодаря чему потоки

автомобилей «обтекают» сооружения с минимальным сопротивлением последних подобно тому, как воздух обтекает крылья, фюзеляж и оперение самолета с оптимальными аэродинамическими показателями. Для городов этого типа характерен высочайший уровень транспортной проницаемости: траектория перемещения из одного пункта города в другой лишь незначительно превосходит прямую линию. В чистом виде индустриально-капиталистический АГТ характерен для городов США, Канады и Австралии. Эти города в отличие от своих европейских собратьев возникли на чисто капиталистической основе, и они постоянно перестраиваются капитализмом. Над европейскими же городами довлеет их докапиталистическая история.

К индустриально-капиталистическому АГТ приближаются недавно возникшие мегаполисы вроде Бразилиа или города нефте- и газоэкспортирующих монархий Персидского залива. Современный Дубай следует рассматривать как аналог Санкт-Петербурга XVIII и XIX вв. периода от Петра I до Николая I. Бурдж-Дубай и Бурдж-Халифа – это Зимний дворец и Петергоф эпохи глобализации. В обоих случаях архитектурно-градостроительные достижения более развитой общественной формы были заимствованы государствами, представлявшими более отсталую общественную форму, однако благодаря чрезвычайному накоплению богатства, чьей основой в одном случае была зерновая, в другом – нефтяная рента, были созданы архитектурные шедевры, которые затмевают свои прообразы из стран, которые выступили технологическими донорами. Петергоф превзошел Версаль, а Бурдж-Дубай – Empire State Building, как, впрочем, еще в XV в. Московский Кремль заткнул за пояс свой прообраз – замок Сфорца в Милане.

Для социалистических стран, классическими образцами которых могут служить СССР после 1930 г. и Китай после 1960 г., также характерны курс на индустриализацию, высокий уровень разделения труда, урбанизация и высокая транспортная мобильность, хотя по всем этим параметрам они все же уступают индустриально-капиталистическим обществам. В этих странах не происходит массовой автомобилизации. Для социалистических городов характерны, с одной стороны, строительство широких городских магистралей, с другой – возведение зданий и урбанистических комплексов, которые не ориентированы на массовые поездки на личных автомобилях. Примером могут служить «сталинские» высотки¹, ВДНХ в Москве, комплекс площади Тяньаньмэнь в Пекине или Дворец культуры и науки в Варшаве.

¹ Главное здание (ГЗ) МГУ имени М.В. Ломоносова является, по всей вероятности, самым величественным, грандиозным и красивым университетским зданием в мире. На мой взгляд, оно представляет собой специфический советский синтез двух американских архитектурно-градостроительных концепций – концепции кампуса (обособленного университетского городка) и концепции небоскреба. ГЗ МГУ – это социалистический кампус-небоскреб. К индустриально-социалистическому АГТ ГЗ МГУ следует отнести не только в связи с чрезвычайным богатством этого архитектурного ансамбля по сравнению с любым прагматически-лаконичным американским небоскребом, но и в силу того, что этот огромный комплекс, в котором работают, учатся и живут многие тысячи людей, окружен транспортными коммуникациями, не рассчитанными на массовую автомобилизацию, на «высокое массовое потребление», по У. Ростоу. Если гипотетически переформатировать ГЗ МГУ в индустриально-капиталистическом духе (с расчетом на обслуживание того же количества людей, что и ныне), то оно выглядело бы, скорее всего, как группа небоскребов в форме параллелепипеда или башни, и эта группа была бы встроена в сеть очень значительных по площади транспортных коммуникаций. В этом случае комплекс зданий МГУ был бы не столь величавым, как в реальности, но оказался бы более приспособленным к возрастающим потокам автомобилей.

Императиву бесконечного роста транспортной мобильности индустриально-социалистический АГТ соответствует больше, чем доиндустриальный АГТ, но, очевидно, меньше, чем индустриально-капиталистический АГТ. Современная эпоха, эпоха индустриального капитализма с компонентами автоматизации, предполагает все более возрастающую мобильность огромных масс людей и грузов. В силу этого любой город создает препятствия для транспортных потоков, если для него характерен доиндустриальный АГТ; любой город не создает препятствий для этих потоков, если он принадлежит исключительно индустриально-капиталистическому АГТ.

Многие современные мегаполисы сочетают в себе черты двух или трех АГТ одновременно. Западноевропейские города представляют собой, очевидно, смешение доиндустриального и индустриально-капиталистического АГТ, причем, например, в Риме и многих городах Италии доиндустриальный АГТ явно преобладает над индустриально-капиталистическим. Города России, Восточной Европы и Китая являют собой сочетание всех трех АГТ. В связи с этим имеет смысл говорить об интегральном АГТ городов.

Шестая причина заключается в том, что рельеф местности, в которой расположен город, может его транспортным коммуникациям благоприятствовать – в случае расположения на довольно плоской равнине, или же препятствовать – в случае высокого уровня расчлененности местности, т.е. наличия гор, высоких холмов, которые «сдавливают» город, делая городские улицы более узкими и извилистыми, или присутствия водоемов, которые разрывают транспортное пространство или ограничивают его. Будет логичным предположить, что пребывание Боготы, Мехико и Стамбула на первых позициях TomTom и INRIX обусловлено именно этим фактором. Богота и Мехико окружены горами, а Стамбул разделен Босфором, причем берега этого пролива изрядно всхолмлены.

Значение рельефа для генезиса пробок показывают случаи ключевых мегаполисов Бразилии и ЮАР. В этих странах главными экономическими центрами и главными очагами расселения бизнес-элиты служат Сан-Паулу и Йоханнесбург соответственно, но Рио-де-Жанейро и Кейптаун опережают их по масштабам пробок. В рейтинге INRIX Рио-де-Жанейро занимает 2-е место, Сан-Паулу – 5-е, Кейптаун – 29-е и Йоханнесбург – 71-ю позицию [15]. В рейтинге TomTom Рио-де-Жанейро находится на 20-м, Сан-Паулу – на 24-м, Кейптаун – на 101-м и Йоханнесбург – на 121-м месте [14]. При этом Сан-Паулу превосходит Рио-де-Жанейро и по численности населения, и по плотности жителей – 22,046 млн и 7 075 человек против 12,272 млн и 6 419 человек; Йоханнесбург превосходит Кейптаун по численности жителей, правда, уступает ему по плотности жителей – 9,505 млн и 3 739 человек против 4,228 млн и 5 037 человек [17]. Это заставляет предполагать, что в случае Рио-де-Жанейро и Кейптауна важнейшую роль в генезисе их пробок играет именно рельеф местности последних: эти города «сдавлены» между горами и океаном. Географические особенности позволяют уверенно отнести Рио-де-Жанейро и Кейптаун к числу красивейших городов мира, но не способствуют эффективности их транспортных коммуникаций.

Заметим, что первые четыре причины пробок легко поддаются количественному измерению, тогда как в случае пятой и шестой причин это сделать

крайне проблематично, и мы можем лишь фиксировать их с точки зрения непосредственной чувственной данности.

Эмпирическая верификация гипотезы о причинах пробок

Предпримем эмпирическое исследование, которое помогло бы выявить значение выделенных выше причин пробок (за исключением пятой и шестой). Методологией такого исследования может выступить только индуктивная логика, чьи основы были заложены великими английскими философами Ф. Бэконом и Дж.С. Миллем.

Обратимся к данным рейтинга TomTom в силу того, что он охватывает большее количество стран мира, чем рейтинг INRIX. Отберем 52 города с наиболее значительными пробками¹, которые представляют 28 ведущих стран мира. Подразделим их на 4 группы в зависимости от масштабов пробок: 1) 4 суперцентра пробок, 2) 10 центров пробок 1-го ранга, 3) 16 центров пробок 2-го ранга и 4) 22 центра пробок 3-го ранга. Границы не лишены условности, особенно между центрами пробок 2 и 3 ранга, но должны быть проведены, поскольку это позволяет выявить интенсивность работы каждой из причин. Рассмотрим то, как изменяются эмпирические показатели причин пробок в четырех группах городов, различающихся масштабами пробок. Представим статистические данные, которые позволяют судить о причинах пробок (табл. 3).

Таблица 3. Статистические данные, указывающие на причины пробок в 52 городах мира

Город	Количество автомобилей* в стране на 1 000 человек в 2015 г., штук [13]	Численность населения в 2019 г., млн человек [17]	Плотность населения в 2019 г., человек/км ² [17]	Производство на одного занятого в стране в 2019 г., тыс. междунар. долл. 2011 г. [18]	Количество смертей в ДТП на 100 тыс. транспортных средств в стране в 2016 г., человек [19]
Бангалор	22	13,707	11378	21,18	71,79
Манила	38	23,088	12327	20,43	108,22
Богота	111	9,464	16214	28,30	53,11
Мумбаи	22	23,355	24740	21,18	71,79
4 суперцентра в среднем	48	17,404	16165	22,77	76,23
Пуна	22	7,764	11956	21,18	71,79
Москва	358	17,125	2907	52,97	37,60
Лима	78	9,848	11064	23,02	48,10
Дели	22	29,617	13269	21,18	71,79
Стамбул	195	15,154	11022	72,30	34,61
Джакарта	87	34,540	9758	25,41	24,36
Бангкок	228	17,066	5336	31,20	58,24
Киев	203	2,851	3743	20,50	32,47
Мехико	294	20,996	8800	41,55	39,89
Бухарест	308	1,870	4540	58,00	27,27
10 центров 1-го ранга в среднем	180	15,683	8240	36,73	44,61

¹ Именно такое количество городов обусловлено, с одной стороны, стремлением получить наиболее представительную, а следовательно, наиболее крупную выборку, с другой – угрозой разрастания эмпирического исследования, что приводит нас к 50 городам, занимающим верхние позиции в рейтинге TomTom. Но то, что Пекин и Нью-Йорк, эти два важнейших города современного мира, находятся на 51-й и 52-й позициях рейтинга соответственно, заставляет нас включить в анализ и их.

Окончание табл. 3

Город	Количество автомобилей* в стране на 1 000 человек в 2015 г., штук [13]	Численность населения в 2019 г., млн человек [17]	Плотность населения в 2019 г., человек/км ² [17]	Производство на одного занятого в стране в 2019 г., тыс. междунар. долл. 2011 г. [18]	Количество смертей в ДТП на 100 тыс. транспортных средств в стране в 2016 г., человек [19]
16 центров 2-го ранга в среднем**	366	4,252	4593	54,64	27,35
22 центра 3-го ранга в среднем***	429	9,470	4184	64,10	20,13

* Включены легковые автомобили, пассажирский транспорт и грузовые автомобили.

** В эту группу входят (в порядке, вытекающем из ранга в рейтинге): Ресифи, Санкт-Петербург, Дублин, Одесса, Лодзь, Рио-де-Жанейро, Тель-Авив, Краков, Новосибирск, Сан-Паулу, Самара, Сантьяго, Познань, Сальвадор, Харьков, Афины.

*** В эту группу входят: Лос-Анджелес, Токио, Эдинбург, Чунцин, Екатеринбург, Каир, Варшава, Гуанчжоу, Чжухай, Ванкувер, Вроцлав, Париж, Рим, Брюссель, Лондон, Куала-Лумпур, Днепр, Будапешт, Шэньчжэнь, Форталецца, Пекин, Нью-Йорк.

Анализ показателей четырех групп городов, ранжированных по масштабам пробок в табл. 3, приводит к следующим выводам. Между количеством автомобилей и масштабами пробок существует жесткая отрицательная корреляция: всегда чем больше транспортных средств, тем меньше пробки. Между численностью жителей и масштабами пробок существует нежесткая положительная корреляция: чаще всего чем больше численность населения города, тем больше в нем пробки. Между плотностью населения и масштабами пробок существует жесткая положительная корреляция: всегда чем выше плотность населения, тем больше пробки. Между культурой труда, о которой мы судим по производительности труда и смертности в ДТП, и масштабами пробок существует жесткая отрицательная корреляция: всегда чем выше культура труда, тем меньше пробки. Но корреляция не эквивалентна детерминации. Указанные типы корреляции непосредственно не вскрывают причинно-следственные связи, но позволяют сделать вывод о различии вклада рассмотренных четырех причин в генезис пробок, т.е. говорить об их иерархии.

Наш анализ позволяет иерархизировать рассматриваемые четыре причины пробок следующим образом. Наиболее значительными причинами пробок являются плотность населения городских агломераций и культура труда (и обусловленные ею культура вождения и культура управления движением). На втором месте по важности также оказывается численность населения, на третьей позиции – количество автомобилей, что выглядит парадоксальным и противоречит обыденному сознанию. Оказывается, что рост количества автомобилей, безусловно, способствует пробкам, но в заметно меньшей степени, чем другие причины.

В дополнение к сказанному к числу наиболее значительных причин пробок следует отнести АГТ городов. К этому выводу нас подталкивает то, что среди главных лидеров пробок – города Азии и Латинской Америки с ярко выраженным доиндустриальным АГТ, а серьезно уступающие им по масштабам пробок города США, Канады и Австралии отличаются классическим индустриально-капиталистическим АГТ. При этом города России, Украины, Польши, Венгрии и Румынии, которые совмещают черты доиндустриального,

индустриально-социалистического и индустриально-капиталистического АГТ, по масштабам пробок занимают промежуточное положение.

Вдобавок, исходя из того что сложный рельеф территории мегаполиса всегда приводит к значительным пробкам (Богота, Стамбул, Мехико, Рио-де-Жанейро), а среди семи центров пробок третьего ранга нет ни одного города со сложным рельефом, то и это фактор следует отнести к наиболее весомым, что дает нам роковую четверку самых действенных причин пробок. Таким образом, в целом следует говорить о четырех первостепенных, одной второстепенной и одной третьестепенной причинах пробок в крупных городах мира.

Если рассматривать причины пробок сквозь призму ситуаций отдельных городов и групп городов, то очевидно, что в разных мегаполисах мира пробки вызываются специфическими комбинациями причин. Суперцентры пробок Бангалор, Манила, Богота и Мумбаи представляют собой наиболее сложный случай. В этих городах пробки порождаются одновременным действием пяти или шести причин. Это же характерно для мегаполисов многих городов Азии, Африки и Латинской Америки.

Примечательно, что по масштабу пробок китайские города уступают индийским, хотя по степени автомобилизации Китай в несколько раз превосходит Индию (118 против 22 транспортных средств на 1 000 человек в 2015 г. [13]). Это объясняется, на мой взгляд, тем, что, во-первых, мегаполисы Индии в большем объеме сохраняют компоненты доиндустриального АГТ, чем города Китая, которые после 1960 г. пережили реконструкцию в духе индустриально-социалистического АГТ, а после 2000 г. – отчасти и в духе индустриально-капиталистического АГТ, что среди прочего привело и к понижению плотности населения городских агломераций; во-вторых, более высокой культурой труда в Китае по сравнению с Индией.

В крупных городах США, Канады и Австралии причинами пробок выступают значительная численность населения и большое количество автомобилей. Этим городам присущ эталонный индустриально-капиталистический АГТ, что вкупе с высокой культурой труда и низкой плотностью населения спасает их от того, чтобы быть главными глобальными центрами пробок.

В западноевропейских городах, помимо большой численности жителей и большого количества автомобилей, важным фактором генезиса пробок является их богатое историческое наследие в виде заметных компонентов доиндустриального АГТ, возникших в разное время с древности до раннего Нового времени. Типичный случай – Рим и другие города Италии. В отличие от Рима Париж прошел в 1850–1860-е гг. «османизацию», т.е. индустриально-капиталистическую трансформацию. Однако в столице Франции сохранились постройки средневековья и доиндустриальной эры в целом, и чисто индустриально-капиталистическим по своему АГТ этот город также не является.

Весьма примечательно, что города Германии, одной из великих автомобилестроительных и автомобильных держав мира, занимают относительно скромные позиции в рейтингах городов с наибольшими пробками. По TomTom, в 2019 г. тремя немецкими городами с наибольшими пробками были Гамбург (70-е место), Берлин (94-е) и Висбаден (102-е) [14]. На мой взгляд, это обусловлено последствиями Второй мировой войны. Массированные бомбардировки немецких городов авиацией США и Великобритании нанесли серьезный, часто непоправимый урон доиндустриальной застройке,

и их последующая реконструкция привела к тому, что города Германии во второй половине XX в. приобрели еще более индустриально-капиталистический вид, чем для них было характерно до войны, превзойдя в этом отношении многие города Великобритании, Франции и других европейских стран.

Пробки в мегаполисах Восточной Европы, включая Россию и Украину, вызваны комбинацией большинства причин, но наибольшее значение имеют, на мой взгляд, невысокая культура труда и компоненты доиндустриального и индустриально-социалистического АГТ этих городов.

Причины пробок в крупных городах России

Рассмотрим проблему пробок в крупных городах России. В рейтинг TomTom за 2019 г. входят 11, в рейтинг INRIX – 37 городов России. Представим список 11 российских городов с наибольшими пробками согласно обоим рейтингам (табл. 4).

Таблица 4. Города России с наиболее значительными пробками в 2019 г.

Ранг	По TomTom		По INRIX	
	Город	Время, проведенное средним водителем в пробках по отношению ко времени в пути в отсутствие пробок, %	Город	Время, проведенное средним водителем в пробках за год, часы
1	Москва	59	Санкт-Петербург	151
2	Санкт-Петербург	49	Москва	128
3	Новосибирск	45	Н. Новгород	102
4	Самара	44	Новосибирск	122
5	Екатеринбург	41	Владивосток	115
6	Ростов-на-Дону	36	Краснодар	94
7	Челябинск	34	Ростов-на-Дону	84
8	Омск	32	Самара	80
9	Н. Новгород	32	Екатеринбург	96
10	Томск	31	Тверь	71
11	Казань	29	Воронеж	58

Примечание. Составлено автором по: [14, 15].

В оба списка входят Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург и Ростов-на-Дону, что заставляет считать эти города главными центрами пробок в России.

Для более детального анализа причин пробок в городах России используем список 11 городов с наиболее значительными пробками по TomTom. В связи с небольшим количеством городов выделим всего две их группы – группу центров пробок 1-го ранга, отнеся к ним Москву и Санкт-Петербург, и группу центров пробок 2-го ранга. Рассмотрим то, как влияет на пробки численность населения, плотность населения и количество легковых автомобилей¹ (табл. 5). Культура труда, а следовательно, и культура вождения и культура управления движением в данном случае выступают как постоянная величина.

Все три показателя обнаруживают прямую жесткую корреляцию с масштабом пробок. Это означает, что различия между масштабами пробок в

¹ Данными о количестве автомобилей всех типов в крупных городах России автор не располагает.

крупных городах России объясняются различиями в численности населения, плотности населения агломераций и количестве легковых автомобилей.

Таблица 5. Причины пробок в крупных городах России в 2019 г.

Город	Численность населения, млн человек [17]	Плотность населения, человек/км ² [17]	Количество легковых автомобилей на 1 000 человек, штук [20]
Москва	17,125	2 907	293
Санкт-Петербург	5,230	3 810	330
Центры 1-го ранга в среднем	11,178	3 359	312
Новосибирск	1,646	2 105	278
Самара	0,976	3 947	344
Екатеринбург	1,363	2 158	315
Ростов-на-Дону	1,241	3 255	234
Челябинск	1,176	2 851	276
Омск	1,128	2 082	283
Нижний Новгород	1,541	1 798	290
Томск	0,570	5 502	Н/д
Казань	1,152	2 577	305
Центры 2-го ранга в среднем	1,199	2 919	291

На первый взгляд, заключение, касающееся значения легковых автомобилей для генезиса пробок в городах России, противоречит сделанному выше на основе анализа данных табл. 3 выводу о том, что количество автомобилей является лишь третьестепенной причиной пробок. Но дело в том, что ранее речь шла об автомобилях всех классов, включая легковые, пассажирские и грузовые, тогда как в табл. 5 учтены только легковые автомобили. Принимая во внимание огромную роль в перевозке пассажиров в Москве и Санкт-Петербурге метро, а также то, что нестоличные крупные города России в большей степени сохранили промышленное производство и соответствующие грузовые перевозки, чем столицы, следует предполагать большее количество единиц пассажирского и грузового автомобильного транспорта в относительных величинах в нестоличных крупных городах, чем в столицах. С учетом этих данных табл. 5, на мой взгляд, полностью соответствовала бы табл. 3.

Влияние на пробки различий АГТ крупных городов России требует дальнейшего исследования, выходящего за пределы настоящей статьи. Пока скажем об очевидном. Облик центра Санкт-Петербурга сформирован в имперский период, и по своему АГТ – это более доиндустриальный город, чем Москва и многие крупные города России. В частности, весомый вклад в очарование Санкт-Петербурга вносят его многочисленные каналы и мосты. Своеобразный юмор истории заключается в том, что петербургские каналы были прорыты для облегчения и ускорения перемещения грузов и людей, поскольку в доиндустриальную эпоху самым быстрым и дешевым был именно водный транспорт; но в век автомобилизации каналы, набережные и мосты превратились в серьезную помеху для транспортных потоков второй столицы России. Достопримечательности, которые обуславливают туристическую привлекательность Санкт-Петербурга, порождают и автомобильные пробки на его магистралях. Примечательно, что, согласно INRIX, город на Неве в 2019 г. был столицей российских пробок.

Заключение

В настоящей статье выдвинута гипотеза о причинах пробок в крупных городах мира. Предложено эмпирическое обоснование этой гипотезы, которое к тому же позволило выявить иерархию причин пробок. Первостепенными причинами пробок являются плотность населения городских агломераций, культура труда, архитектурно-градостроительный тип города и рельеф местности, второстепенной причиной – численность населения городских агломераций, третьей – количество автомобилей.

Предпринятое исследование, разумеется, не ставит точку в исследовании автомобильных пробок в крупных городах планеты, и выдвинутая гипотеза нуждается в дальнейшей проверке. Возможной перспективой исследования является создание более сложного образа системы детерминации пробок, включающей и причины их генезиса, которые не были рассмотрены. К числу этих причин можно отнести: потоки международных туристов в мировых центрах туризма (Рим, Париж, Лондон, Афины), концентрацию бизнес-элиты (Москва, Стамбул, Мехико), концентрацию власти (Москва, Пекин).

Выявление фундаментальных причин пробок позволяет обнаружить границы политики борьбы с ними. Наш анализ показывает, что какие-то причины поддаются корректировке, но некоторые едва ли могут быть сняты. Можно постепенно поднять культуру труда, что приведет к прогрессу культуры вождения автомобилей и управления движением, можно расселить районы трущоб в мегаполисах Южной Америки, Южной Азии и Африки, что понизит плотность городского населения, но рельеф местности и доиндустриальный архитектурно-градостроительный тип городов часто не поддаются изменению, тем более тогда, когда они дают очарование городам. Насыщенность крупных городов природными и / или историко-культурными достопримечательностями чаще всего является причиной (и маркером) создания в городских транспортных коммуникациях большого количества пробок. Следовательно, такие урбанистические жемчужины, как Рим, Санкт-Петербург, Стамбул, Рио-де-Жанейро и Кейптаун, в условиях современных транспортных потоков обречены на то, чтобы страдать от пробок. В отдаленной перспективе принципиальное решение проблемы пробок может быть связано только с преодолением парадигмы транспортного индивидуализма, основанной на превращении каждого человека в обособленную моторизованную транспортную единицу, в четырехколесную лейбницевскую монаду.

Литература

1. Kono T., Joshi K. Traffic Congestion and Land Use Regulations. Theory And Policy Analysis. Amsterdam : Elsevier, 2019.
2. Van Tilburg C.R. Traffic and congestion in the Roman Empire. London; New York : Routledge, 2007.
3. Rostow W.W. The Stages of Economic Growth. Cambridge : Cambridge University Press, 1960.
4. McClintock M. Street Traffic Control. New York : McGraw-Hill Book Company, Inc., 1925.
5. Вучик В. Транспорт в городах, удобных для жизни. М. : Территория будущего, 2011.
6. Long J., Gao Z., Ren H., Lian A. Urban Traffic Congestion Propagation and Bottleneck Identification // Science in China. Series F: Information Sciences. 2008. Vol. 51, № 7. P. 948–964.
7. Sweet M. Does Traffic Congestion Slow the Economy? // Journal of Planning Literature. 2011. № 26 (4). P. 391–404.

8. *Falcochchio J.C., Levinson H.S.* Road Traffic Congestion: A Concise Guide. Switzerland : Springer, 2015.
9. *Бахтизин А.Р., Макаров В.Л.* Автомобильные пробки Москвы: анализ и пути решения // Бюджет.ру. 2011. № 2. URL: <http://bujet.ru/article/114735.php> (дата обращения: 15.06.2020).
10. *Блинкин М.Я.* Дорожное движение и городской транспорт в Москве и других российских городах. Polit.ru. 14.10.2010. URL: <https://polit.ru/article/2010/10/14/transport/> (дата обращения: 16.06.2020).
11. *Блинкин М.Я., Сарычев А.В.* Городской транспорт: либеральный взгляд на проблему. Polit.ru. 7.12.2005. URL: <https://polit.ru/article/2005/12/07/transport/> (дата обращения: 17.06.2020).
12. *Родоман Б.Б.* Автомобильный тупик России и мира. Polit.ru. 10.01.2008. URL: <https://polit.ru/article/2008/01/10/transport/> (дата обращения: 10.06.2020).
13. *OICA.* International Organization of Motor Vehicle manufacturers. (2016). World Vehicles In Use – All Vehicles. URL http://www.oica.net/wp-content/uploads//Total_in-use-All-Vehicles.pdf (дата обращения: 3.07.2020).
14. *TomTom.* 2020. TomTom Traffic Index 2019. URL: https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/ (accessed: 01.07.2020).
15. *INRIX.* 2020. INRIX 2019 Global Traffic Scorecard. URL: <https://INRIX.com/scorecard/> (accessed: 2.07.2020).
16. *INRIX.* 2017. INRIX 2016 Global Traffic Scorecard. URL: <https://INRIX.com/scorecard/> (accessed: 2.07.2020).
17. *Demographia.com.* World Urban Areas. 16th Annual Edition. April 2020. URL: <http://www.demographia.com/db-worldua.pdf> (accessed: 5.07.2020).
18. *International Labour Organization.* Labour Productivity. Which country has the highest labour productivity? URL <https://ilostat.ilo.org/topics/labour-productivity/> (accessed: 04.07.2020).
19. *Global status report on road safety 2018.* Geneva: World Health Organization, 2018.
20. *Аналитическое агентство Автостат.* Рейтинг российских городов-миллионников по обеспеченности автомобилями в 2019 году. URL: <https://www.autostat.ru/press-releases/41923/> (дата обращения: 10.07.2020).

Azat B. Rakhmanov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: azrakhmanov@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 170–188.

DOI: 10.17223/1998863X/58/16

FOUR WHEELS OF THE APOCALYPSE: THE CAUSES OF TRAFFIC CONGESTION IN BIG CITIES OF THE WORLD

Keywords: transport; car; congestion; traffic jam; city; urban studies; culture of work; architectural and city planning type.

Traffic congestion has become one of the most important problems of the big cities all around the world. Traffic jams lead to huge economic, temporal, psychological, environmental and other costs for drivers of cars and other vehicles, transport enterprises, urban and national economies, as well as for pedestrians and city residents. Based on the analysis of the ranking of cities in the world's leading countries with the most significant traffic jams, which was developed by the Dutch company TomTom, the author puts forward the concept of the genesis of traffic jams. Traffic congestion in 52 cities of different countries is being examined. According to the author's concept, traffic jams in major cities are caused by a combination of six causes (or part of them): 1) the number of vehicles, 2) the number of inhabitants of urban agglomerations, 3) population density of urban agglomerations, 4) country's typical work culture, 5) architectural and urban planning type of the city, 6) the terrain in which the city is located. Different causes make different contributions to the genesis of traffic congestion, which allows us to speak about their hierarchy. In every major city's case, traffic jams are caused by a peculiar combination of their causes. Contrary to popular belief, the increase in the number of vehicles is not the most important cause of traffic jams. Special attention is dedicated to the analysis of traffic jams in big Russian cities. The Russian cities' traffic jams are caused by low standards of work culture, which lead to low standards of vehicle management and traffic management, by special features of the architectural and urban planning type of the cities, and by increase in the number of vehicles. Research on the causes of traffic jams allows developing ways to deal with them. The impact of some causes of traffic jams can be mitigated, but, in some cases, some of the causes are fundamentally irremediable.

References

1. Kono, T. & Joshi, K. (2019) *Traffic Congestion and Land Use Regulations. Theory And Policy Analysis*. Amsterdam: Elsevier.
2. Tilburg, van C.R. (2007) *Traffic and Congestion in the Roman Empire*. London, New York: Routledge.
3. Rostow, W.W. (1960) *The Stages of Economic Growth*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. McClintock, M. (1925) *Street Traffic Control*. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
5. Vuchik, V. (2011) *Transport v gorodakh, udobnykh dlya zhizni* [Transportation for Livable Cities]. Translated from English by A. Kalinin. Moscow: Territoriya budushchego.
6. Long, J., Gao, Z., Ren, H. & Lian, A. (2008) Urban Traffic Congestion Propagation and Bottleneck Identification. *Science in China. Series F: Information Sciences*. 51(7). pp. 948–964. DOI: 10.1007/s11432-008-0038-9
7. Sweet, M. (2011) Does Traffic Congestion Slow the Economy? *Journal of Planning Literature*. 26(4). pp. 391–404.
8. Falcocchio, J.C. & Levinson, H.S. (2015) *Road Traffic Congestion: A Concise Guide*. Switzerland: Springer.
9. Bakhtizin, A.R. & Makarov, V.L. (2011) *Avtomobil'nye probki Moskvy: analiz i puti resheniya* [Traffic congestion in Moscow: analysis and solutions]. [Online] Available from: <http://bujet.ru/article/114735.php> (Accessed: 15th June 2020)
10. Blinkin, M.Ya. (2010) Dorozhnoe dvizhenie i gorodskoy transport v Moskve i drugih Rossiyskikh gorodakh [Traffic and urban transport in Moscow and other Russian cities]. *Polit.ru*. 14th October. [Online] Available from: <https://polit.ru/article/2010/10/14/transport/> (Accessed: 16th June 2020).
11. Blinkin, M.Ya. & Sarychev, A.V. (2005) Gorodskoy transport: liberal'nyy vzglyad na problemu [Urban transport: a liberal view]. *Polit.ru*. 7th December. [Online] Available from: <https://polit.ru/article/2005/12/07/transport/> (Accessed: 17th June 2020).
12. Rodoman, B.B. (2008) Avtomobil'nyy tupik Rossii i mira [Car dead end of Russia and the world]. *Polit.ru*. 10th January. [Online] Available from: <https://polit.ru/article/2008/01/10/transport/> (Accessed: 10th June 2020).
13. OICA. International Organization of Motor Vehicle manufacturers. (2016) *World Vehicles In Use – All Vehicles*. [Online] Available from: http://www.oica.net/wp-content/uploads/Total_in-use-All-Vehicles.pdf (Accessed: 3rd July 2020).
14. TomTom. (2020) *TomTom Traffic Index 2019*. [Online] Available from: https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/ (Accessed: 1st July 2020).
15. INRIX. (2020) *INRIX 2019 Global Traffic Scorecard*. [Online] Available from: <https://INRIX.com/scorecard/> (Accessed: 2nd July 2020).
16. INRIX. (2017) *INRIX 2016 Global Traffic Scorecard*. [Online] Available from: <https://INRIX.com/scorecard/> (Accessed: 2nd July 2020).
17. Demographia.com. (2020) *World Urban Areas. 16th Annual Edition*. April 2020. [Online] Available from: <http://www.demographia.com/db-worldua.pdf> (Accessed: 5th July 2020).
18. International Labour Organization. (2020) *Labour Productivity. Which country has the highest labour productivity?* [Online] Available from <https://ilostat.ilo.org/topics/labour-productivity/> (Accessed: 4th July 2020).
19. WHO. (2018) *Global status report on road safety 2018*. Geneva: World Health Organization.
20. Avtostat Analytical Agency. (n.d.) *Reyting Rossiyskikh gorodov-millionnikov po obespechennosti avtomobilyami v 2019 godu* [Rating of Russian cities with population one million and more in terms of car availability]. [Online] Available from: <https://www.avtostat.ru/press-releases/41923/> (Accessed: 10th July 2020).

УДК: 316.4

DOI: 10.17223/1998863X/58/17

Г.С. Солодова, И.И. Краснопольская

МЕХАНИЗМ ПРОИЗВОДСТВА ЭТНИЧЕСКИХ ГРАНИЦ

Идея о социальной природе этничности не нова. Однако не вполне проясненным остается вопрос о происхождении этнических категорий, механизмах их институционализации и объективации. Показана символическая природа этнических границ. Этническая граница понимается как символический маркер и символический способ организации социальных различий между группами. Рассмотрена проблематика границ как инструмента производства этнических групп.

Ключевые слова: этническая граница, идентификация, само- и внешняя категоризация, символическое конструирование.

Введение

Согласно позиции методологического индивидуализма человек сам «выбирает» этничность из некоего доступного ему набора вариантов. Однако остается непонятным: индивид действует как носитель этнических категорий, потому что он сам так определяет себя или потому что он так определяется другими? Откуда он знает о существовании этнических групп и этнической принадлежности? Иными словами, не совсем ясны механизмы формирования этнических категорий и производства границ между группами. Можно предположить, что выбор той или иной этнической идентификации прежде всего связан с определенными психологическими особенностями индивида [1. С. 130–172]; является социально и культурно обусловленным. Или, как в марксистском понимании, конструирование этнических границ необходимо как механизм, объясняющий и закрепляющий мировое капиталистическое разделение труда [2. С. 93–101]. В любом случае важно ответить на вопрос, что является причиной возникновения границ, каким образом этнические границы становятся значимыми в социальных взаимодействиях.

Сразу же отметим, что мы сознательно не фокусируемся на влиянии социальных институтов, исторических, политических или иных условий и факторов, формирующих этнические границы. Безусловно, их вклад значителен. Однако в данном случае ограничимся рассмотрением индивидуальной и групповой деятельности как процесса и механизма конструирования границ между группами.

Акторы производства этнических границ

Потребность в идентификации является социальной, она как бы встроена в индивида. Стремление индивида к четкому определению «я / мы» и «они» не вызывает споров [3. С. 120–121; 4. С. 7–31]. Понимание и усвоение социальных границ происходят на уровне «здорового смысла» [5. Р. 260].

Согласно одной из ключевых идей конструктивизма этническая идентичность не является окончательно и бесповоротно определенным свойством и атрибутом человека, она возникает как подвижное, социально обусловленное отношение [6. Р. 10]. С одной стороны, индивид – самостоятельный ак-

тор, конструирующий собственную идентичность и, следовательно, самостоятельно выстраивающий границы в процессе социальных взаимодействий. С другой – он «объективно» и одновременно принадлежит к какой-то группе, имеющей определенную внешнюю идентификацию.

Идентичность – некий результат и признак отдельного человека. Однако индивид, идентифицированный как представитель группы, теряет индивидуальную природу действий, начинает функционировать преимущественно в групповом качестве. В поле межэтнических взаимодействий он выступает как представитель группы, носитель устоявшегося набора характеристик. В то же время, действуя как уже социализированный в группе субъект и имея определенную этническую идентичность, человек играет роль актора, производителя этнических границ в повседневной деятельности. Процесс производства идентичности и границ носит двойственный характер. Иными словами, этничность и этнические границы формируются в результате социальных взаимодействий и представляют собой результат этих контактов и отношений.

Индивид включен в процессы определения собственной идентичности и одновременного поиска групповой принадлежности. Индивиды становятся членами группы исходя из внутренней самоидентификации. Если определенное число индивидов разделяют одну и ту же идентичность и она принципиально среди них не различается, то можно говорить о коллективной идентичности. Групповое самоопределение (что несет самоограничение) с необходимостью подразумевает номинирование других и другими. Подобное социальное категоризирование определяет существование этнической группы. Принадлежность к этнической группе понимается как результат социальной организации, самоотнесения и внешнего определения другими. Сама по себе группа не может обладать идентичностью, последняя приписывается извне. Образование группы, таким образом, является, с одной стороны, производной от самоидентификации индивидов, с другой – следствием внешнего определения.

Удовлетворяя свои потребности в идентификации и основываясь на ряде признаков, индивиды и группы классифицируют актора как принадлежащего к некой группе. Самоидентификация и внешняя категоризация могут не совпадать, но доминирующей в системе социальных взаимодействий будет групповая идентичность. Во внешних взаимодействиях индивид в первую очередь выступает как представитель группы. Превалирование групповой этнической идентичности является значимым для понимания не только процесса, но и последствий производства этнических границ. Р. Дженкинсоном было выделено два вида идентичностей: номинальная – результат внешней категоризации и идентификации группы, и реальная – имеющая практические последствия для индивида и группы [7. Р. 906].

Таким образом, базовая потребность в само- и внешней идентификации является источником конструирования границ, выполняющих роль разделения и этнической категоризации. Данный процесс правомерен как на индивидуальном, так и на групповом уровнях.

Символическая природа этнических границ

Говоря о символической природе этнических границ, обратимся к исследователям, результаты которых признаны научным сообществом. Широкий и теперь уже классический подход к рассмотрению проблематики символиче-

ских систем и символических инструментов, их структурирующей власти представлен в работах П. Бурдьё [8]. Роль, влияние символических репрезентаций и культурных кодов на социальные отношения – предмет анализа Дж. Александера [9]. Среди недавних работ, посвященных концептуальному рассмотрению внутригрупповых и межгрупповых символических границ, культурным механизмам их производства, взаимосвязи социальных и символических границ, отметим публикации американской исследовательницы М. Ламонт [10, 11]. Тем не менее, вернемся к основоположникам идеи символичности этнических границ Ф. Барту и А. Коэну.

В рамках конструктивистского подхода Барта этничность следует рассматривать как форму социальной организации, создаваемой самокатегоризацией и категоризацией иными социальными акторами. Этнические границы структурируют пространство социальных взаимодействий и организуют в нем деятельность групп [12. С. 26–34; 13. С. 24–35]. Основное в концепции Барта – перенос акцента с объективности на относительность различий.

Коэн сосредоточился на функционалистском объяснении производства этнических категорий. С его позиции, этничность выполняет функцию границы. Человек склонен определять и классифицировать явления по принципу максимальной межгрупповой и минимальной внутригрупповой дисперсии и дистанции. Границы, по определению, заключают и огораживают элементы, которые в определенном контексте и с определенными целями понимаются как более схожие друг с другом, нежели различные [14. Р. 14]. Этнические границы являются одним из параметров, по которому происходит идентификация этнических групп. В этнических группах заключены индивиды, которые внешне воспринимаются как носители одной этничности, но не обязательно воспринимающие собственную этническую идентичность одинаково. Акцент сделан на сходстве. Как отмечает В.А. Тишков, этническую группу Коэн определяет как самостоятельный феномен, исключая при этом жесткую привязку к ее «наполнению» [15. С. 105].

Для минимизации влияния психологического фактора одновременно этничность понимается как социально институционализированный конструкт, имеющий определенное место в системе социальных отношений. Этничность относится к системе социальных границ, является их частью. Она позволяет маркировать социально значимые различия и задавать формы социальной организации групповых характеристик.

Этнические границы, являясь социальными категориями, обладают символической природой, служат маркерами этнических различий, вокруг которых организуются другие социальные характеристики. Но здесь возникает проблема, которая заключается в неустойчивости и неоднозначности определения этничности и, соответственно, этнических границ группы. Поскольку идентичность приобретается во взаимодействии, то фактически она отражает *восприятие* различий и их определение как *значимых* различий. В этом ключе Валлман полагает, что этничность является «ощущаемой границей», которая включает сами различия и социальный смысл этих различий. Она имеет место только в случае взаимодействия групп – этнические границы производятся и являются реакцией одной группы на другую [16. Р. 201–205]. Иначе говоря, классификация и категоризация групп происходят по выделяемым

критериям, которые воспринимаются как значимые – границы становятся действенными в случае их восприятия как значимых.

Безусловно, относительно большого числа повседневных понятий индивиды могут не выработать идентичного понимания. Однако индивиды, обладающие относительно схожим опытом, имеют схожее восприятие. Коэн отмечает, что принципиальным является не столько действительное одинаковое восприятие индивидами одного символа, сколько уверенность, что их восприятие символа аналогично восприятию других членов группы. Символические границы действительны только тогда, когда у членов группы присутствует уверенность в их существовании и значимости, когда они воспринимаются как значимые в данном социальном контексте [14. Р. 20–40].

В социальных интеракциях символические границы не всегда актуализированы. Основная задача границ как отдельного явления – противопоставление схожей совокупности внешней системе, очерчивание сообщества по отношению к другим. Маркирование логического отрицания [14. Р. 58]. Исходя из этого, первоначальные границы не столько идентифицируют группу внутри, сколько фиксируют ее по отношению к внешней среде. Именно на данном этапе конструируются этнические группы чужих, происходит процесс типизирования не-членов группы на основании набора «типичных и одинаковых для всех чужих» характеристик. В дальнейшем конструкт этнической категории дополнительно определяется и, в зависимости от контекста, наделяется оценочными эмоциональными характеристиками. Изначально этнические границы не несут дискриминационной смысловой нагрузки, только отрицание. Потенциально негативными характеристиками они могут наделяться в дальнейшем, что определяется и зависит от ситуационного контекста.

Границы способствуют построению индивидами собственной групповой идентичности. В контексте этничности это может быть и этническая идентичность, но, используя термин Барта, это индивидуальная социальная идентичность. Более референтное нашей работе следствие существования границ – одновременное с определением собственной группы определение и называние внешних, чужих групп. Этнические границы становятся значимыми в том случае, когда различия *должны* быть выделены. И *некое конкретное* различие используется для выделения границ, когда *именно тот* определяется как этнически чужой [14. С. 209]. Данный процесс не является случайным, спорадическим. Значима детерминация культурного, политического, исторического и других контекстов.

Говоря о существовании разделяемого индивидами общего символа, о выделении «общих» для не-членов группы черт и основанных на них процессах типизации, необходимо учитывать неполноту источников информации отдельного индивида. Они лимитированы естественной ограниченностью индивидуального опыта и особенностями личного восприятия, которые, с одной стороны, обеспечивают избирательный характер усвоения потока информации, с другой – оптимизируют мышление и оценки использованием уже существующих когнитивных конструктов.

Очевидно, что этнические границы не всегда выстраиваются непосредственно на фенотипических характеристиках индивидов. Они могут не зависеть от «естественных» отличий индивидов, не быть с ними связанными. Важно понимание того, что приписывание этничности и производство границ

в любом случае будет относительно субъективным – вне контекста и сознания актора пограничные различия не будут играть существенной роли в разделении индивидов.

Наличие физических границ между группами не является необходимым условием их разделения. Нет прямой зависимости между существованием отдельных этнических групп и фактом наличия физической преграды или границы между ними, в то время как наличие символической границы представляется необходимым и достаточным условием разделения этнических групп. Физическая и символическая границы могут совпадать. Так, Андерсон полагал необходимость их соединения в случае, когда каждая нация единолично занимает отдельную территорию. В реальных ситуациях более распространен вариант функционирования одной символической границы. Делая акцент на независимости физических и символических границ и на доминировании последних, Барт отмечал два свойства этнических границ. Во-первых, они существуют независимо от наличия или отсутствия реальной территориальной мобильности и взаимодействий индивидов из разграниченных групп. Во-вторых, они порождают процессы эксклюзии, не связанные с непосредственным членством или индивидуальными жизненными историями [3. С. 10].

Содержательно это схоже с идеями Мэри Дуглас о точке неопределенности, разделяющей опасное от неопасного в социальном взаимодействии. Границы, этнические границы в частности, являются инструментом разделения на чистое и грязное как находящееся не на своем месте. Этнические границы в обществе служат разграничению тех, кто по каким-то воспринимаемым этническим различиям понимается как не вписывающийся в доминирующие модели общественного устройства. По этой причине они считаются «грязными» и подвергаются категоризации. С.Е. Мерри (S.E. Merry) по результатам своих исследований пришла к выводу, что в ситуации межкультурного городского соседства «чужие» ассоциируются с опасным [17. Р. 47–74]. Ситуация с разделением на чистое и грязное, своих и чужих сохраняется и в современных обществах. Границы выстраиваются с целью избежать «загрязнения».

Возвращаясь к определению символической природы этнических границ, отметим, что этническая граница не имеет четкой привязки к наполнению. Непосредственное наполнение символов границ в определенной степени может быть произвольным. Т. Парсонс отмечал, что маркеры символической этничности опциональны, у них пустое, произвольное, оценочно нейтральное содержание. Они наполняются как самой группой, так и внешней идентификацией. Наряду с этим границы «могут быть символизированы реальными вещами» [16. С. 205]. Козн говорит о таких маркерах, как фенотип, язык или культура. Этим феноменам придается символическая значимость. Иначе говоря, любые различия могут играть роль символических границ и служить основаниями эксклюзии или инклюзии как на уровне действий, так и в области смыслов. Однако это происходит только в определенном ситуативном контексте, когда участники взаимодействия *используют* эти различия, чтобы идентифицировать себя как группу – привить смысл «мы», усилить отстранение от «они». Посредством отрицания другого, противопоставления Я и Он, Мы и Они индивиду и группе проще выстроить и акцентировать собственную идентичность.

Исследование когнитивного процесса наполнения этнических границ на индивидуальном уровне проводилось на материале мигрантов в Новой Гвинее [18. С. 165–180]. Основной вывод автора состоит в незавершенности, процессуальности конструирования этнических групп. Левин показал, что содержательное наполнение и определение фактических границ групп этнических мигрантов происходит в полях повседневного опыта и повседневных практик. Сами мигранты, не обязательно имеющие общее этническое происхождение, действуют и объединяются в группы по принципу прошлой территориальной близости. С целью облегчения внешней коммуникации они обозначают себя названием местности, откуда прибыли. Территориальное обозначение становится групповым референтом. Это является уже признаком внешнего конструирования и наполнения этнических границ. В дальнейшем для интерпретации случайных феноменов повседневного взаимодействия привлекается понятие этнической группы. Этничность начинает играть роль объясняющего фактора. В плоскости повседневных взаимодействий практически любая активность мигрантов приобретает причинное обоснование в их «национальном характере», типичных чертах, воспринимаемых как априори присущие.

При подобном понимании возникает уверенность в том, что этнические границы, символизирующие реальные или воображаемые фенотипические черты, действительно предопределяют ценности, интеллектуальные способности, поведение индивидов. При этом применение этнических категорий происходит нерелефлексивно. Этничность расширяет свое влияние, она используется как структурирующий, направляющий и объясняющий социальные взаимодействия фактор.

Таким образом, этнические границы функционируют для выделения и идентификации этнической группы посредством разделяемого индивидами представления о не принадлежащих к их группе этнических индивидах. Поскольку идентичность рассматривается как результат взаимодействий, то принадлежность к этнической группе понимается как следствие социальной организации, самоотнесения и определения другими. Границы выстраиваются на основании общего разделяемого символа. Выбор критериев различий определяется контекстом, а не «объективными» различиями. Соответственно, этнические границы носят «выборочный», относительный характер. Вместе с тем созданные в процессе интеракций и обладающие символической природой этнические границы реально функционируют и действительно организуют социальные практики между разграниченными группами.

Заключение

В статье рассмотрена проблематика этнических границ как инструмента символического производства этнических групп. Производство границ служит удовлетворению базовой потребности индивидов в само- и внешней идентификации. Конструирование границ имеет двойственное значение и наполнение: как социально-структурного и как субъективного феномена. Поскольку идентичность есть результат социальных отношений, то этнические границы являются определенными знаками, маркерами, организующими вокруг себя систему социальных взаимодействий, играют организующую роль.

Показана символическая природа этнических границ и социально конструируемой этничности. Полагается, что этническая граница становится действенной и результативной, только когда различия, на которых она основана, воспринимаются как значимые и используются акторами для объяснения социальных взаимодействий.

В общем виде механизм конструирования и деятельности этнических границ можно представить следующим образом. Первое – любую совокупность индивидов можно разделить по принципу наличия характеристик, которые содержательно и значимо отличны от характеристик другой совокупности. Граница выстраивается по критерию содержательности и значимости. Второе – эти различия объективны, поскольку могут быть перечислены. Одновременно они субъективны в силу того, что вне восприятия акторами и вне данного контекста не будут играть значимой разграничивающей роли. Третье – границы являются действенными в той степени, в какой они значимо накладываются на само восприятие акторов и на восприятие других. Таким образом, производство этнических границ является балансом между восприятием и структурной социальной деятельностью. Результаты этнического разграничения – этнические категории – обладают значимыми последствиями как на индивидуальном уровне, так и на уровне организации социальных взаимодействий.

Литература

1. Нельсон Т. Психология предубеждений: Секреты шаблонов мышления, восприятия и поведения. СПб. : Прайм-Еврознак, 2003. 384 с.
2. Валлерстайн И. Конструкция народа: Расизм, национализм, этническая принадлежность // Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс: Двусмысленные идентичности. М. : Логос-Альтера, 2003. 288 с.
3. Социальная и культурная дистанции: Опыт многонациональной России / авт. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева. М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998. 385 с.
4. Дробижева Л. М. Гражданская идентичность как условие ослабления этнического негативизма // Мир России. 2017. Т. 26, № 1. С. 7–31.
5. Roger L. Exploring human geography: A reader. London : Arnold, 1996. 514 p.
6. Barth F. Introduction // Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Cultural Difference / ed. by F. Barth. Bergen; Oslo; London, 1969. 153 p.
7. Bonilla-Silva E. The essential social fact of race // American sociological review. 1999. Vol. 64, № 6. P. 899–906.
8. Бурдые П. Социология социального пространства / пер. с фр.; отв. ред. перевода Н.А. Шматко. М. : Ин-т экспериментальной социологии; СПб. : Алетейя, 2007. 288 с.
9. Alexander J.C., Giesen B., Mast J. Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. 375 p.
10. Lamont M., Molnár V. The study of boundaries in the social sciences // Annual Reviews of Sociology. 2002. Vol. 28. P. 167–195.
11. Lamont M., Pendergrass S., Pachucki M., Symbolic Boundaries // International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd edition). 2015. Vol. 23. P. 850–855.
12. Краснополяская И.И., Солодова Г.С. Социальное конструирование этничности // Социологические исследования. 2013. № 12. С. 26–34.
13. Краснополяская И.И., Солодова Г.С. Восприятие чужака группой в социологии Г. Зиммеля // Социологический журнал. 2012. № 4. С. 24–35.
14. Cohen A.P. The symbolic construction of community. London : Routledge, 1985. 128 p.
15. Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. М. : Наука, 2003. С. 544.
16. Wallman S. The boundaries of “race”: processes of ethnicity in England // Man. 1978. Vol. 13, № 2. P. 200–217.

17. Harrison F.V. The persistent power of "race" in the cultural and political economy of racism // *Annual Review of Anthropology*. 1995. Vol. 24. P. 47–74.
18. Levine H.B. Reconstructing ethnicity // *The Journal of the Royal Anthropological Institute*. 1999. Vol. 5, № 2. P. 165–180.

Galina S. Solodova, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation); Siberian State University of Telecommunications and Information Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: gsolodova@gmail.com

Irina I. Krasnopolskaya, Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation).

E-mail: ikrasnopolskaya@hse.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 189–197.

DOI: 10.17223/1998863X/58/17

THE MECHANISM OF PRODUCTION OF ETHNIC BORDERS

Keywords: ethnic border; identification; self- and external categorization; symbolic construction.

The article elaborates on the symbolic nature of ethnic borders. An ethnic border is a symbolic marker and a symbolic way of organizing social differences between groups. The article examines borders as a tool for the production of ethnic groups. The initial assumption is that, as soon as identity is an attitude but not a property, belonging to an ethnic group is a result of social organization, self-attribution, and determination by others. The production of borders serves to satisfy the basic needs of individuals for identification, both self- and external. Borders are built based on a commonly shared symbol. The choice of criteria for differentiation is determined by the context, and not by any "objective" differences. Ethnic borders are of "selective" and relative nature. An ethnic border becomes real and productive only when the differences on which it is based are perceived as significant and used by actors to explain social interactions. Ethnic borders are related to interactions and have a symbolic nature. Therefore, borders function and organize social practices between delimited groups. The overall mechanism of the construction of ethnic borders is as follows. First, any set of individuals can be divided according to characteristics that are meaningful and significantly different from another set of individuals. The border is built according to the criterion of content and significance. Second, these differences are objective, as they can be listed. At the same time, they are subjective as they will not play a significant differentiating role outside the given context and the perception by the actors. Third, borders are effective to the extent they impose on the perception of actors and the perception of others. Thus, the production of ethnic borders is a balance between perception and structural social activity. The consequences of ethnic distinction—ethnic categories—have significant consequences both at the individual level and at the organizational or social level.

References

1. Nelson, T. (2003) *Psikhologiya predubezhdeniy: Sekrety shablonov myshleniya, vospriyatiya i povedeniya* [The Psychology of Prejudice]. Translated from English. St. Petersburg: Praym-Evroznak.
2. Wallerstein, I. (2003) Konstruktsiya naroda: Rasizm, natsionalizm, etnicheskaya prinadlezhnost' [The construction of the people. Racism, Nationalism, Ethnicity]. In: Balibar, E. & Wallerstein, I. *Rasa, natsiya, klass: Dvumyslennye identichnosti* [Race, Nation, Class: Ambiguous Identities]. Translated from English. Moscow: Logos-Altera.
3. Drobizheva, L.M. (ed.) (1998) *Sotsial'naya i kul'turnaya distantsii: Opyt mnogonatsional'noy Rossii* [Social and cultural distance: the experience of multinational Russia]. Moscow: Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences.
4. Drobizheva, L.M. (2017) National identity as a means of reducing ethnic negativism. *Mir Rossii – Universe of Russia*. 26(1). pp. 7–31. (In Russian).
5. Roger, L. (1996) *Exploring Human Geography: A Reader*. London: Arnold.
6. Barth, F. (1969) Introduction. In: Barth, F. (ed.) *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Cultural Difference*. Bergen; Oslo; London: Waveland Press.
7. Bonilla-Silva, E. (1999) The essential social fact of race. *American Sociological Review*. 64(6). pp. 899–906. DOI: 10.2307/2657410
8. Bourdieu, P. (2007) *Sotsiologiya sotsial'nogo prostranstva* [Sociology of Social Space]. Translated from French by N.A. Shmatko. Moscow: Institute of Experimental Sociology; St. Petersburg: Aleteyya.

9. Alexander, J.C., Giesen, B. & Mast, J. (2006) *Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual*. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Lamont, M. & Molnar, V. (2002) The study of boundaries in the social sciences. *Annual Reviews of Sociology*. 28. pp. 167–195. DOI: 10.1146/annurev.soc.28.110601.141107
11. Lamont, M., Pendergrass, S. & Pachucki, M. (2015) Symbolic Boundaries. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. 23. pp. 850–855.
12. Krasnopolskaya, I.I. & Solodova, G.S. (2013) Sotsial'noe konstruirovaniye etnichnosti [Social construction of ethnicity]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 12. pp. 26–34.
13. Krasnopolskaya, I.I. & Solodova, G.S. (2012) Vospriyatie chuzhaka gruppoy v sotsiologii G. Zimmelya [Group perception of a stranger in G. Simmel sociology]. *Sotsiologicheskiy zhurnal – Sociological Journal*. 4. pp. 24–35.
14. Cohen, A.P. (1985) *The Symbolic Construction of Community*. London: Routledge.
15. Tishkov, V.A. (2003) *Rekviem po etnosu: Issledovaniya po sotsial'no-kul'turnoy antropologii* [Requiem for ethnos: Studies in socio-cultural anthropology]. Moscow: Nauka.
16. Wallman, S. (1978) The boundaries of “race”: processes of ethnicity in England. *Man*. 13(2). pp. 200–217.
17. Harrison, F.V. (1995) The persistent power of “race” in the cultural and political economy of racism. *Annual Review of Anthropology*. 24. pp. 47–74. DOI: 10.1146/annurev.an.24.100195.000403
18. Levine, H.B. (1999) Reconstructing ethnicity. *The Journal of the Royal Anthropological Institute*. 5(2). pp. 165–180.

УДК 316.75

DOI: 10.17223/1998863X/58/18

F. Chiarvesio¹

THE STAGNATION OF ANTI-CORRUPTION STUDIES ON RUSSIA: WHAT SHOULD BE DONE TO REVERSE THE SITUATION?²

The literature on anti-corruption in Russia is characterized by the prevalence of broad studies and a lack of infield research. This paper illustrates the need to expand the research focus and to investigate the processes taking place within civil society. By focusing on neglections, this work proposes new research approaches.

Keywords: anti-corruption; Russia; social sciences; civil society.

Introduction

When beginning to explore the anti-corruption literature on Russia, an inexperienced social science researcher feels intimidated by the number of available publications on the topic, proposed mostly by local scholars. The initial excitement and awe quickly leave for a feeling of disappointment. In fact, most works consist of legal studies, while social sciences seem to have been relegated to the role of ‘timid observers’, offering mainly remarks on how things should work. In this work, I argue that social sciences could and should contribute more to the development of this field of study and that, in order to do this, they should try to broaden their research approach at different levels. I also illustrate some of the aspects that deserve more attention from scholars, both local and international, focusing mainly on the neglections that concern the study of civil society.

A short introduction to the anti-corruption literature on Russia

The anti-corruption academic literature on Russia emerged in the early 2000s, when both local and foreign scholars began to produce studies on the topic, thanks to the increasing attention devoted to the post-Soviet region by international institutions. The first decade of the century was characterized by works that discussed the barriers to overcome for an effective fight against corruption [1]. After the approval of the first anti-corruption law by then president Dmitry Medvedev in 2008 [2], local scholars began to pay increasing attention to the legal

¹ Автор. Франческа Кьярвезио.

Название статьи: Как преодолеть застой антикоррупционных исследований в России?

Аннотация. Рассматривается состояние научной литературы по теме противодействия коррупции в России; исследуются аспекты, которые до сих пор остаются без должного внимания, и предлагаются новые направления исследований. Показана необходимость расширения исследовательской направленности и изучения процессов, происходящих в гражданском обществе.

Ключевые слова: противодействие коррупции; Россия; социальные науки; гражданское общество; общественные организации.

² The article was prepared within the framework of the Basic Research Program of the HSE University Basic Research Program and funded by the Russian Academic Excellence Project ‘5-100’. (В статье использованы результаты проекта «Социальная инклюзия в пространстве постсоциализма: институты, акторы, ценности», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2020 г.)

aspects of anti-corruption [3, 4] and to the role of civil society [5, 6]. The difference between the academic production proposed by local scholars and scholars affiliated to international institutions emerged more clearly in the 2010s. In fact, during these years, local social science researchers failed in contributing significantly to the expansion of knowledge in this field, continuing to focus on the theoretical role played by civil society, remarking on the importance to establish a dialogue with the state, and to reinforce the collaboration between these two spheres, without offering substantial infield investigations [7, 8]. As a consequence, with the exception of the works proposed by Schmit-Pfister and Zaloznaya et al. [9, 10], the role of civil society has remained mainly unexplored.

What should be done to reverse the situation? Broadening the field

According to the discourse proposed by international institutions, the reduction of corruption is *sine qua non* for the development of democracy that, on the other hand, represents a prerequisite for the effective implementation of anti-corruption reforms. International institutions provide a moral justification for the urgency to promote democratic and anti-corruption principles through standardized policies and programs based on western models that emphasize the central role of civil society [11]. This universalistic approach has been criticized by scholars who remark on the importance to consider and investigate the local context, and to overcome an idealized understanding of civil society [12]. However, normative studies remain predominant for what concerns anti-corruption in Russia. The nexus between democracy and anti-corruption, present in the international discourse [13], is here overlooked in studies that focus only on anti-corruption. I argue that this approach limits the understanding of what anti-corruption is in Russia, as it neglects the hypothesis that this field can be influenced by how democracy is perceived and by the different meanings that can be associated with this idea.

According to Levada polls published in 2015 [14], the majority of Russians (62%) thinks that the country needs democracy, 55% of the respondents declare that it requires a model of democracy that reflects the ‘national traditions and specificity’ of Russia. These results demonstrate how only 13% would opt for a western model of democracy, a percentage of people even lower than those who would prefer to re-establish a Soviet democracy (16%). These data reflect the historical development of the country and the political discourse created by the government during the last two decades. According to Drozdova and Robinson [15], who analyzed Putin’s speeches over the years, the president has always expressed a positive attitude towards democracy, although emphasizing more the importance of other aspects such as patriotism, the creation of a strong state, and the collaboration between government and civil society, in order to maintain stability and to support the development of the country. In his words, democracy is important but it does not have to correspond to the western model, suggesting that the country should follow a path that better conforms to its specificities. It is interesting how the same approach can be noticed also in the official discourse on anti-corruption, which suggests that the country should develop its own instruments to counteract the problem, avoiding external impositions [16]. International institutions propose a depoliticized and universal approach to anti-corruption [17], but how is it understood and re-elaborated in a context such as the Russian one, where the idea of democracy seems to differ from the one expressed

by western models? The literature produced so far has not explored the meanings that anti-corruption and democracy have acquired in the specific context of Russia. It has also addressed the question of anti-corruption separately from the question of democracy. How can we understand how anti-corruption in Russia has transformed if we do not know what this idea means for those who are directly engaged in the process? How has the idea of democracy affected the way anti-corruption is viewed?

Exploring the field

Despite the great importance placed on the role played by civil society in local studies, as mentioned above, very few works have tried to reveal what this role actually consists of. As explained previously, local publications remark on the importance of the collaboration between government and civil society, often urging the state to reinforce dialogue with the latter, but the studies provide only a superficial analysis of the sector. The situation does not improve significantly if we consider the limited number of works that proposed infield investigations, mainly published by scholars affiliated to foreign universities. Zaloznaya et al. [10] focused on relations with the government, describing them as a collaboration established with the only purpose of reinforcing the positive image of the state, but actually limiting the impact of civil society. As a consequence, the nature of this sector remains unexplored. Chandoke argues that civil society has now become a 'consensual concept' [18. P. 1], based on a normative and idealized academic approach, urging scholars to explore what this concept actually means. The relations between state and civil society in Russia have been extensively analyzed by international scholars over the last decade; they investigated the consequences of the approval of the laws on 'foreign agents' (2012) [19] and on 'undesired organizations' (2015) [20]. The role of organizations and initiatives engaged in anti-corruption, however, has not been investigated at the micro level, neglecting the work carried out every day by workers, and at the meso level, overlooking how the politicization of the sector might have affected the different actors. Until the early 2010s, in Russia there were only a handful of organizations and research centers engaged directly in anti-corruption [21]. For most organizations anti-corruption represented only a side-task, and it was only between the late 2000s and the early 2010s that the structure of the sector significantly transformed, when the fight against corruption became one of the main objectives of president Dmitry Medvedev, but also one of the main instruments in the hands of the political opposition. During the last decade anti-corruption civil society initiatives and organizations supported by the opposition were created; nevertheless, this particular aspect has not been investigated by scholars. The politicization of civil society deserves a more in-depth analysis, as it clashes with the model promoted by international institutions, raises questions concerning the nature of civil society and the effects of blurring boundaries between the political and civil sphere. Dismissing the politicization of the field by the opposition, scholars risk providing a distorted and limited understanding of the situation in the country. How do we conciliate the agency given to civil society by the international depoliticized anti-corruption discourse with the political goals of some organizations in Russia? Why does the impact of the state agenda deserve particular attention, but the possible instrumentalization of civil society by the opposition for political purposes can be

overlooked? The discourses on anti-corruption created by both the government and the opposition have been analyzed by Popova, who argues that both approaches risk to lead to a 'systematic reproduction of corruption practices' [22. P. 206]. We know little, however, about the impact that these discourses have had on civil society organizations and initiatives. Furthermore, as mentioned above, scholars have extensively investigated the impact of the NGO laws focusing on the strategies developed by workers to avoid any collision with authorities, and Tysiachniouk et al. [23] explained how local environmental organizations use informal practices to simulate compliance with the laws, such as concealing foreign funding sources, making informal agreements with officials, or changing the juridical status of the organizations to escape restrictions. The literature on anti-corruption has not yet investigated how organizations have adjusted to the new laws, and it remains unexplored how they move between the possible necessity to use informal practices to carry out their work and the principles they represent. The risk for civil society to become 'anti-democratic and self-serving' [24. P. 217] deserves more attention in a complex context such as the Russian one. The studies proposed so far have not focused on the practices and strategies used in everyday work, and only in-depth infield research could disclose the reality behind projects and official statements.

Another aspect that deserves more attention is the actual role played by institutionalized non-governmental organizations in today's Russia. The studies produced after the fall of the Soviet Union highlighted the lack of trust among citizens toward civil society organizations, and during recent years scholars have observed the increasing importance of informal associations of citizens that seem to develop in parallel to existing organizations [25]. How do more institutionalized organizations adjust to the transformations occurring within society? Do they have an impact on the process of democratization, whatever this means in the specific local context, or do they struggle to be identified by citizens as their representatives and as legitimized anti-corruption warriors?

Repositioning the field

The necessity to broaden the focuses and to explore anti-corruption from different perspectives also involves repositioning the field as a whole. The studies produced so far are affected, on the one hand, by the tendency of international scholars to consider the post-Soviet regions as a separate space that can be compared only to countries that share a similar historical, political and social background and, on the other hand, by the research approaches used by local scholars that exclude them from the international debate. The predominance of legal studies or broad analyses, often atheoretical, impedes the production of works that can contribute significantly to the understanding of what anti-corruption in Russia is and that can attract the interest of the international academic community. It is true that the field of anti-corruption emerged globally only in the 1990s, and that until 2008 Russia did not have an anti-corruption law. Furthermore, the academic system of the country had to adjust to the economic and political changes occurring at the national level and, simultaneously, to the transformations affecting the sector at the global one. It is time for scholars to try to overcome the label of post-Soviet studies, and to propose experiences and types of knowledge rooted in the specific local context, as emphasized by Müller [26]. The international debate

on anti-corruption urges scholars to explore new paths and to go beyond predetermined schemas. In order to overcome a normative approach, developed on the basis of a western understanding of anti-corruption and democracy, scholars should try to link the experience of Russia with the experience of other countries outside the post-Soviet region, with the goal of ‘unsettling and reconstituting standard processes of knowledge production’, as suggested by Bhambra [27. P. 115] when discussing the potential of post-colonial and de-colonial thinking.

Conclusion

This paper explores some of the aspects and questions that have so far been neglected by scholars studying anti-corruption in Russia. It also stresses the important role that the contribution of local scholars could play in expanding and developing this field of studies. I argue that the evolution of the sector deserves more attention from social scientists, who should undertake more infield investigations. The current situation of stagnation, especially at the local level, can be overturned by broadening the focuses of the investigation, by venturing into the field to explore everyday practices and reveal meanings, and by looking beyond the boundaries of the post-Soviet region to take inspiration from post-colonial experiences. The significant development of the anti-corruption sector in Russia in the last decade, its partial politicization, the need to link the question of anti-corruption with the one of democracy, its potential role in the transformations that civil society is undergoing are aspects that have remained almost unexplored, but that deserve more attention and courage from scholars, both local and international.

References

1. Coulloudon V. Russia's distorted anticorruption campaigns // *Political Corruption in Transition: A Skeptic's Handbook* / eds. S. Kotkin and A. Sajó. Budapest : Central European University Press, 2002. P. 187–205.
2. *Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»* // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 12.09.2020).
3. Мамитова Н.В. Основные направления государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции // *Право и современные государства*. 2015. Vol. 2. P. 88–92.
4. Цирин А.М. Перспективные направления развития законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции // *Журнал российского права*. 2011. Vol. 2, № 170. P. 12–24.
5. Оныщук И.И. Участие институтов гражданского общества в правовом мониторинге как средство минимизации коррупциогенных факторов // *Мир политики и социологии*. 2015. Vol. 1. P. 76–85.
6. *Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией : научно-практическое пособие* / Т.А. Едкова, О.А. Иванюк, Ю.А. Тихомиров и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М. : ПОЛИГРАФ-ПЛИУС, 2013.
7. Шедий М.В. Особенности развития антикоррупционного потенциала гражданского общества в России // *Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета*. 2013. Vol. 2, № 26. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-antikorrupcionnogo-potentsiala-grazhdanskogo-obschestva-v-rossii/viewer> (дата обращения: 02.11.20).
8. Сологуб В.А., Хашиева И.А. Роль гражданского общества в реализации государственной политики противодействия коррупции // *Электронный вестник Ростовского социально-экономического института*. 2014. Vol. 1. P. 67–73.
9. Schmidt-Pfister D. Transnational anti-corruption advocacy: A multi-level analysis of civic action in Russia // *Governments, NGOs and Anti-Corruption* / eds. L. de Sousa, P. Larmour, & B. Hindess. London ; New York : Routledge, 2009. P. 161–177.

10. Zaloznaya M., Reisinger W.M., Claypool V.H. When civil engagement is part of the problem: Flawed anti-corruptionism in Russia and Ukraine // *Communist and Post-Communist Studies*. 2018. Vol. 51, № 3. P. 245–255. DOI: 10.1016/j.postcomstud.2018.06.00
11. Sampson S. Integrity warriors: Global morality and the anti-corruption movement in the Balkans // *Corruption: anthropological perspectives* / eds. D. Haller, C. Shore. London : Pluto Press, 2005. P. 103–130.
12. Lewis D. Civil society in African contexts: Reflections on the usefulness of a concept // *Development and change*. 2002. Vol. 33, № 4. P. 569–586. DOI: 10.1111/1467-7660.0027
13. Marquette H. Corruption, democracy and the World Bank // *Crime, Law and Social Change*. 2001. Vol. 36, № 4. P. 395–407.
14. Волков Д., Гончаров С. Демократия в России: установки населения. Левада-Центр, 2015. URL: https://www.levada.ru/old/sites/default/files/report_fin.pdf (дата обращения: 20.10.2020).
15. Drozdova O., Robinson P. A study of Vladimir Putin's rhetoric // *Europe-Asia Studies*. 2019. Vol. 71, № 5. P. 805–823. DOI: 10.1080/09668136.2019.1603362
16. Христова К. Кремль: Борьбу с коррупцией нельзя называть другим странам // *Комсомольская Правда*, 2015. URL: <https://www.kp.ru/online/news/2209574/> (дата обращения: 20.09.2020).
17. Gephart M. Contextualizing conceptions of corruption: Challenges for the international anti-corruption campaign / GIGA Working Papers, 2009. № 115, German Institute of Global and Area Studies (GIGA), Hamburg.
18. Chandhoke N. The 'civil' and the 'political' in civil society // *Democratization*. 2001. Vol. 8, № 2. P. 1–24. DOI: 10.1080/714000194
19. Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 12.09.2020).
20. Федеральный закон от 23 мая 2015 № 129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 12.09.2020).
21. Shelley L. Civil society mobilized against corruption: Russia and Ukraine // *Civil Society and Corruption* / eds. M. Johnston. Lanham, Maryland : University Press of America, 2005. P. 3–21.
22. Pavlova E. Corrupt governance: Self-defeating anti-corruption rhetoric and initiatives in Russia // *New Perspectives*. 2020. Vol. 28, № 2. P. 205–222.
23. Tysiachniouk M., Tulaeva S., Henry L.A. Civil society under the law 'on foreign agents': NGO strategies and network transformation // *Europe-Asia Studies*. 2018. Vol. 70, № 4. P. 615–637. DOI:10.1080/09668136.2018.1463512
24. Suleiman L. The NGOs and the grand illusions of development and democracy // *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*. 2013. Vol. 24, № 1. P. 241–261. DOI 10.1007/s11266-012-9337-2
25. Report on the State of Civil Society in the EU and Russia / EU- Russia Civil Society Forum, 2019. URL: https://eu-russia-csf.org/wp-content/uploads/2020/01/20200116_RU-EU_Report2019_online_covers.pdf (accessed: 01.09.2020).
26. Müller M. Goodbye, postsocialism! // *Europe-Asia Studies*. 2019. Vol. 71, № 4. P. 533–550. DOI: 10.1080/09668136.2019.1578337
27. Bhabra G.K. Postcolonial and decolonial dialogues // *Postcolonial studies*. 2014. Vol. 17, № 2. P. 115–121. DOI: 10.1080/13688790.2014.966414

Francesca Chiarvesio, Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation).

E-mail: fchiarvesio@hse.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 198–205.

DOI: 10.17223/1998863X/58/18

THE STAGNATION OF ANTI-CORRUPTION STUDIES ON RUSSIA: WHAT SHOULD BE DONE TO REVERSE THE SITUATION?

Keywords: anti-corruption; Russia; social sciences; civil society.

This article discusses the state of the academic literature on anti-corruption in Russia, exploring which aspects have been neglected so far, and proposing new research focuses. In the works produced

by both local and international scholars, the question of anti-corruption is delinked from the question of democracy. However, the specificities of the Russian context suggest that a possible connection between these two ideas deserves more attention. The government has created a discourse that emphasizes the need for Russia to develop its own democracy, warning against the mere imposition of western models. This idea is also supported by public opinion. The official discourse also highlights the necessity to develop local instruments to counteract corruption, avoiding external interferences. However, the way these ideas could have been perceived and translated by civil society actors has not yet been investigated. Studies have paid little attention to the practices that constitute the everyday work carried out by anti-corruption organizations. This article suggests that scholars should research the possible inconsistencies generated by the use of informal practices at the micro level, and investigate whether these clash with the principles of democracy and anti-corruption promoted by such organizations. The role of more-institutionalized organizations is another aspect that deserves more attention. During recent years, scholars have discussed the increasing importance of informal associations. However, the impact of this new trend on organizations engaged in anti-corruption has not been analyzed. Researchers should try to detect how these are engaged in the transformation taking place within society, and whether they struggle to position in this context. The article also remarks on the importance to overcome the boundaries set by the post-Soviet label, both spatially and epistemologically. Local meanings and experiences should be investigated, trying to overcome the western models at the base of the international discourse. In this process, a crucial role is played by local social science scholars, whose inside knowledge can contribute significantly to studying and thereby revising the current state of stagnation.

References

1. Coulloudon, V. (2002) Russia's distorted anticorruption campaigns. In: Kotkin, S. and Sajó, A. (eds) *Political Corruption in Transition: A Skeptic's Handbook*. Budapest: Central European University Press. pp. 187–205.
2. Russian Federation. (2008) *Federal Law N 273-FZ of December 25, 2008, "On Combating Corruption"*. [Online] Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (Accessed: 12th September 2020).
3. Mamitova, N.V. (2015) Osnovnye napravleniya gosudarstvennoy politiki Rossiyskoy Federatsii v oblasti protivodeystviya korruptsii [Main directions of the state policy of the Russian Federation in the field of anti-corruption]. *Pravo i sovremennyye gosudarstva – Law and Contemporary States*. 2. pp. 88–92.
4. Tsin, A.M. (2011) Perspektivnye napravleniya razvitiya zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii o protivodeystvii korruptsii [Prospective directions of development of the legislation of the Russian Federation on combating corruption]. *Zhurnal rossiyskogo prava – Journal of Russian law*. 2(170). pp. 12–24.
5. Onyshchuk, I.I. (2015) Participation of civil society institutions in legal monitoring as an instrument of minimizing corruption factors. *Mir politiki i sotsiologii – The World of Politics and Sociology*. 1. pp. 76–85. (In Russian).
6. Tikhomirov, Yu.A. (ed.) (2013) *Uchastie institutov grazhdanskogo obshchestva v bor'be s korruptsiyey* [The participation of civil society institutions in the fight against corruption]. Moscow: Polygraf-Plyus.
7. Schedij, M.V. (2013) Features of the development of anti-corruption capacity of civil society in Russia. *Uchenye zapiski. Elektronnyy nauchnyy zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta – Scientific Notes: The Online Academic Journal of Kursk State University*. 2(26). [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-antikorrupsionnogo-potentsiala-grazhdanskogo-obshchestva-v-rossii/viewer> (Accessed: 2nd November 20). (In Russian).
8. Sologub, V.A. & Khasheva, I.A. (2014) The role of civil society in the realization of the anti-corruption state policy. *Elektronnyy vestnik Rostovskogo sotsial'no-ekonomicheskogo instituta – Electronic Bulletin Rostov Social and Economic Institute*. 1. pp. 67–73. (In Russian).
9. Schmidt-Pfister, D. (2009) Transnational anti-corruption advocacy: A multi-level analysis of civic action in Russia. In: de Sousa, L., Larmour, P. & Hindess, B. (eds) *Governments, NGOs and Anti-Corruption*. London and New York: Routledge. pp. 161–177.
10. Zaloznaya, M., Reisinger, W.M., & Claypool, V.H. (2018) When civil engagement is part of the problem: Flawed anti-corruptionism in Russia and Ukraine. *Communist and Post-Communist Studies*. 51(3). pp. 245–255. DOI: 10.1016/j.postcomstud.2018.06.003

11. Sampson, S. (2005) Integrity warriors: Global morality and the anti-corruption movement in the Balkans. In: Haller, D. & Shore, C. (eds) *Corruption: Anthropological Perspectives*. London: Pluto Press. pp. 103–130.
12. Lewis, D. (2002) Civil society in African contexts: Reflections on the usefulness of a concept. *Development and Change*. 33(4). pp. 569–586. DOI: 10.1111/1467-7660.00270
13. Marquette, H. (2001) Corruption, democracy and the World Bank. *Crime, Law and Social Change*. 36(4). pp. 395–407. DOI: 10.1023/A:1012045700314
14. Volkov, D. & Goncharov, S. (2015) *Demokratiya v Rossii: ustanovki naseleniya* [Democracy in Russia: Attitudes of the Population]. [Online] [Online] Available from: https://www.levada.ru/old/sites/default/files/report_fin.pdf (Accessed: 20th September 2020).
15. Drozdova, O. & Robinson, P. (2019) A study of Vladimir Putin's rhetoric. *Europe-Asia Studies*. 71(5). pp. 805–823. DOI: 10.1080/09668136.2019.1603362
16. Khristova, K. (2015) Kreml': Bor'ba s korruptsiei nel'zya nazyvat' drugim stranam [The Kremlin: The fight against corruption cannot be called to other countries]. *Komsomolskaya pravda*. 2nd November. [Online] Available from: <https://www.kp.ru/online/news/2209574/> (Accessed: 20th August 2020)
17. Gephart, M. (2009) Contextualizing conceptions of corruption: Challenges for the international anti-corruption campaign. In: *GIGA Working Papers*. Vol. 115. Hamburg: German Institute of Global and Area Studies (GIGA).
18. Chandhoke, N. (2001) The 'civil' and the 'political' in civil society. *Democratization*. 8(2). pp. 1–24. DOI: 10.1080/714000194
19. Russian Federation. (2012) *Federal Law N 121-FZ of July 20, 2012. "On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation Regarding the Regulation of the Activities of Non-Profit Organizations Performing the Functions of a Foreign Agent"*. [Online] Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132900/ (Accessed: 12th September 2020). (In Russian).
20. Russian Federation. (2015) *Federal Law N 129-FZ of May 23, 2015, "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation"*. [Online] Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179979/ (Accessed: 12th September 2020). (In Russian).
21. Shelley, L. (2005) Civil society mobilized against corruption: Russia and Ukraine. In: Johnston, M. (ed.) *Civil Society and Corruption*. Maryland: University Press of America. pp. 3–21.
22. Pavlova, E. (2020) Corrupt governance: Self-defeating anti-corruption rhetoric and initiatives in Russia. *New Perspectives*. 28(2). pp. 205–222.
23. Tysiachniouk, M., Tulaeva, S. & Henry, L.A. (2018) Civil society under the law 'on foreign agents': NGO strategies and network transformation. *Europe-Asia Studies*. 70(4). pp. 615–637. DOI: 10.1080/09668136.2018.1463512
24. Suleiman, L. (2013) The NGOs and the grand illusions of development and democracy. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*. 24(1). pp. 241–261. DOI: 10.1007/s11266-012-9337-2
25. EU- Russia Civil Society Forum. (2020) *Report on the State of Civil Society in the EU and Russia*. [Online] [Online] Available from: https://eu-russia-csf.org/wp-content/uploads/2020/01/20200116_RU-EU_Report2019_online_covers.pdf (Accessed: 1st September 2020).
26. Müller, M. (2019) Goodbye, postsocialism! *Europe-Asia Studies*. 71(4). pp. 533–550. DOI: 10.1080/09668136.2019.1578337
27. Bhambra, G.K. (2014) Postcolonial and decolonial dialogues. *Postcolonial Studies*. 17(2). pp. 115–121. DOI: 10.1080/13688790.2014.966414

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 32:316.482

DOI: 10.17223/1998863X/58/19

А.В. Алейников, А.Н. Сунами

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: КЕЙС ФСКН РОССИИ

Рассматриваются используемые типичные политические стратегии реагирования на наркоугрозу – «депроблематизации ситуации», «декларации бессилия», «затрат», «опровергающих историй». Раскрываются практики мотивации механизма принятия политических решений в сфере управления наркоситуацией. Анализируются российский опыт реализации моделей антинаркотической политики и последние реформы государственного антинаркотического управления в России.

Ключевые слова: государство, антинаркотическое управление, наркоситуация, политические стратегии.

Дискуссии в мировой и отечественной науке по поводу оборота и потребления наркотиков имеют довольно долгую историю. Феномен наркопотребления неоднократно концептуализировался в рамках различных философских, политико-экономических и социологических подходов. Тем не менее проблемам практик мотивации механизма принятия политических решений в сфере управления реальной наркоситуацией до сих пор уделяется явно недостаточно внимания.

Актуальности теме добавляет и то обстоятельство, что уровень наркопотребления в России является индикатором стабильности и эффективности социально-политического порядка, определенным элементом процесса политической легитимации власти, призванной поддерживать общественный порядок и безопасность.

Символическое структурирование границ наркопотребления в условиях, когда «разнообразные социальные наркопрактики в современном российском обществе приобретают институциональные характеристики» [1. С. 68], трансформируется в дискурс политической легитимации «потребителей наркотиков, озабоченных формированием таких механизмов саморегуляции при употреблении, которые позволяли бы оставаться не только „социально сохранным“ в семье и на работе, но и быть успешным человеком» [2].

В ряде исследований утверждается, что о распространенности потребления тяжелых наркотиков (опиатов) Россия во второй половине 2000-х гг. занимала третье место в мире, уступая только Афганистану и Азербайджану и опережая по этому показателю США – в 2,5 раза, Великобританию – в 1,8, Францию – в 2,9 и Китай – в 5,6 раза.

Влияние потребления наркотиков на уровень показателя DALY (оценка совокупного негативного воздействия заболеваний на продолжительность

жизни и длительность трудоспособного возраста) в России в 2–3 раза выше, чем в США, Западной Европе, Японии и Китае [3. С. 115].

Определенная амбивалентность российской антинаркотической политики связана в том числе и с особенностями восприятия политическими акторами общественного антинаркотического дискурса (мировоззренческого и репрессивно-технологического).

Из табл. 1 хорошо видно, что более половины российских респондентов не выразили оптимизма по поводу эффективности борьбы с наркоугрозой, отмечая увеличение за последние годы числа зависимых от наркотиков, а на вопрос о сокращении числа наркоманов положительно ответили только 18%.

Таблица 1. Мнения россиян о динамике численности зависимых от наркотиков, 20–21 июня 2017 г., %

По вашему мнению, в России за последние несколько лет людей, принимающих наркотики, стало больше, меньше или их столько же, сколько было раньше? (Закрытый вопрос, один ответ, %)				
Вариант ответа	Все опрошенные	Есть знакомые, употребляющие наркотики	Возможно, есть знакомые, употребляющие наркотики, но точно не известно	Нет знакомых, употребляющих наркотики
Стало больше	52	68	48	50
Осталось столько же	13	11	14	14
Стало меньше	18	15	23	18
Затрудняюсь ответить	17	6	15	18

Комментируя данные упомянутого опроса ВЦИОМ 2017 г., К. Родин отмечает, что «мы видим, что в обществе растет запрос к государству на формирование набора конкретных мер по профилактике и борьбе с наркоманией, и это устойчивый тренд на протяжении уже более 10 лет. Рост обеспокоенности в первую очередь связан с тем, что россияне в подавляющем большинстве говорят об усилении тенденции по распространению этого явления. Неудивительно, что в данной ситуации формируется установка на ужесточение мер вплоть до введения уголовной ответственности за употребление наркотиков» [4].

Базовым фактором, влияющим на приобретение антинаркотической политики стратегического измерения, является видение политическими акторами субстанциональных ценностных оснований восприятия обществом и элитами проблемы наркотизма. Фиксируя особенности процесса современной институционализации наркопрактик, ряд исследователей отмечают в России рост «серого поля» наркозависимых, умеющих маскировать потребление, являющееся в общественном мнении «личным делом каждого», распространение в СМИ идентификационных моделей позитивного отношения к наркопрактикам и наркодизайнерским экспериментам с так называемыми легкими наркотиками, появление новых моделей «статусного» и «рекреационного», «безопасного» наркопотребления при социальном безразличии к производству и распространению наркотиков [5].

Здесь важно заметить, что «новая российская элита» всегда стремилась к созданию «специальных пространств для неформальных переговоров, торгов, соглашений, принятия решений. В практике остались старые – баня, охота, рыбалка, но возникли и новые – элитные клубы» [6. С. 36]. Неслучайно социологи фиксируют специфический социальный состав субъектов статусного

(представители верхнего среднего класса, состоятельные люди, «золотая молодежь») и рекреативного наркопотребления (молодежь, работающие профессионалы) [7. С. 137].

Однако показательны в этом отношении данные (табл. 2), четко свидетельствующие о негативной реакции населения на предложения о легализации некоторых наркотиков и разрешении их свободной продажи и употребления.

Таблица 2. Мнения россиян о возможности легализации реализации «мягких» наркотиков, 20–21 июня 2017 г., %

Существует точка зрения, что слабые, «мягкие» наркотические вещества не опасны для здоровья и могут также свободно продаваться и употребляться, как табак и алкоголь. Согласны ли вы с этим или нет? (Закрытый вопрос, один ответ, %)				
Вариант ответа	2004 г.	2010 г.	2014 г.	2017 г.
Скорее согласен	9	7	7	6
Скорее не согласен	85	90	89	93
Затрудняюсь ответить	6	3	4	1

Примечание. Источник: [4]

С. Хилгартнер и Ч. Боск сформулировали важный методологический посыл: «Социальным проблемам (и функционерам, которые их выдвигают и поддерживают) приходится конкурировать в ходе этих взаимодействующих процессов как за то, чтобы быть включенными в публичную повестку дня, так и за то, чтобы остаться в ней. Успех или неудача в этой борьбе неизбежно связаны непосредственным образом с числом людей, которых затрагивает проблема, степенью вреда (измеряемой посредством определенного набора критериев) или какими-либо другими независимыми переменными, которые, как предполагается, являются показателями важности проблемы» [8. С. 78].

В их известной концепции публичных арен определены требования, которым должна соответствовать социальная проблема для того, чтобы быть в «повестке дня» – интенсивная конкуренция за основное пространство, потребность в драматичности и новизне, опасность насыщения, ритм организационной жизни, культурные акценты и политические пристрастия.

Надо сразу же отметить, что подходы, к которым прибегают страны с тем, чтобы справиться с проблемой наркотиков, остаются весьма разнообразными. Все реализуемые в различных странах типы антинаркотической политики принято сводить в три группы. К первой можно отнести «жесткую политику абсолютной нетерпимости» активного вмешательства государства в наркоситуацию, при которой законодательство в отношении распространителей наркотиков максимально ужесточено, и к ним применяются самые суровые репрессивные средства, вплоть до смертной казни. Ко второй группе «жесткого контроля» относятся государства, осуществляющие строгий надзор за оборотом наркотиков, но без крайних мер. И, наконец, «либеральная» модель, основанная на том, что в отношениях между властями и поданными наркопотребление является личным делом индивида, а моральные и социальные границы легитимного и нелегитимного удовольствия изменены, нацелена на «умношение вреда» наркотиков посредством легализации некоторых (так называемых легких, социально одобряемых) из них и разработку программ снижения отрицательных последствий употребления «наркотиков неприемлемого риска» [9; 10. С. 50–57].

В трактовке политических стратегий в сфере наркопотребления мы опираемся на исследовательскую программу Питера Ибарры и Джона Китсьюза [11. С. 55–114], опираясь на которую можно выделить стратегии «депроблематизации ситуации», «декларации бессилия», «затрат», «опровергающих историй». Рассмотрим их более подробно.

Типичная политическая стратегия «депроблематизации ситуации», в сущности, блокирует активное исправление наркоугрозы («государство не может заставлять человека»).

Так, М. Фридман еще в 1991 г. утверждал, что по всем аспектам проблематики наркопотребления добавить что-то новое уже трудно, а единственным вопросом, не вызывающим возражений, является необходимость дополнительного финансирования на соответствующие исследования [12. Р. 53–67].

Одна из распространенных стратегий – «декларация бессилия». Примером является позиция общественной «Глобальной комиссии по вопросам наркополитики»: «война с наркотиками проиграна с разрушительными последствиями для личности и общества по всему миру» [13]. Однако такой вывод вряд ли может считаться вполне убедительным и вызывает по меньшей мере удивление. В частности, в некоторых скандинавских странах, чей опыт, основанный на запрете потребления, давно заслужил высокую оценку мирового сообщества [14].

Для «стратегии затрат» характерны несколько иные положения. Так, осуществляя социально-экономическую реконструкцию политико-управленческих задач «безопасной наркополитики», известный американский экономист либертарианского направления Б. Пауэлл пытается доказать, анализируя издержки «войн» с производителями, поставщиками и потребителями наркотиков, что они дают противоположный эффект, а запреты не сокращают уровень насилия [15]. Таким образом, исходная точка фокусируется на тезисе о том, что выгоды не компенсируют издержек запрета на наркотики, а «драконовские меры» безжалостных репрессий не только неблагоприятны, но и неадекватны.

Многочисленные сторонники «стратегии опровергающих историй», которую П. Ибарра и Д. Китсьюз иллюстрируют следующим примером: в ответ на утверждение о том, что курение – это проблема, поскольку вызывает рак, могут ответить: «Мой дед выкуривал по две пачки сигарет в день и дожил до 80 лет», – ссылаются на опыт Португалии. Там впервые в 2001 г. по всей стране были созданы государственные центры по детоксикации и психологической реабилитации наркозависимых, декриминализированы все виды наркотиков, а «комиссиям по разубеждению» предоставлено право принимать за хранение превышенного количества запрещенного вещества ряд административных мер – от штрафа и лишения государственных пособий до запретов занятия должностей, предполагающих ответственность за чужую жизнь, и выезда за рубеж. В результате в разы сократилось количество случаев заболевания ВИЧ среди наркоманов, смертей от наркотиков и уголовных дел, связанных с наркопреступлениями. «Бюджетный маневр» позволил перенаправить средства от силовых мер (время и ресурсы правоохранительных органов) на развитие реабилитационных и заместительных программ, что, по мнению ряда исследователей, привело к очень важному результату – сокра-

щению наркопотребления в ключевой возрастной прослойке от 15 до 24 лет [16]. В последнее время основным трендом развития западной наркополитики считается переход от действий, направленных на сжатие наркорынка, к политике его регулирования с целью «снижения вреда» [17. С. 382].

Проецируя упомянутые модели антинаркотической политики на российский опыт, С.Н. Смирнов утверждает, что «Россия и в предметном поле незаконного оборота и потребления наркотиков, как и во многих других предметных полях социально-экономической жизни, не имеет некоторого “типового” лица» [18. С. 106–107].

Есть все основания полагать, что основной проблемой институционализации антинаркотической политики в России является неотфиксированность и непостоянство ее вектора, включая неустойчивость институциональной среды и организационных структур.

Указывая на различие двух форм государственной власти (деспотической и инфраструктурной), Майкл Манн связывал вторую со способностью государства к проникновению в гражданское общество, к его координации своей инфраструктурой [19].

Кейс, который мы собираемся здесь разобрать, является скорее вариантом демонстрации обратной практики, которую можно обозначить как *проблематизация очевидности*. В случае борьбы с наркотиками это выразилось в стратегии алармизма, привело к формированию восприятия реальной наркопроблемы как ценностного противостояния. Данный сюжет имеет принципиальное значение для понимания процессов антинаркотического управления в России.

5 апреля 2016 г. Указом Президента РФ «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» была упразднена Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (далее ФСКН России), а ее функции были переданы в МВД РФ, где образовано Главное управление по контролю за оборотом наркотиков. Тем самым очередная страница в истории развития российской антинаркотической политики была перевернута.

Образование в 2003 г. Государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотиков (прежнее название Службы) стало одним из ключевых моментов в дизайне новой антинаркотической политики Президента В.В. Путина.

Ставшая, согласно этому решению, главным координатором борьбы с наркотиками в стране, новая структура все последующие годы определяла сущность государственной политики в отношении решения проблем, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Соответственно, упразднение ФСКН России в определенном смысле должно означать, что служба не справилась с той ролью, которая была ей отведена. В то же время следует отметить, что за прошедшее с момента упразднения ФСКН России время это событие, по существу, так и не было осмыслено.

Между тем облик новой антинаркотической политики так до конца и не определен. Необходимо отметить, что образование и упразднение ФСКН России нельзя рассматривать вне контекста общего исторического развития антинаркотической политики в постсоветскую эпоху. Как мы уже показывали

в ряде предыдущих работ [20], антинаркотическая политика относится к такому виду направлений государственной политики, которую невозможно осуществлять силой одного или двух близких по функциям ведомств. Примечательно, что с момента своего образования ФСКН России сразу же взяла силовой курс в реализации государственной антинаркотической политики, не стесняясь прибегать к весьма жесткой риторике в отношении как своих оппонентов, так и партнеров по борьбе с наркотиками. Можно вспомнить так называемые кетаминные дела ветеринаров, ужесточение отпуска обезболивающих препаратов – даже подчас очевидное отсутствие у нарушителей преступного умысла не сказывалось на позиции службы применить жесткие санкции в их отношении. Известно, что подобные политические стратегии в долгосрочной перспективе перестают «быть выгодными: отстранение потенциальных участников от обсуждения общественных проблем, деполитизация последних и несовершенство механизмов обратной связи приводят к тому, что под угрозой оказывается как техническая эффективность использования общественных ресурсов, так и результативность деятельности государства» [21. С. 46].

Также активно ФСКН России проявила себя в борьбе с пропагандой наркотиков, что и выразилось в претензиях к издательствам (например, «Амфора» и «Ультра-культура»), которые опубликовали книги, содержавшие, по заключениям экспертов, пропаганду наркотиков. Показательные действия службы в данном направлении, в целом законные и по факту справедливые, были исполнены столь топорно и без соответствующей подготовки общественного мнения, что вызвали бурю негодования по этому поводу.

Немаловажным является и своеобразная, говоря языком Т.А. Ван Дейка [22], изначальная «мы-презентация» службы, в качестве которой выступали слова с определенной «правоохранительной» коннотацией: наркополиция, наркополицейские. Таким образом, с самого начала своей деятельности ФСКН России сформировала общественное мнение о себе как об исключительно силовом «репрессивном» органе. Роль службы в осуществлении иных аспектов государственной антинаркотической политики, которая, конечно же, не ограничивается только силовой борьбой с наркобизнесом, практически никак не реализовалась.

Неслучайно в последнее время своего существования руководство службы предпринимало попытки выйти за пределы сформированного образа борца с наркотиками и предложить более авторский проект. Для этого ФСКН России необходимо было значительно либерализовать собственный подход к потребителям наркотиков и мелким сбытчикам – и руководство службы заговорило языком своих недавних оппонентов. Так, директор ФСКН России В.П. Иванов на последних для себя парламентских слушаниях по вопросу законодательства о наркотиках, состоявшихся в декабре 2014 г., отметил, что «в антинаркотической политике государства ярко выражен перекос в сторону карательной, репрессивной функции» [23]. Не увенчавшаяся успехом попытка ФСКН внедрения в традиционное поле Минздрава с Государственной межведомственной программой комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей была последней возможностью избавиться от имиджа исключительно спецслужбы и тем самым уберечь ведомство от расформирования.

Главную роль в этом сыграло то, что служба, задуманная как орган политического управления, практически с самого начала своего существования переродилась в традиционную силовую структуру, представляя собой орган, склонный скорее к жестким решениям и силовым оборотам в администрировании наркополитики, что и предопределило ее упразднение.

Таким образом, политический антинаркотический курс тесно связан с процессами институционализации социальных порядков и, соответственно, относится к решениям, значимым для стабилизации общества.

Литература

1. Агранат Д.Л., Луков В.А., Надточий Ю.Е. Социальные наркопрактики: Институционализация социальных наркопрактик в современной М. : Моск. гуманитар.-социал. академия, 2003. 112 с.
2. Брюно В.В. Новая волна потребления наркотиков в трансформирующейся России // Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие. URL: <http://www.isras.ru/files/File/congress2012/part15.pdf> (дата обращения: 24.07.2018).
3. Урнов М.Ю. Россия: виртуальные и реальные политические перспективы // Общественные науки и современность. 2014. № 5. С. 114–129.
4. Наркомания в России: масштаб проблемы, и как с ней бороться? Пресс-выпуск № 3404. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116282> (дата обращения: 24.07.2018).
5. Позднякова М.Е. Особенности современной наркоситуации в России // Россия реформирующаяся: Ежегодник / отв. ред. М.К. Горшков. М. : Новый хронограф, 2016. С. 201–227.
6. Дука А.В. Трансформация постсоветских политико-административных элит // Актуальные проблемы Европы. 2017. № 2. С. 14–54.
7. Позднякова М.Е. Наркотики «новой волны» как фактор изменения наркоситуации в России // Социологическая наука и социальная практика. 2013. № 2. С. 123–139.
8. Хилгартнер С., Боск Ч.Л. Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных арен // Социальная реальность. Журнал социологических наблюдений и сообщений. 2008. № 2. С. 73–94.
9. Тонков Е.Е. Государственная правовая политика противодействия наркотизации российского общества. СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 296 с.
10. Виноградова О.Е. Наркомания: сравнительный анализ социальной политики европейских стран // Социальная политика и социология 2007. № 3. С. 50–57.
11. Ибарра П., Китсьюз Д. Дискурс выдвижения утверждений-требований и просторечные ресурсы // Социальные проблемы: конструкционистское прочтение. Хрестоматия / сост. И.Г. Ясавеев. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2007. С. 55–114.
12. Krauss M.B., Lazear E.P. Searching for Alternatives: Drug-Control Policy in the United States. Stanford: Hoover Institution Press, 1991. 506 p.
13. Доклад глобальной комиссии по вопросам наркополитики. URL: http://www.global-commissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_Russian.pdf (дата обращения: 24.07.2018).
14. UNODC. Sweden's successfully drug policy: A review of the evidence. February 2007. URL: https://www.unodc.org/pdf/research/Swedish_drug_control.pdf (access date: 24.07.2018).
15. Powell B The Economics Behind the U.S. Government's Unwinnable War on Drugs // Library of Economics and Liberty. URL: <http://www.econlib.org/library/Columns/y2013/Powell-drugs.html> (access date: 24.07.2018).
16. Drug decriminalisation in Portugal: Setting the record straight. URL: <http://idpc.net/publications/2014/06/drug-decriminalisation-in-portugal-setting-the-record-straight> (access date: 24.07.2018).
17. Сунами А.Н. Конфликт ценностей как социально-философское основание борьбы государства с наркорынком // Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 2017. Т. 33, вып. 3. С. 381–388.
18. Смирнов С.Н. Наркопотребление в России: неклассический подход // Мир России. 2008. № 3. С. 9–108.
19. Mann M. The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms, and Results // European Journal of Sociology. 1984. Vol. 25, № 2. P. 185–213.

20. Сунами А.Н. Борьба с наркотиками как совокупность социальной, уголовной и анти-наркотической политики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. 2009. № 3. С. 262–271.

21. Телин К. Имитация государственной состоятельности: хищник вместо управленца // Социологическое обозрение. 2018. Т. 17, № 2. С. 39–61.

22. Ван Дейк Т.А. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2013. 344 с.

23. Выступление председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России В.П. Иванова на парламентских слушаниях по теме «О совершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ», Государственная Дума РФ, Москва, 1 декабря 2014 года. URL: http://gak.gov.ru/includes/periodics/speeches_gak/2014/1201/121833708/detail.shtml (дата обращения: 24.10.2017).

Andrei V. Aleinikov, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).

E-mail: a.aleinikov@spbu.ru

Artem N. Sunami, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).

E-mail: a.sunami@spbu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 206–215.

DOI: 10.17223/1998863X/58/19

POLITICAL STRATEGIES OF ANTI-DRUG MANAGEMENT: THE CASE OF THE FEDERAL DRUG CONTROL SERVICE OF RUSSIA

Keywords: state; anti-drug management; drug situation; political strategy.

The article analyses the practices of motivating political decision making in modern anti-drug management. The authors point out that the drug use level in Russia is one of the actual indicators of political stability and effectiveness of the sociopolitical activity, an element of the political legitimating of power aimed at maintaining public order and security. The authors examine the specifics of the Russian anti-drug policy, the reasons for the strengthening of the public demand to the state for the development of policy measures for the prevention and control of drug abuse, with an emphasis on toughening the measures of responsibility for drug trafficking. The empirical analysis focuses on widespread anti-drug policy strategies for reducing drug use threats. The authors consider various types of the anti-drug policy: (1) repressive type with absolute intolerance and active state intervention in the drug situation, in which the most severe measures are applied, including the death penalty; (2) restrictive type against illicit drug market but without extreme measures; and (3.) liberal model aimed at harm reduction programs for drug users through the legalization of some drugs. Data show typical political strategies for responding to drug threats using in various countries: problematization of the situation, declaration of powerlessness, costs, disproving stories, and so on. The authors substantiate the ambivalence of the Russian anti-drug policy, which is due to the peculiarities of political actors' perception of public anti-drug discourse. The article analyzes the Russian case of the anti-drug strategy selected by the Federal Drug Control Service (FSKN) of Russia, abolished in 2016. The main characteristics of the strategy were alarmism and perception of the real drug problem as a confrontation of values between the Russian society and the international illicit drug market. FSKN of Russia immediately took a power course in the implementation of the state anti-drug policy. Reduction of the state anti-drug policy to the power struggle against drug trafficking has led to the reorganization of FSKN of Russia into a traditional security force unable to significantly influence the level of drug use, which is an indicator of the stability and effectiveness of the sociopolitical order, a certain element of the political legitimization of power designed to maintain public order and security.

References

1. Agranat, D.L., Lukov, V.A. & Nadtochiy, Yu.E. (2003) *Sotsial'nye narkopraktiki: Institucionalizatsiya sotsial'nykh narkopraktik v sovremennoy Rossii* [Social drug practitioners: Institutionalization of social drug practitioners in modern Russia]. Moscow: Moscow University for the Humanities.

2. Bryuno, V.V. (2012) Novaya volna potrebleniya narkotikov v transformiruyushchey Rossii [A new wave of drug use in transforming Russia]. *Sotsiologiya i obshchestvo: global'nye vyzovy i regional'noe razvitiye* [Sociology and society: global challenges and regional development]. Proc. of the

Fourth All-Russian Sociological Congress. October 23–25, 2012. [Online] Available from: <http://www.isras.ru/files/File/congress2012/part15.pdf> (Accessed: 24th July 2018).

3. Urnov, M.Yu. (2014) Rossiya: virtual'nye i real'nye politicheskie perspektivy [Russia: virtual and real political perspectives]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost' – Social Sciences and Contemporary World*. 5. pp. 114–129.

4. Wciom.ru. (n.d.) *Narkomaniya v Rossii: masshtab problemy, i kak s ney borot'sya?* [Drug addiction in Russia: the scale of the problem, and how to deal with it]. Press release No. 3404. [Online] Available from: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116282> (Accessed: 24th July 2018).

5. Pozdnyakova, M.E. (2016) Osobennosti sovremennoy narkosituatsii v Rossii [The drug situation in contemporary Russia]. In: Gorshkov, M.K. (ed.) *Rossiia reformiruyushchayasya* [Russia under Reforms]. Moscow: Novyy khronograf. pp. 201–227.

6. Duka, A.V. (2017) Transformation of the post-Soviet political and administrative elites. *Aktual'nye problemy Evropy – Current Problems of Europe*. 2. pp. 14–54. (In Russian).

7. Pozdnyakova, M.E. (2013) Drugs of “new wave” as a factor in changing the drug situation in Russia. *Sotsiologicheskaya nauka i sotsial'naya praktika – Sociological Science and Social Practice*. 2. pp. 123–139. (In Russian).

8. Hilgartner, S. & Bosk, Ch.L. (2008) Rost i upadok sotsial'nykh problem: kontseptsiya publichnykh aren [The growth and decline of social problems: the concept of public arenas]. *Sotsial'naya real'nost'*. *Zhurnal sotsiologicheskikh nablyudeniy i soobshcheniy*. 2. pp. 73–94.

9. Tonkov, E.E. (2004) *Gosudarstvennaya pravovaya politika protivodeystviya narkotizatsii rossiyskogo obshchestva* [State legal policy of counteracting drug addiction in Russian society]. St. Petersburg: Yuridicheskii tsentr Press.

10. Vinogradova, O.E. (2007) Narkomaniya: sravnitel'nyy analiz sotsial'noy politiki evropeyskikh stran [Drug addiction: a comparative analysis of the social policy of European countries]. *Sotsial'naya politika i sotsiologiya*. 3. pp. 50–57.

11. Ibarra, P. & Kitsuse, J. (2007) Diskurs vydvizheniya utverzhdeniy-trebovaniy i prostorechnye resursy [Discourse of making claims and vernacular resources]. In: Yasaveev, I.G. (ed.) *Sotsial'nye problemy: konstruksionistskoe prochtenie* [Social problems: A constructionist reading]. Kazan: Kazan State University. pp. 55–114.

12. Krauss, M.B., & Lazear, E.P. (1991) *Searching for Alternatives: Drug-Control Policy in the United States*. Stanford: Hoover Institution Press.

13. The Global Commission on Drug Policy. (n.d.) *Doklad global'noy komissii po voprosam narkopolitiki* [Report of the Global Commission on Drug Policy]. [Online] Available from: http://www.global-commissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_Russian.pdf (Accessed: 24th July 2018).

14. UNODC. (2007) *Sweden's successfully drug policy: A review of the evidence*. February 2007. [Online] Available from: https://www.unodc.org/pdf/research/Swedish_drug_control.pdf (Accessed: 24th July 2018).

15. Powell, B. (2013) The Economics Behind the U.S. Government's Unwinnable War on Drugs. *Library of Economics and Liberty*. [Online] Available from: <http://www.econlib.org/library/Columns/y2013/Powell-drugs.html> (Accessed: 24th July 2018).

16. Portugal. (2014) *Drug decriminalisation in Portugal: Setting the record straight*. [Online] Available from: <http://idpc.net/publications/2014/06/drug-decriminalisation-in-portugal-setting-the-record-straight> (Accessed: 24th July 2018).

17. Sunami, A.N. (2017) Conflict of values as a socio-philosophical basis of state's war on the illicit drug market. *Vestnik SPbGU. Filosofiya i konfliktologiya – Vestnik of Saint-Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies*. 33(3). pp. 381–388. (In Russian). DOI: 10.21638/11701/spbu17.2017.314

18. Smirnov, S.N. (2008) A Non-Classic Approach to Studying Drug Consumption in Russia. *Mir Rossii – Universe of Russia*. 3. pp. 9–108. (In Russian).

19. Mann, M. (1984) The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms, and Results. *European Journal of Sociology*. 25(2). pp. 185–213. DOI: 10.1017/S0003975600004239

20. Sunami, A.N. (2009) Bor'ba s narkotikami kak sovokupnost' sotsial'noy, ugolovnoy i anti-narkoticheskoy politiki [The fight against drugs as a set of social, criminal and anti-drug policy]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 6: Filosofiya. Kul'turologiya. Politologiya. Pravo. Mezhdunarodnye otnosheniya*. 3. pp. 262–271.

21. Telin, K. (2018) The Imitation of State-Ness: Predator Instead of Manager. *Sotsiologicheskoe obozrenie – Sociological Review*. 17(2). pp. 39–61. (In Russian).

22. Van Dyck, T.A. (2013) *Diskurs i vlast': Reprezentatsiya dominirovaniya v yazyke i kommunikatsii* [Discourse and Power]. Translated from English. Moscow: LIBROKOM.

23. Russia. (2014) *Speech by the Chairman of the State Anti-Drug Committee, Director of the Federal Drug Control Service of Russia V.P. Ivanov at parliamentary hearings on the topic "On improving legislation in combating the illegal distribution of narcotics and psychotropic substances", The State Duma of the Russian Federation, Moscow, December 1, 2014.* [Online] Available from: http://gak.gov.ru/includes/periodics/speeches_gak/2014/1201/121833708/detail.shtml (Accessed: 24th October 2017). (In Russian).

УДК 32:316.344.34

DOI: 10.17223/1998863X/58/20

Н.В. Плотицкина

ЦИФРОВАЯ ИНКЛЮЗИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ И ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА¹

Рассматривается экспликация цифровой эксклюзии и инклюзии. Эвристический потенциал концепта э-инклюзии заключен в преодолении ограниченности бинарной экспланации цифрового раскола. Политика цифровой инклюзии направлена на расширение предложения и стимулирование спроса на ИКТ. Политика предложения актуальна на этапе преодоления цифрового неравенства в грациях доступа; диспаритет в способах, результатах использования онлайн-ресурсов требует реализации политики цифровых навыков.

Ключевые слова: социальное неравенство, цифровое неравенство, цифровая инклюзия, цифровая эксклюзия, политика цифровой инклюзии.

Введение

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) способствует расширению возможностей пользователей, но также углубляет существующее социальное неравенство [1; 2. Р. 304]. Современные исследования цифрового разрыва сфокусированы на выявлении новых механизмов эксклюзии и инклюзии в условиях дигитализации общества. Тема преодоления цифрового диспаритета активно включается в повестку дня акторов публичной политики: значительное число проектов и инициатив ориентировано на создание цифрового инклюзивного общества.

Концептуализация цифровой инклюзии и эксклюзии

Исследование цифрового разрыва выявляет связь между доступом к ИКТ, цифровыми навыками, необходимыми для эффективного использования web-ресурсов, и социальным неравенством [1, 3]. Концепт цифровой инклюзии встраивается в трехградационный дискурс цифрового неравенства на этапе сокращения digital-разрыва первого уровня, несущего в себе исключительно технологические коннотации, и возникновения цифровых расколов второго и третьего уровней, фиксирующих диспаритет в IT-навыках, способах и результатах (возможностях и рисках) использования ИКТ.

Обращение к цифровой инклюзии / эксклюзии позволяет корректировать ограничения дихотомической концептуализации цифрового разрыва: упрощенную бинарную экспланацию неравенства как наличия / отсутствия доступа к онлайн-инфраструктуре; статичный характер цифрового разрыва на фоне динамичности и процессуальности инклюзии и эксклюзии; трудности в идентификации групп риска и выявлении граций э-инклюзии; отсутствие аналитического внимания к мотивации цифрового не-пользования. Кроме

¹ Статья выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-011-00975 А «Субъективное пространство политики: возможности и вызовы сетевого общества».

того, в научном сообществе начинает наблюдаться транспонирование исследовательских позиций в сторону контекстуальной интерпретации неравенства с учетом местоположения пользователя, сетевых эффектов и влияния соседства [4].

Смысловые коннотации цифрового неравенства и digital-экслюзии различны. В отличие от цифрового неравенства, фиксирующего различия в цифровых навыках, практиках использования web-технологий и возникающих на их основе преимуществах, экслюзия указывает на невыгодную социальную позицию (положение) в континууме цифрового неравенства. В итоге градации неравенства охватывают весь спектр позиций между полной экслюзией и полной инклюзией, продуцируют различные уровни цифровой инклюзии / эксклюзии: глубокий, широкий и концентрированный («точечный») [5. Р. 19].

Цифровая эксклюзия – социально неблагоприятное положение (с точки зрения образования, квалификации, трудоустройства и т.д.) вследствие отсутствия / нехватки доступа, цифровых навыков, мотивации, ощутимых результатов от использования ИКТ, специфики социального статуса. Самостоятельное преодоление воздействия механизмов цифровой и социальной эксклюзии затруднено.

На макроуровне цифровая эксклюзия означает отсутствие доступа к ресурсам интеграции в сетевое общество в силу структурных ограничений; в этом ракурсе релевантным для понимания эксклюзии становится термин «дискриминация». На микроуровне выявляется специфика жизненной ситуации носителей цифровой эксклюзии, описываемая как *цифровая депривация* [6].

В отличие от абсолютной (отсутствие фиксированных индикаторов э-инклюзии) *относительная объективная цифровая эксклюзия* (депривация) отражает результаты сопоставления навыков, мотивации, онлайн-дивидендов индивидов с объемами цифровых ресурсов других групп. Объективное цифровое неравенство имеет следствием *относительную субъективную цифровую депривацию*, когда в ходе самооценки и сравнения с референтными группами, активно осваивающими ИКТ, индивиды (не-пользователи) считают себя ущемленными, ощущают свою «онлайн-изолированность», отсутствие возможностей, доступных иным членам общества, признают пользу от обладания цифровыми ресурсами, несправедливость неравенства и стремятся преодолеть ситуацию.

Зонтичный термин «цифровая инклюзия» (*э-инклюзия*) возник посредством категориального синтеза «цифрового неравенства» и «социальной инклюзии» [7. Р. 48] и обозначает социально выгодную позицию, достигнутую вследствие успешного освоения цифровых технологий на основе воздействия механизмов социальной инклюзии, способствующую расширению участия в жизни общества.

Концептуальная модель «соответствующих полей» Э. Хелспер объясняет, как социальная и цифровая инклюзия осуществляют взаимное влияние через присущие им онлайн- и офлайн-поля социальных, экономических, культурных, личных ресурсов [1]. Поля офлайн-ресурсов социальной инклюзии детерминируют релевантные поля онлайн-ресурсов цифровой инклюзии и наоборот. Э. Хелспер установила два типа причинно-следственных связей: от офлайн-полей социальной инклюзии к онлайн-полям э-инклюзии, обусловленным доступом (к инфраструктуре и оборудованию), навыками, моти-

вающей к использованию ИКТ; от цифровых полей к офлайн-полям, определяемым параметрами использования цифровых ресурсов (релевантность, устойчивость, автономность). Модель предлагает одномерную и прямолинейную корреляцию инклюзий, основывается на методологическом индивидуализме. Наряду с исследовательским фокусом на офлайн- и онлайн-полях детальная экспликация связей между ресурсами расширит понимание ковариации социальной и цифровой эксклюзии.

Я. ван Дейк, А. ван Дерсен, А. Шеердер суммировали социально-демографические факторы достижения ощутимых результатов в каждом из онлайн- и офлайн-полей инклюзии, выделенных Э. Хелспер: возраст, пол, статус занятости, уровень образования [8]. В целом научным сообществом выделяются следующие ключевые цифровые предикторы э-инклюзии: доступ, цифровые навыки, мотивация, социальная поддержка, опыт, автономность использования, самооффективность (доверие) [9. Р. 6].

В качестве приоритетных целевых групп публичной политики э-инклюзии традиционно рассматриваются наиболее уязвимые группы населения с низким уровнем образования, дохода, ограниченными возможностями, мигранты, пенсионеры, сельские жители.

Бельгийские исследователи предложили более детальную идентификацию цифровых эксклюзантов [5]. Модель включает восемь профилей пользователей, охватывающих весь континуум цифрового неравенства: цифровые изгои, «безнадежно нецифровые», борцы с цифровыми барьерами, «широко онлайн включенные», цифровые звезды, неожиданные digital-мастера, цифровые аутсайдеры, «цифровые самоизолированные». Профили построены в соответствии с факторами социального риска (доход, образование, участие, агентность). Кроме того, исследователи включили влияние цифровых барьеров (доступ, мотивация, цифровые компетенции, гибкие навыки, автономность, социальная поддержка). Модель подчеркивает, что действие механизмов цифровой эксклюзии выходит за пределы социально и экономически уязвимых групп. В итоге политика цифрой инклюзии должна учитывать все позиции в континууме цифрового неравенства, предоставлять каждому возможности и компетенции, позволяющие сделать осознанный цифровой выбор.

Политика цифровой инклюзии

Политика цифровой инклюзии включает в себя комплекс мер, инициатив, стратегий, используемых для преодоления действия механизмов социальной и цифровой эксклюзии с целью обеспечения полноценного участия индивидов в жизни сетевого общества (табл. 1).

Ковариация социальной и цифровой эксклюзии влияет на формулирование целей политики э-инклюзии: устранение цифровых барьеров (в доступе, навыках, мотивации, использовании) и социальных механизмов отчуждения, формирование необходимых цифровых компетенций, предоставление поддержки, расширение прав и возможностей свободного и осознанного цифрового выбора в отношении использования ИКТ [2. Р. 304].

К. Мори описывает три подхода к дискурсам и практикам цифровой инклюзии: понимание политики цифровой инклюзии как направления политики цифровой экономики; е-инклюзия как инструмент социальной инклюзии; цифровая инклюзия как ресурс многопланового развития [7. Р. 49].

Таблица 1. Экспланация политики цифровой инклюзии

Источник	Определение
Министерство цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Великобритании; правительственная стратегия цифровой инклюзии (2014), национальная цифровая стратегия (2017) [10]	Политика цифровой инклюзии направлена на решение проблем отсутствия доступа к интернету, совершенствование навыков, развитие мотивации и формирование позитивного отношения к технологиям
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), «Digital Economy Outlook 2017» [11]	Политика цифровой экономики рассматривается в четырех направлениях: доступ; навыки и использование; цифровые инновации; цифровые риск и доверие; политика э-инклюзии взаимосвязана с политикой в области цифровой экономики
Лондонская школа экономики и политических наук (ЛШЭ), департамент медиа и коммуникаций; проект DiSTO («Digital Skills to Tangible Outcomes»), (Э. Хелспер, А. ван Дерсен и др.) [12. Р. 139–140]	Политика э-инклюзии включает инициативы, связанные с расширением инфраструктуры / доступа, формированием навыков, осведомленности / мотивации, вовлеченностью / участием и использованием цифрового контента. Цифровая инклюзия должна давать ощутимые результаты. Э-инклюзия – это устойчивое взаимодействие индивида с ИКТ, обеспечивающее полноценную интеграцию в жизнь общества
Австралийский индекс цифровой инклюзии (Мельбурнский королевский технологический университет, Центр социального воздействия Технологического университета Суйнберна, Roy Morgan Research, Telstra Corporation Ltd) [13]	Индикаторы политики цифровой инклюзии: наличие подключения к интернету, ценовая доступность ИКТ, цифровые способности (мотивация, компетенции, онлайн-активность, уверенность в использовании цифровых устройств). Индекс учитывает социально-экономические и социально-демографические барьеры инклюзии (доход, статус занятости, образование, пол, возраст, территория проживания, инвалидность)
Индекс цифровой инклюзии: многофакторный подход (С. Бентивенья, П. Герриери) [14. Р. 639]	Основные цели индекса заключаются в отслеживании прогресса в развитии ИКТ, а также в мониторинге уровня развития э-инклюзии. Аналитическая структура, лежащая в основе индекса, включает три компонента (доступ, использование, влияние на качество жизни) и 12 субиндексов: ценовая / технологическая доступность подключения к сети; использование интернета: автономность, интенсивность, навыки; продвижение цифровых услуг в сфере образования, здравоохранения, трудоустройства и т.д.

В рамках горизонтального проекта *Going Digital* ОЭСР предложила инструментарий для разработки и реализации цифровой политики по семи направлениям: инфраструктура, использование ИКТ, инновации, рабочие места, *социальная и цифровая инклюзия*, доверие, открытость рынка в цифровой бизнес-среде [15]. В итоге национальная стратегия цифровых трансформаций может быть дополнена и конкретизирована стратегиями, программами, дорожными картами в сферах цифровой экономики, широкополосной связи, цифровой безопасности и конфиденциальности, инноваций, цифровых навыков, рабочих мест.

Преодоление цифровой эксклюзии требует комплексного управленческого подхода, подразумевающего структурное партнерство, эффективную координацию между различными секторами политики, влияющими на цифровую трансформацию, принятие политических мер на разных уровнях (международном, местном сообществе, региона, страны) [15. Р. 50]. Структурные инициативы и пилотные проекты э-инклюзии интегрированы в более широкие устойчивые политики в сфере инноваций, образования, здравоохранения, рынка труда, налогообложения, социальной защиты и т.д., что требует участия различных стейкхолдеров [16. Р. 257–258]. Правительство выступает

в качестве разработчика политики и правил, стратегического инвестора в цифровые технологии; частные компании способствуют развитию инфраструктуры и созданию приложений; государственные учреждения и организации гражданского общества сосредоточены на внедрении обучающих программ для уязвимых целевых групп. Центральным компонентом данного «пакета» скоординированных политических мер являются инициативы по развитию цифровых навыков. В ходе их разработки страны ЕС ориентируются на эталонные модели цифровых компетенций граждан (*DigComp*), преподавателей (*DigCompEdu*), образовательных организаций (*DigCompOrg*), предложенные Европейской комиссией (табл. 2).

Таблица 2. Международные исследования цифровых навыков [17. Р. 44]

Показатель	DISTO	DigComp	МСЭ	Eurostat	ICILS
Операционные (технические) навыки					
Знание кнопок (button knowledge)	V		V		
Техническое понимание					V
Программирование	V		V		V
Информационные навыки					
Навигация	V			V	
Оценка	V	V			V
Управление					V
Социальные навыки					
Управление	V	V		V	V
Сетевой этикет	V				
Творческие навыки					
Развитие	V	V		V	V
Знания	V				
Ощутимые результаты (получаемые в ходе применения ИКТ)	Экономические, социальные, культурные, личные	Решение проблем, безопасность		Решение проблем	Безопасное и надежное использование информации

В качестве строительных блоков политики э-инклюзии выступают: межсекторное партнерство; сочетание адресного подхода к уязвимым группам с охватом всех граждан; развитие телекоммуникационной инфраструктуры, цифровых компетенций и сетей поддержки; разработка ориентированного на пользователя дизайна сайтов цифровых государственных услуг, сервисов, устройств; мониторинг политики, сбор данных о цифровых навыках населения.

Политика цифровой инклюзии включает комплекс мер, стимулирующих предложение и спрос на цифровые технологии. Цифровая политика предложения, ориентированная на внедрение и расширение доступа к приемлемым в ценовом отношении сетям, услугам и приложениям фиксированной и подвижной широкополосной связи, дополняется политикой спроса, или политикой в сфере цифровой грамотности [16. Р. 13].

В большинстве стран дефицит цифровой инфраструктуры преодолевается посредством принятия национального плана действий в области широкополосной связи. В соответствии с рекомендациями ОЭСР политика в сфере доступа реализуется посредством мероприятий по стимулированию инвестиций в расширение охвата подключения, усилению конкуренции на рынке связи, совместному использованию сетевой инфраструктуры поставщиками услуг [15. Р. 6–10].

Подобная стратегия в основном направлена на сокращение неравенства в доступе [3], но не решает проблему разрыва между развитием инфраструктуры ИКТ и потребностями пользователей в достижении ощутимых результатов. Инфраструктурная политика, реализуемая посредством поддержки операторов электросвязи, поставщиков цифровых услуг, распространения широкополосных соединений, необходима, но не достаточна для достижения цифровой инклюзии всех групп населения. Политика предложения (расширение диапазона охвата телекоммуникационной инфраструктурой) актуальна на этапе преодоления цифрового разрыва (первого уровня) в градациях доступа; диспаритет в способах и результатах использования web-ресурсов требует иных политических мер.

Стимулирование спроса активизирует использование широкополосной инфраструктуры. Политика спроса включает инициативы по повышению осведомленности о преимуществах ИКТ, повышению доверия к онлайн-среде, продвижению доступных широкополосных сетей, услуг и приложений, в том числе тех, которые вызывают спрос на широкополосную связь: электронных правительства, образования и здравоохранения, мобильных банкинга, коммерции, платежей. Так, Национальный альянс цифровой инклюзии США ежегодно проводит *Digital Inclusion Week*, Европейская комиссия – *Code Week*, МСЭ – *Girls in ICT*. Цель подобных инициатив – развитие интереса к цифровым инновациям.

Кроме того, политика в сфере пользования и навыков направлена на финансовую поддержку фирм (преимущественно инновационных), граждан в расходах на приобретение ИКТ, обучение цифровой грамотности, создание общественных точек доступа к интернету, оснащение образовательных учреждений компьютерным оборудованием, электронными учебными материалами, широкополосной связью. Например, с мая 2019 г. в рамках проекта «DigitalPakt Schule» федеральное правительство Германии выделило 5 млрд евро на внедрение ИТ-инфраструктуры в 40 тыс. школ. Четверть стран ОЭСР реализуют политику э-инклюзии, ориентированную на формирование цифровых компетенций в «невидимых» группах пользователей; государственная финансовая поддержка приобретения оборудования или услуг ИКТ малоимущими семьями осуществляется в форме субсидирования, налоговых преференций (Бразилия, Польша, Дания, Австрия, Китай, Коста-Рика, Израиль и т.д.) [11. Р. 66]. Проект *ConnectHomeUSA*, созданный на основе ГЧП в 27 городах США, ориентирован на предоставление доступа к широкополосной связи, обучение цифровой грамотности низкодходных слоев. В Канаде действует аналогичная программа *Affordable Access*. При этом политика цифровой инклюзии в отношении маргинальных групп нацелена прежде всего на их социальную инклюзию, а уже потом на преодоление цифрового разрыва.

Недоверие к технологиям может стать барьером на пути осуществления цифровых транзакций. Правительства ряда стран совместно с частным сектором и научным сообществом осуществляют широкий спектр инициатив, направленных на преодоление диспаритета навыков в сфере цифровой безопасности и конфиденциальности (США, Люксембург, Франция, Великобритания и т.д.).

В реализации комплексной политики обеспечения спроса и предложения цифровых технологий и услуг участвуют различные стейкхолдеры. Обще-

ственные организации *Good Things Foundation* (Великобритания), *We-TechCare* (Франция) разработали бесплатные платформы для онлайн-образования *Learn My Way* и *Les Bons Clics*. В Болгарии в рамках Национальной стратегии непрерывного обучения (2014–2020 гг.) публичные библиотеки формируют цифровые компетенции граждан. Телекоммуникационная компания *BT* совместно с *Google Digital Garage* под эгидой проекта *Skills for Tomorrow* с 2020 г. на бесплатных тренингах развивает навыки работы с большими данными и социальными медиа в британской бизнес-среде. Африканский банк развития и *Microsoft* запустили цифровую образовательную платформу *Coding for Employment*. Ассоциация органов МСУ Великобритании предоставляет финансовую поддержку различным местным инициативам по электронной инклюзии. Французская компания *Capgemini* открыла цифровые академии в Марокко, Индии, Северной Америке, Испании, Нидерландах и Великобритании.

Успех цифровых трансформаций требует партнерства государства с технологическим и научным сообществом, образовательными учреждениями, НКО и т.д. [18]. С 2020 г. после подписания меморандума о сотрудничестве с правительством Нигерии компания *IBM* бесплатно обучает цифровой грамотности местное население. В 2020 г. Министерство связи и информационных технологий Египта и *Assistive Technology Development Organization* (Япония) организовали совместный центр по обмену результатами НИОКР в области искусственного интеллекта, робототехники, интернета вещей для охвата цифровыми технологиями людей с ограниченными возможностями.

Международное сотрудничество различных стейкхолдеров способствует расширению широкополосной связи и формированию цифровой грамотности, обмену информацией об извлеченных уроках и мерах по усовершенствованию цифровых знаний. Образовательная программа *iMlango*, финансируемая британским департаментом международного развития, помогла 180 тыс. ученикам 245 школ Кении получить доступ к сетевой инфраструктуре, образовательным онлайн-услугам. Инициатива Всемирного экономического форума *Internet for All*, объединяющая 56 представителей государственного и частного сектора различных стран, содействует цифровой инклюзии населения Руанды (*Rwanda's Digital Ambassadors Program*), Южной Африки, Аргентины, Иордании. ЮНЕСКО и *Huawei* развивают цифровые навыки студентов и преподавателей Восточной Африки (проект *TECH4ALL*).

Понимание состояния цифровой эксклюзии в стране требует комплексного мониторинга реализации политики э-инклюзии. Государства оценивают эффективность принятых мер посредством международных показателей (I-DESI Еврокомиссии, IDI МСЭ, DECA, KEI Всемирного банка и т.д.) либо национальных сводных индексов (D21-Digital-Index в Германии, Индекс цифровой инклюзии в Австралии, Индекс развития цифровой экономики в России, Digital Divide Index Южной Кореи). В странах ОЭСР индикаторами действенности национальных цифровых стратегий являются: развитие IT-инфраструктуры, э-правительства, э-коммерции, освоение населением ИКТ, развертывание доступных и качественных государственных и муниципальных электронных услуг, высокий уровень цифровой грамотности граждан [16. Р. 259]. Спрос и предложение цифровых навыков могут быть измерены на основе методики, разработанной в рамках проекта PIAAC по

международной оценке компетентности взрослых [11. Р. 176–177]. Правительством Канады запущена инициатива *Future Skills* с целью разработки новых подходов к выявлению навыков, пользующихся спросом на рынке труда, и способов повышения эффективности образовательных программ [16. Р. 241]. Британский альянс по развитию профессиональных компетенций *The Tech Partnership* и Лондонская школа экономики и политических наук разработали тепловую карту э-инклюзии, прогнозный географический индекс с учетом цифровых (доступ, инфраструктура, навыки) и социальных переменных (возраст, образование, доход, здоровье).

В целом комплексная политика цифровой инклюзии ориентирована на обеспечение баланса между предоставлением универсального доступа к цифровым технологиям и формированием условий для получения ощутимых дивидендов от их применения. Политика предложения расширяет сетевую инфраструктуру цифровых сервисов, политика спроса повышает осведомленность и принятие услуг. При этом политика цифровой инклюзии должна включать: определение желаемых результатов социальной инклюзии, потенциальных эксклюзантов, выявление того, в какой степени цифровая эксклюзия препятствует достижению уязвимыми группами цифровых преимуществ, реализацию и мониторинг эффективности инициатив по охвату цифровыми технологиями.

Заключение

Первоначальная дихотомическая интерпретация цифрового неравенства, сфокусированная на физической доступности устройств и соединений, предлагала решение проблемы цифрового разрыва путем создания телекоммуникационной инфраструктуры. На волне «социологического поворота» в экспликации новых форм неравенств изучение цифрового раскола выходит «за пределы» доступа, не являющегося гарантией применения web-устройств. В современных исследованиях происходит смещение аналитических интенций от неравенства в техническом доступе, уровнях ИТ-компетенций к диспаритету в видимых социальных (положительных и отрицательных) результатах, которые достигаются благодаря подключению к сети и наличию навыков использования цифровых технологий.

Инициативы политики цифровой инклюзии направлены на то, чтобы предложить каждому инструментарий, необходимый для успешного трудоустройства, непрерывного обучения, гражданского и культурного участия и доступа к основным услугам. Преодоление цифровых барьеров на пути к технологиям имплементируется в процесс достижения более широких социальных задач. Цель политики цифровой инклюзии – создать условия, которые позволяют пользователям преобразовывать доступ к технологиям в информацию и ресурсы.

Литература

1. Helsper E.J. A corresponding fields model for the links between social and digital exclusion // *Communication theory*. 2012. Vol. 22, № 4. P. 403–426.
2. Mariën I., Van Audenhove L. Digitale inclusie: het middenveld als structurele partners // *Armoede en sociale uitsluiting* / ed. by D. Dierckx, S. Oosterlynck, J. Coene, A. Van Haarlem. Leuven : Acco, 2012. P. 317–332.
3. Ragnedda M., Muschert G.W. *Theorizing digital divides*. London : Routledge, 2018. 218 p.

4. *Helsper E.J.* Why location-based studies offer new opportunities for a better understanding of socio-digital inequalities? // *Desigualdades digitais no espaço urbano: um estudo sobre o acesso e o uso da internet na cidade de Sao Paulo*. Sao Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2019. P. 19–42.
5. *Mariën I., Baelden D.* 8 Profielen van Digitale Ongelijkheden. Onderzoeksrapport voor het federale onderzoeksproject // IDEALiC.be. Brussel : Vrije Universiteit Brussel, 2015. URL: <https://www.idealic.be/publications> (accessed: 12.04.2020).
6. *Helsper E.J.* The social relativity of digital exclusion: applying relative deprivation theory to digital inequalities // *Communication Theory*. 2017. Vol. 27, № 3. P. 223–242.
7. *Mori C.K.* Digital inclusion: are we all talking about the same thing? // *ICTs and sustainable solutions for the digital divide: theory and perspectives* / ed. by J. Steyn, G. Johanson. New York : Information Science Reference, 2011. P. 45–64.
8. *Scheerder A., van Deursen A., van Dijk J.* Determinants of Internet skills, uses and outcomes. A systematic review of the second-and third-level digital divide // *Telematics and Informatics*. 2017. Vol. 34, № 8. P. 1607–1624.
9. *Digital inclusion: an international comparative analysis. Communication, globalization, and cultural identity* / ed. by M. Ragnedda, B. Mutsvairo. Lanham, Maryland : Lexington Books, 2018. 244 p.
10. *Government UK.* UK Digital Strategy 2017 // GOV.UK. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy> (accessed: 12.04.2020).
11. *OECD Digital Economy Outlook 2017* [Electronic resource] // OECD iLibrary : site – Paris: OECD Publishing, 2017. URL: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en> (accessed: 12.04.2020).
12. *Helsper E., van Deursen A.* Digital skills in Europe: research and policy // *Digital divides: the new challenges and opportunities of e-inclusion* / ed. by K. Andreasson. Hoboken : CRC Press, 2015. P. 125–149.
13. *Telstra, RMIT University, Swinburne University of technology, Roy Morgan.* The Australian Digital Inclusion Index 2019. URL: <https://digitalinclusionindex.org.au/the-index-report/report> (accessed: 12.04.2020).
14. *Al-Muwil A., Weerakkody V., El-haddadeh R., Dwivedi Y.* Balancing Digital-By-Default with Inclusion: A Study of the Factors Influencing E-Inclusion in the UK // *Information Systems Frontiers*. 2019. № 21. P. 635–659. DOI: 10.1007/s10796-019-09914-0
15. *OECD.* Going Digital integrated policy framework. OECD Digital Economy Papers // OECD iLibrary : site – № 292. Paris : OECD Publishing, 2020. URL: <https://doi.org/10.1787/de930adc-en> (accessed: 12.04.2020).
16. *OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World* // OECD iLibrary : site – Paris: OECD Publishing, 2019. URL: <https://doi.org/10.1787/df80bc12-en> (accessed: 12.04.2020).
17. *International Telecommunication Union.* Measuring the Information Society. Report 2018 [Electronic resource]. Vol. 1. Geneva : ITU, 2018. URL: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-1-E.pdf> (accessed: 12.04.2020).
18. *Плотицкина Н., Морозова Е., Мирошниченко И.* Цифровые технологии: политика расширения доступности и развития навыков использования в Европе и России // *Мировая экономика и международные отношения*. 2020. Т. 64, № 4. С. 70–83. DOI: 10.20542/0131-2227-2020-64-4-70-83

Natalia V. Plotichkina, Kuban State University (Krasnodar, Russian Federation).

E-mail: oochronos@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 216–226.

DOI: 10.17223/1998863X/58/20

DIGITAL INCLUSION: THEORETICAL REFLECTION AND PUBLIC POLICY

Keywords: social inequality; digital inequality; digital inclusion; digital exclusion; digital inclusion policy.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 18-011-00975.

This article is dedicated to the explication of digital exclusion and inclusion. The heuristic potential of the e-inclusion concept lies in the overcoming of such a limitation as a binary explanation of digital division. Three levels of digital inequality were distinguished in western studies: in access,

methods and outcomes of ICT use (M. Ragnedda, E. Hargittai, A. van Deursen, J. van Dijk, E. Helsper). Operationalization of digital inclusion reflects focusing of research lenses on differences in the degree and quality of engagement in ICT. Digital inclusion and exclusion mark social positions in the continuum of digital inequality. Mechanisms of exclusion operate on micro-, meso-, and macro-levels. The concept of relative digital deprivation takes into account the differences between absolute and relative, objective and subjective digital exclusion. Scientific approaches of digital and social exclusion covariance (I. Mariën, L. Van Audenhove, E. Helsper) are described. Practices of exclusion/inclusion are realized in four fields (economic, cultural, social, and individual), which have two perspectives: online and offline. Predictors of exclusion, including digital (access, skills, motivation, etc.), socioeconomic and demographic variables, are characterized. For the detection of risk groups, it is necessary to consider the functioning of digital exclusion mechanisms which transcend socially and economically vulnerable strata. The corner stones for the policy of e-inclusion are inter-sector partnership; combination of a targeted approach to vulnerable strata with inclusion of all citizens; development of telecommunication infrastructure, digital competence, and networks of support; designing of e-government sites, devices and services oriented towards users; monitoring of policy; collecting data concerning people's digital skills. The policy of digital inclusion is directed at the extension of supply and stimulation of demand for ICT. The policy of supply is relevant at the stage of overcoming digital inequality in access gradations. Disparity in methods and outcomes of ICT use demands implementation of digital skills policy.

References

1. Helsper, E.J. (2012) A corresponding fields model for the links between social and digital exclusion. *Communication Theory*. 22(4). pp. 403–426. DOI: 10.1111/j.1468-2885.2012.01416.x
2. Mariën, I. & Van Audenhove, L. (2012) Digitale inclusie: Het middenveld als structurele partners. In: Dierckx, D., Oosterlynck, S., Coene, J. & Van Haarlem, A. (eds) *Armoede en sociale uitsluiting*. Leuven: Acco. pp. 317–332.
3. Ragnedda, M. & Muschert, G.W. (2018) *Theorizing Digital Divides*. London: Routledge.
4. Helsper, E.J. (2019) Why location-based studies offer new opportunities for a better understanding of socio-digital inequalities? In: *Desigualdades digitais no espaço urbano: um estudo sobre o acesso e o uso da internet na cidade de São Paulo*. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil. pp. 19–42.
5. Mariën, I. & Baelden, D. (2015) *8 Profielen van Digitale Ongelijkheden. Onderzoeksrapport voor het federale onderzoeksproject IDEALiC.be*. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. [Online] Available from: <https://www.idealic.be/publications>. (Accessed: 12th April 2020).
6. Helsper, E.J. (2017) The social relativity of digital exclusion: applying relative deprivation theory to digital inequalities. *Communication Theory*. 27(3). pp. 223–242. DOI: 10.1111/comt.12110
7. Mori, C.K. (2011). Digital inclusion: are we all talking about the same thing? In: Steyn, J. & Johanson, G. (eds) *ICTs and Sustainable Solutions for the Digital Divide: Theory and Perspectives*. New York: Information Science Reference. pp. 45–64.
8. Scheerder, A., van Deursen, A. & van Dijk, J. (2017) Determinants of Internet skills, uses and outcomes. A systematic review of the second-and third-level digital divide. *Telematics and Informatics*. 34(8). pp. 1607–1624. DOI: 10.1016/j.tele.2017.07.007
9. Ragnedda, M. & Mutsaers, B. (eds) (2018) *Digital inclusion: an international comparative analysis. Communication, globalization, and cultural identity*. Lanham, Maryland: Lexington Books.
10. The UK Government. (2017) *UK Digital Strategy 2017*. [Online] Available from: <https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy>. (Accessed: 12th April 2020).
11. OECD. (2017) *OECD Digital Economy Outlook 2017*. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264276284-en
12. Helsper, E. & van Deursen, A. (2015) Digital skills in Europe: research and policy. In: Andreasson, K. (ed.) *Digital divides: the new challenges and opportunities of e-inclusion*. Hoboken: CRC Press. pp. 125–149.
13. Telstra, DERC at RMIT University, CSI at Swinburne University of technology, Roy Morgan. (2019) *The Australian Digital Inclusion Index 2019*. [Online] Available from: <https://digitalinclusionindex.org.au/the-index-report/report>. (Accessed: 12th April 2020).
14. Al-Muwil, A., Weerakkody, V., El-haddadeh, R. & Dwivedi, Y. (2019) Balancing Digital-By-Default with Inclusion: A Study of the Factors Influencing E-Inclusion in the UK. *Information Systems Frontiers*. 21. pp. 635–659. DOI: 10.1007/s10796-019-09914-0

-
15. OESD. (2020) *Going Digital integrated policy framework*. OECD Digital Economy Papers. №292. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/dc930adc-en
 16. OECD. (2019) *OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World*. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/df80bc12-en
 17. International Telecommunication Union. (2018) *Measuring the Information Society*. Report 2018. Vol. 1. Geneva: ITU, 2018. [Online] Available from: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-1-E.pdf>. (Accessed: 12th April 2020).
 18. Plotichkina, N., Morozova, E. & Miroshnichenko, I. (2020) Digital technologies: policy for improving accessibility and usage skills development in Europe and Russia. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya – World Economy and International Relations*. 4(64). pp. 70-83. (In Russian). DOI: 10.20542/0131-2227-2020-64-4-70-83

УДК 323.2; 32.019.5

DOI: 10.17223/1998863X/58/21

А.В. Селезнева, Д.Е. Антонов

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ¹

Представлены результаты анализа политических ценностей как смысловых доминант гражданского самосознания молодежи, проведенного на основе политико-психологического подхода. Эмпирическую базу исследования составили материалы всероссийского репрезентативного опроса российской молодежи. Определены и описаны доминирующие в сознании молодежи политические ценности, а также различия в ценностных ориентациях разных поколений российской молодежи. Обозначены особенности регулятивного влияния политических ценностей на политическое поведение и гражданское участие молодежи.

Ключевые слова: молодежь, поколение Z, политические ценности, политическое поведение, гражданское участие.

Актуальность изучения ценностных оснований гражданского самосознания молодежи обусловлена рядом обстоятельств.

Во-первых, в настоящее время вопрос формирования в России гражданской нации стоит и перед научным сообществом (в разрезе его концептуального осмысления и обоснования), и перед специалистами-практиками, реализующими разные направления государственной политики. В этом контексте изучение гражданского самосознания и его ценностно-смысловых доминант имеет важное значение для понимания психологических особенностей конструирования национально-государственной идентичности.

Во-вторых, особое внимание исследователей сегодня привлекает молодежь – когорта, которая выросла и социализировалась в условиях новой постсоветской реальности. Исследования показывают, что миллениалы существенно отличаются от более старших поколенческих общностей в своих интересах, привычках, предпочтениях, способах общения и модусах действий [1]. Они обладают иными психологическими особенностями, по-другому смотрят на мир политики и взаимодействуют с ним [2, 3]. Это обуславливает необходимость изучения молодежи, ее ценностных ориентаций и политических установок для выстраивания эффективной работы с ней и реализации государственной молодежной политики.

Теоретические основания исследования

Гражданское самосознание можно определить как «относительно устойчивое осознание личностью себя гражданином определенного государства, на основании которого он строит свое взаимодействие с другими людьми, со-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ РФ в рамках научного проекта № МД-1966.2020.6 «Национальное и гражданское самосознание современной российской молодежи в условиях социокультурных угроз: политико-психологический анализ» (соглашение № 075-15-2020-220).

проходящееся чувством субъективной связанности с этим государством, его гражданами, исторической судьбой» [4. С. 177]. Ценностные ориентации являются структурным компонентом самосознания личности [5], репрезентируют его «границы» и определяют вектор развития личности в будущем [6. С. 8]. Применительно к анализу гражданского самосознания молодежи речь идет о политических ценностях.

Для анализа политических ценностей как смысловых доминант гражданского самосознания молодежи мы опираемся на соответствующие концептуальные и эмпирические разработки, сделанные в рамках политико-психологического подхода (1) и некоторые положения концепции Р. Инглхарта (2).

Политические ценности в рамках *политико-психологического подхода* определяются нами как «устойчивые, имплицитно присущие отдельной личности, социальной группе или обществу в целом смысловые доминанты, определяющие идеологические приоритеты и политические принципы социальных отношений» [7. С. 178].

В контексте рассматриваемой в статье проблематики для нас важны следующие психологические особенности политических ценностей.

1. Иерархическая упорядоченность и системная организованность [8]. Внутренняя организация системы ценностей личности образована двумя способами: кластерным – в ней существуют группы близких по какому-то признаку ценностей, и иерархическим – ценности распределяются в ней уровнями по степени значимости для субъекта.

2. Связь с потребностями и мотивами личности. Ценности возникают из биологических, социальных и духовных потребностей [9]. Все люди обладают единым набором базовых ценностей, а также культурно обусловленными политическими ценностями. Потребности лишь актуализируют те или иные ценности, воздействуя на построение их иерархии.

3. Регулятивная роль в социально-политическом поведении и деятельности [10].

Концепция Р. Инглхарта является одной из фундаментальных теоретико-методологических основ нашего исследования. В контексте рассматриваемой в статье проблематики необходимо обозначить лишь некоторые положения этой концепции, касающиеся сущности политических ценностей и динамики ценностных изменений в обществе.

Во-первых, ценности определяются Р. Инглхартом через потребности личности, что отражается в гипотезе ценностной значимости недостающего, согласно которой наибольшую субъективную значимость человек придает тому, в чем он испытывает определенный недостаток [11]. Соответственно, выделяются два типа ценностей: материалистические, или ценности выживания, под которыми подразумевается важность физической и психологической безопасности и благополучия, и постматериалистические, или ценности самовыражения, которые подчеркивают значение принадлежности к группе, самореализации и качества жизни.

Во-вторых, в понимании Р. Инглхарта, ценностный сдвиг к постматериализму (в сторону ценностей самовыражения и светско-рациональных ценностей) происходит в обществе с течением времени: от поколения к поколению в результате технологического развития и экономического роста. Следуя этой логике, каждое последующее поколение должно жить в большем материаль-

ном достатке, чем предыдущее, т.е. должно ощущать большую социальную и экономическую безопасность и ориентироваться на реализацию социальных и духовных потребностей.

В-третьих, Р. Инглхарт и его коллеги [12] утверждают, что произошел глобальный сдвиг ценностной системы человечества от материализма к постматериализму. Первоначально этот сдвиг рассматривался как глобальное культурное изменение, некий универсальный тренд, обусловленный социально-экономическими причинами. Позже Р. Инглхарт признал влияние религиозных традиций и исторического пути развития стран на господствующие в них системы политических ценностей. И сегодня развитие систем ценностей в мировом масштабе понимается не столько как глобальный постматериалистический сдвиг, сколько как движение всех стран в общем направлении, но не в сторону конвергенции, а по параллельным траекториям, отражающим культурную специфику [13].

Анализ политических ценностей российских граждан на основе концепции Р. Инглхарта дает возможность, во-первых, проверить определенную другими исследователями тенденцию постматериалистического сдвига (наличие его в России и вписанность нашей страны в общемировую тренд) [14]. Во-вторых, опираясь на обозначенное Р. Инглхартом концептуальное положение о прямой зависимости политических ценностей от степени удовлетворения потребностей личности, мы в полной мере можем анализировать их в рамках политико-психологического подхода.

Характеристика исследования

Эмпирическую базу исследования составили материалы всероссийского репрезентативного опроса российской молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, проведенного в 2020 г. Объем выборочной совокупности составил 2 200 респондентов. Обработка полученных данных проводилась с помощью статистического пакета SPSS.

Для выявления иерархии политических ценностей в структуру опросного листа был включен вопрос на определение значимости ценностных понятий по шкале от -1 до 3. Список понятий был составлен на основе использованного нами ранее набора слов-ценностей [15], а также включены вопросы, на определение ценностных ориентаций граждан по шкале «материализм / постматериализм», которые используются во Всемирном исследовании ценностей¹. Они представляют собой три набора по четыре утверждения каждый (по два утверждения как индикаторы материалистических или постматериалистических ценностей и вариант «затрудняюсь ответить»), из которых необходимо выбрать два наиболее важных.

Результаты исследования

Логика представленного здесь анализа предполагает, что сначала мы определяем ориентации граждан по шкале «материализм / постматериализм» (в контексте теории Р. Инглхарта), поскольку эта модель задает общие интерпретационные рамки. Затем мы выявляем иерархию наиболее значимых для молодых российских граждан ценностных понятий.

¹ <http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp>

Политические ценности граждан по шкале «материализм / постматериализм»

Результаты исследования показывают, что у молодого поколения россиян практически в равной мере актуализированы и материалистические, и постматериалистические ценности. Из двенадцати наиболее значимых утверждений семь являются индикаторами постматериалистичности (табл. 1). При этом, по средним значениям выборов преобладают индикаторы материалистичности хотя и не значительно (25,30 против 27,08).

Таблица 1. Политические ценности молодежи по шкале «материализм / постматериализм», %

Индикатор	1-й выбор	2-й выбор
<i>Первый набор утверждений</i>		
Достижение высокого уровня экономического развития	70,3	15,2
Обеспечение надежной обороноспособности нашей страны	12,9	21,3
Создание условий, когда люди имеют больше возможностей решать, что должны делать у них на работе, по месту жительства...	24,6	37,1
Пытаться сделать наши города и села более красивыми	7,5	24,9
Затрудняюсь ответить	4,0	1,9
<i>Второй набор утверждений</i>		
Сохранение порядка в стране	34,8	17,3
Предоставление народу возможности больше влиять на важные решения правительства	37,5	20,2
Борьба с ростом цен	24,1	29,4
Защита свободы слова	16,8	32,0
Затрудняюсь ответить	3,4	1,5
<i>Третий набор утверждений</i>		
Стабильная экономика	46,8	21,0
Движение от обезличенного к более гуманному обществу	17,0	23,8
Движение к обществу, в котором человек ценится больше денег	34,4	26,1
Борьба с преступностью	14,7	28,0
Затрудняюсь ответить	2,5	1,4

Основные индикаторы при этом связаны, в первую очередь, с приоритетными для граждан экономическими проблемами: «достижение высокого уровня экономического развития», «стабильная экономика». Среди постматериалистических ориентаций значимыми для граждан являются демократические ценности участия и свободы слова.

Анализ ценностных ориентаций разных возрастных когорт в структуре молодежи, подтверждая обозначенную ранее картину в целом, позволяет увидеть некоторые нюансы (табл. 2). Во-первых, наблюдается рост значений от более молодых когорт к старшим по индикатору «стабильная экономика» в диапазоне более 10%. Во-вторых, налицо определенное смещение акцентов в последней группе утверждений. У самых молодых наших респондентов – старшеклассников – приоритетными являются постматериалистические индикаторы с наибольшей значимостью защиты свободы слова. Представители более старших когорт выбрали индикаторы обоих типов, но для респондентов 18–23 лет важным является экономическое благополучие, тогда как для 24–30-летних молодых граждан наибольшее значение имеет ценность порядка. В-третьих, более всего на постматериалистические ценности ориентируются самые молодые наши респонденты – учащиеся старших классов, у которых количество выбранных индикаторов постматериализма вдвое превышает количество выборов индикаторов материализма.

Таблица 2. Политические ценности молодежи по шкале «материализм / постматериализм»: возрастные особенности, %

Индикатор	Среднее значение	15–17 лет	18–23 года	24–26 лет	27–30 лет
<i>Первый набор утверждений</i>					
Достижение высокого уровня экономического развития	81,2	81,4	80,5	77,4	83,9
Обеспечение надежной обороноспособности нашей страны	28,3	33,4	27,4	20,8	30,6
Создание условий, когда люди имеют больше возможностей решать, что должно происходить у них на работе, по месту жительства...	51,5	46,2	51,7	59,5	49,4
Пытаться сделать наши города и села более красивыми	25,4	26,0	28,0	31,0	19,8
Затрудняюсь ответить	5,4	6,5	5,9	4,5	5,1
<i>Второй набор утверждений</i>					
Стабильная экономика	63,0	55,1	62,0	66,0	66,3
Движение от обезличенного к более гуманному обществу	35,4	35,4	36,4	42,9	30,5
Движение к обществу, в котором человек ценится больше денег	54,6	54,4	54,3	55,7	54,2
Борьба с преступностью	36,4	45,4	37,5	29,2	34,6
Затрудняюсь ответить	3,6	4,4	4,1	1,7	4,0
<i>Третий набор утверждений</i>					
Сохранение порядка в стране	48,2	48,9	44,3	46,7	52,5
Предоставление народу возможности больше влиять на важные решения правительства	53,2	50,5	52,2	57,4	53,0
Борьба с ростом цен	47,1	39,5	49,2	43,4	51,2
Защита свободы слова	41,8	53,3	43,9	44,6	32,3
Затрудняюсь ответить	4,6	4,1	4,9	4,5	4,7

Иерархия политических ценностей молодежи

Результаты оценочного шкалирования ценностных понятий показали, что наиболее значимыми для российской молодежи политическими ценностями являются права человека (73,5%), мир (73,2%), безопасность (69,9%), свобода (68,7%), справедливость (68,2%), законность (66%) и порядок (62,2%). Эти ценностные категории практически не имеют идеологической окраски и отражают актуализированные базовые потребности личности. С точки зрения количественного выражения различия между ценностями внутри этой группы не являются значительными (менее 10%), но разрыв между всей этой группой и следующей – почти в 2 раза.

Второй эшелон значимости составляет идеологический комплекс политических ценностей, состоящий из либеральных, социал-демократических и консервативных ценностей. Отсутствие значимых статистических различий между ценностями внутри этого комплекса не позволяет говорить о какой-либо серьезной идеологической поляризации в обществе. Налицо скорее сложная комбинация наиболее востребованных политических ценностей разных идеологических полюсов, которые могут выступать в качестве инструментального дополнения к базовым целеопределяющим ценностям.

Табл. 3. Политические ценности молодежи, %

Ценность	–1 (отрицательное значение)	0 (не имеет значения)	1 (имеет небольшое значение)	2 (довольно значимо)	3 (очень значимо)
Равенство	3,6	7,9	17,4	37,6	33,5
Демократия	4,2	8,1	19,4	36,5	31,8
Частная собственность	4,1	7,4	18,6	35,6	34,4
Национализм	22,2	28,2	21,5	17,6	10,5
Традиционность	6,1	19,2	29,8	25,8	19,2
Стабильность	2,2	5,6	15,7	34,0	42,5
Солидарность	1,9	9,9	21,7	34,9	31,5
Толерантность	5,6	11,8	18,8	27,9	35,9
Мир	0,6	2,7	4,3	19,2	73,2
Порядок	0,8	1,8	7,0	28,1	62,2
Свобода	0,4	2,7	5,9	22,3	68,7
Законность	1,0	2,1	7,4	23,5	66,0
Патриотизм	4,9	11,4	21,3	29,7	32,7
Безопасность	0,6	2,4	4,7	22,4	69,9
Справедливость	0,7	2,5	6,6	22,0	68,2
Коллективизм	7,2	16,9	30,7	26,7	18,6
Личная инициатива	1,1	5,6	18,6	38,5	36,3
Права человека	1,1	2,7	4,2	18,5	73,5

Наименее значимыми для респондентов являются ценности традиционности и коллективизма. Единственной ценностью с довольно высоким отрицательным значением для молодежи является национализм.

Если посмотреть на иерархию политических ценностей молодежи в возрастном разрезе, то можно заметить следующие особенности (табл. 4).

Таблица 4. Политические ценности молодежи: возрастные особенности, %

Ценность	15–17 лет	18–23 года	24–26 лет	27–30 лет	Среднее значение
Равенство	36,4	35,4	33,3	30,0	33,5
Демократия	32,1	34,2	33,0	28,4	31,8
Частная собственность	29,1	36,3	34,3	35,4	34,4
Национализм	11,2	11,0	11,8	9,0	10,5
Традиционность	16,9	16,9	21,3	21,0	19,2
Стабильность	41,3	36,2	44,4	47,5	42,5
Солидарность	33,7	30,0	34,1	30,2	31,5
Толерантность	37,7	39,4	33,6	32,8	35,9
Мир	76,2	76,3	73,0	68,7	73,2
Порядок	62,8	62,9	60,4	62,5	62,2
Свобода	72,4	71,2	66,7	65,3	68,7
Законность	61,1	64,3	67,3	69,3	66,0
Патриотизм	26,1	31,1	33,1	37,4	32,7
Безопасность	72,5	69,2	70,2	69,1	69,9
Справедливость	69,8	68,6	68,6	66,7	68,2
Коллективизм	17,1	19,1	20,7	17,5	18,6
Личная инициатива	30,7	35,9	36,0	39,7	36,3
Права человека	79,6	75,6	73,2	68,4	73,5

По мере взросления наблюдается рост значимости ценностей законности, патриотизма и личной инициативы. При этом в первых двух случаях увеличение показателей происходит в довольно значительном диапазоне: 8–9%. Обратная зависимость – уменьшение значимости от более молодых когорт к старшим – выявлена в отношении ценностей прав человека, равенства, свободы и справедливости.

Динамика политических ценностей молодежи

Если сравнить представленные выше данные с результатами наших исследований прошлых лет, то можно заметить некоторые динамические особенности изменения системы политических ценностей молодежи в России. В частности, комплекс наиболее значимых ценностей, согласно нашим данным, на протяжении последнего десятилетия характерен для молодежи [16]. Однако, впервые за это время мы зафиксировали существенные изменения в ценностной иерархии – в ней лидирующую позицию занимают права человека. И хотя по количественным показателям разрыв между первым и вторым местами совершенно незначительный (0,3%), важен сам факт этой трансформации, который определенным образом подтверждает большую постматериалистическую ориентированность молодого поколения сегодня (по сравнению со старшими когортами или с молодежью десять лет назад) и, возможно, обозначает новую, только зарождающуюся тенденцию.

В отношении ценностей материализма и постматериализма за последнее десятилетие наблюдается выраженное движение предпочтений молодежи в сторону последних. Если в 2007 г. мы фиксировали явную ориентацию молодого поколения на материалистические ценности [17], то уже в 2012 г. наблюдалась определенная приоритетность постматериалистических показателей [18]. На сегодняшний момент мы видим своеобразное паритетное состояние: материалистические и постматериалистические ценности обладают примерно одинаковой значимостью для представителей молодого поколения.

Обсуждение результатов исследования

Научная и практическая значимость результатов исследования определяется их объяснительным и прогностическим потенциалом, интегрированностью в общее пространство научного знания в пределах (а порой и вовне) предметного поля. В данном разделе мы попытаемся интерпретировать имеющиеся у нас данные в контексте ценностных трансформаций и соотнести их с проблемой формирования гражданского самосознания молодежи.

В первую очередь необходимо понять, чем обусловлено современное состояние политических ценностей молодежи и произошедшие в ней за последнее десятилетие изменения.

Высокая значимость материалистических ориентаций в системе политических ценностей российской молодежи, в нашем понимании, обусловлена социально-экономическими и политическими условиями их жизни и деятельности. В первые два десятилетия нового века, когда происходила их активная социализация, во всех сферах жизни общества был наведен относительный порядок. Уровень и качество жизни граждан изменились в лучшую сторону по сравнению с 1990-ми гг., однако не стали ни стабильно высокими, ни даже стабильно повышающимися. А нынешнее состояние Н.Е. Тихонова определяет как «негативную стабилизацию» [19]. При этом психологическое состояние общества продолжало быть неустойчивым, граждане чувствовали себя недостаточно защищенными, не вполне уверенными в завтрашнем дне, что, безусловно, отражалось и на представителях молодого поколения. В подтверждение данного тезиса сошлемся на соответствующие исследования социологов и политических психологов.

По данным социологов, в течение 2003–2013 гг. россияне демонстрировали определенный оптимизм в самооценке своей жизни, однако для большинства (более 60%) основная оценка – «удовлетворительно» [20. С. 186]. С.В. Мареева, анализируя субъективную удовлетворенность граждан своей жизнью, отмечает, что в начале 2010-х гг. наблюдался рост позитивных оценок гражданами материальных и нематериальных аспектов их жизни, но после 2014 гг. этот тренд был нивелирован. В настоящее время 41% российских граждан относятся к зоне субъективного неблагополучия, которая характеризуется, в первую очередь, неудовлетворенностью материального положения (для сравнения: зона субъективного благополучия составляет 24%, остальные 35% россиян занимают промежуточное положение) [21].

Социально-психологическое состояние россиян, как отмечает Н.В. Латова [22], с конца 1990-х гг. было скорее негативным, но постепенно росло и достигло своего позитивного пика в 2013–2014 гг., а затем снова начался медленный спад. По данным Института социологии РАН, эмоциональное состояние российского общества в последние годы характеризуется сосуществованием положительной и отрицательной модальностей, которые находятся в своеобразном балансе – количество людей с доминирующими негативными эмоциями практически равно количеству людей, испытывающих преимущественно позитивные эмоции [23. С. 375; 24. С. 66]. Е.Б. Шестопал, изучая трансформацию психологических компонентов политических процессов в постсоветский период, отмечает нелинейность происходящих в них изменений [25]. В настоящее время психологическое состояние российского общества является неустойчивым и волатильным [26].

Резюмируя вышесказанное, мы можем заключить, что, несмотря на определенные изменения в позитивную сторону, в целом выйти из зоны субъективного неблагополучия и психологического дискомфорта у российского общества пока не получается. Молодежь в данном случае не исключение: она, так же как и граждане постарше, испытывает тревоги и страхи, потребность в защите и безопасности, находится в ситуации неопределенности по вопросу выбора персональных образовательных, профессиональных и личных траекторий [27]. И эти субъективные переживания и ощущения экономического (не)благополучия коррелируют с их ценностными – материалистическими – ориентациями [28]. Откуда же тогда рост показателей ценностей постматериализма?

Ответ на этот вопрос в значительной мере связан с особенностями молодежи как поколенческой общности и спецификой относящихся к ней на сегодняшний момент наших респондентов, т.е. молодых людей в возрастном диапазоне от 14 до 30 лет. Если следовать теории поколений [29], то в структуре нашей выборки есть представители двух поколений – Y (1983–2002 гг. рождения) и Z (рожденные после 2002 г.), между которыми, как считают исследователи, существует серьезный ценностный разрыв. По общему убеждению, именно поколению Z свойственно доминирование посматериалистических ценностей [30], что в какой-то мере подтверждают и наши данные. Однако мы считаем несколько преждевременным говорить о различиях между данными поколениями в категориях «ценностный разрыв» или «ценностный сдвиг», поскольку для этого необходимы более длительные наблюдения за поколением Z. Нам представляется более уместным говорить о движении в сторону постматериализма, которое обусловлено определенными изменениями в условиях социализации представителей обеих поколенческих общностей.

На протяжении последних двух десятилетий базовые экономические потребности и чувство безопасности молодых людей в значительной мере обеспечиваются их родителями, которые в силу своих возможностей стремятся не просто дать детям всем необходимое, а максимально ограждают их от всяческих трудностей и забот. В результате молодежь стала позже взрослеть. И эта тенденция, зафиксированная на миллениалах (Y) [1], как нам представляется, на центиниалах (Z) проявится еще ярче.

Кроме того, в последние пять-семь лет в медийном пространстве устойчиво присутствуют два образа: «СО-образ», интегрирующий представления об участии молодого человека в социальной жизни в форме гражданского активизма, волонтерства и пр. (1), и «САМО-образ» как совокупность представлений об обязательности саморазвития, самовыражения и самореализации (2). Эти образы активно транслируются разными институтами и агентами социализации, формируя у детей и подростков запрос на удовлетворение социальных и духовных потребностей.

Таким образом, мы можем говорить о том, что изучаемая нами молодежь в процессе своей социализации находилась и продолжает находиться под перекрестным влиянием, с одной стороны, социально-экономического и политического контекста, в котором множество объективных проблем достаточно тяжело субъективно переживается молодыми людьми, а с другой – социокультурных тенденций и социально-политических процессов, которые актуализируют социокоды личностного роста, успеха и самореализации, гражданской активности и участия в жизни общества.

Второй ракурс наших рассуждений связан с интерпретацией результатов исследования в контексте вопросов формирования и проявления гражданского самосознания молодежи. В теоретической части работы мы определили: гражданское самосознание подразумевает, что человек осознает себя гражданином государства, и это определяет его взаимоотношения с другими гражданами. Ключевую роль в этом играют именно политические ценности, которые регулируют поведение человека в социальной и виртуальной реальности, детерминируют его действия в политическом пространстве. Применительно к российской молодежи эта связь проявляется в том, что актуализированные постматериалистические ценности стимулируют ее гражданское участие и социальную активность.

С 2011 г. наблюдается политизация молодежи, принимающая самые разные формы конвенционального и неконвенционального политического участия. Представители поколения миллениалов все чаще участвуют в электоральных процедурах в качестве кандидатов в депутаты всех уровней, наблюдателей, членов избирательных штабов кандидатов, агитаторов; занимаются добровольчеством и волонтерством; выходят на митинги и пикеты; открыто обсуждают вопросы политического устройства, государственного управления и гражданской ответственности в социальных сетях и на онлайн-форумах; нередко случаи политики окрашенных перформансов и акционизма. Эти тенденции подтверждаются результатами исследований: фиксируется повышение общего уровня политической активности молодежи [31], рост ее электорального участия [32], расширение репертуара форм социальной и гражданской деятельности. В.В. Петухов отмечает, что молодые люди достаточно активно участвуют в волонтерских, экологических, благотворительных

и других формах низовой самоорганизации, они «в рамках разнообразных гражданских инициатив способна привлекать внимание общества к новым темам, новым участкам социальных конфликтов, выходящим за пределы текущей политической конъюнктуры, которые мало заботят или малоинтересны как государству, так и ключевым политическим субъектам» [33. С. 136].

Молодежь проявляет себя и в различных гражданских практиках в интернет-пространстве. Исследования Е.В. Бродовской и ее коллег показывают, что у молодежи есть позитивные установки в отношении цифрового волонтерства / добровольчества и виртуального электорального поведения как форм гражданской и политической онлайн-активности [34, 35]. Они фиксируют определенные корреляции между ценностными ориентациями и особенностями политического участия молодежи в цифровом пространстве и отмечают, что именно от ценностных профилей зависит результативность формирования культуры цифрового гражданства [36].

Выводы

Современная российская молодежь – поколение переходного типа, испытывающее на себе влияние целого комплекса внешних воздействий, в котором сложным образом комбинируются традиционные и заимствованные, национальные и глобальные, уже отмирающие и только зарождающиеся факторы. Это проявляется во всем облике поколения, в том числе и в системе политических ценностей.

Результаты нашего исследования, как и материалы целого корпуса представленных в статье работ, показывают, что в сознании молодежи происходят сложные динамические процессы. Череду экономических кризисов, слабые инклюзивные институты, излишний бюрократизм делают материальный достаток и безопасность значимыми ценностями. Мягкое семейное воспитание и цифровая среда активизируют ценности свободы, соучастия и самовыражения. Мы не наблюдаем ценностной поляризации, формируется скорее определенный баланс – относительно равновесное соотношение материалистических и постматериалистических ориентаций. Не происходит и идеологического раскола среди молодежи, наоборот – наиболее значимые для них политические ценности не имеют идеологической окраски.

В целом наблюдается определенное ценностное движение в сторону постматериализма. Наши данные свидетельствуют о том, что постматериалистические ценности занимают все более прочные позиции в сознании представителей подрастающего поколения, что в целом соотносится с обозначенной Р. Инглхартom и его коллегами идеей о ценностном сдвиге в сторону постматериализма (ценностей самовыражения) в глобальном масштабе. Сделаем акцент на слове «определенное», поскольку обозначенная тенденция требует дополнительной проверки и подтверждения на основе мониторинговых данных в более длительной временной перспективе. При этом вполне вероятно, что российские Z-ы не будут в полной мере тем поколением, которое будет полноценным носителем постматериалистических ценностей и принесет их во все виды деятельности, однако они подготовят базу для следующей возрастной когорты, с первых дней жизни существующей в двух реальностях: обычной и виртуальной.

Политические ценности молодежи конституируют ее гражданское самосознание – определяют его смысловые доминанты, направляют поведенческую активность в сторону выражения гражданской позиции. Противоречивость системы политических ценностей молодежи отражается на ее гражданской активности и политическом участии. Они, конечно, постепенно приобретают новое качество и количественное выражение. Поступательное движение в сторону доминирования посматериалистических ценностей, которые побуждают молодежь участвовать в делах государства и общества, говорит о формировании культуры участия, как ее понимали Г. Алмонд и С. Верба [36]. Но этот процесс пока еще далек от завершения.

Литература

1. Радаев В. Миллениалы: Как меняется российское общество. М. : Изд. дом Высш. школы экономики, 2019. 224 с.
2. Касамара В. А., Сорокина А.А. Советская и постсоветская Россия: исторические представления поколения миллениалов // *Общественные науки и современность*. 2017. № 6. С. 55–66.
3. Krupets Y., Morris J., Nartova N., Omelchenko E., Sabirova G. Imagining young adults' citizenship in Russia: from fatalism to affective ideas of belonging // *Journal of Youth Studies*. 2017. Vol. 20, № 2. P. 252–267. DOI: 10.1080/13676261.2016.1206862
4. Браун О.А., Аркузин М.Г. Подходы к определению и структурно-содержательные характеристики понятия «гражданское самосознание личности» // *Профессиональное образование в России и за рубежом*. 2017. № 4 (28). С. 176–180.
5. Мухина В.С. Детская психология. М. : Просвещение, 1985. 272 с.
6. Молчанова Е.В. Проблема ценностных ориентаций личности в структуре самосознания : автореф. дис. ... канд. филос. наук. Чебоксары, 2011. 20 с.
7. Селезнева А.В. Концептуально-методологические основания политико-психологического анализа политических ценностей // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2019. № 49. С. 177–192.
8. Pross H. Hierarchy of political values and their communication // *International Political Science Review*. 1982. T. 3, № 2. P. 205–211.
9. Karwat M. Political values as ideas of social needs // *International Political Science Review*. 1982. Vol. 3, № 2. P. 198–204.
10. Sagiv L., Roccas S., Cieciuch J. & Schwartz S.H. Personal values in human life // *Nature Human Behaviour*. 2017. Vol. 1. P. 630–639. DOI: 10.1038/s41562-017-0185-3
11. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // *Полис. Политические исследования*. 1997. № 4. С. 6–32.
12. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М. : Новое издательство, 2011. 464 с.
13. Inglehart R.F., Baker W. Modernization, Cultural Change and the Persistence of Traditional Values // *American Sociological Review*. 2000. Vol. 65. P. 15–91.
14. Дейнека О.С., Хабибулин Р.К. Феномен постматериалистических ценностей и проблема политической стабильности // *Современные проблемы науки и образования*. 2015. № 1. URL: <http://www.science-education.ru/121-17300> (дата обращения: 03.11.20).
15. Селезнева А.В. Методология исследования политических представлений и ценностей // *Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки*. 2011. № 2. С. 42–53.
16. *Государственная молодежная политика в России: социально-психологические основания и технологии реализации* / под общ. ред. С.Ю. Поповой. М. : Аквилон, 2019. 448 с.
17. Селезнева А.В. Политико-психологический анализ политических ценностей современных российских граждан: поколенческий срез // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2011. № 3(15). С. 22–33.
18. Селезнева А.В. Политико-психологические особенности политического сознания современной российской молодежи // *Вестник Томского университета. Философия. Социология. Политология*. 2013. № 3 (23). С. 128–136.
19. Тихонова Н.Е. «Негативная стабилизация» и факторы динамики благосостояния населения в посткризисной России // *Социологический журнал*. 2019. Т. 25, № 1. С. 27–47. DOI: 10.19181/socjour.2018.25.1.6278

20. *Бедность* и бедные в современной России / под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М. : Весь Мир, 2014. С. 186.
21. *Мареева С.В.* Зоны субъективного благополучия и неблагополучия в российском обществе // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Социология. 2018. Т. 18, № 4. С. 695–707. DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-4-695-707
22. *Латова Н.В.* Удовлетворенность россиян жизнью во время кризиса: 2015 – год бифуркации // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2016. № 3. С. 24. С. 16–37.
23. *Российское общество* и вызовы времени. Книга пятая / под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М. : Весь мир, 2017. 424 с.
24. *Двадцать* пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях россиян: опыт социологического анализа / отв. ред. М.К. Горшков, В.В. Петухов. М. : Весь Мир, 2018. 384 с.
25. *Шестопал Е.Б.* Проект длиною в четверть века. Исследование образов власти и лидеров в постсоветской России (1993–2018) // Полис. Политические исследования. 2019. № 1. С. 9–20. DOI: 10.17976/jpps/2019.01.02
26. *Шестопал Е.Б., Вагина В.В., Пасс П.С.* Новые тенденции в восприятии власти российскими гражданами // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз. 2019. № 4. С. 67–86. DOI: 10.30570/2078-5089-2019-95-4-67-86
27. *Ильин В.И.* Социальный серфинг как модель молодежного образа жизни // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 1. С. 28–48. DOI: 10.14515/monitoring.2019.1.02
28. *Честюнина Ю.В., Забелина Е.В.* Взаимосвязь жизненных ценностей и субъективного экономического благополучия у молодежи / Психологическое благополучие современного человека : материалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф. (11 апреля 2018 г.) / Урал. гос. пед. ун-т; отв. ред. С.А. Водяха. 2018. Т. 1. С. 399–404.
29. *Strauss W., Howe, N.* The Fourth Turning: An American Prophecy – What the Cycles of History Tell Us About America's Next Rendezvous with Destiny. New York : Broadway Books, 1997.
30. *Воскресенский А.А., Рабош В.А., Сунягина А.Г.* Постматериальные ценности поколения Z на пути к обществу знаний – к постановке проблемы // Общество. Среда. Развитие. 2018. № 1. С. 84–87.
31. *Селезнева А.В., Зиненко В.Е.* Политическая активность российской молодежи: современные тенденции развития // Вестник Московского государственного областного университета (Электронный журнал). 2020. № 2. URL: <https://vestnik-mguo.ru/ru/Articles/View/1012>. DOI: 10.18384/2224-0209-2020-2-1012
32. *Ежов Д.А.* К проблеме формирования системы политических ценностей российской молодежи // Власть. 2018. Т. 26, № 8. С. 107–110. URL: <https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast/article/view/6053>. DOI: 10.31171/vlast.v26i8.6053
33. *Петухов В.В.* Российская молодежь и ее роль в трансформации общества // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 119–138. DOI: 10.14515/monitoring.2020.3.1621
34. *Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В., Азаров А.А.* Гражданские и политические онлайн-практики в оценках российской молодежи (2018) // Политическая наука. 2019. № 2. С. 180–197. DOI: 10.31249/poln/2019.02.09
35. *Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В., Азаров А.А., Сияков А.В.* «Цифровая гражданственность» в оценках российской молодежи // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2019. Т. 15, № 3. С. 4–22.
36. *Алмонд Г., Верба С.* Гражданская культура и стабильность демократии / Полис. Политические исследования. 1992. № 4. С. 122.

Antonina V. Selezneva, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).
E-mail: ntonina@mail.ru

Dmitry E. Antonov, State Academic University for the Humanities (Moscow, Russian Federation).
E-mail: a.dmitry.msu@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 227–241.

DOI: 10.17223/1998863X/58/21

THE VALUE BASES OF THE CIVIC CONSCIOUSNESS OF THE RUSSIAN YOUTH

Keywords: youth; generation Z; political values; political behavior; civic engagement.

The study was supported by the Council for Grants of the President of the Russian Federation, Project No. MD-1966.2020.6 (Agreement No. 075-15-2020-220).

The article presents the results of an analysis of political values as fundamental foundations of young people's civic consciousness. The theoretical basis of the study is the political-psychological approach and the provisions of Ronald Inglehart's conception. Political values in this work are defined as semantic dominants in the sphere of politics. They are hierarchically ordered, related to the needs of the individual, and they regulate political behavior. The empirical basis of the study is materials from the all-Russian representative survey of the Russian youth. The hierarchy of young people's political values was determined on the basis of an evaluative scaling of value concepts. The survey also included questions to determine citizens' value orientations on the scale "materialism/post-materialism" used in the World Value Survey. The results of the study show that human rights, peace, security, freedom, justice, law and order are important political values for the Russian youth. These value categories have no ideological connotations. The authors show that over the past decade there has been a change in young people's preferences towards the values of post-materialism. At present, there is a relative balance between the materialistic and post-materialistic value orientations of young people. This can be explained by the generational heterogeneity of modern youth, as well as by the peculiarities of their socialization conditions. The analysis of the value orientations of different age cohorts in the structure of the youth allowed highlighting several key points. Depending on the age of the respondent, there is an increase in the importance of the values of legality, patriotism and personal initiative. The inverse relationship—a decrease in significance from younger cohorts to older ones—is revealed in relation to the values of human rights, equality, freedom and justice. The authors conclude that post-materialistic values are gaining stronger position in the minds of the younger generation. However, it is premature to say that there has been a value shift towards post-materialism. Actualized post-materialist values encourage young people's civic engagement in real and virtual spaces.

References

1. Radaev, V. (2019) *Millenialy: Kak menyaetsya rossiyskoe obshchestvo* [Millennials: How Russian society is changing]. Moscow: HSE.
2. Kasamara, V. A. & Sorokina, A.A. (2017) Soviet and post-Soviet Russia: historical perceptions of the millennial generation. *Obshchestvennye nauki i sovremennost' – Social Sciences and Contemporary World*. 6. pp. 55–66. (In Russian).
3. Krupets, Y., Morris, J., Nartova, N., Omelchenko, E. & Sabirova, G. (2017) Imagining young adults' citizenship in Russia: from fatalism to affective ideas of belonging. *Journal of Youth Studies*. 20(2). pp. 252–267. DOI: 10.1080/13676261.2016.1206862
4. Braun, O.A. & Arkuzin, M.G. (2017) Approaches to definition and structurally substantial characteristics of the concept "civil consciousness of the personality". *Professional'noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom – Professional Education in Russia and Abroad*. 4(28). pp. 176–180. (In Russian).
5. Mukhina, B.C. (1985) *Detskaya psikhologiya* [Child psychology]. Moscow: Prosveshchenie.
6. Molchanova, E.V. (2011) *Problema tsennostnykh orientatsiy lichnosti v strukture samosoznaniya* [The problem of personal value orientations in the structure of self-awareness]. Abstract of Philosophy Cand. Diss. Cheboksary.
7. Selezneva, A.V. (2019) Conceptual and Methodological Foundations of the Political-Psychological Analysis of Political Values. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 49. pp. 177–192. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/49/18
8. Pross, H. (1982) Hierarchy of political values and their communication. *International Political Science Review*. 3(2). pp. 205–211. DOI: 10.1177/019251218200300207
9. Karwat, M. (1982) Political values as ideas of social needs. *International Political Science Review*. 3(2). pp. 198–204. DOI: 10.1177/019251218200300206
10. Sagiv, L., Roccas, S., Cieciuch, J. & Schwartz, S.H. (2017) Personal values in human life. *Nature Human Behaviour*. 1. pp. 630–639. DOI: 10.1038/s41562-017-0185-3
11. Inglehart, R. (1997) Postmodern: menyayushchiesya tsennosti i izmenyayushchiesya obshchestva [Postmodernity: changing values and changing societies]. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 4. pp. 6–32.
12. Inglehart, R. & Welzel, K. (2011) *Modernizatsiya, kul'turnye izmeneniya i demokratiya: Posledovatel'nost' chelovecheskogo razvitiya* [Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence]. Translated from English. Moscow: Novoe izdatel'stvo.

13. Inglehart, R.F. & Baker, W. (2000) Modernization, Cultural Change and the Persistence of Traditional Values. *American Sociological Review*. 65. pp. 15–91.
14. Deyneka, O.S. & Khabibulin, R.K. (2015) Post-materialist values and concerns of political stability. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Modern Problems of Science and Education*. 1. (In Russian). [Online] Available from: <http://www.science-education.ru/121-17300> (Accessed: 3rd November 2020).
15. Selezneva, A.V. (2011) Methodology of studying political representation and values. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12. Politicheskie nauki*. 2. pp. 42–53. (In Russian).
16. Popova, S.Yu. (ed.) (2019) *Gosudarstvennaya molodezhnaya politika v Rossii: sotsial'no-psikhologicheskie osnovaniya i tekhnologii realizatsii* [State youth policy in Russia: socio-psychological foundations and implementation technologies]. Moscow: Akvilon.
17. Selezneva, A.V. (2011) Psychological Analysis of Political Values in Contemporary Russian Public: Generational Aspect. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 3(15). pp. 22–33. (In Russian).
18. Selezneva, A.V. (2013) Politiko-psikhologicheskie osobennosti politicheskogo soznaniya so-vremennoy rossiyskoy molodezhi [Political and psychological features of the political consciousness of modern Russian youth]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 3(23). pp. 128–136.
19. Tikhonova, N.E. (2019) “Negative Stabilization” and Factors of Population Welfare Dynamics in Post-Crisis Russia. *Sotsiologicheskii zhurnal – Sociological Journal*. 25(1). pp. 27–47. DOI: 10.19181/socjour.2018.25.1.6278
20. Gorshkov, M.K. & Tikhonova, N.E. (eds) (2014) *Bednost' i bednye v sovremennoy Rossii* [Poverty and the Poor in Contemporary Russia]. Moscow: Ves' Mir.
21. Mareeva, S.V. (2018) Subjective well-being and ill-being zones in the Russian society. *Vestnik Rossiyskogo universiteta družby narodov. Ser.: Sotsiologiya – RUDN Journal of Sociology*. 18(4). pp. 695–707. (In Russian). DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-4-695-707
22. Latova, N.V. (2016) Russian satisfaction with life during the crisis. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 3. pp. 24, 16–37. (In Russian). DOI: 10.14515/monitoring.2016.3.02
23. Gorshkov, M.K. & Petukhov, V.V. (eds) (2017) *Rossiyskoe obshchestvo i vyzovy vremeni* [Russian Society and the Challenges of the Time]. Book 5. Moscow: Ves' mir.
24. Gorshkov, M.K. & Petukhov, V.V. (eds) (2018) *Dvadsat' pyat' let sotsial'nykh transformatsiy v otsenkakh i suzheniyakh rossiyan: opyt sotsiologicheskogo analiza* [Twenty-five years of social transformations in the assessments and judgments of Russians: An attempt of sociological analysis]. Moscow: Ves' Mir.
25. Shestopal, E.B. (2019) Quarter-Century-Long Project: Study of the Images of Authorities and Leaders in Post-Soviet Russia (1993–2018). *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 1. pp. 9–20. (In Russian). DOI: 10.17976/jpps/2019.01.02
26. Shestopal, E.B., Vagina, V.V. & Pass, P.S. (2019) New Trends of Russian Citizens' Perception of Authorities. *Politiya: Analiz. Khronika. Prognoz – Politeia*. 4. pp. 67–86. (In Russian). DOI: 10.30570/2078-5089-2019-95-4-67-86
27. Ilyin, V.I. (2019) Social surfing as a model of youth lifestyle. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 1. pp. 28–48. (In Russian). DOI: 10.14515/monitoring.2019.1.02
28. Chestyunina, Yu.V. & Zabelina, E.V. (2018) Vzaimosvyaz' zhiznennykh tsennostey i sub'ektivnogo ekonomicheskogo blagopoluchiya u molodezhi [The relationship between life values and subjective economic well-being among young people]. In: Vodyakha, S.A. (ed.) *Psikhologicheskoe blagopoluchie sovremennogo cheloveka* [Psychological Well-being of a Modern Person]. Vol. 1. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University. pp. 399–404.
29. Strauss, W. & Howe, N. (1997) *The Fourth Turning: An American Prophecy – What the Cycles of History Tell Us About America's Next Rendezvous with Destiny*. New York: Broadway Books.
30. Voskresensky, A.A., Rabosh, V.A. & Sunyagina, A.G. (2018) Post-material Values of Generation Z on the Way to the Society of Knowledge – to Statement of a Problem. *Obshchestvo. Sreda. Razvitiye – Society. Environment. Development*. 1. pp. 84–87. (In Russian).
31. Selezneva, A.V. & Zinenko, V.E. (2020) Political activity of Russian youth: current development trends. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta – Bulletin of the Moscow Region State University. Politics*. 2. [Online] Available from: <https://vestnik-mgou.ru/ru/Articles/View/1012>. (In Russian). DOI: 10.18384/2224-0209-2020-2-1012

-
32. Ezhov, D.A. (2018) To the Problem of Formation of Political Values System of the Russian Youth. *Vlast'*. 26(8). pp. 107–110. (In Russian). DOI: 10.31171/vlast. v26i8.6053
33. Petukhov, V.V. (2020) Russian Youth and Its Role in Society Transformation. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 3. pp. 119–138. (In Russian). DOI: 10.14515/monitoring.2020.3.1621
34. Brodovskaya, E.V., Dombrovskaya, A.Yu., Pyrma, R.V. & Azarov, A.A. (2019) Civil and political online practices in the evaluations of Russian youth (2018). *Politicheskaya nauka – Political science*. 2. pp. 180–197. (In Russian). DOI: 10.31249/poln/2019.02.09
35. Brodovskaya, E.V., Dombrovskaya, A.Yu., Pyrma, R.V., Azarov, A.A. & Sinyakov, A.V. (2019) “Digital citizenship” in the estimations of Russian youth. *Politicheskaya ekspertiza: POLITEKS – Political expertise: POLITEX*. 15(3). pp. 4–22. (In Russian). DOI: 10.21638/spbu23.2019.301
36. Almond, G. & Verba, S. (1992) Grazhdanskaya kul'tura i stabil'nost' demokratii [Civil culture and stability of democracy]. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 4. p. 122.

УДК 32:378.4

DOI: 10.17223/1998863X/58/22

Е.В. Хахалкина

БРЕКЗИТ И СТУДЕНЧЕСКАЯ ИММИГРАЦИЯ В СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО: ТОЧКИ РОСТА И РАЗЛОМА¹

Статья выстроена вокруг поиска ответов на два вопроса: как повлиял брекзит на динамику въезда студентов из стран ЕС и какие новые возможности он представляет для системы высшего образования Великобритании в будущем. Сделаны выводы о том, что произошедшее снижение количества поступающих из Евросоюза в британские вузы не вызывает серьезных опасений Лондона, принявшего меры для компенсации возможных потерь.

Ключевые слова: брекзит, студенческая миграция, интернационализация, политика в сфере университетского образования.

Пандемия коронавируса на неопределенное время отодвинула другие насущные вопросы из внутри- и внешнеполитической повестки стран мира. К таковым относится долгое время занимавший лидирующие строчки в топ-пятерке актуальных международных проблем брекзит, или выход Великобритании из состава Европейского союза, состоявшийся 31 января 2020 г., незадолго до введения ВОЗ 11 марта пандемии нового типа инфекции.

Однако примечательным выглядит тот факт, что два этих события оказались тесно связаны между собой: и то и другое явления имеют прямое отношение к свободной мобильности людей. Переговоры о брекзите, последовавшие вслед за референдумом 23 июня 2016 г. о членстве Великобритании в ЕС, вызвали снижение численности прибывающих в Британию иммигрантов разных категорий из стран Евросоюза и, наоборот, спровоцировали так называемый брексоodus – массовый «исход» граждан других стран ЕС, находящихся на территории Соединенного Королевства. Согласно одному из исследований, проведенных после референдума, 82% работающих в стране итальянцев выразили желание уехать из Британии, при этом каждый третий ответил, что хотел бы вернуться на родину [1].

Профессия ученого в наши дни сопряжена с мобильностью. Одним из важных элементов эффективной работы международных исследовательских коллабораций внутри Европейского союза являлась свобода передвижения. В настоящее время, когда продолжаются переговоры между Лондоном и Брюсселем об окончательных условиях выхода островного государства из объединения, трудно прогнозировать, как изменятся правила передвижения людей между Великобританией и странами ЕС после окончания переходного периода 31 декабря 2020 г.

Заметим, что для Великобритании участие в европейских образовательных и научных грантах наряду с приемом студентов из стран ЕС имеет большое значение. Страна обладает одной из старейших систем высшего образования

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ, проект «Политическое конструирование университетского города в формируемом образе будущего России», № 20-011-31664.

и имеет крепкие позиции в области интернационализации студентов. Британские вузы входят в первые строчки мировых рейтингов университетов:

Мировой рейтинг университетов Times Higher Education 2020 [2]:

- Оксфордский университет.
- Кембриджский университет.
- Имперский колледж Лондон.
- Университетский колледж Лондона (UCL).
- Лондонская школа экономики и политических наук.
- Эдинбургский университет.
- Королевский колледж Лондона.
- Манчестерский университет.
- Университет Уорика.
- Бристольский университет.

Рейтинг университетов мира QS на 2021 г. по версии Top Universities [2]:

- Оксфордский университет.
- Кембриджский университет.
- Имперский колледж Лондон.
- Университетский колледж Лондона (UCL).
- Эдинбургский университет.
- Манчестерский университет.
- Королевский колледж Лондона.
- Лондонская школа экономики и политических наук.
- Бристольский университет.
- Университет Уорика.

Соединенное Королевство также является одним из мировых лидеров по приему иностранных студентов (табл. 1); они составляют пятую часть всех студентов высших учебных заведений страны, и их годовой приток вырос на 18% с 2009/10 по 2018/19 уч. гг. В численном выражении в 2018/19 уч. г. 486 тыс. иностранных студентов из ЕС (143 тыс. человек) и из других стран (343 тыс. человек) обучались в высших учебных заведениях Великобритании, что является самым большим показателем за всю историю наблюдений [3].

Таблица 1. Топ-10 стран происхождения иностранных студентов-первокурсников в вузах Соединенного Королевства, 2018–2019 гг. [4]

Страна происхождения	Количество первокурсников	Доля от всех студентов 1-го года обучения, %
Китай	86 485	32
Индия	17 760	7
Соединенные Штаты	12 085	5
Германия	7 115	3
Гонконг	6 925	3
Франция	6 645	2
Малайзия	5 940	2
Италия	5 930	2
Нигерия	5 485	2
Греция	4 770	2

Следует отметить, что хотя подавляющее большинство иностранных студентов прибывают из стран вне ЕС, стоимость обучения для них заметно выше (от 15 500 ф. ст. за обучение в бакалавриате до 58 000 ф. ст. в год на некоторых курсах), чем для студентов из стран ЕС, которые платят наравне с британскими обучающимися (9 250 ф. ст. в год) [5].

В настоящее время Соединенное Королевство все больше полагается на студентов из Китая, численность которых более чем утроилось с 2006/07 по 2018/19 уч. гг. – 32% всех новых студентов-первокурсников. Эта тенденция наблюдается и в других странах, что объясняется большой численностью населения КНР и ее растущим благосостоянием. В США, например, китайские студенты составили 34% всех иностранных студентов в 2018/19 уч. г., в Австралии – 37% [3].

Между тем количество индийских студентов в Соединенном Королевстве заметно сократилось в 2011/12 уч. г., что было связано с отменой рабочей визы после учебы, но в 2016/17 уч. г. динамика восстановилась [4]. В то же время с 2011/12 уч. г. наблюдается общее сокращение числа абитуриентов из основных стран ЕС: из Ирландии – на 37%, Кипра – на 37, Греции на – 21, Германии на – 18 и Франции на – 14%. Исключением стала Италия, численность поступающих в британские вузы из которой увеличилась почти вдвое [Ibid.].

В последние годы Великобритания была вторым по популярности направлением для иностранных студентов в мире после США. В 2017 г. Соединенные Штаты приняли 26% студентов высших учебных заведений из всех стран, которые учились за границей в университетах ОЭСР, Великобритания оказалась на втором месте (12%). Но доля рынка снижается, и в других англоязычных странах, таких как Австралия, Новая Зеландия и Канада, сейчас наблюдается значительный рост иностранных студентов, равно как и в европейских странах, которые все чаще предлагают курсы на английском языке [Ibid.].

Уменьшение численности связано с изменениями в порядке получения студенческой визы и недавним выходом Великобритании из ЕС. Правительство Б. Джонсона гарантировало сохранение прежней стоимости обучения для студентов из ЕС до конца 2020/21 уч. г., но с 2021/22 уч. г. такие студенты больше не будут рассматриваться на тех же основаниях, что и британские. Н. Хиллман, директор аналитического центра Института политики высшего образования Великобритании, назвал решение правительства «небольшим сюрпризом» [6]. Он подчеркнул, что «более высокие сборы и прекращение доступа к студенческим ссудам могут привести к снижению примерно на 60% числа студентов из ЕС, приезжающих в Великобританию для учебы. Если это произойдет, наши университеты будут менее разнообразными и менее открытыми для влияния других стран». Но, продолжил он, «было бы морально и юридически трудно взимать с граждан ЕС более низкие сборы, которые мы уже взимаем со студентов из других стран, как только Брекзит вступит в силу» [6].

Согласно одному из недавних исследований, проведенному вслед за решением правительства Великобритании от 23 июня 2020 г. повысить плату за обучение для студентов из стран ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии и лишить статуса, которым обладают британские студенты после брекзита, может произойти сокращение численности иностранных студентов из ЕС на 25% [7]. Около 84% потенциальных студентов из ЕС заявляют, что они «определенно не будут» учиться в Великобритании, если плата за обучение будет удвоена. Кроме того, 56% будущих студентов говорят, что на их решение учиться в Великобритании повлияет прекращение доступа к сту-

денческим ссудам, о чем также было объявлено правительством Б. Джонсона. Нидерланды и Германия могут стать наиболее популярными альтернативными направлениями [7].

Интернационализация является одной из ключевых доходных статей бюджета Соединенного Королевства. По оценкам университетов Великобритании, в 2014–2015 гг. иностранные студенты внесли в экономику страны валовой доход в размере 25,8 млрд ф. ст. Иностранные студенты также являются элементом «мягкой силы» силы за рубежом [3]. В 2018 г. Институт политики в области высшего образования (HEPI) опубликовал подробное исследование преимуществ и издержек увеличения количества иностранных студентов в Великобритании [8].

Согласно его данным каждый студент, не являющийся гражданином ЕС, несет бремя расходов в размере всего 7 тыс. ф. ст. на государственный кошелек, при этом вкладывая в экономику Великобритании в среднем 95 тыс. ф. ст.: «Выгода от приема студентов из стран, не входящих в ЕС, в 14,8 раз больше, чем общие затраты» [9]. Студенты из ЕС не имеют такого значительного влияния на государственный кошелек, но их чистые взносы составляют около 68 тыс. ф. ст. на душу населения [9].

К издержкам авторы доклада относят слабо измеряемые, но ощутимые негативные внешние эффекты для общества в целом, такие как увеличение скопления людей, загрязнение и шум. Кроме того, присутствие иностранных студентов может повлиять на цены за счет изменения местного спроса на товары и услуги [9].

Согласно статистике Службы приема в университеты и колледжи количество иностранных студентов, принятых из стран вне ЕС для обучения в британских учебных заведениях, увеличилось на 2% в 2020 г., а количество студентов из стран ЕС упало на 13,2%, до 22 940 человек. В общей сложности было принято 35 080 иностранных студентов из стран за пределами ЕС, что превысило предыдущий рекорд в 33 630 человек в 2019 г. Однако эксперты объясняют снижение задержкой результатов экзаменов по всей Европе после пандемии Covid-19 [10].

Итоговые цифры по приемной кампании 2020 г. еще уточняются, однако уже сейчас ясно, что количество иностранных студентов из Китая увеличилось на 1 100 по сравнению с 2019 г. до 8 840. Гонконг также увеличил свою численность с 3 010 до 3 430 человек (это стало самой большой группой принятых студентов). Число приемов из третьей по величине страны происхождения – Индии – также увеличилось на 12% по сравнению с показателями 2019 г., достигнув исторического максимума в 2 720 человек. Однако цифры из Малайзии упали до 1 720 человек – такого снижения не наблюдалось более десяти лет. Число принятых студентов из Сингапура также сократилось примерно на 5% с 1 450 в 2019 г. до 1 380 в 2020 г [10].

В табл. 2 представлены данные по университетам Соединенного Королевства, лидирующим в области интернализации.

Хотя за последние 20 лет Великобритания более чем удвоила прием иностранных студентов, с 2007 по 2017 г. ее доля на мировом рынке упала с 11 до 8% в пользу Австралии, Канады и Китая [4], что показано в табл. 3. Среди причин такого снижения – ограничения на возможности работы после учебы. Исследования показывают, что иммиграционная система Велико-

британии оказывает определенное влияние на выбор студентов для обучения наряду с такими факторами, как положение в экономике, политика в странах-конкурентах и др. [4].

Таблица 2. 2019 г. Британские университеты с наибольшей численностью иностранных студентов [11]

Название	Из Евросоюза	Из стран вне ЕС	Общее количество
Университетский колледж Лондона	4930	13 060	17 990
Манчестерский университет	2 785	10 965	13 750
Эдинбургский университет	3 725	8 300	12 025
Королевский колледж Лондона	4 080	7 095	11 175
Университет Глазго	3 175	5640	8 815
Оксфордский университет	2640	5 570	8 210
Кембриджский университет	2 635	4 415	7 050
Вестминстерский университет	2 285	4 090	6 375
Университет Абердина	2 865	1 915	4 780
Йоркский университет	890	3185	4 075

Таблица 3. Топ-10 государств с наибольшей численностью иностранных студентов [12]

Страна назначения	Количество студентов
США	1 095 299
Соединенное Королевство	496 570
Китай	492 185
Канада	435 415
Австралия	420 501
Франция	343 400
Россия	334 497
Германия	282 002

Падение доли Великобритании на мировом рынке иностранных студентов отражает потерю ею студентов из США, Европы и особенно Индии. Снижение численности студентов из Республики Индии после 2011 г. последовало вслед за закрытием рабочего маршрута после учебы в 2012 г. и новой системой студенческих виз, введенной Министерством внутренних дел с 2010 г. Эта политика была направлена на сокращение злоупотреблений студенческим маршрутом и включала новые меры контроля для иностранных студентов и принимающих их учебных заведений, такие как требование владения английским языком, ограничение для студентов ниже уровня образования с иждивенцами, а также внедрение системы высокого уровня доверия. Когда были внесены эти изменения, резко сократилось количество колледжей дальнейшего образования, имеющих лицензию для спонсирования студентов.

Некоторые исследователи утверждают, что если иностранные студенты продолжают работать в Великобритании после окончания учебы, это принесет пользу экономике страны, поскольку они молоды и получили образование в Великобритании с особыми навыками, такими как знание языка и культуры, которые могут помочь британским предприятиям выйти на новые рынки. Исследование, проведенное по заказу НЕРІ, также показало, что иностранные студенты, которые остались в Великобритании после окончания учебы, внесли существенный вклад в налоговые поступления страны [4].

Впрочем, Британия выигрывает и от ситуации, когда иностранные студенты возвращаются в страну происхождения и становятся «послами Великобритании» в своем государстве, занимая позиции, которые позволяют им

устанавливать деловые и исследовательские связи со страной обучения, усиливая тем самым ее «мягкую силу» [13].

Основной экономический вклад студентов связан с тем, что они тратят деньги в Великобритании, в том числе на плату за обучение, проживание, пропитание и поездки. Большинство недавних исследований, изучающих влияние иностранных студентов на экономику, были сосредоточены на *экспортных доходах* – расходах на товары и услуги в Великобритании с использованием денег, привезенных из-за границы [4].

Поскольку иностранные студенты, как правило, молодые и с небольшим количеством иждивенцев, считается, что они несут относительно небольшие затраты за счет требований к государственным услугам, таким как образование для детей и здоровье. Эти факторы привели исследователей к выводу, что студенты из стран, не входящих в ЕС, фактически «перекрестно субсидируют» обучение своих студентов, например, за счет получения дохода за улучшенные объекты или за счет обеспечения более широкой доступности курсов. В 2017/18 уч. г. плата за обучение студентов из Великобритании (80% всех студентов британских вузов) составляла 30% от общего годового дохода британских университетов, в то время как студенты из ЕС внесли 3%, а студенты из стран, не входящих в ЕС, – 14% [4].

Большинство университетов Соединенного Королевства выступали против выхода страны из Европейского союза, который мог нанести удар по существующей модели интернационализации и лишить Британию доступа к ряду научных программ ЕС и участию в международных коллаборациях. Особую тревогу вызывала перспектива возвращения пограничного контроля.

Однако эксперты развеивают мифы о значительных экономических потерях Великобритании. Например, одна из устойчивых точек зрения, неоднократно повторяемых в период полных неопределенности переговоров об условиях выхода страны из ЕС, состояла в том, что членство в союзе приносило британским университетам значительные преференции в виде грантовых и прочих средств. В реальности, хотя Великобритания в целом вносила чистый вклад в фонды ЕС, она также была чистым бенефициаром финансирования проводимых под эгидой ЕС исследований. Согласно данным Управления национальной статистики, опубликованным перед референдумом, Великобритания внесла 5,4 млрд евро в исследования и разработки ЕС в период с 2007 по 2013 г. и получила 8,8 млрд евро на исследования, разработки и инновационную деятельность [14].

Если смотреть более детально, то лишь 3% от общих расходов Великобритании на НИОКР приходятся на Рамочные программы ЕС или их преемников – это существенно, но не критично. Более того, в Англии и Северной Ирландии финансирование исследований ЕС покрывает лишь две трети (65,3%) полных затрат соответствующих проектов по сравнению с 3/4 исследований, финансируемых промышленностью (77,6%) и государственными ведомствами (74,5%) [14].

Одним из объяснений разрыва между ограниченным количеством денег и положительным их восприятием является неравномерное распределение. Некоторые учреждения и некоторые дисциплины особенно полагались на финансирование ЕС. Например, он составляет 11% доходов от исследовательских грантов университетов Russell Group и особенно высока доля дохо-

дов от исследований в области археологии (38%), классики (33%) и информационных технологий, системных наук и разработки программного обеспечения (30%) [14].

Неоднозначно обстоит ситуация с оценкой программ обмена студентами, включая Erasmus. С одной стороны, ценность программы не ставится под сомнение, и потеря доступа к ней указывается в числе самых негативных последствий брекзита [15]. С другой стороны, эксперты замечают: Erasmus не предоставил Великобритании ничего вроде обмена студентами один к одному или реального «обмена». Напомним, что с момента запуска программы в 1987 г. более 200 тыс. студентов учились или работали за границей в рамках Erasmus. В 2012 г. в странах ЕС обучались 15 тыс. британских студентов, преимущественно во Франции, Испании и Германии. В британских университетах, в свою очередь, проходили обучение почти в два раза больше студентов из других стран ЕС – 27 тыс. человек. В 2014 г. программа была включена в более крупную Erasmus+, которая финансирует обмены не только студентов, но также университетского персонала, профессиональных курсов, волонтерской работы и спортивные программы. Стоимость программы на 2014–2020 гг. составляла 15 млрд евро, из которых 1 млрд приходится на Соединенное Королевство [16].

В 2017/18 уч. г. Великобритания приняла 31 877 студентов и стажеров Erasmus+, но отправила только 17 048 человек в другие страны; став третьим получателем (после Испании и Германии), но только шестым «излучателем» участников Erasmus (после Франции, Германии, Испании, Италии и Турции). Очевидно, что население Великобритании не использовало эту программу в полной мере. Низкий уровень изучения иностранных языков в Британии стал особым препятствием: менее одной трети (32%) подростков в возрасте от 15 до 30 лет не могут читать и писать на двух или более языках (включая их первый язык), в отличие от подавляющего большинства во всех странах ЕС [16].

Исследователи справедливо указывают, что «утрата доступа к Европейскому пространству высшего образования и Европейскому исследовательскому пространству не повлияет на все высшие учебные заведения одинаково. Некоторые университеты более открыты для Европы, чем другие. Те, у кого в нынешней когорте много студентов из ЕС, могут беспокоиться о доходах от платы за обучение, в то время как элитные учебные заведения с высокой интенсивностью исследований и традиционно высокими показателями успешности финансирования Европейского исследовательского совета могут больше беспокоиться о том, что эти источники иссякнут» [17].

За период затянувшихся переговоров о бракоразводной сделке с Брюсселем некоторые британские университеты успели подготовиться. Например, открывая новые международные филиалы своих университетов, которые сегодня в основном расположены в таких странах, как Малайзия, Сингапур, Китай или Объединенные Арабские Эмираты. Такая стратегия соответствует новой внешнеполитической доктрине страны «Глобальная Британия», нацеленной на расширение британских позиций за рубежом и поддержку экономики Великобритании за счет экспорта британского высшего образования. Некоторые университеты пытаются создать свои филиалы в ЕС. Например, Университет Ланкастера объявил о создании международного кампуса в

Лейпциге, рассматривая его как «естественное расширение» после более ранних инвестиций в кампусы филиалов в Китае и Гане. Университет Ковентри планирует открыть кампус в польском городе Вроцлав. Они рассчитаны на обучение 2 000 и 2 500 студентов соответственно, включая иностранных студентов, которые будут приняты на работу в оба города [17].

Помимо университетских городков Великобритании, созданных на территории ЕС для обучения студентов из ЕС и других стран, несколько исследовательских университетов наладили сотрудничество, включая физическое присутствие в ЕС. Оксфордский университет активизировал контакты с берлинскими учреждениями. Намерение британского партнера состоит в том, чтобы создать правовую структуру для обеспечения доступа к ресурсам ЕС, чистым бенефициаром которого во время членства являлась Великобритания. Кембриджский университет оформил стратегическое партнерство с Университетом Людвиг Максимилиана в Мюнхене. Королевский колледж Лондона и Технический университет Дрездена разработали инициативу *transCampus*, было начато сотрудничество между Университетом Глазго и Университетом Леофана в Люнебурге.

Однако успех этих проектов в предотвращении потери доходов все еще остается неопределенным. Эксперты предупреждают, что предыдущий опыт создания кампусов филиалов оказался сложным в управлении и дорогим в эксплуатации. Кампусы международных филиалов хорошо функционируют, когда они интегрированы в хорошо продуманную стратегию интернационализации [17].

Что касается количества студентов из ЕС, то оно, по прогнозам экспертов, сократится более чем вдвое, хотя они составляют относительно небольшую долю всех студентов в Великобритании – всего 6% (хотя среди студентов-исследователей эта цифра более чем вдвое – 13%). Студенты из ЕС также составляют меньшую долю иностранных студентов, чем в прошлом. Доля иностранных студентов из Европейского сообщества / Европейского союза упала с 47% в 1996 г. до 29% в 2010 г., причем в 2018/19 уч. г. она все еще составляла 29%, когда студентов-первокурсников из Китая было значительно больше (86 485), чем из всех 27 стран ЕС вместе взятых (63 535) [16].

Другая проблема связана с тем, что уже не первый год университеты Британии (речь идет не столько о крупных, сколько средних и малых университетах) испытывают серьезные финансовые трудности, в том числе связанные с их зависимостью от иностранных студентов. В 2010 г. более половины финансирования университеты получали от центрального правительства; в 2019 г. только около 25%. Остальная часть поступает непосредственно от платы за обучение. Уже не первый год сектор высшего образования Великобритании испытывает на себе крупномасштабное недоинвестирование в исследования [18]. Другой серьезной «головной болью» для университетов является Программа пенсионного обеспечения университетов (USS). Это крупнейшая пенсионная система частного сектора в Великобритании с активами более 68 млрд ф. ст. Расчеты показывают, что нехватка финансов в этой схеме составляет от 6,6 до 17,5 млрд ф. ст. Это приведет к увеличению взносов работодателей университетов в систему и усугубит их финансовые проблемы [18].

Новые образовательные ориентиры Британии: риски и возможности

Британские правительства – сначала Т. Мэй, затем Б. Джонсона – уделяли пристальное внимание проблемам высшего образования в связи с предстоящим Брекзитом. Прием иностранных студентов и участие Британии в процессах интернационализации являются частью общей внешнеполитической стратегии страны. В марте 2019 г. кабинет Т. Мэй принял программный документ «Международная образовательная стратегия: глобальный потенциал, глобальный рост» (далее – стратегия). Иностранные студенты, которые «вносят важный вклад в экономический рост, помогая генерировать инвестиции и рабочие места», признаются в нем ключевую составляющую лидерских позиций Великобритании в области образования [19].

Документ сопровождается отсылками к таким элементам сильных мировых позиций Великобритании как топовые места в рейтинге QS, «всемирно признанная система оценивания, от начальной стадии подготовки до уровня А», «культурные ценности», которые «создают глобальные связи и отношения», и английский язык [19].

В 2016 г. экспорт образовательных услуг принес Великобритании почти 20 млрд ф. ст., из них 1,8 млрд ф. ст. получены от «деятельности в области транснационального образования, что на 73% больше, чем в текущих ценах 2010 г». По оценкам объединяющей британские вузы организации Universities UK, с 2014 по 2015 г. британские университеты, а также их иностранные студенты и гости создали более 940 тыс. рабочих мест [19].

Принятая стратегия предусматривает увеличение количества иностранных студентов, обучающихся в Великобритании, до 600 тыс. человек к 2030 г. В документе признается, что, несмотря на прогнозируемое «замедление среднегодовых темпов роста численности иностранных студентов в течение следующих 10 лет, этот рынок останется жизненно важным для сектора образования Великобритании» [20]. Планируется привлекать иностранных студентов из таких «ключевых» для Британии географических регионов, как Китай и Гонконг; страны АСЕАН; Ближний Восток и Северная Африка; Латинская Америка. Документ признает также важность и открытость программе Erasmus+, в разработке которой Британия принимала непосредственное участие, а также подтверждается поддержка стипендиальных программ Chevening, Commonwealth и Marshall и других региональных инициатив, например стипендиальной программы Шотландии Saltire [19].

В декабре 2017 г. и в сентябре 2018 г. британское правительство расширило схемы Британского Совета Generation UK-China, предоставив еще большему количеству молодых людей из неблагополучных семей возможность ежегодно проходить стажировку в Китае. Кроме этого, Лондон финансирует программу Study China, которая предполагает трехнедельное погружение в китайский язык и культуру для студентов бакалавриата в Англии. В сентябре 2018 г. было объявлено о выделении дополнительных 400 тыс. ф. ст. в год для программы «Фулбрайт» между США и Великобританией, участие в которой откроет перед талантливыми аспирантами и профессионалами больше возможностей для обучения в британских и американских университетах мирового класса [19].

Пока говорить о результатах реализации стратегии рано; на повестке дня по-прежнему находится выработка оптимальных условий взаимодействия с Европейским союзом после окончания переходного периода. Определенное беспокойство вызывает воздействие пандемии коронавируса на будущее высшего образования Великобритании. COVID-19 представляет собой наиболее серьезную проблему для международной студенческой мобильности в глобальном масштабе со времен Второй мировой войны. «Коронавирус, как ни странно, иллюстрирует, почему нам нужна интернационализация», – считает эксперт по инновациям Р.М. Хелмс от Американского совета по образованию. «Нам нужны студенты, которые понимают глобальные явления, могут видеть ксенофобские и культурные реакции на то, кем они являются, и готовы работать с коллегами по всему миру, чтобы в краткосрочной перспективе решать глобальные кризисы и вносить свой вклад в долгосрочные решения посредством исследований и продвижение знаний» [20].

Дистанционное обучение, введенное по всему миру весной 2020 г., привело к дискуссиям о рисках и преимуществах такого формата обучения, наслонившихся на дебаты о двух концепциях высшего образования – интернационализации и локализме. Первая укладывается в логику глобализационных процессов; вторая связана с идеей о том, что высшие учебные заведения представляют собой связующую нить между университетом, обществом и регионом. По мнению некоторых экспертов, дилемма состоит в том, что сосредоточение внимания на первой концепции приносит международный престиж, в том числе места в глобальном рейтинге университетов, но сосредоточение внимания на второй, локализме, может сделать больше для построения сплоченного общества [20]. Для таких мультикультурных сообществ, как британское, локализм имеет особо важный характер. Университеты с заметным присутствием иностранных студентов меняют внешний облик городов, в которых они находятся, и в отдельных случаях происходит обострение миграционных проблем. Такое положение дел также требует пристального экспертного внимания.

Итак, пандемия коронавируса высветила как уязвимые места образовательных систем многих стран мира, включая комплекс хронических проблем, затрудняющих гибкое реагирование на ситуацию, так и способность некоторых из них к быстрой адаптации к изменившимся реалиям жизни. Для Великобритании ситуация усугубляется последствиями выхода из Европейского союза, еще до конца не осознанными и неясными в связи с продолжением действия переходного периода до 31 декабря 2020 г. Опыт интернационализации Соединенного Королевства долгие десятилетия служил примером для многих стран, и сейчас они пристально следят за изменениями, которые происходят в его образовательной системе под влиянием указанных явлений. Как показано в статье, потеря студентов из стран ЕС в перспективе, вероятнее всего, будет компенсирована за счет абитуриентов из азиатских и других стран, в то время как вынужденный перевод на дистанционное образование, уже подтолкнувший новый виток дебатов в мире о содержании, формате обучения и роли в нем новых технологий, может стать более серьезным вызовом, суть и последствия которого оценить в полной мере будет возможно лишь в среднесрочной перспективе.

Литература

1. Утечка мозгов из-за «брексита» // Euronews. URL: <https://ru.euronews.com/2019/10/29/brexit-italy-brain-drain-georgia> (дата обращения: 21.08.2020).
2. Top-10 Universities in the UK – International Rankings 2020 // Studyportals B.V. URL: <https://www.mastersportal.com/articles/1626/top-10-universities-in-the-uk-international-rankings-2020.html> (accessed: 02.09.2020).
3. Hubble S., Bolton P. International and EU students in Higher Education in the UK FAQ's // House of Commons Library / UK Parliament. URL: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7976/> (accessed: 11.09.2020).
4. Walsh P.W. International Student Migration to the UK. 21 Mar 2020 // The Migration Observatory at the University of Oxford COMPAS (Centre on Migration, Policy and Society) University of Oxford. URL: <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/international-student-migration-to-the-uk/> (accessed: 11.09.2020).
5. Oliver C. How will Brexit affect universities and students? // The Complete University Guide. URL: <https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/sector/news/how-will-brexit-affect-universities-and-students> (accessed: 21.09.2020).
6. Brexit: EU students will be charged more to study at UK universities from September 2021 [Electronic resource] // Euronews. URL: <https://www.euronews.com/2020/06/24/brexit-eu-students-will-be-charged-more-to-study-at-uk-universities-from-september-2021> (accessed: 13.09.2020).
7. O' Malley B. Most EU students 'will not study in UK' after fees decision // University World News. URL: <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2020070108154994> (accessed: 14.09.2020).
8. The costs and benefits of international students by parliamentary constituency. Report for the Higher Education Policy Institute and Kaplan International Pathways [Electronic resource] / London Economics. London, 2018. URL: <https://www.hepi.ac.uk/wp-content/uploads/2018/01/Economic-benefits-of-international-students-by-constituency-Final-11-01-2018.pdf> (accessed: 12.09.2020).
9. How the UK profits from international students // Oxbridge Essays. URL: <https://www.oxbridgeessays.com/blog/its-official-uk-profit-international-students/> (accessed: 22.09.2020).
10. Viggo S. UK: Non-EU students up 2%, EU numbers drop // The PIE News. URL: <https://thepienews.com/news/uk-non-eu-students-up-2-eu-numbers-drop/> (access date: 23.09.2020).
11. UK Universities with Most International Students // Studying-in-UK.org : The website. URL: <https://www.studying-in-uk.org/uk-universities-with-most-international-students/> (accessed: 22.09.2020).
12. Top host destination of international students worldwide in 2019, by number of students [Electronic resource] // Statista : The website. URL: <https://www.statista.com/statistics/297132/top-host-destination-of-international-students-worldwide/> (accessed: 16.09.2020).
13. Mellors-Bourne R., Humfrey C., Kemp N., Woodfield S. The Wider Benefits of International Higher Education in the UK / Department for Business Innovation and Skills. BIS Research paper number 128. September 2013. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/240407/bis-13-1172-the-wider-benefits-of-international-higher-education-in-the-uk.pdf (accessed: 17.09.2020).
14. Hillman N. Universities and Brexit: past, present and future // UK in a Changing Europe. URL: <https://ukandeu.ac.uk/universities-and-brexit-past-present-and-future/> (accessed: 24.09.2020).
15. Highman L. Brexit and the issues facing the EU higher education // The Centre for Global Higher Education. URL: <https://www.researchcghe.org/publications/policy-briefing/brexit-and-the-issues-facing-uk-higher-education/> (accessed: 25.09.2020).
16. McKinney C.J. British students and the EU // Full Fact. URL: <https://fullfact.org/europe/british-students-and-eu/> (accessed: 25.09.2020).
17. Kleibert J. Higher Education and Brexit// UK in a Changing Europe. URL: <https://ukandeu.ac.uk/higher-education-and-brexit/> (accessed: 25.09.2020).
18. Dolton P. The COVID-19 pandemic causing crisis in the UK universities // VoxEU.org / CEPR's policy portal. URL: <https://voxeu.org/article/covid-19-pandemic-causing-crisis-uk-universities> (accessed: 22.09.2020).
19. Policy Paper. International Education Strategy: global potential, global growth // GOV.UK. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/international-education-strategy-global-potential-global-growth/international-education-strategy-global-potential-global-growth> (accessed: 28.09.2020).
20. Ilieva J., Raimo V. Challenges of student recruitment in the age of COVID-19 // University World News. URL: <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200327082653290> (accessed: 22.09.2020).

Elena V. Khakhalkina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: ekhakhalkina@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 242–254.

DOI: 10.17223/1998863X/58/22

BREXIT AND STUDENT IMMIGRATION TO THE UNITED KINGDOM: POINTS OF GROWTH AND FISSURE

Keywords: Brexit; student migration; internationalization; university policy.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research and the Expert Institute for Social Research, Project No. 20-011-31664.

The article is made around the search for an answer to two questions: how Brexit affected the dynamics of the entry of students from the EU countries and what new opportunities it presents for the UK educational system in the future. The experience of internationalization in the United Kingdom has served as an example for many countries for many decades, and now they closely follow the changes that are taking place in its educational system under the influence of these phenomena. It is shown that there was a decrease in the number of applicants from the European Union and, conversely, the number of applicants to British universities from non-EU countries increased. Among other topics, the article also touches on issues related to the future of the Erasmus+ Program, changes in tuition fees for students from EU countries, and general problems of financing British universities. On the first question, it has been concluded that such changes do not cause serious concerns of the British government; rather, on the contrary, they reflect the new realities associated with the country's exit from the European Union and the implementation of the country's foreign policy orientation towards "Global Britain". This new doctrine focuses on the intensive trade, economic and political development of Britain's ties with the Commonwealth and the internationalization of higher education, which continues to be a priority. International students are one of the most significant elements of Britain's strength and economic well-being. The answer to the second question remains largely open. At present, the full consequences of the withdrawal from the European Union and their severity are not yet fully understood due to the continuation of the transition period until December 31, 2020. London and Brussels are currently agreeing on the final terms of future relations between the United Kingdom and the European Union. For the UK, the consequences of Brexit have been superimposed on the manifestation of a pandemic, the end of which is not yet predicted by WHO. The current situation has already sparked an active debate in Britain and beyond about the advantages and disadvantages of distance education, about the future of university campuses, about the risks and opportunities of new technologies for learning. Although Britain is one of the leaders in the field of international education, it, like other countries, is subject to external influences, the degree of which cannot be fully predicted at the present time. It remains to observe the dynamics of the situation.

References

1. Euronews.com. (2019) *Utechka mozgov iz-za "breksita"* [Brexit Brain Drain]. [Online] Available from: <https://ru.euronews.com/2019/10/29/brexit-italy-brain-drain-giorgia> (Accessed: 21st August 2020).
2. Studyportals B.V. (2020) *Top-10 Universities in the UK – International Rankings 2020*. [Online] Available from: <https://www.mastersportal.com/articles/1626/top-10-universities-in-the-uk-international-rankings-2020.html> (Accessed: 2nd September 2020).
3. Hubble, S. & Bolton, P. (n.d.) *International and EU students in Higher Education in the UK FAQ's*. [Online] Available from: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7976/> (Accessed: 11th September 2020).
4. Walsh, P.W. (2020) International Student Migration to the UK. *The Migration Observatory at the University of Oxford COMPAS (Centre on Migration, Policy and Society) University of Oxford*. 21st March. [Online] Available from: <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/international-student-migration-to-the-uk/> (Accessed: 11th September 2020).
5. Oliver, C. (n.d.) How will Brexit affect universities and students? *The Complete University Guide*. [Online] Available from: <https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/sector/news/how-will-brexit-affect-universities-and-students> (Accessed: 21st September 2020).
6. Euronews. (2020) *Brexit: EU students will be charged more to study at UK universities from September 2021*. [Online] Available from: <https://www.euronews.com/2020/06/24/brexit-eu-students->

will-be-charged-more-to-study-at-uk-universities-from-september-2021 (Accessed: 13th September 2020).

7. O' Malley, B. (n.d.) *Most EU students 'will not study in UK' after fees decision*. [Online] Available from: <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2020070108154994> (Accessed: 14th September 2020).

8. Higher Education Policy Institute and Kaplan International Pathways. (2-18) *The costs and benefits of international students by parliamentary constituency. Report for the Higher Education Policy Institute and Kaplan International Pathways*. [Online] Available from: <https://www.hepi.ac.uk/wp-content/uploads/2018/01/Economic-benefits-of-international-students-by-constituency-Final-11-01-2018.pdf> (Accessed: 12th September 2020).

9. Oxbridge Essays. (2018) *How the UK profits from international students*. [Online] Available from: <https://www.oxbridgeessays.com/blog/its-official-uk-profit-international-students/> (Accessed: 22nd September 2020).

10. Viggo, S. (2020) UK: Non-EU students up 2%, EU numbers drop. *The PIE News*. 14th August. [Online] Available from: <https://thepienews.com/news/uk-non-eu-students-up-2-eu-numbers-drop/> (Accessed: 23rd September 2020).

11. Studying-in-UK.org. (n.d.) *UK Universities with Most International Students*. [Online] Available from: <https://www.studying-in-uk.org/uk-universities-with-most-international-students/> (Accessed: 22nd September 2020).

12. Statista. (n.d.) *Top host destination of international students worldwide in 2019, by number of students*. [Online] Available from: <https://www.statista.com/statistics/297132/top-host-destination-of-international-students-worldwide/> (Accessed: 16th September 2020).

13. Mellors-Bourne, R., Humfrey, C., Kemp, N. & Woodfield, S. (2013) *The Wider Benefits of International Higher Education in the UK / Department for Business Innovation and Skills*. BIS Research paper number 128. September 2013. [Online] Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/240407/bis-13-1172-the-wider-benefits-of-international-higher-education-in-the-uk.pdf (Accessed: 17th September 2020).

14. Hillman, N. (n.d.) *Universities and Brexit: past, present and future*. [Online] Available from: <https://ukandeu.ac.uk/universities-and-brex-it-past-present-and-future/> (Accessed: 24th September 2020).

15. Highman, L. (2017) *Brexit and the issues facing the EU higher education*. [Online] Available from: <https://www.researchcghe.org/publications/policy-briefing/brexit-and-the-issues-facing-uk-higher-education/> (Accessed: 25th September 2020).

16. McKinney, C.J. (n.d.) *British students and the EU*. [Online] Available from: <https://fullfact.org/europe/brit-ish-students-and-eu/> (Accessed: 25th September 2020).

17. Kleibert, J. (2020) *Higher Education and Brexit*. [Online] Available from: <https://ukandeu.ac.uk/higher-education-and-brex-it/> (Accessed: 25th September 2020).

18. Dolton, P. (2020) *The COVID-19 pandemic causing crisis in the UK universities*. [Online] Available from: <https://voxeu.org/article/covid-19-pandemic-causing-crisis-uk-universities> (Accessed: 22nd September 2020).

19. GOV.UK. (n.d.) *Policy Paper. International Education Strategy: global potential, global growth*. [Online] Available from: <https://www.gov.uk/government/publications/international-education-strategy-global-potential-global-growth/international-education-strategy-global-potential-global-growth> (Accessed: 28th September 2020).

20. Ilieva, J. & Raimo, V. (2020) Challenges of student recruitment in the age of COVID-19. *University World News*. 28th March. [Online] Available from: <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200327082653290> (Accessed: 22nd September 2020).

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

УДК 329.12

DOI: 10.17223/1998863X/58/23

Л.Г. Фишман

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ БУРЖУАЗНЫЕ ДОБРОДЕТЕЛИ¹

Рассматриваются официальные советские представления о моральных качествах, требующихся человеку социалистического общества. Обосновывается, что в плане совокупности добродетелей объективные различия между социалистическими и буржуазными требованиями к человеку были не слишком велики. Отличия буржуазного и социалистического моральных кодексов были обусловлены главным образом различиями в их идеологической «надстройке».

Ключевые слова: социализм, сознательность, буржуазное, добродетели, идеология.

Сегодня в центре внимания политических элит России вновь оказываются вопросы духовно-нравственного воспитания. Хотят воспитать высоко-нравственного человека, гражданина, патриота, приверженца традиционных ценностей – иными словами, обладателя «буржуазных добродетелей». Удивительно, но по прошествии тридцати лет, казалось бы, вполне «буржуазного» развития задача воспитания буржуазного человека все еще остается актуальной. В то же время, когда происходил переход от Советской России к капиталистической, в области духовно-нравственной больших трудностей не ожидалось. Многие, кто считал советский строй надругательством над человеческой природой, на практике исходили из того, что рядовому «совку» будет не слишком сложно перенять «нормальные» буржуазные моральные установки. Почему же людям позднего СССР казалось, что возвращение к буржуазным добродетелям не представляет собой большой проблемы?

Мы полагаем, что это происходило потому, что советский строй даже и на официальном уровне фактически воспитывал в человеке по большей части вполне «буржуазные» добродетели. Каким образом это совершалось?

Строительство социализма в СССР в главных своих чертах сводилось к воспитанию нового социалистического человека с соответствующей моралью и нравственностью. Проблема заключалась в том, что «нового человека» оказывалось не так просто отделить от «буржуазного». Мало того, что, перефразируя Платона, социалистическое оказалось более «трудным», нежели представлялось вначале. Предпосылки этой «трудности» лежали в игнорировавшейся не меньшей «трудности» «буржуазного».

Пока шла борьба со старым порядком, можно было удовлетворяться общими заявлениями в духе, что само отсутствие частной собственности и экс-

¹ Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных и прикладных научных исследований «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской идентичности» 2020–2022 гг. (проект «Общественное согласие в России и конструирование гражданской идентичности как способ его достижения», рук. академик РАН В.Н. Руденко).

плуатации человека человеком, а также переход власти в руки трудящихся произведут моральный переворот. Вместе с тем, уже на уровне теории осознавалось, что социализм есть переходный период от капитализма к коммунизму и поэтому он будет нести на себе «родимые пятна» буржуазного общества. Задача еще сильнее осложнялась тем, что «буржуазность» во многом являлась синонимом цивилизованности и культурности, которых, по общему признанию, России не хватало. Задача выращивания нового с моральной и культурной точек зрения социалистического человека заключалась в привитии ему специфически-социалистического набора добродетелей, по видимости, отличного от буржуазного. Но насколько отличного? И что есть буржуазный набор добродетелей, от которого надо отталкиваться?

Проблема заключалась в том, что «буржуазное» только с точки зрения выстраивающих «идеальный тип» теоретиков (далеко не всегда социалистических) казалось вырубленным из одного куска мрамора. Соответственно, таковой казалась и «буржуазная мораль», сводимая к марксовой «ледяной воде эгоистического расчета», «бессовестной свободе торговли» и «чисто денежным отношениям» [1. С. 426–427] или веберовскому «дому рабства», где техника и бюрократия опустошают душу человека, а высшим благом является «все бóльшая нажива, замещающая собою все прочие цели» [2. С. 75]. Современники Вебера Георг Зиммель и Фердинанд Тённис говорили о безжалостном преобразовании «европейской цивилизации в цивилизацию, основанную на все более безличных отношениях», в которой жизненный горизонт измельчавших людей ограничивается цеплянием за свою маленькую работу и стремлением к большой [3. С. 102]. В. Зомбарт писал о духовной пустыне, в которой человеку остается лишь радоваться «постоянному расширению и усовершенствованию дела самого по себе» [4. С. 427].

На деле «буржуазные» всегда было намного сложнее. Точно так же, как его социальным субъектом были не только одни лавочники, его дух не сводился к погоне за прибылью, а его добродетели – к одному только благоразумию с расчетливостью. Каждый новый социальный уклад аккумулирует в себе все предшествующие виды общественных отношений – связанных как с угнетением и эксплуатацией, так и с прогрессивными достижениями в области морали и культуры. В этом смысле «буржуазное» является вершиной человеческой «предыстории», т.е., по Марксу, периода, когда развертывание родовой сущности человека неизбежно происходит на фоне и посредством «отчуждающих» общественных отношений.

Поэтому буржуазные культура и мораль не могут быть исключительно «буржуазными». Буржуазные добродетели ведут свое происхождение из гораздо более древних времен, а дух капитализма вырастает из многих корней, светских и религиозных. Но принципиально другое. Выражаясь в терминах А. Грамши, «буржуазное» является результатом культурной «гегемонии», которая в каждом конкретном случае складывается по-разному. Далеко не всегда те культурные и моральные нормы, которые свойственны буржуазии в «чистом виде», оказываются однозначно доминирующими. Специфика собственно буржуазности в области морали заключается скорее **в сочетании и интерпретации имеющихся добродетелей**, чем в изобретении каких-то новых особенных требований к членам буржуазного общества. И это сочетание и интерпретация осуществляются в значительной мере искусственным,

идеологическим образом, который апеллирует к древним (нерыночным) добродетелям и почти никогда своей конечной целью не ставит пресловутую максимизацию прибыли. «Дух капитализма» всегда выдвигает впереди себя посредника: религию, философию, идеологию, которые своими целями провозглашают спасение души, заботу о цивилизации, стремление к инновациям и т.д. Например, если мы признаем, что «дух капитализма» когда-то наиболее адекватно отражала протестантская этика, то, как было неоднократно подмечено, оригинальность протестантизма заключалась не в его ценностном содержании, а, скорее, в интенсивности религиозного чувства *и в сознательности*, которая побуждала последователей настойчиво этим ценностям следовать на практике [5. Р. 4]. Более поздние светские варианты несомненно «буржуазной» морали также ориентированы на неэкономические ценности и цели [6]. Словом, большая часть требующихся от буржуа добродетелей не вытекает непосредственно из нужд производства и торговли. «Нравственные чувства» всегда сочетались с «Богатством народов». Поэтому Д. Маклоски замечает, что «хорошее общество может быть основано на реально существующих буржуазных добродетелях» [7. С. 620]. Ибо даже главная буржуазная добродетель, Благоразумие, которое заключается в том, чтобы покупать дешево и продавать дорого, проявляется также и в стремлении предпочесть торговлю войне и стремиться к добру со знанием дела. Умеренность – не только способность экономить и копить, но «стремление образовывать себя в бизнесе и жизни, умение смиренно слушать клиента, отказываться от соблазна обмануть». Справедливость подразумевает не только защиту честно приобретенной частной собственности, но «без принуждения платить за хорошую работу, чтить труд, уничтожать привилегии, ценить людей за то, что они умеют делать, а не за их происхождение, откликаться на успех без зависти». Мужество означает не только способность пускаться в новые бизнес-предприятия, но и умение преодолевать страх перемен, переносить поражения, уважать новые идеи, «способность проснуться утром нового дня и с радостью взяться за новую работу». Среди буржуазных добродетелей находится также и место Любви, которая не только забота о своих, но и «забота о работниках, партнерах, коллегах, клиентах и соотечественниках, благожелательное отношение к человечеству, стремление обрести Бога, поиск связи между человеческим и трансцендентальным». Также и Вера – не только порядочность по отношению к деловому сообществу, но и «верность традициям коммерции, учения, религии, самоопределение». А Надежда – не только «способность придумать новую, более передовую машину», но «увидеть будущее не как стагнацию или вечное повторение, умение наполнить ежедневный труд смыслом» [7. С. 620–621].

В любом случае, буржуазные образцы морального поведения оказываются многосоставными комбинациями добродетелей, большинство которых имеют ровно такое же отношение к идеально-типическому «буржуазному», как к «социалистическому»¹. И если что-то заставляло приверженца буржу-

¹ Эта ситуация во многом определялась объективным сходством материальной основы капиталистических и реального социалистического общества, которое отразилось в возникновении во второй половине XX в. ряда теорий единого «индустриального общества». Из самого представления о капитализме и социализме как инвариантах одного типа общества (противопоставляемого обществу «традиционному») вытекало объективное сходство совокупностей добродетелей, требовавшихся членам этих обществ для успешной социализации.

азного строя считать свою построенную на таких же добродетелях мораль именно буржуазной, то это скорее присущая ему политическая «сознательность» в облике той или иной идеологии, чем реальное содержание его добродетелей. Поэтому буржуазными добродетелями можно обладать в полной мере, не являясь приверженцем буржуазной идеологии; можно, как Энгельс и множество деятелей рангом ниже, быть социалистом, коммунистом, анархистом и в то же время примерным буржуа.

Исходя из сказанного, «социалистическое», взятое как общий принцип построения морали нового общества, не могло не стать чем-то таким же идеально-типическим, как «буржуазное». И в еще большей степени, чем буржуазное, социалистическое должно было зависеть от сознательности – в виде приверженности определенной идеологии, которая придавала бы уже имеющимся добродетелям соответствующие направление и смысл.

Таким образом, реальные социалистические культура и мораль имеют ряд общих черт с буржуазными ввиду того, что их создатели располагают примерно одним и тем же набором кирпичиков-добродетелей. В стране, во-первых, отсталой даже с точки зрения буржуазной цивилизованности и, во-вторых, строящей социализм (который должен шагнуть за пределы этой цивилизованности, предварительно перенеся от нее «все лучшее») стояла задача найти жизнеспособную комбинацию добродетелей, в которой роль собственно социалистических элементов ожидаемо сводилась к роли «надсмотрщика» унаследованных от прежних времен добродетелей. Последние, как и в буржуазных моральных комбинациях, воспринимались с точки зрения их общечеловеческого, универсального едва ли не для всех времен и народов *функционального* содержания. То, что добродетели вырабатываются первоначально в рамках классовых этосов, не означает, что они намертво прикреплены к определенным классам – они могут быть присвоены и другими социальными группами, и даже использоваться ими для самоидентификации. Как буржуазия вырабатывала свою мораль, основываясь в равной мере на наследии добродетелей сословного общества и своих собственных идеологиях, так и партия победившего пролетариата в строительстве социалистической морали пошла по пути, проторенному ее поверженным противником.

Обратимся к официально закрепленному еще в дискурсе сталинских времен взгляду на существо коммунистической морали и нравственности. Являлись ли *добродетели*, требующиеся советскому человеку и революционному пролетарию, какими-то специфически отличными от присущих буржуазии и иным эксплуататорским классам?

В соответствующем разделе «Исторического материализма» мы обнаруживаем коммунистические добродетели двух видов: добродетели борьбы и мирные добродетели. К добродетелям борьбы относятся революционная смелость, отвага, мужество, ненависть к угнетателям. От пролетариата ожидают «классовой солидарности, единства и сплоченности в революционной борьбе, товарищества, дисциплины и выдержки, мужества и беззаветного героизма в выполнении классового долга, беззаветной преданности делу коммунизма. Без этих качеств пролетариат был бы обречен на беспросветное рабство» [8. С. 574]. Провозглашается нетерпимость к предателям и соглашателям, позорящим честь рабочего класса. Самая передовая и героическая его часть – это «рыцари»: «К их числу принадлежат Бабушкин, Курнатовский, Кецовели,

Свердлов, Дзержинский, Орджоникидзе, Куйбышев, Фрунзе, Киров, Калинин и многие, многие другие». Все эти добродетели нужны для борьбы, овладения властью и ее удерживания. Но они, как нетрудно заметить, не являются специфически пролетарскими, а обнаруживаются вначале у аристократии, у которой затем их перенимает буржуазия. Помимо них присутствует добродетель, если так можно выразиться, революционной рациональности, которая описывается на примере Сталина: «...все знают непреодолимую сокрушительную силу сталинской логики, кристальную ясность его ума... Сталин мудр, нетороплив в решении сложных политических вопросов, там, где требуется всесторонний учет всех плюсов и минусов. И вместе с тем Сталин – величайший мастер смелых революционных решений и крутых поворотов» [8. С. 574]. Мы бы преувеличили, сказав, что эта добродетель полностью совпадает с буржуазным благоразумием. Но «мудрость и неторопливость», «всесторонний учет плюсов и минусов» и мастерство «смелых революционных поворотов» не могут не вызвать ассоциаций с рассудительностью при улаживании разного рода возникающих при ведении бизнеса проблем, двойной бухгалтерией и духом смелого, инновационного предпринимательства.

К мирным добродетелям советских людей относятся в первую очередь связанные с трудом, семейной жизнью, соблюдением общественного порядка и т.д. Они неотличимы от «буржуазных» или, иными словами, «прогрессивных», гуманистических.

Мы обнаруживаем и косвенные признания близости советских представлений о морали буржуазным в области добродетелей. Ряд буржуазных добродетелей встречает одобрительное отношение, когда речь идет о молодой буржуазии:

«Нарождавшаяся буржуазия в XVI, XVII, XVIII столетиях, охваченная жадной накопления, деятельности, с презрением относилась к феодальным добродетелям – расточительству, лени, тунеядству, праздности, она проповедывала бережливость, трудолюбие, пуританскую мораль. Но буржуазия стала реакционной, превратилась, так же как в свое время рабовладельцы и феодалы, в паразитический класс. Соответственно этому претерпели изменение и ее нравственные принципы» [8. С. 565].

Подчеркнем, что осуждения и неприятия буржуазных добродетелей здесь нет. Тут констатация, что в определенный период буржуазия утратила прежние добродетели, превратившись в паразитический класс. Отсюда вывод, что победивший пролетариат должен построить общество, основывающееся в том числе на тех же добродетелях, которые когда-то разделяла и буржуазия. Но пролетариат сделает это лучше:

«Только в условиях социализма, где уничтожены эксплуататорские классы, где нет антагонизма между классами, а также между личностью и обществом, утверждается высшая форма морали – коммунистическая мораль. **Главный принцип этой морали – борьба за коммунизм; благо всего общества, народа, трудящихся – выше всего** (здесь и далее курсив мой. – Л.Ф.). Коммунистическая мораль зарождается в рамках капитализма, ее носителем там является пролетариат. В социалистическом обществе коммунистическая нравственность становится господствующей, всенародной нравственностью. Здесь она выражает и отражает социалистические производственные отношения сотрудничества и взаимопомощи свободных от

эксплуатации людей. Коммунистическая мораль знаменует собой вершину нравственного развития человечества. Итак, изменения экономического базиса являются определяющей причиной изменения нравственности. Но *на развитие нравственности оказывают влияние и политические отношения, право, а также религия, наука, философия* и искусство. Реакционная фашистская политика, например, еще более усиливает звериную мораль буржуазного общества, возводит аморализм, человеконенавистничество, вероломство в принцип, в норму поведения» [8. С. 566].

Обратим внимание на характерные способы отмежевания коммунистической морали от буржуазной, к которым прибегают авторы «Исторического материализма». Они акцентируют внимание в первую очередь на политических и идеологических факторах. Если, к примеру, речь идет о добродетели послушания, то применительно к политическим институтам и идеологиям: буржуазия воспитывает эту добродетель в пролетариях ради сохранения своего господства. Пролетарская добродетель трудолюбия задается в противопоставлении буржуазному тунеядству и паразитизму. Пролетарский патриотизм отличается от буржуазного тем, что проистекает из научной и классовой сознательности, а не является следствием одурманивания пропагандой. Когда буржуазия проповедует любовь и братство (против которых трудно возразить по существу), то она делает это «ханжески» и «лицемерно». Да и вообще вся буржуазная мораль – «торгашеская, своекорыстная и лицемерная». Можно сказать, что одним из главнейших приемов отмежевания от буржуазной морали является упрек в лицемерии, вытекающем из несоответствия лозунгов практике. «Буржуазные философы и социологи» не случайно заявляют, что «мораль и политика несовместимы». Напротив, в СССР, где такая несовместимость институционально и идеологически исключена, правовое и моральное сознание совпадает.

Из последнего вытекает, что *сами по себе* нормы буржуазной морали могут быть *выше* буржуазной практики и законодательства и выглядеть вполне приемлемо. (Иначе откуда взяться зазору между моралью и политикой и обусловленному им лицемерию?) Иными словами, то, что главным принципом коммунистической морали является борьба за коммунизм, не означает отказа от буржуазных добродетелей. Отказаться надо от хозяйственного базиса (господство частной собственности) и той политической и идеологической надстройки, которые извращают и искажают содержание данных добродетелей. Сами же по себе последние вовсе не плохи, но в данный исторический период нуждаются в руководстве со стороны коммунистической идеологии. Ибо эта идеология «выражает наиболее полно и точно историческую правду» – в том числе и ту, которая заключается в буржуазных добродетелях.

Одобрение встречают не только некоторые буржуазные добродетели. Как мы могли заметить, авторы «Исторического материализма» позитивно относятся к такому образцу морали, обычно ассоциируемому с буржуазией, как пуританская мораль. Понятно, что коммунисты и атеисты могут воспринимать ее позитивно исключительно в секулярной версии, как совокупность добродетелей, следование которым уже не преследует изначальной цели спасения души (ибо она замещается построением коммунизма). Тем не менее показательно, что воспринимаемая как «аскетическая» пуританская мораль оказывается близка и русским революционерам, и некоторым современным

коммунистам. Один из них в качестве примера приводит кодекс, предложенный Бенджаминотом Франклином: воздержанность, молчаливость, любовь к порядку, решительность, бережливость, трудолюбие, искренность, справедливость, умеренность, чистоплотность, спокойствие, целомудрие, кротость. По его мнению, все эти добродетели аскетизма, за исключением последней, «остаются актуальны и в наши дни» [9]. В свою очередь, мы можем констатировать, что коммунистическое одобрение пуританской морали подразумевало молчаливую отсылку к более длинному списку буржуазных (или не вполне буржуазных, но и не специфически коммунистических) добродетелей, нежели тот, который мы обнаруживаем в «Историческом материализме».

Десятилетие спустя после появления «Исторического материализма» был сформулирован знаменитый «Моральный кодекс строителя коммунизма». Он включал в себя следующие пункты:

«— преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма;

— добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест;

— забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния;

— высокое сознание общественного долга; нетерпимость к нарушениям общественных интересов;

— коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного;

— гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат;

— честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни;

— взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;

— непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству;

— дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни;

— непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов;

— братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами» [10].

С точки зрения сегодняшнего дня показательны как содержание этого кодекса, так и мифы, бытующие об этом содержании у некоторых представителей бывшей советской номенклатуры. Трудно не заметить, что большая часть фигурирующих в нем добродетелей — либо вполне «буржуазные», либо общегуманистические, либо корпоративные (коллективизм и взаимопомощь). Однако наряду и «над» ними возвышаются отчетливо выраженные требования идеологического характера, касающиеся борьбы за коммунизм, преданности его делу, братской солидарности с трудящимися всех стран, всеми народами. Часть из этих требований является развитием лозунгов буржуазных революций. Замечательно при этом, что такие общественные деятели, как В. Путин и Г. Зюганов, склонны начисто игнорировать вполне светское и «буржуазное» содержание кодекса, обнаруживая в нем зато пересказ заповедей Моисея [11] и даже Нагорной проповеди [12]. Наследники советской эпохи в определенном смысле продолжают обманывать себя относительно ее действительного морального содержания.

Литература

1. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 4. М. : Государственное издательство политической литературы. 1955. С. 419–459.
2. Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс. 1990. 808 с.
3. Льюис Дж. Марксистская критика социологических концепций Макса Вебера. М. : Прогресс. 1981. 200 с.
4. Зомбарт В. Буржуа. Собрание сочинений в трех томах. Т. I. СПб. : Владимир Даль, 2005. 640 с.
5. Hudson K., Coukos A. The Dark Side of the Protestant Ethic: A Comparative Analysis of Welfare Reform // Sociological Theory. 2005. 23(1). P. 1–24.
6. Фишман Л.Г. Пугающий дух и его медиумы (Актуальна ли «Протестантская этика» в XXI в.?) // Journal of Institutional Studies. 2020. 12 (1). С. 84–99.
7. Маклоски Д. Буржуазные добродетели. Этика для века коммерции. М. ; СПб. : Изд-во Института Гайдара, Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2018. 692 с.
8. Исторический материализм. М. : Гос. изд-во полит. лит., 1951. 748 с.
9. Брагин А. К 200-летию Карла Маркса. К коммунизму через аскетизм. URL: <https://kprf.ru/ruso/174961.html> (дата обращения: 28.09.2020).
10. Программа КПСС. Принята XXII съездом КПСС. URL: http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/III_program_KPSS_files/116.htm#1 (дата обращения: 28.09.2020).
11. Путин признался в симпатии к созвучным Библии коммунистическим идеям // «Интерфакс»: новости. URL: <https://www.interfax.ru/russia/491445> (дата обращения: 28.09.2020).
12. Закатнова А. Семь шагов Зюганова. Глава КППРФ уверен, что первым коммунистом был Христос // Российская газета: Семь шагов Зюганова. Беседа лидера КППРФ с журналистским коллективом издания. Российская газета. Федеральный выпуск № 4849. 13.02.2009 г. URL: <https://rg.ru/2009/02/13/zyuganov.html> (дата обращения: 28.09.2020).

Leonid G. Fishman, Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: lfishman@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 255–263.

DOI: 10.17223/1998863X/58/23

SOCIALIST BOURGEOIS VIRTUES

Keywords: socialism; consciousness; bourgeois; virtues; ideology.

The article attempts to answer the question: why did the citizens of the late USSR expect that a return to bourgeois virtues would not be a big problem? Why did the citizens of the late USSR assume that it would not be too difficult for a Soviet person to adopt “normal” bourgeois moral attitudes? In this regard, the author analyzes the official Soviet ideas about the moral qualities required from a person in a socialist society. The article justifies that, in terms of the totality of virtues, the objective differences between the ideal-typical socialist and bourgeois requirements for a person were not too great. One can see that bourgeois examples of moral behavior are multi-component combinations of virtues, most of which have exactly the same relation to the ideal-typical “bourgeois” as to the “socialist”. In fact, it is recognized that the norms of bourgeois morality themselves may be higher than bourgeois practice and legislation. The fact that fight for communism was the main principle of communist morality did not mean rejecting bourgeois virtues, which look quite acceptable. It was necessary to abandon the economic basis (the domination of private property) and the political and ideological superstructure that distort these virtues. Thus, the differences between the bourgeois and socialist moral codes were mainly due to differences in their ideological “superstructure”. This is confirmed by the analysis of such significant documents for assessing the official content of Soviet morality as the textbook *Historical Materialism* or *The Moral Code of the Builder of Communism*. All this has led to a relatively conflict-free transition from Soviet Russia to Capitalist Russia.

References

1. Marx, K. & Engels, F. (1955) *Sochineniya* [Works]. Vol. 4. Translated from German. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury. pp. 419–459.
2. Weber, M. (1990) *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Works]. Translated from German. Moscow: Progress.

3. Lewis, J. (1981) *Marksistskaya kritika sotsiologicheskikh kontseptsiy Maksa Vebera* [Max Weber and Value-free Sociology A Marxist Critique]. Translated from English by G.I. Ruzavina. Moscow: Progress.
4. Sombart, W. (2005) *Sobranie sochineniy v trekh tomakh* [Collected works in three volumes]. Translated from German. Vol. 1. St. Petersburg: Vladimir Dal'.
5. Hudson, K. & Coukos, A. (2005) The Dark Side of the Protestant Ethic: A Comparative Analysis of Welfare Reform. *Sociological Theory*. 23(1). pp. 1–24. DOI: 10.1111/j.0735-2751.2005.00240.x
6. Fishman, L.G. (2020) Pugayushchiy dukh i ego mediumy (Aktual'na li “Protestantskaya etika” v XXI v.?) [A frightening spirit and its mediums (Is “Protestant Ethics Relevant” in the 21st century?)]. *Journal of Institutional Studies*. 12(1). pp. 84–99. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.1.084-099
7. Maklosski, D. (2018) *Burzhuaaznye dobrodeteli. Etika dlya veka kommersitsii* [The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce]. Translated from English by O. Yakimenko, N. Makhlayuk. Moscow; St. Petersburg: The Gaidar Institute; St. Petersburg State University.
8. Glezerman, G.E. et al. (1951) *Istoricheskiy materializm* [Historical materialism]. Moscow: Gosudarstvennoe izd-vo politicheskoy literatury.
9. Bragin, A. (2018) *K 200-letiyu Karla Marksa. K kommunizmu cherez asketizm* [For the 200th anniversary of Karl Marx. Towards communism through asceticism]. [Online] Available from: <https://kprf.ru/ruso/174961.html> (Accessed: 28th September 2020).
10. The CPSU. (n.d.) *Programma KPSS. Prinyata XXII s"ezdom KPSS* [The CPSU program. Adopted by the 22nd Congress of the CPSU]. [Online] Available from: http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/III_program_KPSS_files/116.htm#1 (Accessed: 28th September 2020).
11. Inerfax. (2016) *Putin priznalsya v simpatii k sozvuchnym Biblii kommunisticheskim ideyam* [Putin confessed his sympathy for the communist ideas consonant with the Bible]. [Online] Available from: <https://www.interfax.ru/russia/491445> (Accessed: 28th September 2020).
12. Zakatnova, A. (2009) *Sem' shagov Zyuganova. Glava KPRF uveren, chto pervym komunistom byl Khristos* [Zyuganov's Seven Steps. The head of the Communist Party is sure that Christ was the first communist]. *Rossiyskaya gazeta*. 4849. 13th February. [Online] Available from: <https://www.interfax.ru/russia/491445https://rg.ru/2009/02/13/zyuganov.html> (Accessed: 28th September 2020).

КРУГЛЫЙ СТОЛ: КРЕАТИВНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 165.2

DOI: 10.17223/1998863X/58/24

Д.Н. Боровинская

ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАПРОСА НА КРЕАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Определены ключевые качественные составляющие социального запроса на креативное образование: креативность как специфическая характеристика субъекта образовательного процесса и источники данного запроса. Представлена характеристика естественной деятельной способности мышления субъекта образовательного процесса, реализация которой направлена на решение задач. Автор выделяет ключевые характеристики современного субъекта – носителя креативности. В качестве источников социального запроса на креативное образование определены государственные структуры и частный сектор.

Ключевые слова: социальный запрос, мышление, креативность, коммуникация, деятельность, креативное образование.

Устремленность сообщества к информатизации, коммуникации вызывает изменения и в формах и в содержании высшего образования, что напрямую влияет на формирование и развитие нынешнего образа студента в процессе социализации. Внедрение информационных технологий увеличивает спрос на специальности, требующие определенной квалификации, соответствующего образования, основанного на способности мыслить так, чтобы в результате и потенциально и конкретно рождался креативный продукт.

Зависимость от креативного потенциала, который стал крайне необходим как для развития самого процесса производства, так и для положительного усвоения его результатов, явственно обнаруживается в современном хозяйстве. Предпосылкой же экспансии подобной направленности является обеспечение и создание условий, способствующих удовлетворению возникающего на нее спроса. И главная роль здесь отводится специалисту с развитым мышлением; это и есть результат образовательного процесса.

Креативность выступает инструментом прогресса общества, гарантом его благополучия и безопасности. А современная цивилизация, между тем, порой балансирует на грани самоуничтожения – экономического, экологического, политического. И грамотное использование результатов креативного мышления как удачной комбинации знаний в различных сферах жизнедеятельности способствует решению абсолютно всего спектра стоящих перед обществом проблем. Креативность безальтернативно включает способность к синтезу осуществляемого в процессе мыслительных операций; она – это наша нацеленность на решение многочисленных проблем, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. «Создание новых и полезных идей воз-

можно в результате анализа проблем и определения ограничений уже существующих решений, что, в свою очередь, обуславливает влияние критического мышления на развитие креативности» [12. Р. 216].

И далее, ориентируясь на утверждение, что «креативность есть способность, развиваемая в образовательных процессах» [6. С. 182], в качестве вспомогательного инструментария сформулируем конкретный вопрос о стадийном изменении социального заказа на креативность, на смену субъектов креативности. При учете экономических и культурных оснований проблемы креативного, в том числе в системе образования [2], базисный тезис будет заключаться в следующем: какая креативность, в каком субъекте-носителе и в каком количестве требуется современному сообществу?

Прежде чем ответить на вопросы, детализируем следующее. Во-первых, несмотря на достаточно широкое представление самых различных теоретических и эмпирических схем и трактовок термина «креативность», уточним его границы и будем использовать в конкретном значении – как естественную деятельную способность мышления субъекта образовательного процесса, реализация которой направлена на преодоление «ситуаций разрыва», на решение задач, для которых не срабатывают традиционные способы и средства. Это мышление человека как социального индивида, его деятельная способность, реализуемая посредством языка и экстралингвистических средств коммуникации, направленная на получение результатов в социально-значимой форме, заданная рамками проблемной ситуации и нацеленная на формирование нового содержания субъективной реальности. Это мышление человека, производящего свою материальную и духовную жизнь с общественно-историческим коллективом.

Во-вторых, целью нашего исследования является не выявление количественных показателей по теме, т.е. получение чисел, характеризующих заявленный социальный процесс, а, скорее, определение ключевых качественных составляющих: креативности как специфической характеристики субъекта образовательного процесса и источника социального запроса на креативное образование. Ибо детальная квантификация требует проведения иного комплексного социологического подхода.

В-третьих, принимая во внимание, что креативное образование реализуется не только государственными структурами (исследовательская среда: университеты, лаборатории, технопарки, инкубаторы, мелкие и крупные производственные и исследовательские компании и т.п.), но и частным сектором (предпринимательская среда), основной акцент в данной работе, скорее, направлен на опыт государственных учреждений высшего образования, ориентированных на формирование и развитие широкого спектра компетенций.

Итак, какая же креативность требуется современному обществу?

Отдельный интерес здесь вызывает зарубежный опыт, реализуемый на факультетах и отделениях креативных (культурных) индустрий. При детальном и внимательном его рассмотрении мы находим объяснения столь многотрудного процесса, нетривиально формирующего подходящие и адаптированные под общественные запросы установки.

Так, в зарубежной практике содержание креативного образования часто сопряжено с политикой.

Дж. Хартли и С. Каннингэм, академические ученые, отмечают, что правительства должны смотреть дальше научных и технологических концепций инноваций. По их мнению, политика обязана сочетать поддержку этого растущего сектора местной экономики с созданием креативных городских пространств. Образование тоже должно измениться – гуманитарные факультеты и факультеты искусств перестроятся и будут обучать студентов производить контент [11].

Отчасти связано это с тем, что резко возросла значимость коммуникаций. В результате усложнения общественного поведения возрастают информационные потребности людей. Информация превращается в массовый продукт. При этом личное доверие к человеку определяет степень доверия и к информации. Аудитория нуждается не в объектах, а в коммуникациях – например, с любимыми брендами. Пользователю не интересно новое рекламное сообщение. Ему интересен опыт, который обогатит его жизнь.

В связи с этим именно креатив в коммуникациях позволяет достичь желаемых результатов с учетом современных трансформаций общества. Креатив, меняя отношение к брендам, представляет собой своего рода инструмент эффективности.

Если раньше было достаточно рассказать идею бренда, или, как говорили раньше, «Донести сообщение» (обычно в виде изображения и текста) креативно, то сейчас необходимо конкурировать за внимание со всем контентом в мире. Выиграть можно только одним способом – давать ценность (интеллектуальную, эмоциональную, сервисную, и т.д.) от самой коммуникации, в актуальном контексте.

Так, в качестве специфической функции культурных индустрий британский исследователь Д. Хезмондалш выделяет производство социального смысла. Он активно использует понятие «символическая креативность» взамен понятия «искусство». Все культурные артефакты в очень широком смысле являются текстами, поскольку открыты для интерпретации.

И выделяя ключевые культурные индустрии, которые имеют собственную динамику, автор основывается на их взаимосвязи с промышленным производством и распространением текстов. «Для текстов (песни, рассказы, представления) очень важно значение, менее важна функциональность, и создаются они прежде всего в целях коммуникации» [8. С. 28].

Характеризуя креативность сегодня, отметим, что акцент смещен в пользу проблем текстуальности, субъективности, идентичности, дискурса (циркуляции смыслов и текстов в обществе). И процесс создания, распространения культурных товаров, которые идентичны нашим потребностям, чаще всего предполагает манипулирование именно символами. А что является собой креативность как специфическая характеристика самого субъекта образовательного процесса? Чаще всего это вопросы, тесно связанные с его мышлением, ориентированным на формирование контента. И здесь, в свою очередь, следует выделить онтологические и гносеологические основания такого мышления.

Онтология креативного высвечивается и в контексте деятельности – через решение задач и проблем, и в контексте коммуникации – через создание и отклонение от идеальных сущностей посредством языка и символов. Углубляясь в структуру мыслительных операций, категория креативного реализуется на всех уровнях проявления деятельной способности социальных инди-

видов (интенция опредмечивания, интенция распредмечивания и интенция самодвижения «содержания» в сфере субъективной реальности, фиксируемых категорией идеального [3]). При этом деятельность и коммуникация, взаимодополняя друг друга, позволяют глубже раскрыть возможности креативного.

В гносеологическом аспекте креативное как деятельная способность решения задач проявляется сначала через отражение существующих, а затем – посредством проектирования новых многообразных свойств, отношений предмета. И здесь природа креативности тесным образом связана со спецификой механизмов рефлексии.

Далее согласно актуальным характеристикам креативности, представленным выше, определим сущность субъекта-носителя.

Исходя из ценностных ориентиров, отечественные авторы исследуют несколько типов образовательной среды, определяющие современного субъекта-носителя креативности. Присущие ему этические принципы – наслаждения, пользы, личного совершенствования и агапизма, раскрываются в модели Р.Г. Апресяна [1]. Характеристика «безмятежной», «догматической», «карьерной» и «творческой» образовательных сред изложена в работах В.А. Ясвина [9], И.В. Мелик-Гайказян и Е.Н. Роготнёвой [7] и др.

В методологическом плане и в современной трактовке такая классификация представляется чрезвычайно перспективной. Все четыре типа образовательной среды в той или иной мере ориентируют на осмысление и развитие отдельно взятого компонента компетенции, имеющего непосредственное отношение к креативности. Безмятежная образовательная среда способствует тому, что личность способна последовательно меняться вслед за обстоятельствами жизни. Догматическая образовательная среда формирует упорство, тогда как в случае выбора карьерной образовательной среды предполагается наличие у обучающегося умения комбинировать правильные решения поставленных задач, которые еще не имеют традиционных решений.

Творческая образовательная среда способствует проявлению активности, свободы и высокой требовательности к себе [6].

В свою очередь, используя понятие среды, мы в своем исследовании не ограничиваемся такими терминами, как «условия», «влияние», «факторы», а расширяем названные понятийные рамки и включаем в содержательную часть активное начало субъекта, осваивающего жизненную среду посредством таких свойств, как инициативность, стремление к чему-либо прогрессивному, упорство, чувствительность к проблемам, гибкость, новизна, способность к преобразованиям и разработкам. На этих основаниях, собственно, и должна выстраиваться современная образовательная среда.

В дополнение же к обозначенным характеристикам субъекта образовательного процесса приведем такие, как скорость актуализации информации, быстрая переключаемость внимания, умственная работоспособность, развитое чувство проницательности (интуиции), рискованность (готовность пойти на риск), высокий уровень толерантности к неопределенному или неясному, пытливость ума, высокая степень устойчивости к изменениям, интерес к новизне реализуемых проектов – все это необходимо, когда мы трактуем и раскрываем креативность как понятие. И обучение этому есть безусловная компетенция и прерогатива образовательных институтов.

При этом сложность и многоуровневость процесса создания культурных продуктов в сфере образования обусловлена спецификой мышления *всех* участников образовательного процесса, и в первую очередь – носителей знания и / или обладателей опыта, потребителей образовательных услуг.

Учитывая всю полноту и многообразие форм креативности, к числу потребителей образовательных услуг, способных формировать и распространять креативные продукты, могут быть отнесены все основные типы личности, предложенные Г. Гарднером: люди, решающие проблемы, создатели теорий, артистичные натуры и изобретатели, работники-энтузиасты и общественные активисты [10]. Тогда как, если иметь в виду структуру проектных групп, предложенную Б. Райеном, в число создателей могут входить первичные креативные работники, технические работники, креативные менеджеры, маркетологи, собственники и руководство, неквалифицированные и полуквалифицированные рабочие [13]. А наличие важнейшего обстоятельства – возможности трансформации способности мышления, обладающей коммуникативными и деятельностными характеристиками, – может и должно способствовать конечному успеху. И, как правило, способствует.

Например, процесс активного формирования универсальных учебных действий с позиций деятельностной научной школы в результате дает возможность студенту самому оценивать собственную деятельность с точки зрения соответствия ее целям. Изначально на основании ряда действий – определения, средством чего будет служить результат; какими свойствами онный результат будет обладать для реализации своего назначения; обоснования необходимости каждого требования, а также указание последствий в случае его невыполнения – у студента формируется образ результата. Затем – через определение показателей выполнения требований к результату, построение шкалы оценки уровня выполнения требований к результату, определение способов оценки достигнутых результатов действия – осуществляется оценка предполагаемого результата [4].

Все это способствует тому, чтобы научить студента учиться через осознание собственных действий. Ставить проблемы (практические, исследовательские), проектировать решения сложных проблем или разрабатывать гипотезы, ставить цели и планировать действия или осваивать способы проверки гипотезы [5]. И ключевым элементом, влияющим на успешность образовательного процесса, является креативность как естественная деятельная способность мышления субъекта данного процесса

В свою очередь, несмотря на то что реализация компетентностного подхода осуществляется в некотором отрыве от субъекта познания, а именно слабо учитываются его возможности познания, структура познавательной деятельности, формы знания, критерии истинности и достоверности знания и происходит постоянная фокусировка внимания исключительно на функциональной трансформации предметности в содержании знания, количество необходимых современному обществу субъектов-носителей креативности отчасти может задаваться и действующей системой федеральных образовательных стандартов (на примере государственных образовательных учреждений), а также теми компетенциями, перечень которых формируется исходя из различных направлений подготовки. Ведь главная роль в формировании «нужных» черт социального характера делегируется системе образования.

В высшей же его ступени сегодня наиболее актуальны подходы, связанные с развитием критического мышления и творческих способностей человека. Одним из основных направлений в работе высшей школы признается формирование профессиональных основ, сопряженное с привитием умения непрерывно учиться и развиваться самостоятельно – и в профессиональном, и в личностном плане.

В результате освоения программ бакалавриата у выпускника должны быть сформированы конкретные универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. Образовательные программы по различным направлениям подготовки уровня бакалавриата в соответствии с федеральными образовательными стандартами высшего образования 3++ включают ряд категорий универсальных компетенций, к числу которых относятся системное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, коммуникация, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие и др.

Профессиональная успешность личности обеспечивается благодаря развитым умениям логически мыслить, устанавливать логические связи между фактами и явлениями, принимать решения в нестандартных, новых для себя ситуациях, формировать гипотезы, определять и использовать соответствующие ситуациям методы и способы решения задач.

Между тем практико-ориентированное обучение предполагает создание разнообразных форм профессиональной занятости бакалавров, а также – с целью выполнения ими реальных задач практической деятельности по осваиваемому направлению подготовки – форм контроля. Формирование профессиональных навыков бакалавров осуществляется через решение различного рода конкретных практических задач, что, как правило, способствует развитию познавательных процессов. В ходе решения анализу подвергаются не только условия формирования и развития профессиональной сферы, но и способы ее эффективной организации.

В завершение отметим, что происходящие в экономической и социальной сферах изменения способствуют развитию мышления, ориентированного на создание креативного результата, в том числе и в рамках современных подходов к системе высшего образования.

Сегодня креативность актуальна именно как деятельная способность субъекта образовательного процесса, связанная с производством нового знания – контента.

Социальный запрос на креативное образование, с одной стороны, формируется государственными образовательными учреждениями через ряд компетенций, которые определены в стандартах 3++. С другой – тотально задается бизнесом, где именно предприниматель, его деятельная способность, ориентированная на получение прибыли, является основой для успешного ведения бизнеса.

Безусловно, в определенном теоретико-методологическом контексте измерение социального запроса на креативное образование требует детального и углубленного изучения, где важнейшими характеристиками собственно измерения как исследовательской процедуры должны стать объективность и точность. Это, в свою очередь, позволит качественно повысить результаты образовательного процесса, и не только в структуре университетского образования, но и с точки зрения представителей бизнеса, предпринимательской

среды. При этом обращение к контексту данного измерения представляется одним из сложных, но возможных шагов, позволяющих выявить конкретные количественные и качественные показатели и наметить дальнейшие перспективные пути развития.

Литература

1. Апресян Р.Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы. М., 1995. 353 с.
2. Боровинская Д.Н. Проблема креативности в образовательной перспективе. Томск : Изд. дом Том. гос. ун-та, 2019. 220 с.
3. Дубровский Д.И. Проблема идеального. Субъективная реальность. М. : Канон+, 2002. 368 с.
4. Лазарев В.С. Концептуальная модель формирования профессиональных умений у студентов // Вестник СурГПУ. 2011. Т. 2 (13). С. 5–13.
5. Лазарев В.С. Рекомендации для учителей по формированию практических и познавательных умений учащихся в проектной деятельности. Сургут, 2014. 40 с.
6. Мелик-Гайказян И.В. Методология моделирования творческой образовательной системы // Эпистемология креативности / отв. ред. Е.Н. Князева. М., 2013. С. 181–204.
7. Мелик-Гайказян И.В., Роготнёва Е.Н. Две стороны эффективности образовательных систем // Образование в Сибири. 2005. № 1. С. 36–41.
8. Хезмондалиш Д. Культурные индустрии / пер. с англ. И. Кушнareвой; под науч. ред. А. Михалевой. М. : Высш. школа экономики, 2014. 456 с.
9. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М., 2001. 365 с.
10. Gardner H. Creating minds. New York, 1994.
11. Hartley J., Cunningham S. Creative Industries: from Blue Poles to Fat Pipes // The National Humanities and Social Sciences Summit: Position Papers / ed. M. Gullies. Canberra, 2001.
12. Lau Joe Y.F. An Introduction to Critical Thinking and Creativity: think more, think better. Hoboken, NJ, 2011. 262 p.
13. Ryan B. Making Capital from Culture: the Corporate Form of Capitalist Cultural Production. Berlin, 1992.

Daria N. Borovinskaya, Surgut State Pedagogical University (Surgut, Russian Federation).

E-mail: sweetharddk@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 264–271.

DOI: 10.17223/1998863X/58/24

MEASURING SOCIAL DEMAND FOR CREATIVE EDUCATION

Keywords: social demand; thinking; creativity; communication; activity; creative education.

In the introduction part of the article, the author substantiates the topicality of the issue, defines the aim and formulates the problem of the research. The author sets to answer the question of what kind of creativity, in what subject, its bearer, and in what quantity is required by the modern community? Describing creativity, the author notes that the emphasis is shifted in favor of the problems of textuality, subjectivity, identity, discourse (circulation of meanings and texts in society). The creation and distribution of cultural goods that are identical to our needs most often involve the manipulation of symbols. Creativity as a specific characteristic of the subject of the educational process is closely related to his / her thinking, focused on the formation of content. Further, the author describes the ontological and epistemological foundations of such thinking. The ontology of the creative is highlighted both in the context of activity—through solving tasks and problems, and in the context of communication—through the creation and deviation from ideal entities through language and symbols. Going deeper into the structure of mental operations, the category of the creative is realized at all levels of the manifestation of the active ability of social individuals. At the same time, activities and communication, complementing each other, allow revealing the possibilities of the creative deeper. In the epistemological aspect, the creative as an active ability to solve problems is manifested first through the reflection of existing ones, and then through the design of new diverse properties, relations of the object. Here the nature of creativity is closely related to the specifics of the mechanisms of reflection. Further, on the example of the competence-based approach implemented in the higher education system in Russia, the author identifies the key characteristics of a modern subject, bearer of

creativity. According to the author, the number of such subjects necessary for modern society can partly be set by the current system of federal educational standards, by example of state educational institutions, and by competencies, the list of which is formed based on various areas of training. At the highest level of education today, the most relevant approaches are those related to the development of critical thinking and creative abilities of a person. One of the main directions in the work of higher education is the formation of professional foundations, which is associated with the inculcation of the ability to continuously learn and develop independently, both professionally and personally. In conclusion, the author summarizes the results and formulates a conclusion.

References

1. Apresyan, R.G. (1995) *Ideya morali i bazovye normativno-eticheskie programmy* [The idea of morality and basic normative and ethical programs]. Moscow: [s.n.].
2. Borovinskaya, D.N. (2019) *Problema kreativnosti v obrazovatel'noy perspektive* [The problem of creativity in an educational perspective]. Tomsk: Tomsk State University.
3. Dubrovsky, D.I. (2002) *Problema ideal'nogo. Sub"ektivnaya real'nost'* [The problem of the ideal. Subjective reality]. Moscow: Kanon+.
4. Lazarev, V.S. (2011) Kontseptual'naya model' formirovaniya professional'nykh umeniy u studentov [Conceptual model of the formation of professional skills among students]. *Vestnik SurGPU – The Surgut State Pedagogical University Bulletin*. 2(13). pp. 5–13.
5. Lazarev, V.S. (2014) *Rekomendatsii dlya uchiteley po formirovaniyu prakticheskikh i poznatel'nykh umeniy uchashchikhsya v proektnoy deyatel'nosti* [Recommendations for teachers on the formation of students' practical and cognitive skills in project activities]. Surgut: Surgut State Pedagogical University.
6. Melik-Gaykazyan, I.V. (2013) Metodologiya modelirovaniya tvorcheskoy obrazovatel'noy sistemy [Methodology for modeling a creative educational system]. In: Knyazeva, E.N. (ed.) *Epistemologiya kreativnosti* [Epistemology of Creativity]. Moscow: HSE. pp. 181–204.
7. Melik-Gaykazyan, I.V. & Rogotneva, E.N. (2005) Dve storony effektivnosti obrazovatel'nykh system [Two sides of the educational system effectiveness]. *Obrazovanie v Sibiri*. 1. pp. 36–41.
8. Hezmondalsh, D. (2014) *Kul'turnye industrii* [Cultural Industries]. Translated from English by I. Kushnareva. Moscow: HSE.
9. Yasvin, V.A. (2001) *Obrazovatel'naya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu* [Educational Environment: From Modeling to Design]. Moscow: Smysl.
10. Gardner, H. (1994) *Creating Minds*. New York: Basic Books.
11. Hartley, J. & Cunningham, S. (2001) Creative Industries: from Blue Poles to Fat Pipes. In: Gullies, M. (ed.) *The National Humanities and Social Sciences Summit: Position Papers*. Canberra: [s.n.].
12. Lau Joe, Y.F. (2011) *An Introduction to Critical Thinking and Creativity: think more, think better*. Hoboken, NJ: Wiley.
13. Ryan, B. (1992) *Making Capital from Culture: the Corporate Form of Capitalist Cultural Production*. Berlin: De Gruyter. DOI: 10.1515/9783110847185

УДК 165.2

DOI: 10.17223/1998863X/58/25

Е.В. Брызгалина

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС НА КРЕАТИВНОСТЬ В ПРОЦЕССАХ И (ИЛИ) В РЕЗУЛЬТАТАХ ОБРАЗОВАНИЯ: ЧТО ИМЕННО МОЖНО ИЗМЕРЯТЬ?¹

Философское рассмотрение запроса на креативность в образовании требует определения сущности креативности, выявления многообразия ее проявлений и дифференцированного понимания социального заказа на креативность. Субъекты, выступающие стейкхолдерами ориентации образования на креативность, формируют социальный запрос, во-первых, на формирование как результата образования компетенции креативной личности и, во-вторых, запрос на создание креативной образовательной среды и использование в педагогическом процессе креативных образовательных технологий.

Ключевые слова: креативность, философия образования, образование, социальный заказ, результат образования, процесс образования, креативная образовательная среда.

Войдя в научный оборот в конце XX в. сначала в психологии, затем в педагогике и управленческих дисциплинах, понятие «креативность» не получило однозначного понимания. Общим местом концептуализации креативности стала констатация: современный сложный мир «требует людей, которые могут разрабатывать сложные творческие решения, с которыми сталкивается общество и образование» [1]. Обращение к анализу креативности возможно только при принятии исходной посылки о чрезвычайной сложности, о специфике образования как области проявления и формирования этого феномена, а также о зависимости результатов анализа от инструментов выявления и оценивания субъектов запроса на креативное образование, от способов измерения компетенций, связанных с креативностью, обретенных по факту получения образования.

Оценка места креативности в образовательной политике неоднозначна. Одновременно подчеркиваются: 1) роль образования в формировании креативности как ключевой компетенции XXI в.; 2) снижение творческого потенциала по мере прохождения через систему образования [2] в растущей стандартизации образования.

Следует согласиться с Д.Н. Боровинской в том, что ситуация «несрабатывания» традиционных способов и средств действия для индивидуальных и коллективных субъектов имеет место в современном обществе. Пространство поступка через личностный выбор при невозможности ориентироваться на традиционные алгоритмы быстро расширяется в основном за счет прогресса технауки, меняющей взаимоотношения между познанием и преобразованием реальности. Однако представляется важным не придавать креативности статус единственного гаранта благополучия и безопасности общества. Кон-

¹ Статья подготовлена в рамках деятельности ведущей научной школы МГУ им. М.В. Ломоносова «Трансформации культуры, общества и истории: философско-теоретическое осмысление».

сервативная воспроизводимость ценностных матриц культуры и нормативности социальных институтов также является фактором благополучия и безопасности общества. Таким образом, проблематика соотношения традиционности и инновационности при рассмотрении социального прогресса обладает нарастающей актуальностью, для фиксации которой обращение к задаче выявления субъектов, заинтересованных в ориентации образования на креативность, весьма значимо.

Философское рассмотрение креативности в образовании, в отличие от частно-научных дискурсов, требует определения сущности креативности, выявления многообразия ее проявлений, и с учетом этого фиксации ее места в образовании, понятом как ценность, как процесс, как система и как результат. Применительно к дискуссии об измеримости социального запроса представляется, что именно такое понимание образования позволяет выявить тех субъектов, которые, выступая стейкхолдерами креативного образования, могут формировать и реализовывать социальный запрос. Аспектное понимание образования соотносимо с трактовками креативности как характеристики личности, как процесса и как продукта [3]. Если понимать под социальным заказом на креативность некие ожидания от системы образования в виде компетентностных результатов обученного лица, то скорее следует говорить о множестве социальных заказов от различных стейкхолдеров. Идеальная ситуация совпадения у различных стейкхолдеров сути и направленности запроса на креативность, сформированного вне образования как системы, труднопредставима в современном обществе. И причиной этого являются скорее не понятийные расхождения, а ценностные различия [4]. Образовательные субъекты способны в рамках образования, понятого как система и как процесс, формировать креативность как результат образования, посредством акцентуации собственной деятельности при образовательных взаимодействиях. Вопрос в том, как соотносятся в такой деятельности внешние факторы развития образования (тот самый социальный заказ) и внутренняя логика образовательного процесса в конкретной образовательной среде, ориентированной на определенные концептуальные установки. При реализации запроса на креативность субъекты могут ориентироваться на различное понимание креативности, выделять как значимые несовпадающие характеристики креативности, исходить из несовпадающих трактовок места креативности в ценностном, процессуальном, системном и результативных аспектах образования. Кроме того, субъекты образования могут деятельностно ориентироваться на креативность, но результат их усилий может не совпасть с социальными ожиданиями в силу зазора между целевыми образовательными установками и образовательным результатом и оказаться тем самым невоспребованным. Поскольку взаимодействия между средой и обучающимся являются самоорганизующимися и динамичными, субъекты образования не обладают возможностью такого управления образовательным процессом, при котором обеспечивается обязательное и полное превращение возможности в действительность – воплощение заказа на креативность в качественных характеристиках обученного лица. Указанные несовпадения и противоречия как на уровне целеполагания, так и на уровне процесса и результата образования создают весьма сложное для исследования пространство результатов образования как ответа на социальный заказ.

Обратим внимание на то, что, возможно, социальный заказ на креативность стоит дифференцировать, т.е. выделять как минимум две стороны социального запроса на креативность в зависимости от их адресованности к различным аспектам образования: запрос на креативность как результат образования и запрос на креативность собственно процесса образования.

Выделение запроса на креативность как результат образования, очевидно, связано с нарастающим динамизмом общества (об этом Д.Н. Боровинская подробно говорит, описывая субъекта-носителя креативности как результат образования). Социальный заказ на креативность как результат образования значим в системе компетентностных результатов для успешности в творческих профессиях, создании инновационных продуктов, готовности к реализации установки на образование в течение жизни и т.д. В этом смысле конечной целью современной образовательной системы должно быть развитие независимых и свободных людей, которые в процессе удовлетворения собственных потребностей развивают общество, где креативность является основой для развития. Отметим как дискуссионную тему возможность создания массовых и стандартизированных инструментов определения степени сформированности креативных компетенций [5]. Результаты образования в части сформированности тех качеств личности, которые могут быть связаны с креативностью (оговорюсь еще раз, при условии существования различных интерпретаций креативности), не могут быть отражены в виде нормальной кривой распределения измеримых результатов, при которой большинство проявлений имеют «нормальную», т.е. «умеренную», степень новизны. Скорее, следует ожидать, что значительная часть результатов измерения креативности окажется тяготеющей к низким параметрам, в то время как у некоторых субъектов степень проявленности признаков креативности будет высокой. Соответственно, запрос на проявление креативности по факту прохождения ступеней образования не может быть связан с ожиданием некоего базового уровня креативности, достигнутого всеми обученными субъектами. Речь может идти лишь о создании условий для того, чтобы по факту образования повысить ценность креативных моментов любой деятельности для значимой части общества. Во всех случаях крайне затруднительно вычленить вклад в образовательные результаты со стороны отдельных субъектов образования и образовательных институций. Кроме того, социальный заказ на креативность не может установить требования к сознательным и бессознательным аспектам творчества. Обращаясь к взаимосвязи этих аспектов, важно отметить, что рассмотрение творчества как целенаправленного процесса, а образования как целенаправленного его развития не означает, что все аспекты творчества полностью сознательны и преднамеренны. Однозначное приписывание сугубо позитивной социальной коннотации креативности как результату образования было бы упрощением. Повышение уровня креативности личности, будучи сопряженным с нарастанием эмоционально-личностных неконформных проявлений проблемного восприятия мира, для ряда социальных субъектов воспринимается как негативный продукт реализации установки на креативность образования, причем продукт не побочный, а обусловленный самой целевой установкой повышения уровня креативности.

С другой стороны, Д.Н. Боровинская рассматривает креативность как естественную деятельную способность мышления субъекта образовательного

процесса, реализация которой направлена на преодоление «ситуации разрыва», на решение задач, для которых не срабатывают традиционные способы и средства. Продолжим мысль автора в отношении запроса на креативность процесса образования. Этот процесс сам может быть рассмотрен как самоценный аспект образования. Например, в системе школьного образования принятие этой установки влечет за собой активный поиск конкретных направлений и форм изменения процесса образования в пользу возможности задавать вопросы, решать открытые задачи с множеством допустимых ответов, устанавливать связи, оценивать альтернативы, критически осмысливать идеи, действия и результаты с позиции ответственности. Социальный запрос на формирование креативной образовательной среды, широкое использование в педагогическом процессе креативных форм и технологий также представлены множеством стейкхолдеров. В этом случае востребованы такие характеристики образовательного процесса, которые создают условия для развития потенциала тех, кто учится, и тех, кто учит [6]; повышают вовлеченность, образуют креативную образовательную среду в образовательных организациях и при выходе образования в открытое социокультурное пространство, поддерживают мотивацию к постоянному творчеству в процессе образования для всех образовательных субъектов. Таким образом, каждая из отмеченных характеристик требует измерения, а запрос на включение креативности в процесс образования оказывается сложноизмеримым в силу множественности проявлений креативности в процессе образования.

Креативная личность и креативный продукт формируют друг друга через непрерывные трансакции в процессе образования в креативной среде. Создание качественной среды, способствующей развитию креативности, не является итоговой целевой установкой, а лишь инструментом и контекстом, условием и фактором творчества субъектов образовательного процесса. Как ни парадоксально звучит, но креативность образовательного процесса должна стать рутинной практикой образования по различным дисциплинам на разных уровнях образования. Проявление этого – многочисленные публикации о конкретных креативных педагогических технологиях в профильных международных журналах: «Creative Education», «Thinking Skills and Creativity», «American Journal of Creative Education».

Готовность к трансформации образовательного процесса в направлении ухода от стандартизированного воспроизведения готового знания связана с позицией и личностью педагога как ключевого субъекта, который должен выступать одновременно в роли заказчика и актора креативного процесса образования. Однако креативность относится к психологическим характеристикам личности, которые не входят в перечень требований к профессиональной пригодности преподавателей [7]. В силу этого ориентация на креативность в деятельности образовательных субъектов не зависит напрямую от институционального закрепления социального заказа на креативность в системе образования.

Отдельную проблему составляет определение связанности креативности процесса образования с качеством образования. Несовпадение критериев качества образования, внешних по отношению к образованию и внутренних усложняют и без того сложную картину.

Структура управления системой образования в целом и образовательными организациями как ее элементами для реализации социального заказа на креативность должна найти механизмы встраивания креативности в стандарты, регулирующие условия образовательного процесса требования к педагогу и задающие ожидаемые результаты образования. Возможно, сама система управления должна обладать большей пластичностью при моделировании педагогических взаимодействий и результатов образования. Направленность и формы управленческих воздействий на систему образования сами нуждаются в креативном компоненте, соотношение которого с традиционными компонентами нуждается в дополнительном пояснении.

Литература

1. Thurlings M., Evers A.T., Vermeulen M. Toward a model of explaining teachers' innovative behavior: A literature review // *Review of Educational Research*. 2015. № 85. P. 430–471
2. Robinson K., Lee J. R. *Out of our minds*. Tantor Media, Incorporated, 2011.
3. Раренко А.А. К вопросу о креативности и способах ее изучения и измерения // *Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология: Реферативный журнал*. 2020. № 3. С. 93–103.
4. Мелик-Гайказян И.В., Мелик-Гайказян М.В. Минерва и Янус: символы поклонения визуальным эффектам современного образования // *ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики*. 2019. № 4. С. 172–193.
5. Балыхина Т.М., Нетёсина М.С. Креативное образование и креативное тестирование // *Полилингвистичность и транскультурные практики*. 2014. № 4. С. 7–12.
6. Червоный М.А. Контекст педагогического образования // *ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики*. 2019. № 4. С. 206–222.
7. Медведь А.А., Медведь П.А., Миэринь Л.А. Институциональная готовность системы образования РФ к переходу на технологии креативного образования // *Известия СПбГЭУ*. 2018. № 4 (112). С. 121–126.

Elena V. Bryzgalina, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: evbrz@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 272–277.

DOI: 10.17223/1998863X/58/25

SOCIAL DEMAND FOR CREATIVITY IN THE PROCESSES AND (OR) IN THE RESULTS OF EDUCATIONAL PLANNING: WHAT CAN BE MEASURED?

Keywords: creativity; philosophy of education; education; social demand; result of education; educational process; creative educational environment.

A philosophical view of the demand for creativity in education requires the definition and consideration of the diversity of creativity, as well as a differentiated understanding of the social demand for creativity. Interested in orienting education towards creativity stakeholders form social demand for the formation of the competence of a creative person as a result of education and for the formation of a creative educational environment and the use of creative educational technologies in the pedagogical process.

References

1. Thurlings, M., Evers, A. T. & Vermeulen, M. (2015) Toward a model of explaining teachers' innovative behavior: A literature review. *Review of Educational Research*. 85. pp. 430–471. DOI: 10.3102/0034654314557949
2. Robinson, K. & Lee, J.R. (2011) *Out of our minds*. Tantor Media, Incorporated.
3. Rarenko, A.A. (2020) What is creativity and how to study and measure it. *Sotsial'nye i humanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Ser. 11: Sotsiologiya - Social Sciences and Humanities. Domestic and Foreign Literature. Series 11: Sociology*. 3. pp. 93–103. (In Russian). DOI: 10.31249/rsoc/2020.03.06

4. Melik-Gaykazyan, I.V. & Melik-Gaykazyan, M.V. (2019) Minerva and Janus: symbols of worship of visual effects in modern education. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 172–193. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-172-193

5. Balykhina, T.M. & Netesina, M.S. (2014) Creative education and creative testing. *Polilingvial'nost' i transkul'turnye praktiki – Polylinguality and Transcultural Practices*. 4. pp. 7–12. (In Russian).

6. Chervonnyy, M.A. (2019) The semiotic context of pedagogical education. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 206–222. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-206-222

7. Medved, A.A., Medved, P.A. & Mierin, L.A. (2018) Institutional readiness of the education system of the Russian Federation to the transition on the technology of creative education. *Izvestiya SPbGEU*. 4(112). pp. 121–126. (In Russian).

УДК 167.7 + 37.02

DOI: 10.17223/1998863X/58/26

М.С. Горбулёва, Н.А. Первушина

БИОЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАПРОСА НА КРЕАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С позиций педагогической биоэтики оценены коммуникативные форматы различных видов образования. Сделан вывод о том, что специфика взаимоотношений субъектов образования, соответствующая творческой образовательной среде, измеряет социальную ответственность самого запроса на креативное образование, а также понимание сути креативности.

Ключевые слова: педагогическая биоэтика, модели биоэтики, коммуникативный формат.

В своей статье Д.Н. Боровинская подробно излагает особенности четырех базовых парадигм воспитания, воплощающих классические идеи морали: этику милосердной любви и добра, этику самосовершенствования, этику наслаждения и этику пользы. В принципе, в практической реализации в системах образования перечисленные парадигмы входят в качестве руководства для распределения коммуникативных ролей между учащимися и преподавателями. В догматической образовательной среде, реализующей идеи любви и добра, главенствующую роль играет преподаватель – образец мудрости и непререкаемый авторитет. В творческой среде, соответствующей идеям гедонизма, главенствующая роль принадлежит учащемуся: он выбирает себе занятие, дающее наслаждение. Здесь преподаватели лишь консультанты по вопросам, интересующим студента. Трудно судить, насколько эти коммуникативные форматы присутствуют во всем современном образовании. В «чистом виде» они регулируют коммуникации субъектов биомедицины, что составляет суть моделей биоэтики [1, 2], и организуют гуманитарную составляющую подготовки специалистов в области конвергентных технологий [3–10] для профилактики «моральной слепоты» [11, 12], или, точнее, для профилактики «морального дальтонизма» [13]. Несколько десятилетий назад биоэтика реализовала социальный запрос на регулирование отношений врач – пациент, а в настоящее время она инициировала внедрение разных форм сопровождения разработок технологий, прямо или косвенно оказывающих воздействие на жизнь человека [14, 15]. В корпус таких технологий вошли современные средства обучения, способные на телесном уровне модифицировать ментальные возможности человека [16]. Это значит, что компоненты *естественной* креативности (память; скорость принятия решения; ассоциативное мышление; навык переформулирования; проба наслаждения от решения задач, вызываемого естественной выработкой эндорфина – специфического «интеллектуального наркотика») если и не являются результатом *искусственного* воздействия, то становятся, как говорят, делом техники. Причем педагогической техники, основанной на совместных достижениях нейрофизиологии и когнитивистики, т.е. на достижениях упомянутых кон-

вергентных технологий. Получается, что новые технологии, изменившие так быстро нашу жизнь, формируют социальный заказ на креативное образование, а само это образование становится одной из экспериментальных площадок применения инноваций. Но эти же входящие в резонанс тенденции определяют актуальность инициатив биоэтики: быть «семиотической формой защиты жизненных целей индивидуальности» [17. С. 84]. И инициатив педагогической биоэтики: формировать обучение защите своей индивидуальности и воспитание стремления к приобретению уникального жизненного опыта. Акцент на защите индивидуальности (целей и, следовательно, ценностей индивидуальности) продиктован настороженностью, вызванной детализацией условий креативности, о которых Д.Н. Боровинская пишет: *получение результатов в социально-значимой форме; мышление человека, производящего свою материальную и духовную жизнь с общественно-историческим коллективом.*

Основными свойствами креативности являются уникальность и новизна. Эти свойства достижимы в условиях интеллектуальной свободы. Возникает риск ограничений этой свободы, налагаемых некими соответствиями неким *социально-значимым формам и общественно-историческому коллективу*, т.е. некоему пониманию социального блага. Риск увеличивает единственное понимание социального блага и / или универсальное понимание социального блага. Подобное понимание блага возвращает к этике альтруизма (и агапизма) и к этике перфекционизма и, следовательно, к устройству догматической и карьерной образовательной среды, но не к творческой образовательной среде. Итак, биоэтическое измерение социального запроса на представленным образом понятую креативность не сделает креативное образование продолжателем творческой образовательной среды. Вместе с тем мы считаем необходимым поддержать расставленные Д.Н. Боровинской акценты на коммуникативных аспектах креативного образования. Распределение ролей в коммуникациях отличает друг от друга модели биоэтики, тем самым защищая того, кто из субъектов биомедицины находится в уязвимом положении в конкретной ситуации. Сама ситуативность делает эти модели не прямым наследником базовых идей морали, которым человек следует вне зависимости от сиюминутного своего положения. Модели биоэтики регулируют коммуникативные роли [1, 2]. В этом ракурсе педагогическая биоэтика [4, 6, 7, 17] дает ориентиры для регуляции коммуникативных форматов субъектов образования и прежде всего налагает ограничения на то, что может или не может себе позволить преподаватель и администратор университета в конкретности образовательной среды.

Отметим то общее, что объединяет «техническую модель» [1] и «информационную модель» [2], соответствующие коммуникативному формату творческого локуса системы образования. Эта среда эффективна для тех учащихся, кто а) готов нести личную ответственность за результаты своего образования; б) ясно осознает свои цели, свою «автономию». Признаком творческого образования является колоссальный объем самостоятельной работы студента, качество выполнения которой оценивает он сам. Преподаватель в этой среде – не «отец родной», наставляющий по всем вопросам жизни, готовый многое простить и забыть. Преподаватель имеет одну обязанность: быть виртуозом в своей предметной области. Он отвечает только на заданные студентом во-

просы. Отвечает так долго, как длятся вопросы, но не навязывает своей точки зрения. Способность играть эту роль есть следствие самодостаточности и свободного владения предметом, приобретенного в личном исследовательском и практическом опыте. Именно поэтому ведущие университеты мира предъявляют высокие требования к профессорскому составу. Администратор обязан создать все условия для того, чтобы студенты хотели здесь учиться и преподаватели хотели здесь работать. Причем слово «хотели» (а не «должны») является ключевым. Все три фигуры – студент, преподаватель, администратор – равновеликие в творческой среде. В их взаимоотношениях отсутствует подчинение, поскольку их соединяет общий интерес к творческому процессу. Готовность обеспечить указанные условия творческого образования измеряет социальную ответственность самого запроса на креативное образование, а также понимание сути креативности.

Литература

1. Veatch R.M. Models for ethical medicine in a revolutionary age // Hastings Center Report. 1972. P. 5–7.
2. Emanuel E.J., Emanuel L.L. Four models of the physician-patient relationship // Journal of the American Medical Association. 1992. Vol. 267 (16). P. 2221–2226.
3. Вархотов Т.А., Аласания К.Ю., Брызгалина Е.В., Гавриленко С.М., Рыжов А.Л., Шкомова Е.М. Технонаука и этос ученого: контуры этики биобанкинга глазами российского научного сообщества (по результатам опроса специалистов в области биомедицины и смежных видов деятельности) // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики 2018. № 4. С. 61–83. DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-61-83
4. Первушина Н.А. Педагогическая биоэтика: семиотический аспект // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 4. С. 186–201. DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-186-201
5. Горбулёва М.С. Визуальная составляющая бионических технологий в протезировании // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 4. С. 92–109. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-92-109
6. Мелик-Гайказян И.В. Диагностика моделей биоэтики // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 45. С. 75–82. DOI: 10.17223/1998863X/45/8
7. Melik-Gaykazyan I.V., Melik-Gaykazyan M.V., Mescheryakova T.V., Sokolova N.S. The Model of Bioethics as “Semiotic Attractors” for Diagnosing Innovative Strategies of Training Specialists for NBICS-Technologies Niche // SHS Web of Conferences. EDP Sciences. 2016. Vol. 28. P. 01069.
8. Melik-Gaykazyan I.V., Gorbuleva M.S., Vengerovsky A.I., Melik-Gaykazyan M.V. Semiotic diagnostics of social transformations // Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference-Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 2017. С. 435–439.
9. Rogotneva E.N., Melik-Haikazyan I., Goncharenko M. Bioethics: Negotiation of fundamental differences in Russian and US curricula // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 215. P. 26–31.
10. Joussellin C., Mailenova F.G., Popova O.V. Visualisation, subjectivité et maladie // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 4. С. 156–171. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-156-171
11. Харрис Д. Моральная слепота – дар божественной машины / пер. Р.Р. Белялетдинова // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 4. С. 244–253. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-244-253
12. Белялетдинов Р.Р. Моральное биоулучшение и автономия: риск визуализации блага // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 4. С. 254–267. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-254-267
13. Горбулёва М.С., Мелик-Гайказян И.В., Первушина Н.А. Инициативы педагогической биоэтики // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 6. С. 122–128. DOI: <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-6-122-128>
14. Брызгалина Е.В., Аласания К.Ю., Садовничий В.А., Миронов В.В., Гавриленко С.М., Вархотов Т.А., Шкомова Е.М., Набиуллина Е.А. Социально-гуманитарная экспертиза функцио-

нирования национальных депозитариев биоматериалов // Вопросы философии. 2016. № 2. С. 8–21.

15. Тищенко П.Д., Юдин Б.Г. Звездный час философии // Вопросы философии. 2015. № 12. С. 198–203.

16. Zuk J., Benjamin C., Kenyon A., Gaab N. Behavioral and neural correlates of executive functioning in musicians and non-musicians // PloS one. 2014. Vol. 9, № 6. P. e99868.

17. Мелик-Гайказян И.В., Первушина Н.А., Смышляева Л.Г. Исследовательская программа педагогической биоэтики в условиях неопределенности социальных сценариев // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 448. С. 83–90. DOI: 10.17223/15617793/448/10

Maria S. Gorbuleva, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: black_silver@bk.ru

Nina A. Pervushina, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: pervushina_na@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 278–282.

DOI: 10.17223/1998863X/58/26

BIOETHICAL MEASUREMENT OF SOCIAL DEMAND FOR CREATIVE EDUCATION

Keywords: pedagogical bioethics; bioethics models; communicative format.

From the standpoint of pedagogical bioethics, the communicative formats of various types of education were evaluated. It is concluded that the specificity of the relationship between the subjects of education, corresponding to the creative educational environment, measures the social responsibility of the very request for creative education and the understanding of the essence of creativity.

References

1. Veatch, R. M. (1972) Models for ethical medicine in a revolutionary age. *Hastings Center Report*. 2(3). pp. 5–7. DOI: 10.2307/3560825

2. Emanuel, E.J. & Emanuel, L.L. (1992) Four models of the physician-patient relationship. *Journal of the American Medical Association*. 267(16). pp. 2221–2226. DOI: 10.1001/jama.1992.03480160079038

3. Varkhotov, T.A., Alasania, K.Yu., Bryzgalina, E.V., Gavrilenko, S.M., Ryzhov, A.L. & Shkomova, E.M. (2018) Techno-science and the scientific ethos: the outlines of ethics of biobanking through the eyes of the Russian scientific community (based on a survey of specialists in the field of biomedicine and related research activities). *ИПАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 61–83. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-61-83

4. Pervushina, N.A. (2018) Pedagogical bioethics: a semiotic aspect. *ИПАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 186–201. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-186-201

5. Gorbuleva, M.S. (2019) The visual part of bionic technologies in prosthetics. *ИПАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 92–109. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-92-109

6. Melik-Gaykazyan, I.V. (2018) Diagnosis of bioethics models. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Vestnik tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya*. 45. pp. 75–82. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/45/8

7. Melik-Gaykazyan, I.V., Melik-Gaykazyan, M.V., Mescheryakova, T.V. & Sokolova, N.S. (2016) The Model of Bioethics as “Semiotic Attractors” for Diagnosing Innovative Strategies of Training Specialists for NBICS-Technologies Niche. *SHS Web of Conferences. EDP Sciences*. 28. p. 01069.

8. Melik-Gaykazyan, I.V., Gorbuleva, M.S., Vengerovsky, A.I. & Melik-Gaykazyan, M.V. (2017) Semiotic diagnostics of social transformations. *Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth*. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. pp. 435–439.

9. Rogotneva, E.N., Melik-Haikazyan, I. & Goncharenko, M. (2015) Bioethics: Negotiation of fundamental differences in Russian and US curricula. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 215. pp. 26–31. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.569

10. Jousselein, C., Mailenova, F.G. & Popova, O.V. (2019) Visualisation, subjectivité et maladie. *ППАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ППАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 156–171. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-156-171
11. Harris, J. (2019) Moral blindness – the gift of the God machine (Translated by R.R. Belyaletdinov). *ППАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ППАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 244–253. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-244-253
12. Belyaletdinov, R.R. (2019) Moral bioenhancement and autonomy: the risk of a visualized good. *ППАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ППАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 254–267. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-254-267
13. Gorbuleva, M.S., Melik-Gaykazyan, I.V. & Pervushina, N.A. (2020) Pedagogical Bioethics Initiatives. *Vysshee obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia*. 29(6). pp. 122–128. (In Russian). DOI: <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-6-122-128>
14. Bryzgalina, E.V., Alasania, K.Yu., Sadovnichy, V.A., Mironov, V.V., Gavrilenko, S.M., Varkhotov, T.A., Shkomova, E.M. & Nabiulina, E.A. (2016) Sotsial'no-gumanitarnaya ekspertiza funktsionirovaniya natsional'nykh depozitariy biomaterialov [The Social and Humanitarian Expertise of Functioning of the National Depositories of Biomaterials]. *Voprosy filosofii – Russian Studies in Philosophy*. 2. pp. 8–21.
15. Tischenko, P.D. & Yudin, B.G. (2015) Finest Hour of Philosophy. *Voprosy filosofii – Russian Studies in Philosophy*. 12. pp. 198–203. (In Russian).
16. Zuk, J., Benjamin, C., Kenyon, A. & Gaab, N. (2014) Behavioral and neural correlates of executive functioning in musicians and non-musicians. *PLoS one*. 9(6). e99868. DOI: 10.1371/journal.pone.0099868
17. Melik-Gaykazyan, I.V., Pervushina, N.A. & Smyshlyaeva, L.G. (2019) The Research Program of Pedagogical Bioethics in the Conditions of Uncertainty of Social Scenarios. *Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta – Tomsk State University Journal*. 448. pp. 83–90. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/448/10

УДК 167.7+303.22

DOI: 10.17223/1998863X/58/27

Н.А. Люрья

СЕМИОТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАПРОСА НА КРЕАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С методологических позиций концепции «семиотическая диагностика» рассмотрены стадии процессов динамики системы образования. Сделаны выводы о модификации социального запроса на подготовку к креативной деятельности (приобретение опыта эффективно переживать неудачи) и роли креативного образования как способа самонастройки для всей системы образования.

Ключевые слова: семиотическая диагностика, образовательные траектории, стадии процессов, измерение, характеристики информации.

В статье Д.Н. Боровинской упомянуто *стадиальное изменение социального заказа на креативность*, но оставлены без объяснений причина и сущность этой «стадиальности». Однако выяснение обстоятельств «стадиальности» дает способ измерения социального запроса на конкретные виды образования, и вот почему. Назначение образования состоит в адаптации человека к действительности. Причем не к действительности настоящего, а к действительности будущего. Того будущего, которое наступит, когда человек, получающий образование, станет выпускником. Указанное назначение было изменено непрерывным образованием только в одном аспекте: человек стал чаще выбирать, чему и где ему учиться. Из последовательности этих выборов состоит индивидуальная образовательная траектория маршрут, направленная к достижению *личных целей*. Одновременно с индивидуальными траекториями формируются и другие траектории, являющиеся иными последовательностями отбора, направленного к достижению спектра *социальных целей*. Ясно, что именно эти цели диктуют социальный запрос на конкретные виды образования и на конкретные характеристики образования. Ясно и то, что траектории состоят из участков: от одной ситуации выбора до следующей развилки. Это означает некое стадиальное устройство траекторий. Траекторий, устремленных к целевой ситуации, притягиваемых состоянием в будущем. Будущем близким. Будущем, отстраненным от настоящего на интервал времени, требуемого для получения образования, т.е., в сущности, видимого¹ из позиции настоящего [1]. Но при этом не единого для всех будущего, а состоящего из потенциальных реализаций множественных и конкурирующих реальностей, т.е. будущего, в котором будет место для самореализации выпускников *различных* видов образования. Сказанное означает, что измерение социального запроса на виды образования есть измерение объема потребностей близкого будущего в *разных* видах подготовки. Близость будущего – от настоящего всего лишь в шаге, необходимого для получения образования, – делает задачу измерения решаемой [1]. Даже притом что зада-

¹ То есть *визуально* различимого будущего, что объясняет дальнейшее обращение к публикациям в журнале, посвященного семиотике визуального.

ча осложнена взаимообусловленностью двух встречных тенденций: университетская наука конструирует конкуренцию разных будущих, и университетское образование подчинено требованиям вариативного будущего. Сложные взаимозависимости множества факторов и открытость университетов социальным воздействиям дают основания полагать образование самоорганизующейся системой, следовательно, системой, имеющей в своей динамике определенные фазы, аналогичные стадиям.

Уже достаточно давно стартовал подход, основанный на доказательстве корреспонденций фаз самоорганизаций и этапов информационного процесса [2], что, во-первых, позволило распределить характеристики информации (ценность, количество, эффективность) по стадиям трансформаций [3], а значит, позволило решать проблемы измерения социокультурных трансформаций; и, во-вторых, сделало возможным распределить создание семиотических форм как признаков завершения конкретных этапов информационного процесса [3], что привело к разработке процедур «семиотической диагностики» [4, 5], применяемых, в частности, для измерения темпов динамики систем образования и оценке реализуемых в них новаций [6]. Необходимо отметить, что и без обращения к теории самоорганизации успешно ведутся исследования новаций в образовании на основе информационного [7, 8] и семиотического [9, 10] подходов. Но именно акцент на проблеме измерения делает интересной трактовку систем образования как систем семиотических [11]. Начало этой трактовки было положено при установлении границ в образовательном пространстве [12]. Эти границы подобны «водоразделам» [12. С. 170], дробящим образовательное пространство. Границы обозначают пределы применимости парадигм воспитания, которые, в свою очередь, налагают ограничения на применения методов обучения.

Стоит напомнить простую вещь, которую часто не учитывают в рассуждениях об образовании, что само образование есть сочетание двух *разных* процессов: воспитания и обучения. Таким образом, виды образовательных сред, составляющие неоднородность образовательного пространства, обладают вполне определенными очертаниями своих ареалов, налагающих жесткие ограничения на миграцию между ними операторов разных *процессов* воспитания и обучения. Например, известно, что смешение процессов воспитания творческой среды с процессами обучения догматической среды резко увеличивает риски немотивированной агрессии учащихся. Организация творческой образовательной среды имеет множество «ловушек», среди которых самые опасные созданы путаницей с «носителем» креативности. Наиболее часто креативность учащегося подменяют креативностью преподавателя, реже – креативностью создателя методики обучения. Путаница есть и с репрезентацией креативности. Наиболее часто ее фиксируют по оригинальности решения поставленной преподавателем задачи, хотя на самом деле креативность выражает самостоятельность учащегося в постановке задачи [4, 12]. Способностью ставить задачи можно сформировать то, что входит в функции творческой образовательной среды. Предваряет это формирование приобретение опыта решения кем-то поставленных задач, что входит в функции догматической образовательной среды. Иными словами, существует единственный способ преодоления границы – индивидуальный образовательный маршрут, обеспечиваемый тем, что «на протяжении жизни человек может

менять свои цели» [12. С. 172]. Индивидуальный маршрут пролегает через пересечение границ образовательных сред. Самым известным примером подобного маршрута является прохождение уровней образования, что составляет стадийность на индивидуальном уровне. Второй источник путаницы связан с интерпретацией понятия «событие» [13]. Это понятие имеет непосредственное отношение к креативному образованию и измерению запроса на него хотя бы потому, что сама креативность является событийной. В интерпретации теории самоорганизации с позиций теории информации, предложенной И.В. Мелик-Гайказян, три вида событий обеспечивают *стадийность* процессов: событие-выбор (стадия генерация информации), событие-отбор (стадия построения оператора в качестве способа реализации результата выбора), событие-цель (стадия реализации результата выбора как достижение аттрактивного состояния) [1, 14]. Событие-выбор измеряемо по характеристике ценности информации как вероятность достижения цели. Примером служат соотношения символов социального блага и символов образовательных парадигм. Событие-отбор и событие-цель характеризует эффективность информации, представляющая собой зависимость ценности от количества информации, т.е. «лаконичный» [4. С. 178] способ получить желаемое. Примером события-отбора являются новации в образовании, а события-цели – новации социального запроса на выпускников. Понятно, что оценка результата образования, производимая студентом, университетом и социумом, будет отличаться, поскольку будут отличаться их цели, а следовательно, все «игроки» будут устремлены к своим символам успеха. «Семиотическая диагностика» новаций в образовании, нацеленном на подготовку к деятельности в областях, где креативность есть основной ресурс [3], приводит к выводу о том, что запрос на «вундеркиндов» минимален, более того, все отчетливее формируется запрос на тех, кто способен пережить неудачу и сохранить стремление пробовать снова. Переживание неудач сопутствует креативности, поэтому полученное образование, как в очень далекие времена, становится способом самостоятельно оценить допущенную ошибку. Запрос на такой опыт неудач велик. Значительно меньше университетов, умеющих научить отличать «поражение от победы» и воспитать персональную ответственность за их вариативные последствия. Итак, креативное образование, выдвигая специфические требования к своей организации, может служить структурным уровнем в системе образования и играть роль инструмента ее самонастройки на подвижные социальные запросы.

Литература

1. Мелик-Гайказян И.В., Мелик-Гайказян М.В., Тарасенко В.Ф. Проективный консалтинг на «оси синтактики» // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 4. С. 169–185. DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-169-185
2. Мелик-Гайказян И.В. Информационные процессы и реальность. М. : Наука. Физматлит, 1997. 192 с.
3. Мелик-Гайказян И.В. Интеллектуальный салон, идея процесса и проблема измерения // Эпистемология и философия науки. 2009. Т. 20, № 2. С. 127–141.
4. Мелик-Гайказян И.В., Мелик-Гайказян М.В. Минерва и Янус: символы поклонения визуальным эффектам современного образования // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 4. С. 172–193. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-172-193
5. Первушина Н. А. Семиотическая диагностика учебных принадлежностей в эпоху нейропедагогики // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 4. С. 194–205. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-194-205

6. Melik-Gaykazyan I.V., Gorbuleva M.S., Vengerovsky A.I., Melik-Gaykazyan M.V. Semiotic diagnostics of social transformations // Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference-Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 2017. P. 435–439.

7. Ардашкин И.Б. К вопросу о визуализации знания и информации: роль смарт-технологий // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 4. С. 12–48. DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-12-48

8. Ардашкин И.Б., Суровцев В.А. К вопросу об эпистемологии смарт-технологий и их визуализации: ведет ли смарт-образование к смарт-эпистемологии? // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 4. С. 9–35. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-9-35

9. Касавин И.Т., Тухватулина Л.А. Образование как «продолжение политики другими средствами»: Дж. Ст. Милль и У. Хьюэлл об идее университета // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 4. С. 148–168. DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-148-168

10. Червонный М.А. Контекст педагогического образования // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 4. С. 206–222. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-206-222

11. Мелик-Гайказян И.В. Семиотика образования, или «ключи» и «отмычки» к моделированию образовательных систем // Иден и идеалы. 2014. Т. 1, № 4 (22). С. 14–27.

12. Мелик-Гайказян И.В., Роготнева Е.Н. Границы в образовательном пространстве // Философия образования. 2005. № 3. С. 167–172.

13. Мелик-Гайказян И.В. «Событие-в-действительности» и «событие-в-реальности» // Вестник ТГУ. Философия. Социология. Политология. 2009. № 3 (7). С. 53–67.

14. Melik-Gaykazyan I.V., Melik-Gaykazyan M.V., Mescheryakova T.V., Sokolova N.S. The Model of Bioethics as “Semiotic Attractors” for Diagnosing Innovative Strategies of Training Specialists for NBICS-Technologies Niche // SHS Web of Conferences. EDP Sciences. 2016. Vol. 28. P. 01069.

Nadezhda A. Lyurya, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: luryana@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 283–287.

DOI: 10.17223/1998863X/58/27

SEMIOTIC MEASUREMENT OF SOCIAL DEMAND FOR CREATIVE EDUCATION

Keywords: semiotic diagnostics; educational trajectories; stages of processes; measurement; characteristics of information.

From the methodological standpoint of the “semiotic diagnostics” concept, the stages of the education system dynamics are considered. Conclusions about the modification of the social demand for preparation for creative activity (gaining experience to effectively survive failures) and the role of creative education as a way of self-adjustment for the entire education system are made.

References

1. Melik-Gaykazyan, I.V., Melik-Gaykazyan, M.V. & Tarasenko, V.F. (2018) Projective consulting on the “axis of syntactics”. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 169–185. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-169-185

2. Melik-Gaykazyan, I.V. (1997) *Informatsionnye protsessy i real'nost'* [Information processes and reality]. Moscow: Nauka. Fizmatlit.

3. Melik-Gaykazyan, I.V. (2009) Intelligent interior, the idea of the process and the measurement problem. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 20(2). pp. 127–141. (In Russian).

4. Melik-Gaykazyan, I.V. & Melik-Gaykazyan, M.V. (2019) Minerva and Janus: symbols of worship of visual effects in modern education. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 172–193. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-172-193

5. Pervushina, N.A. (2019) A semiotic diagnostics of study kits in the era of neuropedagogy. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 194–205. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-194-205

6. Melik-Gaykazyan, I.V., Gorbuleva, M.S., Vengerovsky, A.I. & Melik-Gaykazyan, M.V. (2017) Semiotic diagnostics of social transformations. *Education Excellence and Innovation Manage-*

ment through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. pp. 435–439.

7. Ardashkin, I.B. (2018). On visualization of knowledge and information: the role of smart technologies. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics.* 4. pp. 12–48. (In Russian). DOI:10.23951/2312-7899-2018-4-12-48

8. Ardashkin, I.B. & Surovtsev, V.A. (2019) Revisiting the issue of smart technologies epistemology and visualization: does smart education lead to smart epistemology? *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics.* 4. pp. 9–35. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-9-35

9. Kasavin, I.T. & Tukhvatulina, L.A. (2018) Education as the “continuation of politics by other means”: J.S. Mill and W. Whewell on the idea of university. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics.* 4. pp. 148–168. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-148-168

10. Chervonnyy, M.A. (2019) The context of pedagogical education. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics.* 4. pp. 206–222. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-206-222

11. Melik-Gaykazyan, I.V. (2014) Semiotics of education or “keys” and “lock picks” to the modelling of educational systems. *Idei i idealy – Ideas & Ideals.* 4(22). pp. 14–27. (In Russian).

12. Melik-Gaykazyan, I.V. & Rogotneva, E.N. (2005) Granitsy v obrazovatel'nom prostranstve [Border in the educational space]. *Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of Education.* 3. pp. 167–172.

13. Melik-Haikazyan, I.V. (2009) “Occasion-in-actuality” and “occasion-inreality”. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science.* 3(7). pp. 53–67. (In Russian).

14. Melik-Gaykazyan, I.V., Melik-Gaykazyan, M.V., Mescheryakova, T.V. & Sokolova, N.S. (2016) The Model of Bioethics as “Semiotic Attractors” for Diagnosing Innovative Strategies of Training Specialists for NBICS-Technologies Niche. *SHS Web of Conferences.* EDP Sciences. 28. p. 01069.

УДК 165.2

DOI: 10.17223/1998863X/58/28

И.В. Мелик-Гайказян

АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАПРОСА НА КРЕАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Отмечен парадокс запроса на креативность: общество декларирует потребность в креативном образовании и не всегда готово к массовому притоку его выпускников. Рассматриваются ценностные отличия разных видов образования. Сделан вывод о том, что социальный запрос лимитирован необходимостью организовывать особые условия не только для работы, но и для жизни выпускников креативного образования. Ключевые слова: ценности креативности, ценности и цели видов образования, визуальные эффекты современного образования.

Возник парадокс: почти любое современное общество декларирует необходимость креативного образования, но не каждое общество готово к тому, чтобы «продукт» такого образования составил значимую часть его граждан. Определение объема такой части составляет задачу, у которой пока нет решения. Более того, сама постановка задачи далека от очевидности. Ситуация может стать ясной если ответить на вопрос: в чем состоит кардинальное отличие «продукта» креативного образования от «продукта» других типов образования? Отличие ускользает от поверхностного взгляда на устройство самого образования. Необходимо пояснить: в словах «поверхностный взгляд» отсутствует упрек в некой наивности. Отнюдь. Эти слова употреблены в их прямом смысле. Причина употребления – в фиксации результатов исследований, направленных на выяснение симптомов внешних проявлений той динамики систем образования, которая происходит в наши дни. Исследования в русле семиотики визуальных эффектов фиксируют трансформации и во вполне привычных вещах [1], и в новых требованиях к организации педагогической подготовки [2], к эпистемологии образования [3], к урбанистическому контексту образования [4–6]. И, подчеркнем, к форме запроса на «продукт» образования, поскольку если в форме запроса будет отсутствовать акцептация, релевантная тем целям, которые были воспитаны образованием, то в худшем случае это будет стимулировать протест [7], а в лучшем – участие в социальной активности, лишенной протестной направленности, но и далекой от профессиональной деятельности [8]. Наивность состоит в игнорировании аксиологии креативного образования, т.е. в игнорировании ценностной составляющей, необратимо приобретаемой в результате креативного образования. Иллюстрирует эту наивность следующий пример. В Великобритании судовую команду королевской яхты набирают из моряков, имеющих профессиональное музыкальное образование. Любители сленга компетентного подхода сказали бы, что в судовую команду набор осуществляют из специалистов, обладающих военно-морскими и музыкально-исполнительскими ключевыми компетенциями. Целесообразность формирования судовой команды связана с необходимостью в официальных королевских вояжах ис-

полнения государственных гимнов во время заходов в иностранные порты, а возить с собой специальный оркестр не позволяет размер яхты. Будущий морской офицер, желающий нести службу на королевской яхте, будет осваивать мастерство игры на духовых или ударных инструментах не для «общего развития», не для «компетенций креативности», а для того, чтобы попасть именно в эту судовую команду. Наивностью же будет полагать, что «продукт» креативного образования готов войти в любую команду, что он готов выполнять любые команды.

В глубине устройства образования залегают разные группы ценностей, что обеспечивает различия типов образования. Именно приобщение к конкретной группе ценностей, а не приобретение компетенций, означает результат образования. Итак, выпускники, бездушно названные выше продуктом, становятся носителями вполне определенной группы ценностей.

Другой пример, подаренный Великобританией, дает представление о распределении ценностей по типам образования. Его иллюстрацией является серия книг о Гарри Поттере. Эта школьная сага, созданная Дж.К. Роллинг, не всеми прочитана, но большинству в общих чертах известна. Профессиональные философы достаточно быстро узнали цитаты из классических этических учений в диалогах персонажей романов, поэтому излишне удивление перед предвосхитившими этими книгами дискуссиями, которые стали актуальными в наши дни. Дискуссиями о пределах волшебства новых технологий, о сути толерантности, о шейминге и «cancel culture». Перечисленные и выпавшие из перечисления дискутируемые вопросы есть новые формы извечных проблем совместного проживания людей. Пожалуй, забавным предвосхищением нашей повседневной практики стал акцент, сделанный в романе-сериале, на паролях и сетевых способах оповещения. Местом действия является школа, разделенная на четыре факультета. Для трех факультетов пароль надо просто помнить и со всей точностью его воспроизвести. Для четвертого факультета – Когтеврана – «кодом доступа» является оригинальность рассуждения в поиске ответа на заданный (и всегда новый) вопрос. Этот факультет предназначен для тех, кто получает наслаждение от рассуждений о предметах, интересных только тому, кто рассуждает, и представляющих странность для всех остальных, что абсолютно не смущает студентов Когтеврана. Странную компанию составляют и сами когтевранцы. Декан факультета (профессор Флитвик) нелепый карлик-маг, обладает филигранным мастерством и странным музыкальным вкусом. Одна из студенток (Полумна) изумляет окружающих своими экстравагантными пристрастиями и восхищает точностью лаконичных умозаключений, а другая – умница, красавица, спортсменка (Кэти Чонг) – находит оправдание предательству некоего общего дела. В общем деле когтевранец участвует до тех пор, пока оно вызывает его личный интерес. Эту компанию хипстеров завершает приведение Когтеврана (Серая Дама) с немymi муками совести за не преодоленный соблазн преступным способом получить знания без труда¹. Этому персонажу-назиданию можно дать следу-

¹ Приведения воплощают грустную иронию над нарушением ценностных пределов воспитывающей среды. Кровавый Барон – приведение факультета Слизерин (место обучения всех отрицательных персонажей), погубил любимую и себя. Почти Безголовый Ник – приведение факультета Гриффиндор (место обучения всех положительных персонажей), бессмысленно пожертвовал собой. Толстый Монах – приведение факультета Пуффендуй (студенты этого факультета скупы, как и когтевранцы, представлены среди персонажей), полон бездумного оптимизма и безмятежной доверчивости.

ющую интерпретацию: получение уникального результата без личных усилий необратимо превращает отступника в приведение, в шарж самого себя.

Выпускники креативного образования могут создавать новое и уникальное, т.е. все то, что столь востребовано в современной социально-экономической сфере. Эта потребность далека от насыщения, что диктует нацеленность всего образования на производство именно таких специалистов. Вместе с тем условия генерации новизны состоят в следующих возможностях: умение преодолевать пределы любых интеллектуальных традиций и обладание способностью получать удовольствие от этого преодоления. Умение «перескакивать за флажки» обеспечивает, во-первых, хорошее знание этой границы (в противном случае любой дилетант, просто не видящий «флажков», был бы креативщиком) и, во-вторых, полное убеждение в своем праве переступать черту, кем-либо проведенную. Убеждение же в этом праве означает свободу от оценок других: высоко или нет ты прыгнул. Качество преодоления оценивает сам прыгун, а стимулом для приложения усилий является получение наслаждения от прыжка. Главной ценностью становится наслаждение творчеством, условием которого является интеллектуальная свобода. Конечно же, гедонику, как всякому человеку, признание важно. Признание воодушевляет. Но оно не создает зависимость от оценок других, поскольку интересы и цели *других* вообще не входят в приоритетную область. Ценность наслаждения интеллектуальной свободой обладает мощной действенностью. Но только пока она всецело соответствует жизненным целям человека. Предательство этой ценности оплачивают творческой импотенцией. Казалось бы, креативщики являются очень удобным «трудовым ресурсом»: они создают чрезвычайно востребованный продукт, работают за наслаждение работой. Но есть оборотная сторона – выпускниками креативного образования трудно управлять. Их, как и большинство людей, можно сломить, но тогда они утратят способность генерировать новое и уникальное, что сделает бессмысленным существование самого креативного образования. Вопрос, заданный вначале, можно переформулировать: сколько людей, которыми бессмысленно командовать, нужно конкретному обществу?

Ответ может дать определение запроса на *других* людей. Если Когтевран воспитывает креативщиков, то каждый из трех других факультетов нацелен на подготовку отдельного сегмента «трудовых ресурсов»: «эффективных менеджеров» (Слизерин), бескорыстных служителей идеалам (Гриффиндор) и современных «свободных землепашцев» (Пуффендуй). Необходимо подчеркнуть три обстоятельства.

Во-первых, каждый факультет ведет подготовку своих учеников ко вполне определенному предназначению в будущем. Роли выпускников распределены и несмешиваемы.

Во-вторых, у будущих «эффективных менеджеров» и будущих бескорыстных служителей идеалам бывают совместные занятия, но у них отсутствуют совместные занятия с будущими креативщиками и «свободными землепашцами». Этому можно дать следующую интерпретацию: будущие служители и «эффективные менеджеры» есть люди нормы, а будущие креативщики есть создатели разнообразия норм и / или ниспровергатели универсальной нормы. Люди нормы зависимы от нее, что в романе-сериале представлено зависимостью от лидеров лагерей добра и зла. Разница между

альтруистами (Гриффиндор) и перфекционистами (Слизерин) состоит лишь в том, что первые готовы к самопожертвованию ради других, а вторые готовы пожертвовать всем ради достижения личной цели (для них любая личная цель оправдывает любые средства ее достижения). Но благородное самопожертвование имеет обратную сторону: самопожертвование ради универсальных идеалов добра влечет оправдание жертвенности как феномена. Отнюдь не случайно, что альтруисты-гриффиндорцы на страницах романа обладают печальным первенством по количеству сложивших голову.

В-третьих, распределение абитуриентов по факультетам проводит Волшебная шляпа, безошибочно угадывающая сферу самореализации в будущем. И эта Волшебная шляпа является единственным фантазийным артефактом в устройстве образования. Все остальное полностью соответствует парадигмам образования и педагогической действительности. Волшебные палочки, чудодейственные заклятия, приведения и чудища – это всего лишь метафоры, выражающие реальное положение дел.

В действительности роль Волшебной шляпы выполняет определение социального запроса на выпускников каждого из типов образования. Разнообразие типов образования основано на отличиях ценностных пределов воспитания. Ответственный запрос означает готовность в прогнозируемом будущем предоставить носителю конкретных ценностей пространство для самореализации. Наивно полагать, что креативное образование готовит лишь нестандартно мыслящих и / или действующих. Оно готовит людей, отвергающих стандарты. Из этого следует, что существование образовательных стандартов уже доказывает ограниченность запроса на креативное образование. Человека, способного оригинально действовать в условиях стандартов, воспитывают Слизерин и Гриффиндор с той лишь разницей, что Слизерин учит действовать в личных интересах, а Гриффиндор – в интересах других. Человека, свободного от стандартов, воспитывает не только Когтевран, но и Пуффендуй. Выпускник Пуффендуя будет работать для пользы других, выпускник Когтеврана выберет не столько полезное дело, сколько лично ему интересное. Итак, запрос на креативное образование определяет готовность общества предоставить возможность заниматься интересным делом без гарантий общественной полезности этого дела. Готовность современного общества должна быть выражена в организации особых условий не только работы, но и жизни выпускников креативного образования [4–8], само же креативное образование также выдвигает очень специальные требования к своему устройству [1–3].

Литература

1. *Первушина Н.А.* Семиотическая диагностика учебных принадлежностей в эпоху нейропедагогики // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 4. С. 194–205. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-194-205
2. *Червонный М.А.* Контекст педагогического образования // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 4. С. 206–222. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-206-222
3. *Ардашкин И.Б., Суровцев В.А.* К вопросу об эпистемологии смарт-технологий и их визуализации: ведет ли смарт-образование к смарт-эпистемологии? // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 4. С. 9–35. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-9-35
4. *Аванесов С.С.* Университет и формирование урбанистической реальности // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 3. С. 268–276. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-3-268-276

5. Гашенко А.Е. Теория паттернов в формировании городской среды // ПРАΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 3. С. 75–88. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-3-75-88
6. Горонова Г.В. Визуально-семиотические аспекты городской идентичности // ПРАΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 3. С. 62–74. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-3-62-74
7. Бараиш Р.Э., Антоновский А.Ю. Человек бунтующий, будь видимым или умри! К визуализации семантики протестно-сетевой коммуникации // ПРАΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 4. С. 36–59. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-36-59
8. Горбулёва М.С. Систематизация образов целей защитников животных // ПРАΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 4. С. 103–124. DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-103-124

Irina V. Melik-Gaykazyan, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: melik-irina@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 288–292.

DOI: 10.17223/1998863X/58/28

AXIOLOGICAL MEASUREMENT OF SOCIAL DEMAND FOR CREATIVE EDUCATION

Keywords: values of creativity; values and goals of education types; visual effects of modern education.

The paradox of the demand for creativity is noted: society declares the need for creative education and it is not always ready for a massive influx of its graduates. The value differences of various types of education are discussed. It is concluded that social demand is limited by the need to organize special conditions not only for work, but also for the life of creative education graduates.

References

1. Pervushina, N.A. (2019) A semiotic diagnostics of study kits in the era of neuropedagogy. *ПРАΞΗΜΑ. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics.* 4. pp. 194–205. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-194-205
2. Chervonnyy, M.A. (2019) The context of pedagogical education. *ПРАΞΗΜΑ. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics.* 4. pp. 206–222. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-206-222
3. Ardashkin, I.B. & Surovtsev, V.A. (2019) Revisiting the issue of smart technologies epistemology and visualization: does smart education lead to smart epistemology? *ПРАΞΗΜΑ. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics.* 4. pp. 9–35. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-9-35
4. Avanesov, S.S. (2019) University and formation of urban reality. *ПРАΞΗΜΑ. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics.* 3. pp. 268–276. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-3-268-276
5. Gashenko, A.E. (2019) Pattern theory in urban environment formation. *ПРАΞΗΜΑ. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics.* 3. pp. 75–88. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-3-75-88
6. Gornova, G.V. (2019) Visual semiotics of city identity. *ПРАΞΗΜΑ. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics.* 3. pp. 62–74. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-3-62-74
7. Barash, R.E. & Antonovsky, A.Yu. (2019) Rebellious man, be visible, or perish! Visualization of the semantics of protest communication in social networks. *ПРАΞΗΜΑ. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics.* 4. pp. 36–59. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-36-59
8. Gorbuleva, M.S. (2018) Systematization of the images of animal welfare activists' goals. *ПРАΞΗΜΑ. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics.* 4. pp. 103–124. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-103-124

УДК 321+323.3+342.71+659.4
DOI: 10.17223/1998863X/58/29

Е.М. Шульман, А.А. Кутузова

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПРОСА НА ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ

Рассматриваются социально-политические причины изменений в сфере образования. Авторы акцентируют внимание на повышении требований к сфере образования вследствие изменения демографической структуры общества. В качестве ключевых разнонаправленных тенденций современного образования выделяется запрос одновременно на эффективность и индивидуализацию. Также внимание уделяется ускоряющемуся развитию новых форматов осуществления образовательной деятельности и цифровизации образования в период пандемии COVID-19.

Ключевые слова: запрос на образование, социальная норма, индивидуализация, цифровизация.

В публичной сфере нередко можно услышать тезис о том, что образование должно меняться, дабы отвечать вызовам времени. Однако образование – сфера консервативная по своей природе, поскольку ее сущностное содержание – передача опыта. Поэтому сфера образования не может постоянно изменяться и удовлетворять требованию подготовки кадров исходя из потребностей рынка труда. Школа не готовит SMM-менеджеров или организаторов праздничных мероприятий, даже если эти профессии пользуются большим спросом на рынке труда. Школа готовит социализированных граждан, людей, которые готовы войти в общество и жить в нем безопасно для себя и для других, соблюдая те социальные нормы, которые были им интериоризированы в процессе обучения. Так можно сформулировать социальную функцию среднего и в меньшей степени высшего образования. Гуманизм и ограничение физического насилия в обществе способствуют тому, что общество гуманизирует школы. Таким образом, система образования меняется от того, что меняется общественный запрос, но запрос не на новых людей или новые виды знаний, а на иные детско-родительские отношения. То есть трансформация сферы образования является производной от того, что детей стало меньше, они стали более ценными и родители в большей степени вовлечены в то, что с ними происходит [1]. Полезно помнить, что до самого последнего времени весь процесс обучения строился на страхе ребенка перед физическим наказанием. Английский писатель и просветитель Сэмюэл Джонсон писал: «Ваша система соревновательности в школах хуже, чем розга, потому что в случае с розгой ребенок боится, что его выпорют, делает уроки – и на этом конец. А соревновательность заставляет братьев и сестер ненавидеть друг друга» [2. Р. 103]. По мере того как человечество постепенно гуманизируется, пропасть между нравами в системе обучения и нравами в обществе становится все более ощутимой. Повышение ценностей детей, в которых родители инвестируют все больше, создает два противоречивых требования, которые начинают конфликтовать друг с другом: требование эффективности и резуль-

тативности; индивидуальный подход к развитию и обучению. В сочетании этих запросов – путь к осознанию необходимости креативного образования, которое знает способы снять это кажущееся противоречие. От школы требуют гуманного подхода, но одновременно с этим требования к обучению сохраняются и даже повышаются: от системы образования требуется, чтобы она не травмировала, но давала результат. По сравнению с изменившейся социальной действительностью ценность того, что делают учителя [3, 4], вступает в противоречие с относительно низким социальным статусом учителя, который в наших условиях усугубляется их специфической не всегда добровольной ролью в самых разных социальных процессах: от воспитательного до избирательного. Вызовы системе образования, о которых идет речь, не имеют прямого отношения к переходу в онлайн, но направляют наше внимание на него. Переход в онлайн начался задолго до пандемии, но во время пандемии выяснилось, что делать это необходимо всем, немедленно и безальтернативно. Этот принудительный переход наглядно выявил то, о чем писал еще Ян Коменский: образование – это не передача фактов от преподавателя к слушателям или от учителя к ученику. Примитивный переход лекционного формата в запись – это не онлайн-образование и не дистанционное образование, а лишь временный костыль в чрезвычайной ситуации.

Отступим на один шаг и вспомним те времена, когда мы говорили о дистанционном обучении в более гипотетическом ключе. Обобщенные мечты заключались в следующем: обучающиеся всех возрастов не будут привязаны к своей местности, им будут доступны наилучшие профессора, наилучшие лекторы, наилучшие учебные материалы. Они смогут, не сходя с места и не уезжая из своего родного города, поселка, деревни, слушать выдающихся ученых и преподавателей, видеть их воочию. Таким образом, онлайн-образование уничтожит региональное и имущественное неравенство, являющееся барьером на пути получения знаний. Однако еще в марте 2019 г. в «The New York Times» вышла статья под заголовком «Человеческий контакт – теперь предмет роскоши». В ней говорилось, что теперь богатые и облеченные властью люди в качестве одной из демонстраций своего статуса выбирают отказ от цифрового общения и возможность пользоваться услугами живых людей [5]. Социальный аспект образования, до того скрытый или воспринимавшийся как нечто само собой разумеющееся, оказался явлен миллионам людей самым наглядным образом. Итальянский философ Джорджо Агамбен написал, что завершается тысячелетний этап европейской истории, в котором существовали университеты. Студенты больше не соберутся в кампусах: университеты исторически начинались даже не с того, что преподаватели преподают, а с того, что студенты образовывали землячества и создавали новое социальное явление – университетские братства. Динамика, которая возникает в общении внутри этого братства, между такими группами, между ними и профессорско-преподавательским составом, между ними и горожанами, и есть та университетская среда, которая преобразовала Европу и стала одним из замковых камней европейской цивилизации [6].

Понятно, что полного перехода всего обучения в онлайн не будет и университеты не закроются. Но мысль Агамбена важна: появление интернета и в широком смысле доступность фактов породили огромное количество социально-политических последствий. Представим себе следующую ситуацию: в

обычных школах и в региональных вузах ученикам и студентам включают лекцию на экране. Вы ее прослушаете, потом выполните задания, которые вам присланы, и это и есть ваше образование. В это время привилегированные сословия, богатые люди и их дети, поедут в Оксфорд, Кембридж, Гарвард, где будут находиться в интеллектуальной среде, пропитываться ее духом, получать то, о чем на самом деле думают, хотя редко говорят, все родители, планирующие высшее образование для своих детей, – новые социальные связи. Завести такие связи через экран невозможно. Кроме того, как известно всем, кто получал высшее образование, университет – это не только лекции, практические занятия и семинары. Это коридоры, кампус, библиотека, столовая, спортзал. Это огромное количество активностей, которые находятся вне учебного процесса. Студенты вузов становятся не теми, кем они являются дома, вступая в новые отношения – иерархические, горизонтальные, самые разнообразные.

Еще одно возможное негативное последствие перехода образования в онлайн-форматы – нивелирование роли региональных образовательных учреждений. В любом большом вузе, особенно таком, который имеет региональные отделения, существует большой соблазн заменить очные занятия «правильными» централизованно записанными онлайн-курсами. Во многом такое стремление оправданно: должно быть некоторое единство того, что преподают студентам в рамках вуза. Но замена региональных преподавателей движущимися картинками (что противоречит креативному образованию в любом его понимании) может привести к кадровому «вымыванию» провинциальных вузов. Людей начнут сокращать, потому что их заменят видеокурсом, их будут сводить на уровень модераторов этих видеосессий, что не всех устроит. Региональный вуз в еще большей степени, чем центральный, – очаг культуры. Это центр, в котором образованные люди могут найти себе занятие, и если это начнет исчезать, то провинциальная интеллигенция окажется в тяжелом положении. Она и так в тяжелом положении, потому что учит студентов, которые уезжают. Этот процесс, к сожалению, будет акселерирован очередной волной экономического кризиса: люди будут ехать в большие города, где есть хоть какая-то оплачиваемая работа. Поэтому региональные вузы – способ удержать выпускников школ в своих родных местностях.

Литература

1. Вишневский А.Г. Время демографических перемен. Избранные статьи. М. : Изд. дом Высш. школы экономики, 2015.
2. Boswell J. The journal of a tour to the Hebrides: with Samuel Johnson, LL. D., CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.
3. Абашина А.Д. Диверсификация подходов к пониманию социального статуса учителя в современной России // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2012. № 1. С. 4–11.
4. Шерайзина Р.М., Донина И.А., Александрова М.В. Реализация идей диверсификационного менеджмента в управлении современной образовательной организацией // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 4. С. 251–262.
5. Human Contact Is Now a Luxury Good / Nellie Bowles. URL: <https://www.nytimes.com/2019/03/23/sunday-review/human-contact-luxury-screens.html> (accessed: 19.09.2020).
6. *Requiem per gli studenti* / Giorgio Agamben. URL: <https://www.iisf.it/index.php/attivita/pubblicazioni-e-archivi/diario-della-crisi/giorgio-agamben-requiem-per-gli-studenti.html> (accessed: 19.09.2020).

Ekaterina M. Schulman, Moscow School of Social and Economic Sciences (Moscow, Russian Federation); Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation); Royal Institute of International Affairs (London, UK).

E-mail: daria.lieven@gmail.com

Anastasia A. Kutuzova, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation).

E-mail: kutuzova-aa@ranepa.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 293–296.

DOI: 10.17223/1998863X/58/29

CHANGING DEMAND FOR EDUCATION AS A REFLECTION OF THE TRANSFORMATION OF THE SOCIAL NORM

Keywords: demand for education; social norm; individualization; digitalization.

The article attempts to delineate social and political drivers for changes in the educational sphere. The authors focus on higher demands towards education as reflecting changes in the demographic structure of society. As one of the key among multidirectional trends in modern education, the demand for both efficiency and individualization is highlighted. The article explains the accelerated development of new educational formats and digitalization of education during the COVID-19 pandemic.

References

1. Vishnevsky, A.G. (2015) *Vremya demograficheskikh peremen. Izbrannye stat'i* [Time of demographic change. Selected articles]. Moscow: HSE.
2. Boswell, J. (2016) *The Journal of a Tour to the Hebrides: with Samuel Johnson, LL. D.* CreateSpace Independent Publishing Platform.
3. Abashina, A.D. (2012) Diversification of key approaches to the social status of teacher in modern Russia. *Vestnik sotsial'no-gumanitarnogo obrazovaniya i nauki*. 1. pp. 4–11. (In Russian).
4. Sherayzina, R.M., Donina, I.A. & Aleksandrova, M.V. (2018) Implementation of ideas of diversification management in the management of a modern educational organization. *ИПАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 251–262. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-251-262
5. Bowles, N. (2019) *Human Contact Is Now a Luxury Good*. [Online] Available from: <https://www.ny-times.com/2019/03/23/sunday-review/human-contact-luxury-screens.html> (Accessed: 19th September 2020).
6. Agamben, G. (n.d.) *Requiem per gli studenti*. [Online] Available from: <https://www.iisf.it/index.php/atti-vita/pubblicazioni-e-archivi/diario-della-crisi/giorgio-agamben-requiem-per-gli-studenti.html> (Accessed: 19th September 2020).

АРХИВ

УДК 1(091)

DOI: 10.17223/1998863X/58/30

В.В. Оглезнев

О ПРИМЕНИМОСТИ ИДЕЙ ПОЗДНЕГО ВИТГЕНШТЕЙНА В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ПРАВА¹

Рассматриваются различные трактовки и оценки идей позднего Витгенштейна в контексте дискуссий сторонников юридического формализма и юридического анти-формализма. Рассмотрение и анализ этих философско-правовых традиций позволяет лучше понять позицию одного из активных участников этих дискуссий американского правоведа Брайана Бикса.

Ключевые слова: интерпретация, применение, юридическое правило, Витгенштейн, Бикс.

Отношение к идеям позднего Витгенштейна в теории и философии права было и остается весьма неоднозначным, что отразилось как на вариативности их трактовок, так и на оценках – от апологетически восторженных до радикально скептических. С одной стороны, его идеи о следовании правилу и правилосообразной деятельности, действительно, оказались очень популярными среди правоведов и превратились в самостоятельный предмет исследования. Но, с другой стороны, они часто неверно истолковывались, некорректно заимствовались и как результат – применялись весьма неоднозначным образом. Причина такой поляризации позиций отчасти состоит в том, что сам Витгенштейн не дает формулировку ни того, что такое правило, ни того, какие критерии позволяют определить, что значит следовать правилу [1. С. 51]. Отчасти в том, о каких правилах идет речь, когда обсуждается применение идей «Философских исследований» [2] в теории и философии права. Отличаются ли правила, о которых рассуждает Витгенштейн, от правил, используемых в теории права и юридической практике? Когда правоведы говорят о юридических правилах, философы – о правилах морали, социологи – о различных типах социальных правил, лингвисты – о правилах языка, логики – о правилах логики и так далее, имеют ли они в виду одно и то же? Или же слово «правило» обозначает совершенно разные вещи в каждом из указанных случаев?

Однако каким бы образом ни формировались позиции правоведов по поводу экспликации идей позднего Витгенштейна в области права и какой бы стратегии они ни придерживались, их объединяет общий методологический мотив – как разрешить (объяснить и, по возможности, элиминировать) так называемую проблему правовой неопределенности (*legal indeterminacy problem*). Суть этой проблемы сводится к вопросу, предопределяют ли юридиче-

¹ Работа выполнена в рамках поддержанного Советом по грантам Президента РФ научного проекта № МД-137.2020.6.

ские правила (правовые нормы) результат судебного решения (или иного правоприменения) в каждом конкретном случае. Представители юридического формализма (и отчасти юридического позитивизма) отвечают на этот вопрос положительно, поскольку считают, что задача судьи состоит в разрешении судебных споров посредством применения непротиворечивых принципов к фактам для получения результата, т.е. судебное решение уподобляется дедуктивному умозаключению, где истинность вывода гарантируется истинностью посылок (правовых норм и фактических обстоятельств дела). Представители юридического антиформализма, в который включаются юридический инструментализм, правовой реализм, критические правовые исследования и другие, напротив, утверждают, что юридические правила и содержащиеся в них понятия (и право в целом) являются «радикально неопределенными» по причине неопределенности самого языка, в котором они выражены.

Антиформалисты, отстаивая позицию лингвистической неопределенности, исходят из того, что если у юридических текстов (как и у слов, которые в них содержатся) нет самостоятельного значения, то применение отдельных положений закона не может быть непосредственно выведено из самого его текста. Их аргументация основана не столько на том, что некоторые слова являются двусмысленными или смутными, поэтому мы не можем быть уверены в их правильном употреблении, но прежде всего на том, что употребление слов будет неизбежно неопределенным, только если единицей значения выступают сами эти слова. Они утверждают, что уверенность и определенность зависит от согласия лингвистического сообщества в отношении того, как то или иное слово надо употреблять. Следовательно, не сами законы, но позиции судей и других правоприменителей обуславливают их применение.

Неудивительно, что интерпретация идей Витгенштейна, предложенная Крипке [3], оказалась вполне подходящей для подтверждения и обоснования антиформалистской позиции: если суждения о правильности и неправильности (в следовании правилу или в употреблении слова) основаны (или могут быть основаны только) на согласии лингвистического сообщества, то правильным будет только то употребление слова, которое согласуется с тем, как это делает большинство его членов [4. Р. 108]. Таким сообществом как раз и выступает юридическое сообщество и, прежде всего, сообщество судей: «Когда судья принимает решение, он опирается не на формальное следование юридическому правилу, которое неопределенно по содержанию и содержит пробелы, а на существующие социальные практики применения таких правил, а также на иные социальные факторы, формирующие контекст принятия судебного решения (нормы морали, идеологии, профессиональные стандарты и т.п.)» [5. С. 68]. Точка зрения сообщества при таком подходе становится «внетекстуальным критерием правильного применения, а значение слова определяется не самим текстом, а тем, как большинство членов сообщества склонны его употреблять» [6. Р. 495]. Однако против точки зрения интерпретирующего юридического сообщества можно выдвинуть как минимум два возражения. Во-первых, она ничего не говорит о ситуациях, когда в отношении использования слов согласие еще не достигнуто или вообще достигнуто быть не может; во-вторых, ссылка на согласие сообщества в отношении использования слов сама по себе является правилом их употребления [6. Р. 497].

Тезис о «непосредственном применении» идей Витгенштейна для решения проблемы правовой неопределенности вызвал острую критику и горячие дискуссии. Например, резко против выступил современный американский философ права Брайан Бикс, который утверждал, что идеи Витгенштейна не имеют прямого отношения к юриспруденции. Более того, сама идея применения к праву проблемы следования правилу, по мнению Бикса, выглядит весьма странной, и прежде всего потому, что несмотря на сходства, «правил», используемые Витгенштейном, сильно отличаются от юридических «правил» [7. Р. 51]. Очевидно, что Витгенштейна интересовали грамматические правила дескриптивного языка и достижение согласия по поводу их использования и применения. Но из этого непосредственно не следует (хотя Деннис Паттерсон, один из активных сторонников важности идей Витгенштейна для теории права, считает иначе [8. Р. 1845–1846]), что юридическая интерпретация зависит от лингвистического понимания правил, напротив, ее цель – устранить несогласие в правоприменении [9. С. 84]. Схожей критической позиции, что от идей Витгенштейна мало толку в философии права, придерживается Скотт Гершовиц: «Мы не узнаем ничего нового о юридических правилах или юридической интерпретации, если воспользуемся идеями Витгенштейна, потому что предметом его размышлений были совершенно другие вещи» [10. Р. 640]. Деннис Паттерсон, напротив, считает, что «подход Витгенштейна к интерпретации – это самый важный урок, который усвоила юриспруденция. <...> Сложно найти философа, идеи которого были бы так актуальны для вопросов и проектов современной теории права» [11. Р. XII].

Однако были и те, кто занял в этой дискуссии нейтральную позицию, например, как это сделал современный немецкий философ права Ральф Пошер, предложив умеренную интерпретацию идей «позднего» Витгенштейна. Основная его идея состояла в том, что судебное правоприменение следует рассматривать как процесс, состоящий из двух последовательных стадий: 1) коммуникативная интерпретация высказываний (текста законов) в духе Грайса и 2) собственно применение правила, где правило понимается как содержание коммуникативного намерения, а его применение – как идея следования правилу Витгенштейна [12. Р. 291]. По мнению Пошера, коммуникативная интерпретация и следование правилу, где правило понимается как условное содержание высказывания [12. Р. 290], могут удачно, экстраполироваться на судебное правоприменение: на интерпретацию и понимание юридических правил соответственно. Его аргумент строился следующим образом. Во-первых, тексты законов, как и любые другие тексты, должны интерпретироваться таким образом, чтобы стало возможным вывести из высказывания и контекста его употребления соответствующие коммуникативные намерения. Юридические правила, как и другие правила, являются в этом смысле лишь одним из возможных вариантов содержания коммуникативного намерения (наряду с утверждениями, вопросами, требованиями, просьбами и т.д.). Во-вторых, только после того как установлено, что конкретное юридическое правило является содержанием соответствующего коммуникативного намерения, оно может применяться к рассматриваемым случаям. Таким образом, применению правила (в духе Витгенштейна) предшествует коммуникативная интерпретация (в духе Грайса).

Так чем же объясняется интерес современных правоведов к «Философским исследованиям» Витгенштейна? Одна из возможных причин состоит в том, что с помощью некоторых его идей получилось обосновать отдельные положения определенных философско-правовых теорий (и прежде всего антиформалистских). Для тех правоведов, кто оспаривает легитимность модели верховенства права, скептическое прочтение «Философских исследований» оказалось полезным в том смысле, что оно, по их мнению, подорвало убеждение в то, что уникальный ответ в каждом спорном случае может быть непосредственно выведен из применения общего правила. Суть аргумента скептика такова: если правильное употребление слова не может быть выведено из правила его применения, то и юридические правила, в которых такие слова содержатся, вряд ли могут эту ситуацию исправить. Скептическое прочтение Витгенштейна оказалось очень привлекательным, потому что лингвистическая стабильность значения правовых понятий, с точки зрения интерпретирующего сообщество, как раз и происходит из этого скептицизма. Законность судебных решений должна обосновываться не ссылками на положения закона или прецедента, но предполагаемым моральным согласием в отношении результатов рассмотрения каждого конкретного дела. Но насколько этот вывод оправдан, и оправдано ли вообще скептическое прочтение Витгенштейна, на котором этот вывод основан? Ведь это открывает широкий простор для всевозможных спекуляций: любое судебное решение можно обосновать ссылкой на моральное согласие большинства членов сообщества, и в то же время моральное согласие сообщества позволяет обосновать, например, расширение судебных полномочий. Витгенштейн, вероятно, не согласился бы с такой интерпретацией своих идей, напротив, он желал избавить лингвистические правила от неопределенности: когда мы следуем лингвистическому правилу, нам не надо доказывать или обосновывать его применение (знать правило – значит знать его применение). Но юридическим правилам, в отличие от лингвистических, нельзя «следовать слепо». Правоприменение – это разумная деятельность, участники которой рассматривают, обсуждают и спорят о том, как им следует поступить [4. Р. 115]. И это, действительно, имеет мало общего с обсуждением Витгенштейна, как правила определяют наши действия. Получается, что Бикс был прав, говоря, что «использовать анализ Витгенштейна небрежно и вне контекста – значит вероломно прикрываться его авторитетом, не понимать проблем, которые его волновали, и не пытаться взять на себя ответственность за то, почему этот анализ должен быть расширен» [7. Р. 48].

Рассматривая и анализируя дискуссии и аргументацию сторонников поиска прямого и косвенного решения «проблемы следования правилу» Витгенштейна применительно к теории и философии права, Бикс формулирует и свою философскую позицию, подробно изложенную в его статье «The Application (and Mis-Application) of Wittgenstein's Rule-Following Considerations to Legal Theory» [4], перевод на русский язык которой публикуется в настоящем номере. Бикс не относит себя ни к одной из противоборствующих сторон, но внимательное рассмотрение выдвигаемых им аргументов показывает то, что он, скорее, придерживается позиции антиреализма, с точки зрения которого формальные процедуры влияют на интерпретацию юридических конструкций, имеющих нередко гипотетический характер.

Литература

1. Суровцев В.А. Следование правилу и социальная теория // Эпистемология и философия науки. 2020. № 3 (57). С. 50–55.
2. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. М. : Гнозис, 1994. Ч. I. С. 75–320.
3. Кринке С. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2010.
4. Bix B. The Application (and Mis-Application) of Wittgenstein's Rule-Following Considerations to Legal Theory // Canadian Journal of Law and Jurisprudence. 1990. Vol. III, № 2. P. 107–121.
5. Дидикин А.Б. Следование правилу и юридический язык: аргументы реализма и антиреализма // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3: Общественные науки. 2015. № 4 (164). С. 66–72.
6. Zapf C., Moglen E. Linguistic Indeterminacy and the Rule of Law: On the Perils of Misunderstanding Wittgenstein // The Georgetown Law Journal. 1996. Vol. 84, № 3. P. 485–520.
7. Bix B. Law, Language, and Legal Determinacy. Oxford : Clarendon Press, 1993.
8. Patterson D. Wittgenstein and Constitutional Theory // Texas Law Review. 1994. Vol. 72. P. 1837–1856.
9. Дидикин А.Б. Интерпретация проблемы следования правилу в аналитической философии права // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2015. № 2(30). С. 83–88.
10. Hershowitz S. Wittgenstein on Rules: The Phantom Menace // Oxford Journal of Legal Studies. 2002. Vol. 22, № 4. P. 619–640.
11. Patterson D. Introduction // Wittgenstein and Law. Aldershot: Ashgate Publishing, 2004. P. XI–XII.
12. Poscher R. Interpretation and Rule Following in Law. The Complexity of Easy Cases // Problems of Normativity, Rules and Rule-Following. Dordrecht : Springer, 2015. P. 281–293.

Vitaly V. Ogleznev, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation); Russian State University of Justice, West Siberian Branch (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: ogleznev82@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 297–302.

DOI: 10.17223/1998863X/58/30

ON THE APPLICATION OF WITTGENSTEIN'S LATER IDEAS IN MODERN LEGAL THEORY

Keywords: interpretation; application; legal rule; Wittgenstein; Bix.

The study is supported by the Council for Grants of the President of the Russian Federation, Project No. MD-137.2020.6.

The attitude to the ideas of the “later” Wittgenstein in the theory and philosophy of law was and remains very ambiguous, which is reflected both in the variability of their interpretations and in the assessments—from apologetically enthusiastic to radically skeptical. To some degree this polarization of positions is because Wittgenstein himself provides neither what a rule is, nor what criteria allow us to determine what it means to follow a rule; and because it is clear what kinds of rule we are talking about when discussing the application of Wittgenstein's *Philosophical Investigations* in the theory and philosophy of law. But no matter how the positions of legal scholars were formed regarding the application of “later” Wittgenstein's ideas to the legal sphere, and no matter what strategy they followed, they are united by a common methodological motive—how to solve (elucidate and, if possible, eliminate) the so-called legal indeterminacy problem. The essence of this problem is reduced to the question of whether legal rules (legal norms) determine the result of a judicial decision (or other law enforcement) in each particular case. Legal formalists answer this question positively, since they believe that the task of a judge is to resolve judicial disputes by applying consistent principles to the facts in order to obtain a result. Legal anti-formalists, on the contrary, argue that legal rules and legal concepts (and law in general) are “radically indeterminate” because of the indeterminacy of the language itself. The idea about the “direct application” of Wittgenstein's thoughts to solve the legal indeterminacy problem caused criticism and heated debates. For example, the modern American legal philosopher Brian Bix sharply opposed it, who argued that Wittgenstein's ideas were not directly related to jurisprudence.

Considering and analyzing the discussions and arguments of legal formalists and legal anti-formalists, Bix formulates his own philosophical position. He does not consider himself to be one of the opposing sides, but a careful consideration of his arguments shows that he rather adheres to the position of philosophical anti-realism, according to which formal procedures affect the interpretation of legal constructions that are often hypothetical in nature.

References

1. Surovtsev, V.A. (2020) Sledovanie pravilu i sotsial'naya teoriya [Following the rule and social theory]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 3(57). pp. 50–55.
2. Wittgenstein, L. (1994) *Filosofskie raboty* [Philosophical Studies]. Vol. 1. Translated from German. Moscow: Gnozis. pp. 75–320.
3. Kripke, S. (2010) *Vitgenshteyn o pravilakh i individual'nom yazyke* [Wittgenstein on the rules and individual language]. Moscow: Kanon+; ROOI “Rea-bilitatsiya”.
4. Bix, B. (1990) The Application (and Mis-Application) of Wittgenstein’s Rule-Following Considerations to Legal Theory. *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*. 3(2). pp. 107–121. DOI: 10.1017/S0841820900001181
5. Didikin, A.B. (2015) Rule-following and Legal Language: Arguments of Realism and Antirealism. *Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Ser. 3: Obshchestvennye nauki*. 4(164). pp. 66–72. (In Russian).
6. Zapf, C. & Moglen, E. (1996) Linguistic Indeterminacy and the Rule of Law: On the Perils of Misunderstanding Wittgenstein. *The Georgetown Law Journal*. 84(3). pp. 485–520.
7. Bix, B. (1993) *Law, Language, and Legal Determinacy*. Oxford: Clarendon Press.
8. Patterson, D. (1994) Wittgenstein and Constitutional Theory. *Texas Law Review*. 72. pp. 1837–1856.
9. Didikin, A.B. (2015) Interpretation of the rule-following problem in analytical legal philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 2(30). pp. 83–88. (In Russian).
10. Hershowitz, S. (2002) Wittgenstein on Rules: The Phantom Menace. *Oxford Journal of Legal Studies*. 22(4). pp. 619–640. DOI: 10.1093/ojls/22.4.619
11. Patterson, D. (2004) *Wittgenstein and Law*. Aldershot: Ashgate Publishing. pp. XI–XII.
12. Poscher, R. (2015) Interpretation and Rule Following in Law. The Complexity of Easy Cases. In: Araszkievicz, M., Banas, P., Gizbert-Studnicki, T. & Pleszka, K. (eds) *Problems of Normativity, Rules and Rule-Following*. Dordrecht: Springer. pp. 281–293.

УДК 1(091)

DOI: 10.17223/1998863X/58/31

Б. Бикс

ПРИМЕНЕНИЕ (И НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) ИДЕИ ВИТГЕНШТЕЙНА О СЛЕДОВАНИИ ПРАВИЛУ В ТЕОРИИ ПРАВА¹

Исследуются идеи Витгенштейна о следовании правилам, современные комментарии и попытки отдельных правоведов применить проблему следования правилу к вопросам толкования права. Показано, что и сторонники, и противники радикальной неопределенности права пытались использовать обсуждение Витгенштейном следования правилу для обоснования своих позиций, но обе стороны часто находили в Витгенштейне больше, чем есть на самом деле.

Ключевые слова: следование правилу, теория права, юридический язык, Витгенштейн.

I

Работы Витгенштейна о «следовании правилу» остаются важной – и горячо обсуждаемой – частью его поздней философии. «Правило» в его работах имело более важное и принципиальное значение по сравнению с тем, как этот термин используется во многих дискуссиях о практическом мышлении или теории права. То, как Витгенштейн употреблял «правило», относится ко всем нормативным ограничениям, применяемым в разнообразных ситуациях, и к практикам, когда наши действия, так сказать, управляются, и к ситуациям, в которых важно описание действий как «правильных» или «неправильных». Однако «он не стремился написать книгу о правилах, а хотел изучить особые проблемы понимания, возникающие из нормативной природы языка, логики и рассуждений» [1. Р. 39]. В частности, он рассматривал нормативные действия, которые с виду не вызывают беспокойства или не кажутся трудными для понимания: например, правильное употребление слова, понимание знака-указателя и продолжение простой математической последовательности [2. § 143–242]. Интересным в таких примерах представляется не вопрос, является ли правильным или неправильным определенный ответ или продолжение; Витгенштейн определенно подбирал примеры, где по этому поводу было бы согласие. Но вопрос, правила или мы сами делаем наши ответы правильными или неправильными (или что влияет на эту оценку)?

Обсуждение Витгенштейном следования правилу оказало влияние на проблему правовой определенности, прежде всего, на тех, кто утверждал, что право является радикально неопределенным. Чтобы обосновать точку зрения, что у правил нет определенного применения, они предложили читать Вит-

¹ Перевод с английского выполнен В.В. Оглезневым под редакцией В.А. Суровцева по изданию Bix B. The Application (and Mis-Application) of Wittgenstein's Rule-Following Considerations to Legal Theory // Canadian Journal of Law and Jurisprudence. 1990. Vol. III, No. 2. P. 107–121. Публикуется с разрешения автора.

Перевод статьи подготовлен в рамках поддержанного Советом по грантам Президента РФ научного проекта № МД-137.2020.6.

генштейна так, как это делал Крипке [3; 4. Р. 613]¹. Их аргументация строится по следующему принципу. Витгенштейн (Крипке) показал: нет смысла доказывать, что под нынешним употреблением слова я имею в виду то же самое, что и при предшествующем употреблении, и нет смысла доказывать, что я применяю слово (т.е. правило его употребления) правильно [3. Р. 70–71]. Более того, «нет ничего, что подтверждает наше прошлое употребление, намерение или отношение к слову... которое контролирует или ограничивает наше будущее его употребление» [4. Р. 628]. Но если нет ничего, что говорит нам, как употреблять слово, и если любой способ продолжения последовательности можно назвать следованием правилу, то тогда, кажется, можно все, что угодно [3. Р. 11–13, 77–78, 84–93; 4. Р. 632]². Вот поэтому сторонники правовой неопределенности соглашались с Витгенштейном (Крипке), что суждения о правильности и неправильности (в следовании правилу или в употреблении слова), т.е. вся теория значения, основаны (*могут быть* основаны *только*) на согласии сообщества. Мы употребляем слово правильно, если и только если наше употребление согласуется с тем, как это делает большинство наших сограждан [3. Р. 90–98, 110–112; 4. 632–636]. Этот подход хорошо согласуется с позицией многих сторонников правовой неопределенности. Им не надо отрицать (и они не отрицают), что в праве есть «простые случаи». Но простоту этих случаев они приписывают не языку, а (временному) согласию общества (или соответствующего юридического сообщества) [4. Р. 632–636; 5. Р. 917, 918–920, 929–945; 6. Р. 54–56, 60–69]. У такого согласия есть политический или идеологический компонент, который, как некоторые могли бы сказать, навязан более могущественными членами сообщества. Если и когда идеология общества изменится, то, согласно этому подходу, случаи, которые считались простыми, тоже изменятся [4. Р. 632–636].

II

Выводы Витгенштейна были другими³. Крипке правильно утверждал, что, по мнению Витгенштейна, нет ни одного факта (ни одного «сверх-

¹ В одном месте своей книги Крипке предлагает прочтение, в котором разрабатываемый им аргумент на самом деле относится к тому, как Витгенштейн понимает сам Крипке. В другом месте то, что он приписывает Витгенштейну, более соответствует. Моя точка зрения заключается в том, что прочтение Крипке неадекватно отражает позицию Витгенштейна и что действительная позиция Витгенштейна выходит за рамки той, которую Крипке (в той или иной степени) ему приписывает. Пока я буду предлагать аргументы, чтобы поддержать оба эти утверждения, моей целью не является их более глубокое рассмотрение.

² «Наш парадокс был таким: ни один образ действий не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с этим правилом. Ответом служило: если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом. Поэтому тут не было бы ни соответствия, ни противоречия... Мы здесь сталкиваемся с определенным непониманием...» [2. § 201].

³ Очень сложно (если вообще возможно) найти серьезного исследователя Витгенштейна, который определенно согласился бы с прочтением Крипке [7–14]. Замечу, что идеи Витгенштейна в «Философских исследованиях», относящиеся к следованию правилу, представлены в коротких пассажах, которые зачастую афористичны и загадочны. Прочтение отдельных аргументов или взглядов в этих комментариях требует явного или неявного прочувствования деталей и прояснения двусмысленностей. Поэтому предлагаемая мной интерпретация лишь приближительна. Но так или иначе она в общем совпадает с интерпретациями, в числе других предложенными Питером Хакером, Городом Бейкером, Дэвидом Пэрсом, Джоном Макдауэлом, Колином Макгином и Саймоном Блэкберном (которые, несмотря на их несогласие относительно других аспектов философии Витгенштейна, согласны или более-менее согласны относительно аспектов следования правилу, относящихся к моему исследованию).

факта» [2. § 192]), который обосновывает наше понимание правила¹. Но он ошибался, изображая это как «скептическую проблему», для которой требуется «скептическое решение» [3. Р. 61–69]². Если знаков и символов правила вдруг оказалось бы недостаточно для понимания того, соответствовало ли определенное действие правилу, то как тогда добавление в нашем сознании (или в платоновском мире идей) дополнительных знаков и символов могло бы этот недостаток исправить? Если мы «называем „интерпретацией“ лишь замену одного выражения правила другим», то «это свидетельствует о том, что существует такое понимание правила, которое является не *интерпретацией* (здесь и далее в цитатах курсив мой. – Б.Б.), а обнаруживается в том, что мы называем „следованием правилу“ и „действием вопреки“ правилу в реальных случаях его применения» [2. § 201]. Именно философское стремление и философское нетерпение обнаружить некоего магического посредника между правилами и действиями приводит к идее «скептической проблемы». Как писал Дэвид Пэрс, дело не только в том, что часто существует необходимость интерпретировать правила посредством определения их терминов, но и в том, что процесс определения термина, а затем определение терминов в определении не может заполнить все пробелы, потому что рано или поздно придется совершить скачок от языка к миру, не гарантированный никаким определением [13. Р. 432].

Есть ощущение, что даже обсуждение Пэрса слишком уступает критикам Витгенштейна: говорить о «пробелах» и о «скачке от языка к миру» – значит утверждать, что язык можно понять помимо его применения к миру и в мире. Витгенштейн такую позицию не одобрил бы.

По крайней мере, в простых случаях мы все применяем правила одинаковым образом. Например, мы все можем продолжить последовательность «прибавить 2»: «1000, 1002, 1004...» [2. § 185–187]. Слово «мы» в этих предложениях включает всех, кто разделяет одну и ту же форму жизни и кто одинаково обучался одним и тем же правилам. (Позднее я рассмотрю понятие формы жизни Витгенштейна.) Согласно этим простым случаям скептицизм не усиливается, если больше ничего нельзя предложить для оправдания применения правила. Жалоба скептика необоснованна, поскольку больше нет ничего такого, что *могло бы* быть предложено в качестве оправдания и что нужно в качестве оправдания³. Против скептика, который продолжает задавать вопросы, со временем могут понадобиться другие ответные меры. «Исчерпав свои основания, я достигну скального грунта, и моя лопата согнется.

¹ Саймон Блэкберн подметил, что Витгенштейн не стал бы выражаться в таких терминах [8. Р. 285]. И в качестве наиболее подходящей подходу Витгенштейна альтернативы предложил, что «рассмотрение термина определенным образом несколько отличается от *представления* чего-либо в качестве средства его понимания, или от *принятия* чего-либо в качестве средства его понимания» [8. Р. 288].

² Криспин Райт указал, что прочтение Крипке ставит вверх дном предмет обсуждений Витгенштейна. Скептик Крипке заставляет нас задуматься, откуда мы можем знать, какому правилу мы следуем или следовали, и вообще задуматься о «самом существовании правил и следования им» [15. Р. 303]. Напротив, Витгенштейна особо интересовала «природа и эпистемология следования правилу», т.е. откуда мы можем знать, чего от нас требует правило в конкретной ситуации [15. Р. 303].

³ «Скептицизм *не* неопровержим, но явно бессмыслен, поскольку он пытается сомневаться там, где невозможно спрашивать. Ибо сомнение может существовать только там, где существует вопрос; вопрос – только там, где существует ответ, а ответ – лишь там, где нечто *может быть высказано*» [16. § 6.51].

В таком случае я склонен сказать: „Вот так я действую“» [2. § 217]. Можно даже ответить так: «Это как раз то, что мы называем „прибавить 2“ (или „красным“ и т.д.)» [9. Р. 78, 85]. Но в языковой игре нет места для дополнительного оправдания или сомнения. «Если после полного обучения и всех рекомендованных проверок я все еще „сомневаюсь“, правильно ли я употребляю слово, мое „сомнение“ выходит за рамки языковой игры и автоматически превращается в концептуальный вопрос „Что считается следованием правилу?“» [13. Р. 442].

«Правильный ответ» на это вопрос аналогичен способу, которым мы склонны продолжать последовательность, но тот *факт*, что все мы продолжаем ее одинаковым образом, не делает этот ответ правильным (хотя, как я покажу далее, это именно то, что делает наши действия разумными). Чтобы установить, является ли цветок красным, мы не начинаем расспрашивать всех вокруг, что они думают о его цвете [17. § 431].

Как и Г.Л.А. Харт, Витгенштейн тяготеет к умеренной позиции в отношении правила. Витгенштейн «пытался описать нормативность иначе, чем платоновской образ „правила как колея“, и объяснить, как возможен устойчивый компромисс между гипостазированием правил и отрицанием их существования» [15. Р. 297]. С одной стороны, Витгенштейн не хотел приписывать применение правила самим правилам как метафизическим сущностям. С другой стороны, он не желал отрицать, что (имеет смысл сказать, что) правило задает его правильное применение или интерпретацию [1. Р. 81–106].

III

Витгенштейн, обсуждая в «Философских исследованиях» следование правилу, уделял основное внимание простым случаям вроде математической последовательности «прибавить 2» [2. § 185–187]. В § 240 он пишет:

«Не прекращаются споры (скажем, среди математиков) о том, соблюдено правило или же нет. При этом, положим, до драки дело не доходит. Это присуще тому каркасу, на котором базируется работа языка (например, при описании)».

Витгенштейн рассматривал «простые случаи», потому что его интересовало, как устранить недоразумения и мифы, связанные с тем, что делает случаи применения слова или продолжения последовательности простыми. Ни ментальное состояние, ни внутренний голос или настроение, ни платоновская правило-сущность, которую мы каким-то образом схватываем, не могут считаться фактом, определяющим, как продолжать последовательность. Нет никакой посреднической сущности, по мнению Витгенштейна, которая может оправдать или объяснить, почему мы делаем одно и то же, когда продолжаем последовательность «прибавить 2» или когда применяем слово «красный». Это как раз тот случай, когда люди, которые разделяют общую форму жизни и имеют одинаковую подготовку, продолжают одинаково следовать правилам. Как описал позицию Витгенштейна Джон Макдауэл, «наши действия содержатся только в тех реакция и ответах, которые мы усваиваем при обучении им» [18. Р. 149]. Ситуация несколько усложняется тем, что для Витгенштейна такие понятия, как «то же самое» и «согласие», не могут пониматься *a priori* или же независимо от проблемы следования правилу:

Слово «согласие» и слово «правило» родственны друг другу, они двоюродные братья. Обучая кого-либо употреблять одно из этих слов, я тем самым учу и употреблению другого.

Употребление слова «правило» переплетено с употреблением слов «то же самое». (Как употребление слова «предложение» – с употреблением слова «истинный») [2. § 224–225].

По мнению Витгенштейна, простота ясных случаев возникает из неких основополагающих фактов согласованности суждений, согласованности социального контекста и стабильности мира. В § 242 «Философских исследований» он заявляет:

«Языковое взаимопонимание достигается не только согласованностью определений, но (как ни странно это звучит) и согласованностью суждений. ...Одно дело, описывать методы измерения, другое – добывать и формулировать результаты измерений. А то, что мы называем «измерением», определяется и известным постоянством результатов измерения».

Короче говоря, «суждения» здесь содержат все связи, которые мы устанавливаем (посредством наших действий) между языком и миром: между правилом и его применением, между тем, как мы употребляли термин до этого, и тем, как мы его применяем к новому случаю, между тем, как мы обучились понимать действие (например, прибавление или измерение), и тем, как мы сами его совершаем и т.д. [10. Р. 57].

Дело в том, что после овладения математикой мы все одинаковым образом можем продолжить математическую последовательность «прибавить 2»; и до 1 000 мы не разойдемся в своих ответах. После изучения, как пользоваться линейкой, наши измерения одного и того же объекта будут одинаковыми. Аналогичным образом, обучившись при помощи остенсивных определений употреблять слова, обозначающие цвет, мы все согласимся, что этот помидор красный, а эта трава целеная [19. Р. 342]. Если бы различия в индивидуальных суждениях приводили к расхождению в том, как люди продолжали последовательность «прибавить 2», или если бы нестабильный мир приводил к тому, что мы получали бы разные результаты всякий раз, когда измеряем один и тот же объект, тогда понятия этих действий – и сами действия – утратили бы смысл¹.

Можно было бы сказать, что то, что после минимального обучения все мы на практике и при употреблении слов совершаем одни и те же действия, является просто счастливым совпадением², хотя и совпадением, без которого коммуникация была бы невозможна [2. § 242]. В § 241 Витгенштейн пишет:

Итак, ты говоришь, что согласием людей решается, что верно, а что неверно? – Правильным или неправильным является то, что люди говорят;

¹ «Процедура взвешивания куска сыра: укладка его на весы, отклонение стрелки, указывающее его вес и, следовательно, цену, – потеряла бы всякий смысл, если бы мы часто сталкивались с тем, что сыр внезапно и без всякой причины разбухал бы или же усыхал» [2. § 142].

«Если бы люди в общем и целом не были бы согласны относительно цвета вещей, если бы предопределенные случаи не были бы ожидаемы, тогда не существовало бы нашего понятия цвета.» Нет – нашего понятия не существовало бы» [17. § 351].

² «Мы могли бы сказать, что это удача, а не то, что (и это было бы предпочтительней) удача заключается в том, что жизнь на земле соответствует ее естественной атмосфере. Мы должны сказать, что соответствия столько, сколько нужно» [20. Р. 179].

и согласие людей относится к языку. Это – согласие не мнений, а формы жизни.

Следующая цитата приводится из неопубликованной рукописи Витгенштейна:

«Как устанавливается применение правила? Ты имеешь в виду „логическое“ установление? Либо при помощи других правил, либо никак! – Или ты имеешь в виду: как получается так, что мы согласны с одним его применением, но не с другим? Через обучение, тренировку и форму нашей жизни.

Это не вопрос согласия, но формы жизни» [1. Р. 258].

«Форма (формы) жизни» отчасти суммирует и отчасти намекает на объяснение факта нашего общего согласия [21. Р. 129–136]. Рудольф Хэллер показал, что Витгенштейн использовал эту фразу как минимум двумя разными способами: 1) (в единственном числе, *Lebensform*), чтобы кратко сформулировать «общечеловеческий образ действий», то, что явно и отчетливо человеческое; 2) (во множественном числе, *Lebensformen*), чтобы подчеркнуть различие между обществами и даже различие между сообществами одного общества [21. Р. 130–136; 22. Р. 58]. Роль, которую понятие «форма жизни» может сыграть в объяснении разногласий, будет обсуждаться в заключительной части этой статьи. Пока же рассмотрим анализ Витгенштейна согласия: мы продолжаем последовательность одинаковым образом из-за схожести нашего обучения и нашей природы. Но совсем не обязательно, чтобы все люди всегда одинаково реагировали бы на всевозможные обстоятельства; там, где нет одинакового продолжения последовательности, просто не будет устойчивых действий.

Противопоставляя Л. Витгенштейна отдельным сторонникам критических правовых исследований, я не имею в виду, что с помощью его идей можно было бы оспорить позицию критических правоведов, что некоторые «ясные случаи» являются таковыми в силу политического или идеологического согласия, а не в силу какого-либо строгого требования правильного или неправильного употребления слов. То, что некоторые действия являются или не являются нарушением «права равной защиты», может показаться ясным и очевидным; но ясность вопроса может исчезнуть, если мы продвинемся во времени на поколение вперед или назад. Наконец, я не уверен, что есть четкая грань между «ясными случаями», которые подпадают под обсуждение Витгенштейна «следования правилу», и теми, что не подпадают. То есть я не уверен, что можно быть вообще (что вряд ли) уверенным в том, какие вопросы интерпретации полностью выходят за рамки текущего обсуждения («за рамки языковой игры»).

IV

Если есть опасность (представленная Крипке и другими) прочтения Витгенштейна относительно следованию правилу как скептического, в отношении установления значения и достоверности, то также есть и противоположная опасность слишком вольного прочтения того, в чем уверяет Витгенштейн. Он хотел нас заверить, что, несмотря на отсутствие (по причине отсутствия) неких «внутренних» или платоновских фактов, мы можем говорить о «правильном» и «неправильном» даже самом элементарном нормативном поведении, включая применение слов и ответы на самые простые

математические вопросы. Опасность слишком вольного прочтения возникает тогда, когда послание Витгенштейна читается как гарантированное приписывание правильности или достижимости согласия в отношении более спорных вопросов. Например, Брайан Лангил правильно утверждал, что правоведы могли бы не использовать идеи Л. Витгенштейна для обоснования радикальной неопределенности права, но он зашел слишком далеко, подразумевая, что правильное понимание Витгенштейна можно было бы использовать для опровержения всего скептического анализа права [23. Р. 451; 24. Р. 145].

Особое внимание Лангил уделял «убедительным утверждениям относительно неопределенности языка и влиянию этой предполагаемой неопределенности на наши представления о природе конституционного дискурса» [23. Р. 452]. Но отдельной его целью были те правоведы, которые утверждали, что работы Витгенштейна были основой их аргументации. По вышеизложенным причинам я согласен с Лангилом, что Л. Витгенштейн не верил, что язык радикально неопределен и вряд ли с помощью его работ можно поддержать выводы сторонников правовой неопределенности [23. Р. 452–475, 486–495]. Но я не согласен с попыткой Лангила представить его прочтение Витгенштейна как шаг вперед в «объяснении грамматики права и... грамматики конституционной юриспруденции» [23. Р. 498; 25. Р. 549, 558–562]¹.

Л. Витгенштейн использовал «грамматику» несколько шире, чем его обычное, но определено с ним связанное употребление [1. Р. 34–64]. «[По мнению Витгенштейна] грамматика термина включает в себя разнообразные действия, связанные с его употреблением, а также критерии и фоновые условия, которые определяют его обычное применение» [26. Р. X]. Грамматика фразы отчасти задается правилами, которые детерминируют использование этой фразы, так что если эти правила будут нарушены, итоговое предложение не будет иметь смысла. Это относится, например, к грамматике чисел, которым нельзя приписать цвет, и к грамматике боли, когда нельзя заявлять о сомнениях в своей боли [2. § 246].

Витгенштейн утверждал, что многие философские проблемы возникали в результате нарушения грамматических правил (например, ошибочного применения грамматики высказываний о материальных объектных к психологическим высказываниям от первого лица) [17. § 434]. Если бы мы строго следовали исключительно грамматике термина и оставались бы в рамках рассматриваемой языковой игры, то мы, как он считал, смогли бы избежать метафизической путаницы и соблазнов скептицизма [2. § 90, 520].

Когда Лангил, чтобы обосновать свои утверждения, что «грамматика права» и закона «основана на фундаменте практики» [23. Р. 497–498], использовал аргументы Л. Витгенштейна о важности человеческой природы и действий для значения простых терминов, он не следовал идеям философа, но пренебрег ими. Он сделал лишь то, от чего Витгенштейн предостерегал, а именно не рассматривать термины (в данном случае такие понятия Витгенштейна, как «грамматика», «практика» и «фундамент») вне обычного контекста их употребления, вне языковой игры. Витгенштейн же использовал эти понятия для анализа «ясных случаев» и необдуманного применения.

¹ Все просто: Витгенштейн употреблял термин «грамматика» в разговоре о словах и понятиях... и перенесение этого аналитического инструмента в другие области, например в область социальной практики, в лучшем случае вводит в заблуждение.

Прыжок от грамматики языка к «грамматике права» подразумевает, что определения юридических терминов и действий внутри юридического дискурса не могут разумно оспариваться и не нуждаются в дальнейшем оправдании. Я не заявляю, что подход Витгенштейна или даже его анализ «грамматики» не могут принести никакой пользы для анализа социальных институтов или социальной теории [26]. Однако Лангил, совершая важный переход к «грамматике права», не обосновывает ни сам этот переход, ни даже его необходимость.

Краткие и невнятные комментарии Лангила намекают на аргумент, который поддержать невозможно. Наряду со ссылкой на «грамматику права» и «грамматику конституционной юриспруденции» Лангил описал Оуэна Фисса как человека, разработавшего «„структурные условия“ для витгенштейновского взгляда на право – существование набора ограничительных правил, используемых судьями как социальной группой» [23. Р. 498], и заявил, что «идея Харта о судьях, применяющих социальные правила с внутренней точки зрения, позволила ключевой мысли Витгенштейна о следовании правилу занять место в судебном процессе» [23. Р. 499]. Согласно этому контексту комментарии Лангила, по-видимому, подразумевают, что для него юридическая практика подобна продолжению последовательности «прибавить 2» или применению термина «красный», которые не нуждаются в дальнейшем обосновании (и что любое существующее в области права согласие можно было бы объяснить во многом так же, как Витгенштейн объяснял одинаковое продолжение последовательности «прибавить 2»).

Если Лангил и в самом деле придерживался этой позиции (хотя возможно, что нет), тогда я должен с ним не согласиться. Аналогия здесь неуместна. В отличие от вопросов, которые рассматривались Витгенштейном, право – это разумная деятельность: ее участники рассматривают, обсуждают и спорят о том, как им следует поступить. В отличие от описания Витгенштейном математиков и математической последовательности [2. § 240] в праве споры возникают вокруг вопроса, соблюдалось ли правило или же нет. Юридическая практика, и в части, и в целом, *является* предметом критики и нуждается в дальнейшем обосновании.

Исходным и основным условием понимания ограничений применения проблемы следования правилу Витгенштейна в теории права (по крайней мере, ограничений *непосредственного* применения) является рассмотрение того, каким образом эти соображения предназначались для отказа от языка и жизни такими, каковы они есть. Хотя при первом и поверхностном взгляде может показаться, что Витгенштейн (и некоторые его комментаторы) разделяет скептическую позицию в отношении значения, но единственная роль, которую играет скептицизм в его размышлениях о следовании правилу, – это абсурдный вывод из ошибочных посылок, который он пытался исправить: «если бы эта концепция фактов была бы правильной, тогда мы не смогли бы знать то-то и то-то, но мы это знаем, поэтому нам нужна другая концепция фактов» [27. Р. 99]. Слова *имеют* значение, и это – единственно правильный ответ на простые математические вопросы. Они являются отправной точкой как нашего ежедневного употребления языка, так и размышлений Витгенштейна о следовании правилу. Задача Витгенштейна была «изменить концепцию фактов, которую, как мы уверены, знаем» [27. Р. 99]; но удалось ли

ему убедить нас, что у нас нет оснований создавать или применять правила иначе, чем мы это делаем сейчас? Если не все, то большая часть проблем в праве и в теории права возникает на другом уровне абстракции (или вообще в другой области философии), в отличие от соображений Витгенштейна о следовании правилу [28. Р. 64–68].

V

Л. Витгенштейн, обсуждая проблему следования правилу, особое внимание уделял вопросу, как объяснить согласие, которое пропитывает большую часть нашего использования языка (и математики). Но мне интересно, могут ли его замечания, хотя, определенно, и направленные на «ясные случаи», а именно на объяснение (каузальное и концептуальное) нашего согласия относительно этих случаев, помочь нам еще и объяснить нашу неспособность достичь согласия в других («сложных») случаях. Есть много причин полагать, что мы не можем напрямую применять идеи Витгенштейна к сложным случаям, потому что они были предназначены для простых случаев. Как отметил Саймон Блэкберн, именно «автоматическая и подчиняющая природа следования правилу» в ясных случаях сделала их интересными для Витгенштейна [29. Р. 170]. То, что мы думаем о простых случаях (что в них «правильно» и «неправильно»), сильно отличается от сложных случаев. Блэкберн писал: «Мы можем каким-то образом обозначить себя как мыслящих истину, когда (как, например, в случае, когда мы принимаем доказательство) мы не можем образовать понятие, что это можно было бы мыслить иначе. Но отсюда вовсе не следовало бы, что то же самое обозначение имеет место, когда мы вполне осознаем возможность мыслить иначе» [29. Р. 170–171].

Джон Макдауэл предложил, как можно распространить идеи Витгенштейна относительно ясных случаев на сложные (хотя и признавал, что это может *расширить* идеи Витгенштейна [18. Р. 160]). Во-первых, в тех случаях, когда нет согласия в применении какого-то слова или понятия (особенно это касается оценочных понятий), все равно может произойти так, что для отдельного человека вопрос, как продолжить последовательность, может оказаться очевидным. И хотя этот человек знает, что другие с ним не согласны, он не способен понять, почему. Он мог бы отреагировать так: «Но ты же видишь...!» [2. § 231; 18. Р. 151–152]. И продолжить цитатой из «Философских исследований»: «Вот это и есть характерное выражение человека, находящегося во власти правила» [2. § 231]. Иными словами, Макдауэл предполагает, что некоторые люди во многих сложных случаях испытывают те же самые чувства, что и в легких – в случаях согласия. В своем исследовании, аналогичном работе Стэнли Фиша, он намекает, что различие между ясными и сложными случаями может отражать различие между людьми, которым одинаково «неудобно» [18. Р. 151–153], и теми, кто относится к другой стороне. Таким образом, можно заметить, что между самыми ясными из ясных случаев и самыми сложными из сложных случаев есть много промежуточных положений. Это можно установить на основании двух параметров: степени согласия среди людей и того, почему многие из них убеждены в очевидности избранного варианта (и не могут себе представить другого исхода). Например, согласие по поводу результата может быть достигнуто и при отсутствии

у участников такой же (степени или уровня) уверенности, которая у них была бы (например) при продолжении последовательности «прибавить 2».

Во-вторых, в основании сложных случаев, по мнению Макдауэла, может лежать основополагающее согласие в том, какие аргументы считаются разумными или приемлемыми [18. Р. 160]. Эта точка зрения соответствует хорошо известной позиции юридического сообщества [30, 31]. Адвокаты и теоретики права часто утверждают, что, несмотря на наличие незначительного согласия в отношении результатов, юридическая практика останется относительно стабильной и упорядоченной в силу некоторого грубого согласия в том, какими аргументами адвокаты и судьи могут пользоваться. Но здесь я не буду рассматривать обоснованность этого аргумента.

Если мы осторожно развиваем комментарии Витгенштейна (помня при этом, что ему нельзя приписывать все, что мы говорим, а можно лишь сказать, что это следует из его идей или что нечто сказано в его духе), то обнаружим несколько способов, как нам следовало бы начать анализ или объяснить разногласия в сложных случаях. У участников сложных случаев нет одинаковой реакции, у них нет широкой «согласованности в суждениях». Мы можем последовать за Макдауэлом и Фишем (и даже каким-то образом оправдать приписывание этой позиции Витгенштейну) и сказать, что в иной раз люди потому по-разному реагируют, что у них (или что «они разделяют») разные формы жизни¹. У них разные социальные контексты, культура, практики и обучение. Среди тех, кто разделяет одинаковую форму жизни, (по определению) не будет различий в реакциях, и тогда эти случаи могут оказаться «простыми».

1

Также сложными будут случаи, когда различные реакции не могут связываться с тем, что у людей были (они разделяли) различные формы жизни. В некоторых случаях разные люди могли бы просто стремиться продолжать последовательность по-разному, даже если у них был одинаковый изначальный опыт. В этой связи У.Б. Галли предположил, что споры вокруг употребления таких терминов, как «демократия» и «произведение искусства», можно было бы объяснить тем, что разные люди по-разному интерпретируют (в терминах Витгенштейна, «разнятся») образцовые примеры, к которым эти термины должны применяться по общему согласию (аналогично изначальному остенсивному определению) [32. Р. 167].

Чтобы понять, обогатило ли обсуждение Галли наше понимание указанного разногласия, следует более внимательно рассмотреть его анализ. Что значит, когда два человека не согласны с применением понятия, но согласны с тем, что критерием понимания понятия является конкретный пример? Ка-

¹ «Теперь мы просим учащегося продолжить ряд за тысячу (скажем по команде „+2“) – а он записывает: 1 000, 1 004, 1 008, 1 012. Мы говорим ему: „Посмотри, что ты делаешь!“ – Он нас не понимает. Мы говорим: „Ты должен прибавлять ‘два’: смотри как ты начал ряд!“ – Он отвечает: „Да! А разве это неверно? Я думал, что нужно делать так“. – Или же представь себе, что он сказал, указывая на ряд: „Но ведь я действовал здесь точно так же“. – Было бы бесполезно говорить ему: „Разве ты не видишь...?“ – и повторять при этом старые пояснения и примеры. – В таком случае мы могли бы сказать: этому человеку по природе свойственно понимать наше задание и наши пояснения так, как мы понимаем задание: „До 1 000 всегда прибавляй 2, до 2 000 – 4, до 3 000 – 6 и т.д.“» [2. § 185].

жется, есть два возможных ответа, которые я назову сильным примером и безусловным примером.

В случае сильного примера человек мог бы, например, сказать: «если что-то является законом, то правила дорожного движения – это закон» [33. Р. 87–91] или «если где-либо и существовала демократическая форма правления, так это – древние Афины». Здесь образец хорошо согласуется с дорефлексивным представлением относительно понятия («закона» или «демократии»), но он не используется для определения терминов понятия. Возможно, хотя и маловероятно, что когда-нибудь можно будет заключить, что понятие фактически не подтверждается конкретным образцом [33. Р. 87–90]. Например, после более подробного исследования было установлено, что древние Афины изгнали из *полиса* слишком много людей, чтобы считаться демократией, или было выяснено, что новые археологические открытия подрывают наши представления о древних Афинах, к которому мы так привыкли.

В случае безусловного примера образец *определяет* понятия так, что сам образец никак не может пониматься иначе, как подтверждающий это понятие. И любое изменение представления относительно образца приводит к изменению представления относительно понятия. Примеры такого подхода можно обнаружить в религиозном мышлении: например, некоторые люди верят, что жить счастливо – значит по мере возможности жить так, как жил Иисус [32. Р. 168, 180–181].

Этот подход всегда чутко реагирует на нечто вроде вопроса Сократа: является ли что-то благом, потому что его любят боги, или боги его любят потому, что оно является благом? [34. С. 261]. Если благо может быть отделено от того, что предписывает Бог (или от того, как пребывает божественное), тогда, по крайней мере в принципе, понятие блага могло бы быть определено и отграничено независимо от образца и даже можно было бы обнаружить, что сам образец в некотором отношении отличается от благости. Иначе говоря, всегда есть риск, что абсолютный пример превратится в сильный пример. Но только если ответчик настаивает, что нечто является благом потому и только потому, что так повелел Бог, мы будем продолжать иметь дело с безусловным примером.

Случай безусловного примера есть не что иное, как развитая форма управления посредством остенсивного определения – «делай как я» или «следуй за мной» – со всеми недоразумениями и сомнениями, связанными с этим процессом [35. Р. 122–123]. Анализ Галли, кажется, не предлагает нового понимания источника или характера разногласий в этих случаях. Еще менее полезным для нашего анализа является случай сильного примера. Он описывает сближение (обращение к конкретному примеру как образцу), как просто обусловленное обычаем или практикой [33. Р. 65–66, 87–91], но не объясняет ни это сближение, ни расхождение в том, как рассматриваемое понятие применяется разными людьми.

2

Когда серьезные разногласия возникают в отношении определения или применения некоторого термина и когда, как кажется, нет никакой надежды, что дальнейшее обсуждение приблизит стороны к согласию, всегда есть подозрение, что стороны фактически говорят о разных вещах [32. Р. 175–176].

На уровне понятий (в отличие от слов, которые отсылают к отдельным материальным объектам) интересен вопрос, *возможно ли вообще, чтобы люди, которые приписывают разные значения понятиям, говорили об одном и том же*. Колин Макгин, например, писал:

«В случае понятий у нас нет идеи единственного означающего средства (слова), в отношении которого мы можем поставить вопрос, что обеспечивает постоянство его значения; между понятием и его содержанием не существует разрыва, который существует между словом и его значением. Понятие и есть (так сказать) его содержание» [10. Р. 146].

Рональд Дворкин, возможно, чтобы отчасти этого избежать, писал о наличии «разных концепций [одного и того же] понятия» [36. Р. 128]. Однако не совсем понятно, почему эти разные «концепции» являются разными концепциями *одного и того же понятия*, а не просто разными понятиями.

Галли предположил, что во многих «неизбежно бесконечных конфликтах» [32. Р. 196] по поводу религиозных, политических и художественных понятий стороны на самом деле спорят об одном и том же: различные версии каждого понятия возникают в споре из какого-то образчика (либо из единственного примера, либо из определенной традиции) [32. Р. 176]. В «Империи права» Дворкин объяснял разницу между понятием и концепцией «различием между уровнями абстракции, на которых можно изучать интерпретацию практики» [33. Р. 71]. Здесь понятия являются понятиями *практики*, и то, что связывает разные концепции вместе, есть то (повторяя вывод Галли), что они претендуют на описание одной и той же практики [33. Р. 43–49, 68–76]. Дворкин показал, что стороны дискуссии о творческой интерпретации социальных практик, по определению, говорят об одном и том же – об определенной практике (предварительно определенной на «доинтерпретативной» стадии [33. Р. 65–66]) в определенном сообществе. Интерпретации остаются сходными благодаря требованию прочного соответствия доинтерпретативного содержания и разделяемого взгляда на мир [33. Р. 87–89].

Следует также отметить, что Дворкин, возможно, слишком быстро отказался от возможности, что когда адвокаты и теоретики права говорят о праве, они могут говорить о разных вещах. В лучшем случае дискуссия Дворкина [33. Р. 44] показала, что у «закона» есть относительно устойчивая единственная референция, указывающая на то, что под этим названием каждодневно происходит ряд взаимосвязанных институциональных процессов. Однако то, что юристы (и социологи) не говорят друг с другом о «законе» (как о правилах и процедурах, действующих в определенном сообществе в определенное время) на разных языках, совершенно не доказывает, что они не говорят на разных языках, когда говорят о «праве» (как об особой форме социального института, общей для многих сообществ) [37. Р. 36; 38. Р. 367–370].

Мимолетное обсуждение Дворкина понятий и концепций позволяет объединять два разных аналитических подхода. Когда он писал о разных концепциях одного и того же понятия, Джон Ролз уже отчетливо проводил это различие. Ролз говорил о людях, имеющих общее понятие справедливости в том смысле, что «они осознают потребность в определенном множестве принципов относительно основных прав и обязанностей и готовы их принять; эти принципы также определяют правильное распределение выгод и тягот социальной кооперации» [39. Р. 5]. По Ролзу, согласованное понятие (благо-

даря которому существуют различные концепции) существует потому, что «справедливость» используется просто как название определенного подраздела философии морали. В той степени, в которой разделяемое понятие имеет существенное содержание, только кое-что (если вообще что-то) предполагается (*a priori* или «грамматически») моральным подходом к социальному упорядочиванию¹.

С другой же стороны, когда в «Империи права» Дворкин писал о разных концепциях одного и того же понятия привилегии, его подход сильно напоминал анализ «существенно оспариваемых понятий» Галли, который обсуждался ранее. Согласно Галли, расходящиеся теории иногда соотносятся как разные интерпретации одного и того же действия. Подход Ролза не подходит для интерпретации действий, а подход Галли не подходит для сугубо абстрактных понятий, и если смешать эти два подхода, может получиться неточной анализ.

VI

Пол Джонстон в книге «Витгенштейн и философия морали» объяснил, как в контексте подхода Витгенштейна к языку и морали можно понять, по крайней мере, некоторые расхождения во мнениях относительно сложных случаев. Его анализ был основан на «грамматических различиях этических и неэтических языковых игр» [40. Р. 93], на разном применении дескриптивных и оценочных терминов. Должен ли использоваться отдельный дескриптивный термин («красный», «банан», «стол» и т.д.), это зависит от применения правил, задающих значение термина, и от согласованных проверочных процедур (например, сравнение объекта с общепризнанным образцом цвета, чтобы установить, действительно ли объект красный) [40. Р. 95–96]. Языковая игра по поводу дескриптивных терминов предполагает и зависит от устойчивого согласия в применении правил и проверочных процедур [40. Р. 96].

Напротив, оценочные термины служат для других функций и образованы они иначе. Такие термины, как «хороший» и «благородный», согласно этому анализу, отражают одобрение говорящим описываемых объектов или деятельности и что объекты соответствуют его этической системе. То есть эти термины показывают, каким образом говорящий смотрит на мир и на жизнь в мире. «Здесь согласие в реакциях предполагается [только] в том смысле, что наша способность употреблять слова вроде „хороший“ включает в себя такую реакцию, которая распознается другими как одобрение и т.д.» [40. Р. 96] Нет установленных критериев применения оценочных терминов. А поскольку применение таких терминов отражает этические системы разных людей, то следует ожидать и расхождений в употреблении, а не ставить под сомнение языковую игру [40. Р. 99–101].

Прочтение Джонстоном Витгенштейна позволяет объяснить существование сложных случаев, в которых используются моральные или оценочные выражения (например, «разумные цены», «недобросовестность», «надлежащая процедура»), и выяснить, почему в отношении таких случаев не стоит ожидать согласия.

¹ «Между людьми не делается произвольных различий в отношении основных прав и обязанностей и когда правила определяют надлежащий баланс между конкурирующими притязаниями» [39. Р. 5].

Заключение

И сторонники, и противники радикальной неопределенности права пытались использовать обсуждение Л. Витгенштейном следования правилу для обоснования своих позиций. На мой взгляд, обе стороны находят в Витгенштейне больше, чем есть на самом деле. Тем не менее использование обсуждения следования правилу для понимания проблемы ясных и сложных случаев весьма ограничено.

Некоторые ясные случаи являются ясными по большей части из-за (краткосрочной) определенности дескриптивных терминов. Наше согласие в применении таких терминов обусловлено неким сочетанием нашей человеческой природы, общей подготовки и общего образа жизни. И хотя Витгенштейн подробно не рассматривал ситуации отсутствия согласия, но из его работ можно вывести возможное объяснение сложных случаев: например, что у людей могут быть разные формы жизни или что ключевые термины являются скорее оценочными, чем дескриптивными.

Литература

1. *Baker G.P., Hacker P.M.S.* Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity. Oxford : Basil Blackwell, 1985.
2. *Витгенштейн Л.* Философские исследования // Философские работы. М. : Гнозис, 1994. Ч. I. С. 75–320.
3. *Kripke S.* Wittgenstein on Rules and Private Language. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1982.
4. *Yablon C.M.* Law and Metaphysics // The Yale Law Review. 1987. Vol. 96, № 3. P. 613–636.
5. *Yablon C.M.* The Indeterminacy of the Law: Critical Legal Studies and the Problem of Legal Explanation // Cardozo Law Review. 1985. Vol. 6. P. 917–945.
6. *Tushnet M.* Red, White and Blue: Critical Analysis of Constitutional Law. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1988.
7. *McDowell J.* Wittgenstein On Following a Rule // Synthese. 1984. Vol. 58. P. 325–363.
8. *Blackburn S.* The Individual Strikes Back // Synthese. 1984. Vol. 58. P. 281–301.
9. *Baker G.P., Hacker P.M.S.* Scepticism, Rules and Language. Oxford : Basil Blackwell, 1984.
10. *McGinn C.* Wittgenstein on Meaning. Oxford : Basil Blackwell, 1984.
11. *Goldfarb E.* Kripke on Wittgenstein on Rules // The Journal of Philosophy. 1985. Vol. 82, № 9. P. 471–488.
12. *Malcolm N.* Nothing is Hidden. Oxford : Basil Blackwell, 1986.
13. *Pears D.* The False Prison: A Study of the Development of Wittgenstein's Philosophy. Oxford : Clarendon Press, 1988. Vol. 2.
14. *Lewis A.* Wittgenstein and Rule-Scepticism // The Philosophical Quarterly. 1988. Vol. 38, № 152. P. 280–304.
15. *Wright C.* The Critical Notice // Mind. 1989. Vol. 98. P. 289–305.
16. *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат // Философские работы. М. : Гнозис, 1994. Ч. I. С. 1–73.
17. *Wittgenstein L.* Zettel. Berkeley, Calif. : University of California Press, 1970.
18. *McDowell J.* Non-Cognitivism and Rule-Following // Wittgenstein: To Follow a Rule / edited by S. Holtzman & C. Leich. London : Routledge & Kegan Paul, 1981. P. 141–162.
19. *Wittgenstein L.* Remarks on the Foundations of Mathematics. Oxford : Basil Blackwell, 1956.
20. *Pears D.* Ludwig Wittgenstein. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1986.
21. *Haller R.* Questions on Wittgenstein. Bristol: Routledge, 1988.
22. *Wittgenstein L.* Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief. Oxford : Basil Blackwell, 1978.
23. *Langille B.* Revolution Without Foundation: The Grammar of Scepticism and Law // McGill Law Journal. 1988. Vol. 33, № 3. P. 451–505.

24. Hutchinson A. That's Just the Way it Is: Langille on Law // McGill Law Journal. 1989. Vol. 34, № 1. P. 145–159.
25. Langille B. The Jurisprudence of Despair, Again // University of British Columbia Law Review. 1989. Vol. 23. P. 549–565.
26. Wolgast E. The Grammar of Justice. London : Cornell University Press, 1987.
27. Blackburn S. Spreading the Word. Oxford : The Clarendon Press, 1984.
28. Schauer F. Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life. Oxford : The Clarendon Press, 1991.
29. Blackburn S. Rule-Following and Moral Realism // Wittgenstein: To Follow a Rule / ed. by S. Holtzman, C. Leich. London : Routledge & Kegan Paul, 1981. P. 163–187.
30. Bell J. The Acceptability of Legal Arguments // The Legal Mind / ed. by N. McCormick, P. Birks. Oxford : The Clarendon Press, 1986. P. 45–65.
31. Fiss O.M. Objectivity and Interpretation // Stanford Law Review. 1982. Vol. 34. P. 739–764.
32. Gallie W.B. Essentially Contested Concepts // Proceedings of the Aristotelian Society. 1955. Vol. 56. P. 167–198.
33. Dworkin R. Law's Empire. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1986.
34. Платон. Евтифрон.
35. Hart H.L.A. The Concept of Law. Oxford : The Clarendon Press, 1961.
36. Dworkin R. Taking Rights Seriously. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1978.
37. Hart H.L.A. Comment on Dworkin // Issues in Contemporary Legal Philosophy / ed. by R. Gavison. Oxford : The Clarendon Press, 1987. P. 35–42.
38. Finnis J. On Reason and Authority in Law's Empire // Law and Philosophy. 1987. Vol. 6. P. 357–380.
39. Rawls J.A Theory of Justice. Cambridge, Mass : Belknap Press, 1972.
40. Johnston P. Wittgenstein and Moral Philosophy. London : Routledge & Kegan Paul, 1989.

Brian Bix, University of Minnesota (Minneapolis, USA).

E-mail: bix@umn.edu

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 58. pp. 303–319.

DOI: 10.17223/1998863X/58/31

THE APPLICATION (AND MIS-APPLICATION) OF WITTGENSTEIN'S RULE-FOLLOWING CONSIDERATIONS TO LEGAL THEORY

Keywords: rule-following; legal theory; legal language; Wittgenstein.

Wittgenstein's writings on "rule-following" are an important, and sharply contested, part of his later thought. The reference to "rules" in those writings was both broader and more basic than the use of that term in most discussions of practical reasoning or legal theory. Wittgenstein's use of "rule" refers to all normative constraints which apply over an indefinite variety of cases, to practices where our actions might be said to be guided, to situations where characterizing actions as "correct" or "incorrect" makes sense. Wittgenstein focused in particular on normative practices that on the surface do not seem troubling or difficult to understand: for example, using a word correctly, understanding a signpost, and continuing a simple mathematical series. In such examples, the interesting question is not whether a particular response or continuation is right or wrong; Wittgenstein specifically chose examples where there would be consensus on that issue. Wittgenstein's question is what is it about the rule or about ourselves which makes our responses right or wrong (or which justifies us in reaching that evaluation)? The article explores Wittgenstein's work, more recent commentaries on that work, and efforts by some legal theorists to apply the rule-following considerations to issues of legal interpretation. Both proponents and opponents of radical legal indeterminacy have tried to use Wittgenstein's discussions on rule-following to ground their positions. Ultimately, both sides find more in Wittgenstein than is actually there. The discussions on rule-following do, however, have some limited use in understanding the problem of easy cases and hard cases. Some easy cases are easy because of the (short-term) determinacy of descriptive terms. Our consensus in applying such terms is due to some combination of our common human nature, our common training, and our common way of life. Wittgenstein did not discuss extensively cases the situation where consensus was absent, though some potential explanations for hard cases can be derived from his writing: e.g., that the people involved have different forms of life or that the key terms are evaluative rather than descriptive.

References

1. Baker, G.P. & Hacker, P.M.S. (1985) *Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity*. Oxford: Basil Blackwell.
2. Wittgenstein, L. (1994a) *Filosofskie raboty* [Philosophical Studies]. Vol. 1. Moscow: Gnozis. pp. 75–320.
3. Kripke, S. (1982) *Wittgenstein on Rules and Private Language*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
4. Yablon, C.M. (1987) Law and Metaphysics. *The Yale Law Review*. 96(3). pp. 613–636.
5. Yablon, C.M. (1985) The Indeterminacy of the Law: Critical Legal Studies and the Problem of Legal Explanation. *Cardozo Law Review*. 6. pp. 917–945.
6. Tushnet, M. (1988) *Red, White and Blue: Critical Analysis of Constitutional Law*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
7. McDowell, J. (1984) Wittgenstein On Following a Rule. *Synthese*. 58. pp. 325–363. DOI: 10.1007/BF00485246
8. Blackburn, S. (1984) The Individual Strikes Back. *Synthese*. 58. pp. 281–301. DOI: 10.1007/BF00485244
9. Baker, G.P. & Hacker, P.M.S. (1984) *Scepticism, Rules and Language*. Oxford: Basil Blackwell, 1984.
10. McGinn, C. (1984) *Wittgenstein on Meaning*. Oxford: Basil Blackwell.
11. Goldfarb, E. (1985) Kripke on Wittgenstein on Rules. *The Journal of Philosophy*. 82(9). pp. 471–488.
12. Malcolm, N. (1986) *Nothing is Hidden*. Oxford: Basil Blackwell.
13. Pears, D. (1988) *The False Prison: A Study of the Development of Wittgenstein's Philosophy* Vol. 2. Oxford: Clarendon Press.
14. Lewis, A. (1988) Wittgenstein and Rule-Scepticism. *The Philosophical Quarterly*. 38(152). pp. 280–304. DOI: 10.2307/2220128
15. Wright, C. (1989) The Critical Notice. *Mind*. 98. pp. 289–305.
16. Wittgenstein, L. (1994b) *Filosofskie raboty* [Philosophical Studies]. Vol. 1. Moscow: Gnozis. pp. 1–73.
17. Wittgenstein, L. (1970) *Zettel*. Berkeley, Calif.: University of California Press.
18. McDowell, J. (1981) Non-Cognitivism and Rule-Following. In: Holtzman, S. & Leich, C. (eds) *Wittgenstein: To Follow a Rule*. London: Routledge & Kegan Paul. pp. 141–162.
19. Wittgenstein, L. (1956) *Remarks on the Foundations of Mathematics*. Oxford: Basil Blackwell.
20. Pears, D. (1986) *Ludwig Wittgenstein*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
21. Haller, R. (1988) *Questions on Wittgenstein*. Bristol: Routledge.
22. Wittgenstein, L. (1978) *Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief*. Oxford: Basil Blackwell.
23. Langille, B. (1988) Revolution Without Foundation: The Grammar of Scepticism and Law. *McGill Law Journal*. 33(3). pp. 451–505.
24. Hutchinson, A. (1989) That's Just the Way it Is: Langille on Law. *McGill Law Journal*. 34(1). pp. 145–159.
25. Langille, B. (1989) The Jurisprudence of Despair, Again. *University of British Columbia Law Review*. 23. pp. 549–565.
26. Wolgast, E. (1987) *The Grammar of Justice*. London: Cornell University Press.
27. Blackburn, S. (1984) *Spreading the Word*. Oxford: The Clarendon Press.
28. Schauer, F. (1991) *Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*. Oxford: The Clarendon Press.
29. Blackburn, S. (1981) Rule-Following and Moral Realism. In: Holtzman, S. & Leich, C. (eds) *Wittgenstein: To Follow a Rule*. London: Routledge & Kegan Paul. pp. 163–187.
30. Bell, J. (1986) The Acceptability of Legal Arguments. In: McCormick, N. & Birks, P. (eds) *The Legal Mind*. Oxford: The Clarendon Press. pp. 45–65.
31. Fiss, O.M. (1982) Objectivity and Interpretation. *Stanford Law Review*. 34. pp. 739–764.
32. Gallie, W.B. (1955) Essentially Contested Concepts. *Proceedings of the Aristotelian Society*. 56. pp. 167–198. DOI: 10.1080/13569310600923782
33. Dworkin, R. (1986) *Law's Empire*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
34. Plato. (s.n.) *Eutifron* [Euthyphro]. Translated from Ancient Greek. [s.l., s.n.]
35. Hart, H.L.A. (1961) *The Concept of Law*. Oxford: The Clarendon Press.
36. Dworkin, R. (1978) *Taking Rights Seriously*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

37. Hart, H.L.A. (1987) Comment on Dworkin. In: Gavison, R. (ed.) *Issues in Contemporary Legal Philosophy*. Oxford: The Clarendon Press. pp. 35–42.
38. Finnis, J. (1987) On Reason and Authority in Law's Empire. *Law and Philosophy*. 6. pp. 357–380. DOI: 10.1007/BF00142932
39. Rawls, J. (1972) *A Theory of Justice*. Cambridge, Mass: Belknap Press.
40. Johnston, P. (1989) *Wittgenstein and Moral Philosophy*. London: Routledge & Kegan Paul.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЛЕЙНИКОВ Андрей Викторович – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

E-Mail: a.alejnikov@spbu.ru

АНТОНОВ Дмитрий Евгеньевич – младший научный сотрудник Научно-проектного отдела Научно-инновационного управления Государственного академического университета гуманитарных наук (г. Москва).

E-mail: a.dmitry.msu@gmail.com

АНТУХ Геннадий Геннадьевич – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Томского научного центра СО РАН (г. Томск).

E-mail: g.antukh@yandex.ru

АРТЕМЕНКО Андрей Павлович – доктор философских наук, профессор кафедры менеджмента культуры и социальных технологий Харьковской государственной академии культуры (г. Харьков).

E-mail: prof.artemenko@mail.ru

АРТЕМЕНКО Ярослава Игоревна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социологии Национального фармацевтического университета (г. Харьков).

E-mail: tcepelin@mail.ru

БИКС Брайан – доктор права, профессор права и философии юридического факультета Миннесотского университета (г. Миннеаполис, США).

E-mail: bix@umn.edu

БОРИСОВ Евгений Васильевич – доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Томского научного центра СО РАН (г. Томск); профессор Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

Email: borisov.evgeny@gmail.com

БОРОВИНСКАЯ Дарья Николаевна – кандидат философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарного образования Сургутского государственного педагогического университета (г. Сургут).

E-mail: sweetharddk@mail.ru

БРЫЗГАЛИНА Елена Владимировна – кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой философии образования, философский факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: evbrz@yandex.ru

ГАБРУСЕНКО Кирилл Александрович – старший преподаватель кафедры истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: koder@mail.tsu.ru

ГОРБУЛЁВА Мария Сергеевна – кандидат философских наук, старший научный сотрудник кафедры истории и философии науки Томского государственного педагогического университета (г. Томск).

E-mail: black_silver@bk.ru

ДОЛБНЯ Андрей Дмитриевич – студент медико-биологического факультета Сибирского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Томск).

E-mail: adolbnya1@mail.ru

КРАСНОПОЛЬСКАЯ Ирина Игоревна – научный сотрудник, эксперт Центра оценки общественных инициатив Института прикладных политических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).

E-mail: ikrasnopolskaya@hse.ru

КРУГЛОВА Инна Николаевна – доктор философских наук, доцент, заведующая кафедрой философии Юридического института Красноярского государственного аграрного университета (г. Красноярск).

E-mail: inna_krug@mail.ru

КУДЗИЕВА Фатима Сергеевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Северо-Осетинского государственного университета (г. Владикавказ).

E-mail: kudz-fatima@yandex.ru

КУТУЗОВА Анастасия Александровна – магистрант кафедры политологии и политического управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва).

E-mail: kutuzova-aa@ranepa.ru

ЛАДОВ Всеволод Адольфович – доктор философских наук, доцент; заведующий лабораторией логико-философских исследований Томского научного центра СО РАН, ведущий научный сотрудник Томского научного центра СО РАН (г. Томск); профессор кафедры онтологии, теории познания и социальной философии Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: ladov@yandex.ru

ЛЮРЬЯ Надежда Абрамовна – доктор философских наук, профессор кафедры истории и философии науки Томского государственного педагогического университета (г. Томск).

E-mail: luryana@mail.ru

МЕЛИК-ГАЙКАЗЯН Ирина Вигеновна – доктор философских наук, профессор, руководитель Научно-образовательного центра теории образования Томского государственного педагогического университета (г. Томск).

E-mail: melik-irina@yandex.ru

МИХАЙЛОВ Игорь Феликсович – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН (г. Москва).

E-mail: ifmikhailov@gmail.com

ОГЛЕЗНЕВ Виталий Васильевич – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург), профессор кафедры теории и истории права и государства Западно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия (г. Томск).

E-mail: ogleznev82@mail.ru

ОРЛОВА Надежда Александровна – аспирант НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения, Департамент социологии (г. Санкт-Петербург).

E-mail: naorlova@hse.ru

ПЕРВУШИНА Нина Андреевна – научный сотрудник кафедры истории и философии науки Томского государственного педагогического университета (г. Томск).

E-mail: pervushina_na@mail.ru

ПИГАЛЕВ Александр Иванович – доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник кафедры философии Волгоградского государственного университета (г. Волгоград).

E-mail: pigalev@volsu.ru

ПЛОТИЧКИНА Наталья Викторовна – кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета (г. Краснодар).

E-mail: oochronos@mail.ru

РАХМАНОВ Азат Борисович – доктор философских наук, профессор кафедры истории и теории социологии социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: azrahmanov@mail.ru

РОДИН Кирилл Александрович – кандидат философских наук, старший научный сотрудник, отдел философии Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск).

E-mail: rodin.kir@gmail.com

СЕЛЕЗНЕВА Антонина Владимировна – доктор политических наук, доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: ntonina@mail.ru

СЕМЕНИЮК Антон Павлович – доктор философских наук, доцент кафедры философии с курсами культурологии, биоэтики и отечественной истории Сибирского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Томск).

E-mail: apsemenyuk76@gmail.com

СЕМЕНИЮК Ксения Анатольевна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии с курсами культурологии, биоэтики и отечественной истории Сибирского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Томск).

E-mail: marcelp@yandex.ru

СОЛОДОВА Галина Сергеевна – доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск); профессор Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск).

E-mail: gsolodova@gmail.com

СПРУКУЛЬ Полина Сергеевна – магистр, техник лаборатории логико-философских исследований Томского научного центра СО РАН, аспирант кафедры онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: polina.sprukul@gmail.com

СУНАМИ Артем Николаевич – кандидат политических наук, доцент кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

E-mail: a.sunami@spbu.ru

СУРОВЦЕВ Валерий Александрович – доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Томского научного центра СО РАН, заведующий кафедрой

истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: surovtshev1964@mail.ru

ФИШМАН Леонид Гершевич – доктор политических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник отдела философии Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург).

E-mail: lfishman@yandex.ru

ХАХАЛКИНА Елена Владимировна – доктор исторических наук, доцент, профессор, и.о. заведующего кафедрой новой, новейшей истории и международных отношений Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: ekhakhalkina@mail.ru

ШАКИР Ратмир Александрович – аспирант кафедры философии Юридического института, Красноярского государственного аграрного университета; преподаватель Красноярского художественного училища (техникума) им. В.И. Сурикова (г. Красноярск).

E-mail: ratmirshak@gmail.com

ШУЛЬМАН Екатерина Михайловна – кандидат политических наук, доцент кафедры политических и правовых учений факультета политических наук Московской высшей школы экономических и социальных наук (г. Москва); преподаватель Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва); ассоциированный участник российской и евразийской программы Королевского института международных отношений Чатем-Хаус (г. Лондон, Великобритания).

E-mail: daria.lieven@gmail.com

ЯКОВЛЕВ Валентин Валентинович – кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры археологии, истории древнего мира и средних веков, Институт социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (г. Тюмень).

E-mail: v-yakovlev@yandex.ru

ЯСТРЕБ Наталья Андреевна – доктор философских наук, доцент, директор Гуманитарного института Вологодского государственного университета (г. Вологда).

E-mail: nayastreb@mail.ru

ASAKAVIČIŪTĖ Vaida – associate professor of Vilnius Gediminas Technical University, Department of Entertainment industries (Vilnius, Lithuania).

E-mail: vaida.asakaviciute@vgtu.lt

CHIARVESIO Francesca – PhD candidate, Research Assistant, International Laboratory for Social Integration Research, High School of Economics. Международная лаборатория исследований социальной интеграции, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва).

E-mail: fchiarvesio@hse.ru

VALATKA Vytis – associate professor of Vilnius Gediminas Technical University, Department of Philosophy and Cultural Studies (Vilnius, Lithuania).

E-mail: vytis.valatka@vgtu.lt

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2020. № 58

Редактор *Н.А. Афанасьева*
Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 28.12.2020 г. Дата выхода в свет 28.01.2021 г.
Формат 70х100^{1/16}. Печ. л. 20,25; усл. печ. л. 26,33; уч.-изд. л. 27,78.
Тираж 50 экз. Заказ № 4534. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательства
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru